И. А. БУНИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

И.А. БУНИН

собрание
сочинений
в
девяти
томах

под общей редакцией
А.С. Мясникова,
Б.С. Рюрикова,
А.Т. Твардовского

издательство
художественная
литература
москва

И. А. БУНИН

собрание сочинений

том третий

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1907–1911

ИХЛ

издательство
«художественная литература»
1965

Р 1
Б 91

Подготовка текста
А. К. БАБОРЕКО

Примечания
А. С. МЯСНИКОВА,
О. Н. МИХАЙЛОВА,
А. К. БАБОРЕКО,
В. М. СМИРИНА

И. А. БУНИН

1900-е годы

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1909—1911

ПОДТОРЖЬЕ

Конец мая, и в поле еще прохладно, дует ветер, то и дело прячется в облака солнце, идут тени и свет.

Ехали, тряслись на тележке часа четыре. Устали, и все надоело. Но вот, наконец, открылась в широкой дали картина города, забелела полоса шоссе, бегущего к нему,— и веселее шевельнули вожжами, покатили вдоль него рысью, обгоняя прочих едущих на ярмарку. Повеселела и погода, ветер стих, и все приближающийся город, его монастырь, острог, кресты церквей и стекла домов уже видны ясно, блестят против вечернего солнца.

И воздух стал меняться. Он еще прохладный, миндальный, полевой, но уже мешается со множеством прочих запахов. За телегами идут привязанные к ним лошади и коровы. На рогах коров тоже блестит низкое солнце, коровы идут медленно, с женственной неловкостью. Молодые кобылки и жеребчики, когда их объезжаешь рысью, красиво и гневно горячатся, шарахаются. И пахнет и конским навозом, и коровами, и дегтем, и сеном, которым набиты тележные задки, больше же всего — городом и ярмарочным станом, уже раскинувшимся на громадном выгоне перед монастырем. Там, на этом выгоне, белеют балаганы, дымят собранные на скорую руку походные

печки, набралось порядочное количество скотины и телег с поднятыми оглоблями, расставленных, однако, еще довольно просторно...

Через несколько минут тележка, с непривычной для деревенского уха грубостью, вдруг загремела по мостовой.— Город!

Остановились, как всегда, на Острожной улице, на той, что прямиком вводит в город между острогом и монастырем.

На большой двор подворья едва въехали — так тесно. Все заняли цыгане, которые навели целый табун лошадей: и донских, и киргизов, и кровных, породистых, крытых попонами. Посреди двора — огромный фургон с кожаным верхом, весь изукрашенный медными драконами. Рядом разбита полосатая палатка. Под ее поднятыми полами постлана прямо на земле необъятная постель,— навалено несколько перин, кое-как прикрытых лохмотьями ситцевых одеял, и множество сальных красных подушек. На подушках высоко лежит навзничь, как мертвый, спит мальчик лет пятнадцати, босой, в коротких порточках, необыкновенной красоты. У ног его густо и пахуче дымит самовар и сидит, пристально смотрит молодая цыганка. На шее сургучные нити кораллов, навешены старые серебряные кресты. Смотрит, курит трубку и сплевывает.

Зато в горницах ни души. «Да и ночуете одни, все при лошадях, на дворе»,— сказала большая гнутая старуха, мать хозяина. «А это и того лучше,— ответили ей.— Распорядитесь-ка, матушка, насчет самоварчика да позвольте руки немножко помыть».

К чаю купили калачей, колбасы. Потом сидели, курили на крылечке, разговаривали с подходящими барышниками и цыганами о том, как идет подторжье, каковы намечаются цены. Барышники твердят:

— Что господь даст! Что господь даст! Он цены строит...

Вечером из-за крыш города — золотой свет большой низкой луны. Свет и тени лежат во дворе, который кажется красивым, а от фургона, от палатки даже несколько

сказочным. Как тепло, что́ значит город! И оттого, что по этой прямой и широкой Острожной улице все едут и едут, скрипя телегами, а по выбитому тротуару идут и переговариваются, ночь весела, празднична.

Утром говорливая толпа идет, валит в другую сторону,— вон из города, по направлению к монастырю. Туда же несутся, ныряя по пыльным ухабам, извозчики.

Ветрено, но солнечно. И все время праздничный кавардак колоколов, не смолкающий ни на минуту, не дающий говорить и слушать.

Какое многолюдство и как все растет оно!

Густая толпа теснится возле ворот монастыря,— бородатые, волосатые и загорелые мужики, все чужие, новые для глаза, из дальних, задонских деревень, и великая пестрота нарядных баб и девок, тоже чужих, кажущихся красивее, чем свои. Ворота монастыря, по бокам которых во весь рост написаны два длиннобородых старца в зеленых рясах и черных епитрахилях, с развернутыми хартиями в руках, широко раскрыты, и из них выезжают купеческие коляски.

Против монастыря — большой желтый острог, и из всех решетчатых окон его смотрят, прильнув к решеткам, широкие бледные лица под серыми бескозырками. У ворот острога тоже толпа,— сердобольные души принесли острожникам праздничного калачика.

В канаве возле шоссе спит молодой босяк с маленькой стриженой головой. Какое-то своеобразное изящество, какое-то щегольство есть во всей его легкой, не деревенской фигуре, в его короткой ситцевой рубахе и рваных дырявых брючках. Проходящие смеются, острят:

— Кто праздничку рад, тот до свету пьян!

А на шоссе одиноко стоит распряженная телега, а на телеге, на возу, сидит пожилая девица в драповом дипломате. На крыльях носа пыль. Дует жаркий ветерок, несет шум и гомон ярмарки, и лицо у девицы отупело от сиденья, от обиды, что ее посадили и ушли, что все идут и смотрят на нее.

А вот уже и пыльная, истоптанная трава выгона. Тут, на отлете, на самом ходу, пристроился со своим столиком

квасник. Толпа валит и валит мимо, многие на ходу пьют у него. И он потен, красен, с расстегнутым воротом, с картузом на затылок, радостно замучен своим призывным криком и бойкой торговлей. Не прекращая кричать, он то и дело с треском раскупоривает бутылки, озабоченно отсчитывает сдачу медяками, а сам бьет сапогом двух красных петухов, сцепившихся под его столиком.

И с каждым шагом вперед все растет теснота — от народа, от телег, от скотины: поминутно спотыкаешься на связанных овец, лежащих на земле среди пыли и навоза, опасливо пробираешься между рогатой скотиной, жмешься возле лошадиных задов.

Вот даже и совсем надо остановиться,— ходу дальше нет: в расступившемся кругу тесной толпы идет бешеный торг. Торгуют всего-навсего мужицкую лошаденку с легким дрожащим хвостом. Но какая горячка, сколько крику! Как яростно носится, держа эту лошаденку за повод и поминутно с диким и вызывающим видом оборачиваясь на зрителей, цыган со смольной бородкой, с черно-золотыми глазами!

Он в расстегнутой жилетке поверх лиловой рубахи, в плисовых шароварах, одна штанина выпала из-за голенища.

— По душам сказал — бери! — кричит он.

На него смотрят: пузатый седой барышник с серебряными брелоками на часах, затягивающийся из серебряного мундштука, и мелкопоместный барин в белом картузе, в черной поддевке и серых штанах навыпуск.

— По душам сказал, душевно говорю! — сипло кричит цыган, круто заворачивая и осаживая сразу на все ноги лошаденку.— По душам сказал — бери! Ну, сто монет — и пойдем жижку пить! Зимой приеду, угощать станешь, хлеб-соль дашь!

— Вот что,— кричит барышник,— по-божьему, по-хорошему, по-любовному, с веселым сердцем: шесть красных — и кончайте! Лошадь работница! Не сопата, не горбата, животом не надорвата!

— Я лошадь не корю,— кричит барин.— Я лошадь принимаю!

— Лошадь дурить нельзя! — подхватывают в толпе.

— Дай бог дитё такое! — кричит цыган.

— Ну, и молитесь! Его святая воля!

— Ну, была б жива-здорова!

— Господи благослови! Кончайте!

Крестятся, яростно бьют по рукам, но барин кричит:

— Пять красных и магарыч мой!

И цыган бешено плюет:

— Тьфу! Сахаром тебе в уста, огнем из заду, этот магарыч твой! Что с тобой говорить, только кровь гадить!

Спешно подходит с высокой палкой в руке старый цыган, лицо которого точно со старой медной медали.

— Стой! Что за шум, а драки нету? — кричит он.— Стой, я вас помирю!

И торг начинается опять сначала, закипает с новым ожесточением.

Васильевское. 1909

ДЕРЕВНЯ

I

Прадеда Красовых, прозванного на дворне Цыганом, затравил борзыми барин Дурново. Цыган отбил у него, у своего господина, любовницу. Дурново приказал вывести Цыгана в поле, за Дурновку, и посадить на бугре. Сам же выехал со сворой и крикнул: «Ату его!» Цыган, сидевший в оцепенении, кинулся бежать. А бегать от борзых не следует.

Деду Красовых удалось получить вольную. Он ушел с семьей в город — и скоро прославился: стал знаменитым вором. Нанял в Черной Слободе хибарку для жены, посадил ее плести на продажу кружево, а сам, с каким-то мещанином Белокопытовым, поехал по губернии грабить церкви. Когда его поймали, он вел себя так, что им долго восхищались по всему уезду: стоит себе будто бы в плисовом кафтане и в козловых сапожках, нахально играет скулами, глазами и почтительнейше сознается даже в самом малейшем из своих несметных дел:

— Так точно-с. Так точно-с.

А родитель Красовых был мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там лавочку, но прогорел, запил, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и сыновья его, Тихон и

Кузьма. Тянутся, бывало, в телеге с рундуком посередке и заунывно орут:

— Ба-абы, това-ару! Ба-абы, това-ару!

Товар — зеркальца, мыльца, перстни, нитки, платки, иголки, крендели — в рундуке. А в телеге все, что добыто в обмен на товар: дохлые кошки, яйца, холсты, тряпки...

Но, проездив несколько лет, братья однажды чуть ножами не порезались — и разошлись от греха. Кузьма нанялся к гуртовщику, Тихон снял постоялый дворишко на шоссе при станции Воргол, верстах в пяти от Дурновки, и открыл кабак и «черную» лавочку: «торговля мелочного товару чаю сахору тобаку сигар и протчего».

Годам к сорока борода Тихона уже кое-где серебрилась. Но красив, высок, строен был он по-прежнему; лицом строг, смугл, чуть-чуть ряб, в плечах широк и сух, в разговоре властен и резок, в движениях быстр и ловок. Только брови стали сдвигаться все чаще да глаза блестеть еще острей, чем прежде.

Неутомимо гонял он за становыми — в те глухие осенние поры, когда взыскивают подати и идут по деревне торги за торгами. Неутомимо скупал у помещиков хлеб на корню, снимал за бесценок землю... Жил он долго с немой кухаркой,— «не плохо, ничего не разбрешет!» — имел от нее ребенка, которого она приспала, задавила во сне, потом женился на пожилой горничной старухи-княжны Шаховой. А женившись, взяв приданого, «доконал» потомка обнищавших Дурново, полного, ласкового барчука, лысого на двадцать пятом году, но с великолепной каштановой бородой. И мужики так и ахнули от гордости, когда взял он дурновское именьице: ведь чуть не вся Дурновка состоит из Красовых!

Ахали они и на то, как это ухитрялся он не разорваться: торговать, покупать, чуть не каждый день бывать в именье, ястребом следить за каждой пядью земли... Ахали и говорили:

— Лют! Зато и хозяин!

Убеждал их в этом и сам Тихон Ильич. Часто наставлял:

— Живем — не мотаем, попадешься — обротаем. Но — по справедливости. Я, брат, человек русский. Мне твоего

даром не надо, но имей в виду: своего я тебе трынки не отдам! Баловать,— нет, заметь, не побалую!

А Настасья Петровна (ходившая по-утиному, носками внутрь, переваливаясь,— от постоянной беременности, все кончавшейся мертвыми девочками,— желтая, опухшая, с редкими белесыми волосами) стонала, слушая:

— Ох, и прост же ты, посмотрю я на тебя! Что ты с ним, глупым, трудишься? Ты его уму-разуму учишь, а ему и горя мало. Ишь, ноги-то расставил,— эмирский бухар какой!

Осенью возле постоялого двора, стоявшего одним боком к шоссе, другим к станции и элеватору, стоном стонал скрип колес: обозы с хлебом сворачивали и сверху и снизу. И поминутно визжал блок то на двери в кабак, где отпускала Настасья Петровна, то на двери в лавку,— темную, грязную, крепко пахнущую мылом, сельдями, махоркой, мятным пряником, керосином. И поминутно раздавалось в кабаке:

— У-ух! И здорова́ же водка у тебя, Петровна! Аж в лоб стукнула, пропади она пропадом.

— Сахаром в уста, любезный!

— Либо она у тебя с нюхальным табаком?

— Вот и вышел дураком!

А в лавке было еще люднее:

— Ильич! Хунтик ветчинки не отвесишь?

— Ветчинкой я, брат, нонешний год, благодаря богу, так обеспечен, так обеспечен!

— А почем?

— Дешевка!

— Хозяин! Деготь у вас хороший есть?

— Такого дегтю, любезный, у твоего деда на свадьбе не было!

— А почем?

Потеря надежды на детей и закрытие кабаков были крупными событиями в жизни Тихона Ильича. Он явно постарел, когда уже не осталось сомнений, что не быть ему отцом. Сперва он пошучивал.

— Нет-с, уж я своего добьюсь,— говорил он знакомым.— Без детей человек — не человек. Так, обсевок какой-то...

Потом даже страх стал нападать на него: что же это,—

одна приспала, другая все мертвых рожает! И время последней беременности Настасьи Петровны было особенно тяжким временем. Тихон Ильич томился, злобился; Настасья Петровна тайком молилась, тайком плакала и была жалка, когда потихоньку слезала по ночам, при свете лампадки, с постели, думая, что муж спит, и начинала с трудом становиться на колени, с шепотом припадать к полу, с тоской смотреть на иконы и старчески, мучительно подниматься с колен. С детства, не решаясь даже самому себе признаться, не любил Тихон Ильич лампадок, их неверного церковного света: на всю жизнь осталась в памяти та ноябрьская ночь, когда в крохотной, кособокой хибарке в Черной Слободе тоже горела лампадка,— так смирно и ласково-грустно,— темнели тени от цепей ее, было мертвенно-тихо, на лавке, под святыми, неподвижно лежал отец, закрыв глаза, подняв острый нос и сложив на груди восковые руки, а возле него, за окошечком, завешенным красной тряпкой, с буйно-тоскливыми песнями, с воплями и не в лад орущими гармоньями, проходили годные... Теперь лампадка горела постоянно.

Кормили на постоялом дворе лошадей владимирские коробочники — и в доме появился «Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать на картах, бобах и кофе». И Настасья Петровна надевала по вечерам очки, катала из воска шарик и начинала кидать его на круги оракула. А Тихон Ильич искоса поглядывал. Но ответы получались все грубые, зловещие или бессмысленные.

— «Любит ли меня мой муж?» — спрашивала Настасья Петровна.

И оракул отвечал:

— «Любит, как собака палку».

— «Сколько детей будет у меня?»

— «Судьбой назначено тебе умереть, худая трава из поля вон».

Тогда Тихон Ильич говорил:

— Дай-ка я кину...

И загадывал:

— «Затевать ли мне тяжбу с известною мне особою?»

Но и ему выходила чепуха:

— «Считай во рту зубы».

Раз, заглянув в пустую кухню, Тихон Ильич увидал жену возле люльки кухаркина ребенка. Пестренький цыпленок, попискивая, бродил по подоконнику, стучал клювом в стекла, ловя мух, а она сидела на нарах, качала люльку и жалким, дрожащим голосом пела старинную колыбельную песню:

Где мой дитятко лежит?
Где постелюшка его?
Он в высоком терему,
В колыбельке расписной.
Не ходите к нам никто,
Не стучите в терему!
Он уснул, започивал,
Темным пологом покрыт,
Расцвеченною тафтой...

И так изменилось лицо Тихона Ильича в эту минуту, что, взглянув на него, Настасья Петровна не смутилась, не оробела,— только заплакала и, сморкаясь, тихо сказала:

— Отвези ты меня, Христа ради, к угоднику...

И Тихон Ильич повез ее в Задонск. Но дорогой думал, что все равно бог должен наказать его за то, что он, в суете и хлопотах, только под Светлый день бывает в церкви. Да и лезли в голову кощунственные мысли: он все сравнивал себя с родителями святых, тоже долго не имевшими детей. Это было не умно, но он уже давно заметил, что есть в нем еще кто-то — глупей его. Перед отъездом он получил письмо с Афона: «Боголюбивейший благодетель Тихон Ильич! Мир вам и спасение, благословение господне и честный покров всепетой богоматери от земного ее жребия, св. горы Афонской! Я имел счастие слышать о ваших добрых делах и о том, что вы с любовию уделяете лепты на созидание и украшение храмов божиих, на келии иноческие. Ныне хижина моя пришла от времени в такое ветхое состояние...» И Тихон Ильич послал на поправку этой хижины красненькую. Давно прошло то время, когда он с наивной гордостью верил, что и впрямь до самого Афона дошли слухи о нем, хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришло в ветхость,— и все-таки послал. Но не помогло и это,

кончилась беременность прямо мукою: перед тем, как родить последнего мертвого ребенка, стала Настасья Петровна, засыпая, вздрагивать, стонать, взвизгивать... Ею, по ее словам, мгновенно овладевала во сне какая-то дикая веселость, соединенная с невыразимым страхом: то видела она, что идет к ней по полям, вся сияя золотыми ризами, царица небесная и несется откуда-то стройное, все растущее пение; то выскакивал из-под кровати чертенок, неотличимый от темноты, но ясно видимый зрением внутренним, и так-то звонко, лихо, с перехватами, начинал отжаривать на губной гармонье! Легче было бы спать не в духоте, на перинах, а на воздухе, под навесом амбаров. Но Настасья Петровна боялась:

— Подойдут собаки и голову нанюхают...

Когда пропала надежда на детей, стало все чаще приходить в голову: «Да для кого же вся эта каторга, пропади она пропадом?» Монополия же была солью на рану. Стали трястись руки, болезненно сдвигаться и подниматься брови, стало косить губу,— особенно при фразе, не сходившей с языка: «Имейте в виду». По-прежнему он молодился — носил щеголеватые опойковые сапоги и расшитую косоворотку под двубортным пиджаком. Но борода седела, редела, путалась...

А лето, как нарочно, выдалось жаркое, засушливое. Совсем пропала рожь. И наслаждением стало жаловаться покупателям.

— Прекращаем-с, прекращаем-с! — с радостью, отчеканивая каждый слог, говорил Тихон Ильич о своей винной торговле.— Как же-с! Монополия! Министру финансов самому захотелось поторговать!

— Ох, посмотрю я на тебя! — стонала Настасья Петровна.— Договоришься ты! Загонят тебя, куда ворон костей не таскал!

— Не испугаете-с! — отсекал Тихон Ильич, вскидывая бровями.— Нет-с! На всякий роток не накинешь платок!

И опять, еще резче чеканя слова, обращался к покупателю:

— И ржица-с радует! Имейте в виду: всех радует! Ночью-с — и то видать. Выйдешь на порог, глянешь по месяцу в поле: сквозит-с, как лысина! Выйдешь, глянешь: блистает!

В Петровки в тот год Тихон Ильич пробыл четверо суток в городе на ярмарке и расстроился еще больше — от дум, от жары, от бессонных ночей. Обычно отправлялся он на ярмарку с большой охотой. В сумерки подмазывали телеги, набивали их сеном; в ту, в которой ехал сам хозяин с работником-стариком, клали подушки, чуйку. Выезжали поздно и, поскрипывая, тянулись до рассвета. Сперва вели дружественные разговоры, курили, рассказывали друг другу страшные старинные истории о купцах, убитых в дороге и на ночевках; потом Тихон Ильич укладывался спать — и так приятно было слышать сквозь сон голоса встречных, чувствовать, как зыбко покачивается и как будто все под гору едет телега, ерзает щека по подушке, сваливается картуз и холодит голову ночная свежесть; хорошо было и проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди матово-зеленых хлебов, увидать вдали, в голубой низменности, весело белеющий город, блеск его церквей, крепко зевнуть, перекреститься на отдаленный звон и взять вожжи из рук полусонного старика, по-детски ослабевшего на утреннем холодке, бледного как мел при свете зари... Теперь Тихон Ильич отослал телеги со старостой, а сам поехал один, на бегунках. Ночь была теплая, светлая, но ничто не радовало; за дорогу он устал; огоньки на ярмарке, в остроге и больнице, что при въезде в город, видны в степи верст за десять, и казалось, что до них никогда не доедешь, до этих дальних, сонных огоньков. А на постоялом дворе на Щепной площади было так жарко, так кусали блохи и так часто раздавались голоса у ворот, так гремели въезжавшие на каменный двор телеги и так рано заорали петухи, заворковали голуби и побелело за открытыми окнами, что он и глаз не сомкнул. Мало спал и вторую ночь, которую попробовал провести на ярмарке, в телеге: ржали лошади, горели огни в палатках, кругом ходили и разговаривали, а на рассвете, когда так и слипались глаза, зазвонили в остроге, в больнице — и над самой головой подняла ужасный рев корова...

— Каторга! — поминутно приходило в голову за эти дни и ночи.

Ярмарка, раскинувшаяся по выгону на целую версту, была, как всегда, шумна, бестолкова. Стоял нестройный

гомон, ржание лошадей, трели детских свистулек, марши и польки гремящих на каруселях оркестрионов. Говорливая толпа мужиков и баб валом валила с утра до вечеру по пыльным, унавоженным переулкам между телегами и палатками, лошадьми и коровами, балаганами и съестными, откуда несло вонючим чадом сальных жаровен. Как всегда, была пропасть барышников, придававших страшный азарт всем спорам и сделкам; бесконечными вереницами, с гнусавыми напевами тянулись слепые и убогие, нищие и калеки, на костылях и в тележках; медленно двигалась среди толпы гремящая бубенчиками тройка исправника, сдерживаемая кучером в плисовой безрукавке и в шапочке с павлиньими перьями... Покупателей у Тихона Ильича было много. Подходили сизые цыгане, рыжие польские евреи в парусиновых балахонах и сбитых сапогах, загорелые мелкопоместные дворяне в поддевках и картузах; подходил красавец-гусар князь Бахтин с женой в английском костюме, дряхлый севастопольский герой Хвостов — высокий и костистый, с удивительно крупными чертами темного морщинистого лица, в длинном мундире и обвислых штанах, в сапогах с широкими носками и в большом картузе с желтым околышем, из-под которого были начесаны на виски крашеные волосы мертвого бурого цвета... Бахтин откидывался назад, глядя на лошадь, сдержанно улыбался в усы с подусниками, поигрывая ногой в рейтузе вишневого цвета. Хвостов, дошаркав до лошади, косившей на него огненным глазом, останавливался так, что казалось, что он падает, поднимал костыль и в десятый раз спрашивал глухим, ничего не выражающим голосом:

— Сколько просишь?

И всем надо было отвечать. И Тихон Ильич отвечал, но через силу, стискивая челюсти, и ломил такую цену, что все отходили ни с чем.

Он очень загорел, похудел и побледнел, запылился, чувствовал смертельную тоску и слабость во всем теле. Он расстроил желудок, да так, что начались корчи. Пришлось сходить в больницу. Но там он часа два ждал очереди, сидел в гулком коридоре, нюхая противный запах карболки, и чувствовал себя не Тихоном Ильичом, а так, как будто он был в прихожей хозяина или начальника.

И когда доктор, похожий на дьякона, красный, светлоглазый, в кургузом черном сюртуке, пахнущем медью, сопя, приложил холодное ухо к его груди, он поспешил сказать, что «живот почти прошел», и только по робости не отказался от касторки. А воротясь на ярмарку, проглотил стакан водки с перцем и с солью и опять стал есть колбасу и подрукавный хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи — и все не мог утолить жажды. Звали знакомые «пивком освежиться» — и он шел. Орал квасник:

— Вот квасок, попыривает в носок! По копейке бокал, самый главный лимонад!

И он останавливал квасника.

— Вот-от морожено! — тенором кричал лысый потный мороженщик, брюхатый старик в красной рубахе.

И он ел с костяной ложечки мороженое, почти снег, от которого жестоко ломило в висках.

Пыльный, истолченный ногами, колесами и копытами, засоренный и унавоженный выгон уже пустел,— ярмарка разъезжалась. Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и держал на жаре и в пыли непроданных лошадей, все сидел на телеге. Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода. Город на всю Россию славен хлебной торговлей,— ест же этот хлеб досыта сто человек во всем городе. А ярмарка? Нищих, дурачков, слепых и калек,— да все таких, что смотреть страшно и тошно,— прямо полк целый!

Домой Тихон Ильич ехал в солнечное жаркое утро по Старой большой дороге. Ехал сперва городом, базаром, потом через мелкую и кислую от кожевенных заводов речку, а за речкой — в гору, через Черную Слободу. На базаре он когда-то служил вместе с братом в лавке Маторина. Теперь на базаре все кланялись ему. В Слободе прошло его детство,— на этой полугоре, среди вросших в землю мазанок с прогнившими и почерневшими крышами, среди навоза, который сушат перед ними для топки, среди мусора, золы и тряпок... Теперь и следа не было той мазанки, где родился и рос Тихон Ильич. На ее месте стоял новый тесовый домик со ржавой вывеской над входом: «Духовный портной Соболев». Все прочее было в Слободе по-старому: свиньи и куры возле порогов; высокие

шесты у ворот, а на шестах — бараньи рога; белые большие лица кружевниц, выглядывающих из-за горшков с цветами, из крохотных окошечек; босые мальчишки с одной помочей через плечо, запускающие бумажного змея с мочальным хвостом; белобрысые тихие девочки, играющие возле завалинок в любимую игру — похороны кукол... На горе, в поле, он перекрестился на кладбище, за оградой которого, среди старых деревьев, была когда-то страшная могила богача и скряги Зыкова, провалившаяся в ту же минуту, как только засыпали ее. И, подумав, повернул лошадь к воротам кладбища.

У этих больших белых ворот сидела и вязала чулок старуха, похожая на старуху из сказки,— в очках, с клювом, с провалившимися губами — одна из вдов, живущих в приюте при кладбище.

— Здорово, бабка! — крикнул Тихон Ильич, привязывая лошадь к столбу у ворот.— Можешь мою лошадь постеречь?

Старуха встала, низко поклонилась и прошамкала:

— Могу, батюшка.

Тихон Ильич снял картуз, еще раз, подкатывая глаза под лоб, перекрестился на картину Успения богородицы над воротами и прибавил:

— Много вас тут теперь?

— Целых двенадцать старушек, батюшка.

— Что ж, часто ругаетесь?

— Часто, батюшка...

И Тихон Ильич не спеша пошел среди деревьев и крестов, по аллее, ведущей к старой деревянной церкви. На ярмарке он постриг волосы, подровнял и укоротил бороду — и очень помолодел. Молодила его и худоба после болезни. Молодил загар,— белели нежной кожей только выстриженные треугольники на висках. Молодили воспоминания детства и молодости, новый парусиновый картуз. Он шел и глядел по сторонам... Как коротка и бестолкова жизнь! И какой мир и покой вокруг, в этом солнечном затишье, в ограде старого погоста! Горячий ветер проносился по верхушкам светлых деревьев, сквозившим на безоблачном небе, до времени поредевшим от зноя, волновал по камням, памятникам их прозрачную, легкую тень. А когда затихал, жарко пригревало солнце цветы и

травы, сладко пели птицы в кустах, в сладкой истоме замирали на горячих дорожках бабочки... На одном кресте Тихон Ильич прочел:

Какие страшные оброки
Смерть собирает от людей!

Но ничего страшного не было вокруг. Он шел, даже как бы с удовольствием замечая, что кладбище растет, что появилось много новых мавзолеев среди тех старинных камней в виде гробов на ножках, тяжких чугунных плит и огромных, грубых и уже гниющих крестов, которыми полно оно. «Скончалась 1819 года Ноября 7 в 5 часов утра» — такие надписи было жутко читать, нехороша смерть на рассвете ненастного осеннего дня, в старом уездном городе! Но рядом светил среди деревьев своей белизной гипсовый ангел с очами, устремленными в небо, и на цоколе под ним были выбиты золотые буквы: «Блаженны мертвые, умирающие в господе!» На железном, радужном от непогоды и времени, памятнике какого-то коллежского асессора можно было разобрать стихи:

Царю он честно послужил,
Сердечно ближнего любил,
Был уважаем от людей...

Стихи эти показались Тихону Ильичу лживыми. Но — где правда? Вот в кустах валяется человеческая челюсть, точно сделанная из грязного воска,— все, что осталось от человека... Но все ли? Гниют цветы, ленты, кресты, гробы и кости в земле,— все смерть и тлен! Но шел далее Тихон Ильич и читал: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении».

Все надписи трогательно говорили о покое и отдыхе, о нежности, о любви, которой как будто нет и не будет на земле, о той преданности друг другу и покорности богу, о тех горячих упованиях на жизнь будущую и свидание в иной, блаженной стране, которым веришь только здесь, и о том равенстве, что дает только смерть,— те минуты, когда мертвого нищего целуют в уста последним целованием, как брата, сравнивают его с царями и владыками... А там, в дальнем углу ограды, в кустах бузины, дремлю-

щих на припеке, увидал Тихон Ильич свежую детскую могилку, крест, а на кресте — двустишие:

тише, листья, не шумите,
мово Костю не будите! —

и, вспомнив своего ребенка, задавленного во сне немой кухаркой, заморгал от навернувшихся слез.

По шоссе, идущему мимо кладбища и пропадающему среди волнистых полей, никто никогда не ездит. Ездят по пыльному проселку, рядом. По проселку поехал и Тихон Ильич. Навстречу ему пронеслась ободранная извозчичья пролетка,— лихо носятся уездные извозчики! — а в пролетке — городской охотник: у ног — пегая легавая собака, на коленях — ружье в чехле, на ногах — высокие болотные сапоги, хотя болот в уезде и не бывало. И Тихон Ильич сердито стиснул зубы: в работники бы этого лодаря! Полдневное солнце палило, ветер дул горячий, безоблачное небо становилось грифельным. И все сердитее отвертывался Тихон Ильич от пыли, летевшей по дороге, все озабоченнее косился на тощие, до времени подсыхающие хлеба.

Мерным шагом, с высокими посошками, шли толпы замученных усталостью и зноем богомолок. Они отвешивали Тихону Ильичу низкие, смиренные поклоны, но теперь ему уже опять все казалось жульничеством.

— Смиренницы! А грызутся небось на ночевках, как собаки!

Подымая тучи пыли, гнали лошаденок пьяные мужики, возвращавшиеся с ярмарки,— рыжие, сивые, черные, но все одинаково безобразные, тощие и лохматые. И, обгоняя их гремящие телеги, Тихон Ильич мотал головой:

— У, нищеброды, пропади вы пропадом!

Один, в изорванной на ленты ситцевой рубахе, спал, колотился, как мертвый, лежа на спине, закинув голову, задрав окровавленную бороду и распухший в засохшей крови нос. Другой бежал, догонял сорванную ветром шапку, споткнулся — и Тихон Ильич с злобным наслаждением вытянул его кнутом. Попалась телега, полная решет, лопат и баб; сидя к лошади спинами, они тряслись и подпрыгивали; у одной на голове был новый детский карту-

зик козырьком назад, другая пела, третья махала руками и с хохотом орала вдогонку Тихону Ильичу:

— Дядя! Чекý потерял!

За заставой, где свернуло шоссе в сторону, где отстали гремящие телеги и охватила тишина, простор и зной степи, опять почувствовал он, что все-таки самое главное на свете — «дело». Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынки не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду... Хозяина бы сюда, хозяина!

На полпути было большое село Ровное. Суховей проносился вдоль пустых улиц, по лозинкам, спаленным жарою. У порогов ерошились, зарывались в золу куры. Грубо торчала на голом выгоне церковь дикого цвета. За церковью блестел на солнце мелкий глинистый пруд под навозной плотиной — густая желтая вода, в которой стояло стадо коров, поминутно отправлявшее свои нужды, и намыливал голову голый мужик. Он по пояс вошел в воду, на груди его блестел медный крестик, шея и лицо были черны от загара, а тело поразительно бледно и бело.

— Разнуздай-ка лошадь-то,— сказал Тихон Ильич, въезжая в пруд, пахнущий стадом.

Мужик кинул мраморно-синеватый обмылок на черный от коровьего помета берег и, с серой, намыленной головой, стыдливо закрываясь, поспешил исполнить приказание. Лошадь жадно припала к воде, но вода была так тепла и противна, что она подняла морду и отвернулась. Посвистывая ей, Тихон Ильич покачал картузом:

— Ну, и водица у вас! Ужли пьете?

— А у вас-то ай сахарная? — ласково и весело возразил мужик.— Тыщу лет пьем! Да вода что — вот хлебушка нетути...

За Ровным дорога пошла среди сплошных ржей, — опять тощих, слабых, переполненных васильками... А возле Выселок, под Дурновкой, тучей сидели на дуплистой корявой раките грачи с раскрытыми серебристыми клювами,— любят они почему-то пожарище: от Выселок осталось в эти дни только одно звание — только черные остовы изб среди мусора. Мусор курился молочно-синеватым дымком, кисло воняло гарью... И мысль о пожаре молнией пронзила Тихона Ильича. «Беда!» — подумал он, бледнея. Ниче-

го-то у него не застраховано, все может в один час слететь...

С этих Петровок, с этой памятной поездки на ярмарку, Тихон Ильич начал попивать — и таки частенько, не допьяну, но до порядочной красноты лица. Однако это ничуть не мешало делам, да не мешало, по его словам, и здоровью. «Водка кровь полирует»,— говорил он. Жизнь свою он и теперь нередко называл каторгой, петлей, золотою клеткой. Но шагал он по своей дороге все увереннее, и несколько лет прошло так однообразно, что все слилось в один рабочий день. А новыми крупными событиями оказалось то, чего и не чаяли,— война с Японией и революция.

Разговоры о войне начались, конечно, бахвальством. «Казак желтую-то шкуру скоро спустит, брат!» Но скоро послышались иные речи.

— Своей земли девать некуды! — строгим хозяйственным тоном говорил и Тихон Ильич.— Не война-с, а прямо бессмыслица!

И в злорадное восхищение приводили его вести о страшных разгромах русской армии:

— Ух, здорово! Так их, мать их так!

Восхищала сперва и революция, восхищали убийства.

— Как дал этому самому министру под жилу,— говорил иногда Тихон Ильич в пылу восторга,— как дал — праху от него не осталось!

Но как только заговорили об отчуждении земель, стала просыпаться в нем злоба. «Все жиды работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти — студенты!» И непонятно было: все говорят — революция, революция, а вокруг — все прежнее, будничное: солнце светит, в поле ржи цветут, подводы тянутся на станцию... Непонятен был в своем молчании, в своих уклончивых речах народ.

— Скрытен он стал, народ-то! Прямо жуть, как скрытен! — говорил Тихон Ильич.

И, забыв о «жидах», прибавлял:

— Положим, что и музыка-то вся эта нехитрая-с. Правительство сменить да земелькой поровнять — это ведь и младенец поймет-с. И, значит, дело ясно, за кого он гнет,— народ-то. Но, конечно, помалкивает. И надо, значит, следить, да так норовить, чтоб помалкивал. Не

давать ему ходу! Не то держись: почует удачу, почует шлею под хвостом — вдребезги расшибет-с!

Когда он читал или слышал, что будут отнимать землю только у тех, у кого больше пятисот десятин, он и сам становился «смутьяном». Даже в спор с мужиками пускался. Случалось — стоит возле его лавки мужик и говорит:

— Нет, это ты, Ильич, не толкуй. По справедливой оценке — это можно, взять-то ее. А так — нет, не хорошо...

Жарко, пахнет сосновым тесом, сваленным возле амбаров, напротив двора. Слышно, как за деревьями и за постройками станции сипит, разводит пары горячий паровоз товарного поезда. Без шапки стоит, щурясь и хитро улыбаясь, Тихон Ильич. Улыбается и отвечает:

— Так. А если он не хозяин, а лодарь?

— Кто? Барин-то? Ну, это дело особая. У такого-то и со всеми потрохами отнять не грех!

— Ну вот то-то и оно-то!

Но приходила другая весть — будут и меньше пятисот брать! — и сразу овладевала душой рассеянность, придирчивость. Все, что делается по дому, начинало казаться отвратительным.

Выносил из лавки Егорка, подручный, мучные мешки и начинал вытрясать их. Макушка клином, волосы жестки и густы — «и отчего это так густы они у дураков?» — лоб вдавленный, лицо как яйцо косое, глаза рыбьи, выпуклые, а веки с белыми, телячьими ресницами точно натянуты на них: кажется, что не хватило кожи, что, если малый сомкнет их, нужно будет рот разинуть, если закроет рот — придется широко раскрыть веки. И Тихон Ильич злобно кричал:

— Далдон! Дулеб! Что ж ты на меня-то трясешь?

Горницы его, кухня, лавка и амбар, где прежде была винная торговля,— все это составляло один сруб, под одной железной крышей. С трех сторон вплотную примыкали к нему навесы скотного варка, крытые соломой,— и получался уютный квадрат. Амбары стояли против дома, через дорогу. Направо была станция, налево шоссе. За шоссе — березовый лесок. И когда Тихону Ильичу было не по себе, он выходил на шоссе. Белой лентой, с пере-

вала на перевал, убегало оно к югу, все понижаясь вместе с полями и снова поднимаясь к горизонту только от далекой будки, где его пересекала идущая с юго-востока чугунка. И если случалось, что ехал кто-нибудь из дурновских мужиков,— конечно, кто подельнее, поразумнее, например, Яков, которого все зовут Яковом Микитичем за то, что он «богат» и жаден, Тихон Ильич останавливал его.

— Хоть бы картузишко-то купил себе! — кричал он с усмешкой.

Яков, в шапке, в замашной рубахе, в коротких тяжевых портках и босой, сидел на грядке телеги. Он натягивал веревочные вожжи, останавливая сытую кобылу.

— Здорово, Тихон Ильич,— сдержанно говорил он.

— Здорово! Шапку-то, говорю, пора пожертвовать на галчиные гнезда!

Яков, с хитрой усмешкой в землю, кивал головой.

— Это... как сказать?.. не плохо бы. Да капитал-то, к примеру, не дозволяет.

— Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть... Чего тебе еще от господа бога желать?

Это льстило Якову, но сдерживало еще более.

— О, господи! — вздыхая, бормотал он дрожащим голосом.— Деньги... У меня их, к примеру, и в заведенье-то не бывало... А малый... что ж малый? Малый не радует... Прямо надо сказать — не радует!

Был Яков, как многие мужики, очень нервен и особенно тогда, когда доходило дело до его семьи, хозяйства. Был очень скрытен, но тут нервность одолевала, хотя изобличала ее только отрывистая, дрожащая речь. И, чтобы уже совсем растревожить его, Тихон Ильич участливо спрашивал:

— Не радует? Скажи, пожалуйста! И все из-за бабы?

Яков, озираясь, скреб ногтями грудь:

— Из-за бабы, родимец ее расшиби...

— Ревнует?

— Ревнует... В снохачи меня записала...

И у Якова бегали глаза:

— Там нажалилась мужу, там нажалилась! Да что — отравить хотела! Иной раз, к примеру, остудишься... по-

куришь маленько, чтоб на груди полегчало... Ну, и сунула мне под подушку цигарку... Кабы не глянул — пропал бы!

— Что ж за цигарка такая?

— Костей мертвых натолкла да заместо табаку и всыпала...

— То-то малый-то дурак! Поучил бы ее по-русски!

— Куда тебе! Мне же, к примеру, на грудь полез! А сам как змей вьется!.. Ухвачу за голову, ан голова-то стриженая... Ухвачу за пельки — рубаху драть жалко!

Тихон Ильич качал головой, молчал минуту и, наконец, решался:

— Ну, а как у вас там? Все бунту ждете?

Но тут скрытность сразу возвращалась к Якову. Он усмехался и махал рукой.

— Ну! — скороговоркой бормотал он.— Какого там рожна — бунту! У нас народ смирный... Смирный народ...

И натягивал вожжи, будто не стоит лошадь.

— А сходка-то зачем в воскресенье была? — вдруг злобно кидал Тихон Ильич.

— Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру...

— Знаю, о чем галдели-то!

— Да что ж, я не таюсь... Болтали, к примеру, что вышла, мол, распоряжение... вышла будто распоряжение — никак не работать у господ по прежней цене...

Очень обидно было думать, что из-за какой-то Дурновки руки отваливаются от дела. И дворов-то в этой Дурновке всего три десятка. И лежит-то она в чертовой яруге: широкий овраг, на одном боку — избы, на другом — усадьбишка. И переглядывается эта усадьбишка с избами и со дня на день ждет какого-то «распоряжения»... Эх, взять бы несколько казаков с плетьми!

Но «распоряжение» таки вышло. Пронесся в одно из воскресений слух, что в Дурновке — сходка, вырабатывается план наступления на усадьбу. С злобно-радостными глазами, с ощущением необычной силы и дерзости, с готовностью «самому черту рога сломать», Тихон Ильич крикнул «запречь в бегунки жеребчика» и через десять минут уже гнал его вдоль шоссе к Дурновке. Солнце садилось после дождливого дня в серо-красные тучи, стволы в березовом лесочке были алые, проселок, резко выделяв-

шийся черно-фиолетовой грязью среди свежей зелени, был тяжел. С ляжек жеребчика, со шлеи, ерзавшей по ним, падала розовая пена. Крепко щелкая вожжами, Тихон Ильич свернул от чугунки, взял направо полевой дорогой и, увидав Дурновку, на минуту усомнился в правдивости слухов о бунте. Мирная тишина была вокруг, мирно пели свои вечерние песни жаворонки, просто и спокойно пахло влажной землей и сладостью полевых цветов... Но вдруг взгляд упал на пары́ возле усадьбы, густо усеянные желтым донником: на его парах пасся мужицкий табун! Началось, значит! И, передернув вожжи, Тихон Ильич пролетел мимо табуна, мимо риги, заросшей лопухами и крапивой, мимо низкорослого сада, полного воробьями, мимо конюшни и людской избы и вскочил во двор...

А потом творилось что-то несуразное: в сумерках, замирая от злобы, обиды и страха, Тихон Ильич сидел в поле на бегунках. Сердце колотилось, руки дрожали, лицо горело, слух был чуток, как у зверя. Он сидел, слушал крики, доносившиеся из Дурновки, и вспоминал, как толпа, показавшаяся огромной, повалила, завидя его, через овраг к усадьбе, наполнила двор галдой и бранью, сгрудилась у крыльца и прижала его к двери. В руках у него был только кнут. И он махал им, то отступая, то отчаянно кидаясь в толпу. Но еще шире и смелее махал палкой наступавший шорник,— злой, поджарый, с провалившимся животом, востроносый, в сапогах и лиловой ситцевой рубахе. Он, от лица всей толпы, орал, что вышло распоряжение «пошабашить это дело» — пошабашить в один и тот же день и час по всей губернии: согнать из всех экономий посторонних батраков, заступить на их работу местным,— по целковому на день! И Тихон Ильич орал еще неистовее, стараясь заглушить шорника:

— А-а! Вот как! Навострился, бродяга, у агитаторов? Насобачился?

И шорник цепко, на лету, ловил его слова.

— Ты бродяга-то! — вопил он, наливаясь кровью.— Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня — черт! — у меня ее и всей-то с твое крыльцо! А почему? Кто ты такой? Кто ты такой есть, спрашиваю я тебя? Из каких таких квасов?

— Ну, помни-и, Митька! — крикнул наконец Тихон Ильич беспомощно и, чувствуя, что голова его мутится, кинулся сквозь толпу к бегункам.— Помни ты это себе!

Но никто не боялся угроз — и дружный гогот, рев и свист понеслись ему вслед... А потом он колесил вокруг усадьбы, замирал, слушал. Он выезжал на дорогу, на перекресток и становился лицом к заре, к станции, готовый каждую минуту ударить по лошади. Было тихо, тепло, сыро и темно. Земля, поднимаясь к горизонту, где еще тлел красноватый слабый свет, была черна, как пропасть.

— С-стой, стерва! — сквозь зубы шептал Тихон Ильич шевелившейся лошади.— Сто-ой!

А издали доносились голоса, крики. И изо всех голосов выделялся голос Ваньки Красного, уже два раза побывавшего на донецких шахтах. А потом над усадьбой вдруг поднялся темно-огненный столб: мужики зажгли в саду шалаш — и пистолет, забытый в шалаше сбежавшим мещанином-садовником, стал сам собой палить из огня...

Впоследствии узнали, что, и правда, совершилось чудо: в один и тот же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. И гостиницы города долго были переполнены помещиками, искавшими защиты у властей. Но впоследствии Тихон Ильич с великим стыдом вспоминал, что искал и он ее: со стыдом потому, что весь бунт кончился тем, что поорали по уезду мужики, сожгли и разгромили несколько усадеб, да и смолкли. Шорник вскоре как ни в чем не бывало опять стал появляться в лавке на Воргле и почтительно снимал шапку на пороге, точно не замечая, что Тихон Ильич в лице темнеет при его появлении. Однако еще ходили слухи, что собираются дурновцы убить Тихона Ильича. И он побаивался запаздывать на пути из Дурновки, ощупывал в кармане бульдог, надоедливо оттягивавший карман шаровар, давал себе клятву сжечь дотла Дурновку в одну прекрасную ночь... отравить воду в дурновских прудах... Потом прекратились и слухи. Но Тихон Ильич стал твердо подумывать развязаться с Дурновкой. «Не те деньги, что у бабушки, а те, что в пазушке!»

В этот год Тихону Ильичу сровнялось уже пятьдесят. Но мечта стать отцом не покидала его. И вот она-то и столкнула его с Родькой.

Родька, долговязый, хмурый малый из Ульяновки, пошел назад тому два года во двор ко вдовому брату Якова, Федоту; женился, схоронил Федота, умершего с перепоя на свадьбе, и ушел в солдаты. А молодая,—стройная, с очень белой, нежной кожей, с тонким румянцем, с вечно опущенными ресницами,— стала работать в усадьбе, на поденщине. И эти ресницы волновали Тихона Ильича страшно. Носят дурновские бабы «рога» на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, покрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая,— за ней так и осталась эта кличка,— была и в этом наряде хороша. И однажды вечером, в темной риге, где Молодая одна дометала колос, Тихон Ильич, оглянувшись, быстро подошел к ней и быстро сказал:

— В полсапожках ходить будешь, в платках шелковых... Четвертного не пожалею!

Но Молодая молчала как убитая.

— Слышишь, что ли? — шепотом крикнул Тихон Ильич.

Но Молодая точно окаменела, склонив голову и кидая граблями.

И так он и не добился ничего. Как вдруг явился Родька: раньше срока, кривой. Было это вскоре после бунта дурновцев, и Тихон Ильич тотчас же нанял Родьку вместе с женой в дурновскую усадьбу, ссылаясь на то, что «без солдата теперь не обойдешься». Под Ильин день Родька уехал в город за новыми метлами и лопатами, а Молодая мыла полы в доме. Шагая через лужи, Тихон Ильич вошел в комнату, глянул на склонившуюся к полу Молодую, на ее белые икры, забрызганные грязной водой, на все ее раздавшееся в замужестве тело... И вдруг, как-то особенно ловко владея своей силой и желанием, шагнул к Молодой. Она быстро выпрямилась, подняла возбужденное, раскрасневшееся лицо и, держа в руке мокрую ветошку, странно крикнула:

— Так и смажу тебя, малый!

Пахло горячими помоями, горячим телом, пóтом... И, схватив руку Молодой, зверски стиснув ее, тряхнув и выбив ветошку, Тихон Ильич правой рукой поймал Моло-

дую за талию, прижал к себе, да так, что хрустнули кости,— и понес в другую комнату, где была постель. И, откинув голову, расширив глаза, Молодая уже не билась, не противилась...

Стало после этого мучительно видеть жену, Родьку, знать, что он спит с Молодой, что он свирепо бьет ее — ежедневно и еженощно. А вскоре стало и жутко. Неисповедимы пути, по которым доходит до правды ревнующий человек. И Родька дошел. Худой, кривой, длиннорукий и сильный, как обезьяна, с маленькой коротко стриженной черной головой, которую он всегда гнул, глядя глубоко запавшим блестящим глазом исподлобья, он стал страшен. В солдатах он нахватался хохлацких слов и ударений. И если Молодая осмеливалась возражать ему на его краткие, жесткие речи, он спокойно брал ременный кнут, подходил к ней с злой усмешкой и, сквозь зубы, спокойно спрашивал, ударяя на «во»:

— Вы шо говóрите?

И так вытягивал ее, что у нее в глазах темнело.

Раз наткнулся на эту расправу Тихон Ильич и, не выдержав, крикнул:

— Что ты делаешь, мерзавец ты этакий?

Но Родька спокойно сел на лавку и только глянул на него.

— Вы шо говóрите? — спросил он.

И Тихон Ильич поспешил хлопнуть дверью...

Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить так, например, чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или землей... Но прошел месяц, прошел другой,— и надежда, та надежда, которая и опьянила-то этими мыслями, жестоко обманула: Молодая не забеременела! Из-за чего же было после этого продолжать играть с огнем? Надо было разделаться с Родькой, как можно скорее прогнать его.

Но кем было его заменить?

Выручил случай. Неожиданно Тихон Ильич помирился с братом и уговорил его взять на себя управление Дурновкой.

Узнал он от знакомого в городе, что Кузьма долго служил конторщиком у помещика Касаткина и, что всего удивительнее,— стал «автором». Да, напечатали будто бы

целую книжку его стихов и на обороте обозначили: «Склад у автора».

— Та-ак-с! — протянул Тихон Ильич, услыхавши это.— Он Кузьма, а ничего! И что же, позвольте спросить, так и напечатали: сочинение Кузьмы Красова?

— Все честь честью,— ответил знакомый, твердо веривший, впрочем,— как и многие в городе,— что стихи свои Кузьма «сдирает» из книг, из журналов.

Тогда Тихон Ильич, не сходя с места, за столом в трактире Даева, написал брату твердую и краткую записку: пора старикам помириться, покаяться. А на другой день и примирение, и деловой разговор у Даева.

Было утро, в трактире еще пусто. Солнце светило в запыленные окна, озаряло столики, крытые сыроватыми красными скатертями, темный, только что вымытый отрубями пол, пахнущий конюшней, половых в белых рубашках и белых штанах. В клетке на все лады, как неживая, как заведенная, заливалась канарейка. Тихон Ильич, с нервным и серьезным лицом, сел за стол и, как только потребовал пару чаю, над его ухом раздался давно знакомый голос:

— Ну, здравствуй.

Был Кузьма ниже его ростом, костистее, суше. Было у него большое, худое, слегка скуластое лицо, насупленные серые брови, небольшие зеленоватые глаза. Начал он не просто.

— Спервоначалу изложу я тебе, Тихон Ильич,— начал он, как только Тихон Ильич налил ему чаю,— изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал... — Он усмехнулся: — С кем ты связываешься...

И у него была манера отчеканивать слоги, поднимать брови, расстегивать и застегивать при разговоре пиджак на верхнюю пуговицу. И, застегнувшись, он продолжал:

— Я, видишь ли,— анархист...

Тихон Ильич вскинул бровями.

— Не бойся. Политикой я не занимаюсь. А думать никому не закажешь. И вреда тебе тут — никакого. Буду хозяйствовать исправно, но, прямо говорю,— драть шкур не буду.

— Да и времена не те,— вздохнул Тихон Ильич.

— Ну, времена-то все те же. Можно еще,— драть-то.

Да нет, не годится. Буду хозяйствовать, свободное же время отдам саморазвитию... чтению, то есть.

— Ох, имей в виду: зачитаешься — в кармане не досчитаешься! — сказал, тряхнув головой и дернув кончиком губы, Тихон Ильич.— Да, пожалуй, и не наше это дело.

— Ну, я так не думаю,— возразил Кузьма.— Я, брат,— как бы это тебе сказать? — странный русский тип.

— Я и сам русский человек, имей в виду,— вставил Тихон Ильич.

— Да иной. Не хочу сказать, что я лучше тебя, но — иной. Ты вот, вижу, гордишься что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! Много баять не подобает, но скажу одно: не хвалитесь вы, за ради бога, что вы — русские. Дикий мы народ!

Тихон Ильич, нахмуриваясь, побарабанил пальцами по столу.

— Это-то, пожалуй, правильно,— сказал он.— Дикий народ. Шальной.

— Ну, вот то-то и есть. Я, могу сказать, довольно-таки пошатался по свету,— ну и что ж? — прямо нигде не видал скучнее и ленивее типов. А кто и не ленив,— покосился Кузьма на брата,— так и в том толку нет. Рвет, гандобит себе гнездо, а толку что?

— Как же так — толку что? — спросил Тихон Ильич.

— Да так. Вить его, гнездо-то, тоже надо со смыслом. Совью, мол, да и поживу по-человечески. Вот этим-то да вот этим-то.

И Кузьма постучал себя пальцем в грудь и в лоб.

— Нам, брат, видно, не до этого,— сказал Тихон Ильич.— «Поживи-ка у деревни, похлебай-ка серых щей, поноси худых лаптей!»

— Лаптей! — едко отозвался Кузьма.— Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они трижды прокляты! А кто виноват? Татаре, видишь ли, задавили! Мы, видишь ли, народ молодой! Да ведь авось и там-то, в Европе-то, тоже давили немало — монголы-то всякие. Авось и германцы-то не старше... Ну, да это разговор особый!

— Верно! — сказал Тихон Ильич.— Давай-ка лучше об делу поговорим!

Кузьма, однако, стал договаривать:

— В церковь я не хожу...

— Значит, ты молокан? — спросил Тихон Ильич и подумал: «Пропал я! Видно, надо развязываться с Дурновкой!»

— Вроде молокана,— усмехнулся Кузьма.— Да а ты-то ходишь? Кабы не страх да не нуждишка,— и совсем забыл бы.

— Ну, это не я первый, не я последний,— возразил Тихон Ильич, нахмуриваясь.— Все грешны. Да ведь сказано: за один вздох все прощается.

Кузьма покачал головою.

— Говоришь привычное! — сказал он строго.— А ты остановись да подумай: как же это так? Жил-жил свиньей всю жизнь, вздохнул,— и все как рукой сняло! Есть тут смысл ай нет?

Разговор становился тяжелым. «Правильно и это»,— подумал Тихон Ильич, глядя в стол блестящими глазами. Но, как всегда, хотелось уклониться от дум и разговора о боге, о жизни, и он сказал первое, что подвернулось на язык:

— И рад бы в рай, да грехи не пускают.

— Вот, вот, вот! — подхватил Кузьма, стуча ногтем по столу.— Самое что ни на есть любимое наше, самая погибельная наша черта: слово — одно, а дело — другое! Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи! Ну, а засим говори дело...

Канарейка стихла. В трактир набирался народ. Теперь было слышно с базара, как где-то в лавке удивительно четко и звонко бил перепел. И, пока шел деловой разговор, Кузьма все прислушивался к нему и порою вполголоса подхватывал: «Ловко!» А договорившись, хлопнул по столу ладонью, энергично сказал:

— Ну, значит, так,— не стать перетакивать! — и, запустив руку в боковой карман пиджака, вынул целую кипу бумаг и бумажек, нашел среди них в мраморно-серой обложке книжечку и положил ее перед братом.

— Вот! — сказал он.— Уступаю твоей просьбе да своей слабости. Книжонка плохая, стихи необдуманные, давнишние... Но делать нечего. На, бери и прячь.

И опять Тихона Ильича взволновало, что брат его — автор, что на этой мраморно-серой обложке напечатано:

«Стихотворения К. И. Красова». Он повертел книжку в руках и несмело сказал:

— А то бы прочитал что-нибудь... А? Уж сделай милость, прочти стишка три-четыре!

И, опустив голову, надев пенсне, далеко отставив от себя книжку и строго глядя на нее сквозь стекла, Кузьма стал читать то, что обычно читают самоучки: подражания Кольцову, Никитину, жалобы на судьбу и нужду, вызовы заходящей туче-непогоде. Но на худых скулах выступали розовые пятна, голос порою дрожал. Блестели глаза и у Тихона Ильича. Неважно было, хороши или дурны стихи,— важно то, что сочинил их его родной брат, простой человек, от которого пахло махоркой и старыми сапогами...

— А у нас, Кузьма Ильич,— сказал он, когда Кузьма смолк и, сняв пенсне, потупился,— а у нас одна песня...

И неприятно, горько дернул губою:

— У нас одна песня: что́ почем?

Водворив брата в Дурновке, он, однако, принялся за эту песню еще охотнее, чем прежде. Перед тем, как сдать брату на руки Дурновку, он придрался к Родьке из-за новых гужей, съеденных собаками, и отказал ему. Родька дерзко усмехнулся в ответ и спокойно пошел в избу собирать свое добро. Молодая выслушала отказ тоже как будто спокойно,— она, разойдясь с Тихоном Ильичом, опять взяла манеру бесстрастно молчать, не глядеть ему в глаза. Но через полчаса, уже собравшись, Родька пришел вместе с ней просить прощения. Молодая стояла на пороге, бледная, с опухшими от слез веками, и молчала; Родька гнул голову, мял картуз и тоже пытался плакать,— противно гримасничал, а Тихон Ильич сидел да косил бровями, щелкал на счетах. Смилостивился он только в одном — не вычел за гужи.

Теперь он был тверд. Отделываясь от Родьки и передавая дела брату, он чувствовал себя бодро, ладно. «Ненадежен брат, пустой, кажись, человек, ну, да покуда сойдет!» И, возвратясь на Воргол, без устали хлопотал весь октябрь. И, как бы в лад с его настроением, весь октябрь стояла чудесная погода. Но вдруг она переломилась,— сменилась бурей, ливнями, а в Дурновке случилось нечто совершенно неожиданное.

Родька работал в октябре на линии чугунки, а Молодая без дела жила дома, только изредка зарабатывала пятиалтынный, двугривенный в саду при усадьбе. Вела она себя странно: дома молчала, плакала, а в саду была резко-весела, хохотала, пела песни с Донькой Козой, очень глупой и красивой девкой, похожей на египтянку. Коза жила с мещанином, снимавшим сад, а Молодая, почему-то подружившаяся с ней, вызывающе поглядывала на его брата, нахального мальчишку, и, поглядывая, намекала в песнях, что она по ком-то сохнет. Было ли у нее с ним что-нибудь, неизвестно, но только кончилось все это большой бедой: уезжая под Казанскую в город, мещане устроили у себя в шалаше «вечерок»,— пригласили Козу и Молодую, всю ночь играли на двух ливенках, кормили подруг жамками, поили чаем и водкой, а на рассвете, когда уже запрягли телегу, внезапно, с хохотом, повалили пьяную Молодую наземь, связали ей руки, подняли юбки, собрали их в жгут над головою и стали закручивать веревкой. Коза кинулась бежать, забилась со страху в мокрые бурьяны, а когда выглянула из них,— после того, как телега с мещанами шибко покатила вон из сада,— то увидела, что Молодая, по пояс голая, висит на дереве. Был печальный туманный рассвет, по саду шептал мелкий дождик, Коза плакала в три ручья, зуб на зуб не попадала, развязывая Молодую, клялась отцом-матерью, что скорее ее, Козу, громом убьет, чем узнают на деревне, что случилось в саду... Но не сровнялось и недели, как пошли по Дурновке слухи о позоре Молодой.

Проверить эти слухи было, конечно, невозможно: «видеть — никто не видал, ну, а Коза-то и сбрехать недорого возьмет». Однако разговоры, вызванные слухами, не прекращались, и все с великим нетерпением ожидали прихода Родьки и его расправы с женой. Волнуясь,— опять выбившись из колеи! — ожидал этой расправы и Тихон Ильич, узнавший историю в саду от своих работников: ведь история-то могла кончиться убийством! Но кончилась она так, что еще неизвестно, что поразило бы Дурновку сильнее,— убийство или такой конец: в ночь на Михайлов день Родька, пришедший домой «рубаху сменить», умер «от живота»! На Воргле стало известно об этом поздно вечером, но Тихон Ильич тотчас же приказал запрячь

лошадь и в темноте, под дождем, понесся к брату. И сгоряча, выпив за чаем бутылку наливки, в страстных выражениях, с бегающими глазами, покаялся ему:

— Мой грех, брат, мой грех!

Кузьма долго молчал, выслушав его, долго ходил по комнате, перебирая пальцы, ломая их и хрустя суставами. Наконец ни с того ни с сего сказал:

— Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились! Не мотай, не мотай головой-то: жалеет! А как наслаждаются, когда кто-нибудь жену бьет смертным боем, али мальчишку дерет как сидорову козу, али потешается над ним? Это-то уж самая что ни на есть веселая тема.

— Имей в виду,— горячо перебил Тихон Ильич,— охальников всегда и везде было много.

— Так. А ты сам не привозил этого... ну, как его? Дурачка-то этого?

— Мотю-Утиную-Головку, что ли? — спросил Тихон Ильич.

— Ну, вот, вот... Не привозил ты его к себе на потеху?

И Тихон Ильич усмехнулся: привозил. Раз даже по чугунке доставили к нему Мотю — в бочке сахарной. Начальство знакомое — ну, и доставили. А на бочке написали: «Осторожно. Дурак битый».

— И учат этих самых дураков для потехи рукоблудству! — горько продолжал Кузьма.— Мажут бедным невестам ворота дегтем! Травят нищих собаками! Для забавы голубей сшибают с крыш камнями! А есть этих голубей, видите ли,— грех великий. Сам дух святой, видите ли, голубиный образ принимает!

Самовар давно остыл, свечка оплыла, в комнате тускло синел дым, вся полоскательница полна была вонючими размокшими окурками. Вентилятор,— жестяная труба в верхнем углу окна,— был открыт, и порою в нем что-то начинало визжать, кружиться и скучно-скучно ныть — «как в волостном правлении»,— думал Тихон Ильич. Но накурено было так, что не помогли бы и десять венти-

ляторов. А по крыше шумел дождь, а Кузьма ходил как маятник из угла в угол и говорил:

— Да-а, хороши, нечего сказать! Доброта неописанная! Историю почитаешь — волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство... Былины — тоже одно удовольствие: «распорол ему груди белые», «выпускал черева нá землю»... Илья, так тот своей собственной родной дочери «ступил на леву ногу и подернул за праву ногу»... А песни? Все одно, все одно: мачеха — «лихая да алчная», свекор — «лютый да придирчивый», «сидит на палате, ровно кобель на канате», свекровь опять-таки «лютая», «сидит на печи, ровно сука на цепи», золовки — непременно «псовки да кляузницы», деверья — «злые насмешники», муж — «либо дурак, либо пьяница», ему «свекор-батюшка вялит жану больней бить, шкуру до пят спустить», а невестушка этому самому батюшке «полы мыла — во щи вылила, порог скребла — пирог спекла», к муженьку же обращается с такой речью: «Встань, постылый, пробудися, вот тебе помои — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе обрывок — удавися»... А прибаутки наши, Тихон Ильич! Можно ли выдумать грязней и похабнее! А пословицы! «За битого двух небитых дают»... «Простота хуже воровства»...

— Значит, по-твоему, нищим-то лучше жить? — насмешливо спросил Тихон Ильич.

И Кузьма радостно подхватил его слова:

— Ну, вот, вот! Нету во всем свете голее нас, да зато и нету охальнее на эту самую голь. Чем позлей уязвить? Бедностью! «Черт! Тебе лопать нечего...» Да вот тебе пример: Дениска... ну, этот... сын Серого-то... сапожник... на днях и говорит мне...

— Стой,— перебил Тихон Ильич,— а как поживает сам Серый?

— Дениска говорит — «с голоду околевает».

— Стерва мужик! — сказал Тихон Ильич убежденно.— И ты мне про него песен не пой.

— Я и не пою,— сердито ответил Кузьма.— Слушай лучше про Дениску-то. Вот он и рассказывает мне: «Бывало, в голодный год, выйдем мы, подмастерья, на Черную Слободу, а там этих приституток — видимо-неви-

димо. И голодные, шкуры, преголодные! Дашь ей полхунта хлеба за всю работу, а она *и сожрет его весь под тобой*... То-то смеху было!..» Заметь! — строго крикнул Кузьма, останавливаясь: — «То-то смеху было!»

— Да постой ты, Христа ради,— опять перебил Тихон Ильич,— дай мне про дело-то слово сказать!

Кузьма остановился.

— Ну, говори,— сказал он.— Только что говорить-то? Как быть тебе? Да никак! Денег дать — вот и вся недолга. Ведь ты подумай: топить нечем, есть нечего, хоронить не на что! А потом опять ее нанять. Ко мне, в кухарки...

Домой уехал Тихон Ильич чем свет, холодным туманным утром, когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом, сонно пели петухи на деревне, скрытой туманом, спали собаки у крыльца, спала старая индюшка, взгромоздясь на сук полуголой, расцвеченной мертвыми осенними листьями яблони возле дома. В поле в двух шагах ничего не было видно за густой серой мглой, гонимой ветром. Спать Тихону Ильичу не хотелось, но чувствовал он себя измученным и, как всегда, шибко гнал лошадь, большую гнедую кобылу с подвязанным хвостом, намокшую и казавшуюся худей, щеголеватей, чернее. Он отвернулся от ветра, поднял справа холодный и влажный воротник чуйки, серебрившейся от мельчайшего дождевого бисера, сплошь покрывшего ее, глядел сквозь холодные капельки, висевшие на ресницах, как все толще навертывается липкий чернозем на бегущее колесо, как стоит перед ним и не проходит целый фонтан высоко толкущихся комьев грязи, уже залепивших его голенища, косился на работающую ляжку лошади, на ее прижатые затуманенные уши... А когда он, с пестрым от грязи лицом, подлетел, наконец, к дому, первое, что кинулось ему в глаза, была лошадь Якова у коновязки. Быстро замотав вожжи на передок, он соскочил с бегунков, подбежал к отворенной двери лавки — и в испуге остановился.

— Далдо-он! — говорила за стойкой Настасья Петровна, видимо подражая ему, Тихону Ильичу, но боль-

ным, ласковым голосом, и все ниже склонялась к ящику с деньгами, роясь в гремящих медяках и не находя в темноте монеты для сдачи.— Далдон! Где он, керосин-то, нынче дешевле продается?

И, не найдя, разогнулась, поглядела на стоящего перед ней в шапке и армяке, но босого Якова, на его косую бороду неопределенного цвета и прибавила:

— А не отравила она его?

И Яков поспешно забормотал:

— Не наша дело, Петровна... Чума ее знает... Наша дело — сторона... Сторона, к примеру...

И весь день у Тихона Ильича дрожали руки при воспоминании об этом бормотанье. Все, все думают, что отравила!

К счастью, тайна так и осталась тайной: Родьку схоронили, Молодая голосила, провожая гроб, так искренно, что была даже неприлична,— ведь эта голосьба должна быть не выражением чувств, а исполнением обряда,— и мало-помалу тревога Тихона Ильича улеглась.

Хлопот к тому же было по горло, а помощников — нет. От Настасьи Петровны помощи было мало. В батраки Тихон Ильич нанимал только «полетчиков» — до осенних заговен. И они уже разошлись. Остались только годовые,— кухарка, старик-караульщик, прозванный Жмыхом, да малый Оська, «олух царя небесного». А сколько заботы требовала одна скотина! Зимовало двадцать штук овец. В закуте сидело шесть черных, вечно угрюмых и чем-то недовольных кабанов. На варке стояло три коровы, бычок, красная телушка. На дворе — одиннадцать лошадей, а на стойле — сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый,— мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. И все это требовало глаза да глаза.

Настасья Петровна давно собиралась поехать погостить к знакомым в город. И наконец собралась и уехала. Проводив ее, Тихон Ильич бесцельно побрел в поле. По шоссе проходил с ружьем за плечами начальник почтового отделения в Ульяновке Сахаров, известный таким свирепым обращением с мужиками, что они говорили: «Подаешь письмо — руки-ноги трясутся!» Тихон Ильич вышел к нему

под дорогу. Приподняв бровь, он глянул на него и подумал:

«Дурак старик. Ишь, слоны слоняет по грязи».

И дружелюбно крикнул:

— С полем, что ли, Антон Маркыч?

Почтарь остановился. Тихон Ильич подошел и поздоровался.

— Ну, какое там поле! — сумрачно ответил почтарь, огромный, сутулый, с густыми серыми волосами, торчавшими из ушей и ноздрей, с большими бровными дугами и глубоко запавшими глазами.— Так, прошелся ради геморроя,— сказал он, особенно старательно выговаривая последнее слово.

— А имейте в виду,— с неожиданной горячностью отозвался Тихон Ильич, протягивая руку с растопыренными пальцами,— имейте в виду: совсем опустели наши палестины! Звания не осталось — что птицы, что зверя-с!

— Леса везде вырубили,— сказал почтарь.

— Да еще как-с! Как вырубили-то-с! Под гребеночку! — подхватил Тихон Ильич.

И неожиданно прибавил:

— Линяет-с! Все линяет-с!

Почему сорвалось с языка это слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки недаром. «Все линяет,— думал он,— вот как скотина после долгой и трудной зимы...» И, простившись с почтарем, долго стоял на шоссе, недовольно поглядывая кругом. Опять накрапывал дождь, дул неприятный мокрый ветер. Над волнистыми полями — озимями, пашнями, жнивьями и коричневыми перелесками — темнело. Сумрачное небо все ниже спускалось к земле. Оловом поблескивали залитые дождем дороги. На станции ждали почтового поезда в Москву, оттуда пахло самоваром, и это будило тоскливое желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи...

Ночью опять лил дождь, темь была, хоть глаз выколи. Спал Тихон Ильич плохо, мучительно скрипел зубами. Его знобило,— верно, простыл, стоя вечером на шоссе,— чуйка, которой он прикрылся, сползала на пол, и тогда снилось то, что преследовало с самого детства, когда по ночам зябла спина: сумерки, какие-то узкие переулки, бегущая толпа, скачущие на тяжких телегах, на злых вороных

битюгах пожарные... Раз он очнулся, зажег спичку, глянул на будильник,— он показывал три,— поднял чуйку и, опять засыпая, стал тревожиться: обворуют лавку, сведут лошадей...

Иногда казалось, что он на постоялом дворе в Данкове, что ночной дождь шумит по навесу ворот и поминутно дергается, звонит колоколец над ними,— приехали воры, привели в эту непроглядную темь его жеребца и, если узнают, что он тут, убьют его... Иногда же возвращалось сознание действительности. Но и действительность была тревожна. Старик ходил под окнами с колотушкой, но то казалось, что он где-то далеко-далеко, то Буян, захлебываясь, рвал кого-то, с бурным лаем убегал в поле и вдруг снова появлялся под окнами и будил, упорно брехал, стоя на одном месте. Тогда Тихон Ильич собирался выйти, глянуть,— что такое, все ли в порядке. Но как только доходило до того, чтобы решиться, встать, как гуще и чаще начинал стрекотать в темные окошечки крупный косой дождь, гонимый ветром из темных беспредельных полей, и милей отца-матери казался сон...

Наконец стукнула дверь, понесло сырым холодом,— караульщик, Жмых, шурша, втащил в прихожую вязанку соломы. Тихон Ильич открыл глаза: мутно, водянисто светало, окошечки были потные.

— Протопи, протопи, братуша,— сказал Тихон Ильич сиплым со сна голосом.— Да пойдем кормочку скотине дадим, и иди себе спать.

Старик, похудевший за ночь, весь синий от холода, сырости и усталости, глянул на него провалившимися мертвыми глазами. В мокрой шапке, в мокром коротком чекменишке и растрепанных лаптях, насыщенных водой и грязью, он что-то глухо заворчал, с трудом становясь на колени перед печкой, набивая ее холодной пахучей старновкой и вздувая серник.

— Ай язык-то корова отжевала? — сипло крикнул Тихон Ильич, слезая с постели.— Что под нос-то бубнишь?

— Цельную ночь шатался, теперь — кормочку давай,— пробормотал старик, не поднимая головы, как бы сам с собою.

Тихон Ильич покосился на него:

— Видел я, как ты шатался!

Он надел поддевку и, пересиливая мелкую дрожь в животе, вышел на истоптанное крылечко, на ледяную свежесть бледного ненастного утра. Всюду налило свинцовых луж, все стены потемнели от дождя. Чуть моросило, «но, верно, к обеду опять польет»,— подумал он. И с удивлением глянул на лохматого Буяна, кинувшегося к нему из-за угла: глаза блестят, язык свеж и красен, как огонь, горячее дыхание так и пышет псиной... И это после целой ночи беготни и лая!

Он взял Буяна за ошейник и, шлепая по грязи, обошел, оглядел все замки. Потом привязал его на цепь под амбаром, вернулся в сени и заглянул в большую кухню, в избу. В избе противно и тепло воняло; кухарка спала на голом конике, закрыв лицо фартуком, выставив кострец и подогнув к животу ноги в старых больших валенках с толсто натоптанными по земляному полу подошвами; Оська лежал на нарах, в полушубке, в лаптях, уткнув голову в сальную тяжелую подушку.

«Связался черт с младенцем! — подумал Тихон Ильич с отвращением.— Ишь, всю ночь распутничала, а под утро — на лавочку!»

И, оглянув черные стены, маленькие окошечки, лохань с помоями, громадную плечистую печь, громко и строго крикнул:

— Эй! Господа-бояре! Пора и честь знать!

Пока кухарка затапливала печку, варила кабанам картошки и раздувала самовар, Оська, без шапки, спотыкаясь от дремоты, таскал хоботье лошадям и коровам. Тихон Ильич сам отпер скрипучие ворота варка и первый вошел в его теплый и грязный уют, обнесенный навесами, денниками и закутами. Выше щиколки был унавожен варок. Навоз, моча, дождь — все слилось и образовало густую коричневую жижу. Лошади, уже темнея бархатной зимней шерстью, бродили под навесами. Овцы грязно-серой массой сбились в один угол. Старый бурый мерин одиноко дремал возле пустых яслей, измазанных тестом. С неприветливого ненастного неба над квадратом двора моросило и моросило. Кабаны болезненно, настойчиво ныли, урчали в закуте.

«Скука!» — подумал Тихон Ильич и тотчас же свирепо гаркнул на старика, тащившего вязанку старновки:

— Что ж по грязи-то тащишь, старая транда?

Старик бросил старновку наземь, поглядел на него и вдруг спокойно сказал:

— От транды слышу.

Тихон Ильич быстро оглянулся,— вышел ли малый,— и, убедившись, что вышел, быстро и тоже как будто спокойно подошел к старику, дал ему в зубы, да так, что тот головой мотнул, схватил его за шиворот и изо всей силы пустил к воротам.

— Вон! — крикнул он, задохнувшись и побледнев, как мел.— Чтоб твоего и духу здесь не пахло больше, рвань ты этакая!

Старик вылетел за ворота — и через пять минут, с мешком за плечами и с палкой в руке, уже шагал по шоссе, домой. Тихон Ильич трясущимися руками напоил жеребца, засыпал ему свежего овса,— вчерашний он только перерыл, переслюнявил,— и, широко шагая, утопая в жиже и навозе, пошел в избу.

— Готово, что ли? — крикнул он, приотворив дверь.

— Поспеешь! — огрызнулась кухарка.

Избу застилало теплым пресным паром, валившим из чугуна от картошек. Кухарка, вместе с малым, яростно толкла их толкачами, посыпая мукой, и за стуком Тихон Ильич не слыхал ответа. Хлопнув дверью, он пошел пить чай.

В маленькой прихожей он поддал ногой грязную тяжелую попону, лежавшую у порога, и направился в угол, где, над табуреткой с оловянным тазом, был прибит медный рукомойник и на полочке лежал обмызганный кусочек кокосового мыла. Гремя рукомойником, он косил, двигал бровями, раздувал ноздри, не мог остановить злого, бегающего взгляда и с особенной отчетливостью говорил:

— Вот так работнички! Скажи ты ему слово — он тебе десять! Скажи ему десять — он тебе сто! Да нет, брешешь! Авось не к лету, авось вас, чертей, много! К зиме-то, брат, жрать захочешь,— придешь, сукин сын, приде-ешь, покло-о-нишься!

Утирка висела возле рукомойника с Михайлова дня. Она была так затерта, что, взглянув на нее, Тихон Ильич стиснул челюсти.

— Ох! — сказал он, закрывая глаза и тряся головой.— Ох, мати царица небесная!

Две двери вели из прихожей. Одна, налево,— в комнату для приезжающих, длинную, полутемную, окошечками на варок; стояли в ней два больших дивана, жестких, как камень, обитых черной клеенкой, переполненных и живыми и раздавленными, высохшими клопами, а на простенке висел портрет генерала с лихими бобровыми бакенбардами; портрет окаймляли маленькие портреты героев русско-турецкой войны, а внизу была подпись: «Долго будут дети наши и славянские братушки помнить славные дела, как отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил, победил врагов неверных и прошел с детьми своими по таким крутизнам, где носились лишь туманы да пернатые цари». Другая дверь вела в комнату хозяев. Там, направо, возле двери, блестела стеклами горка, налево белела печь-лежанка; печь когда-то треснула, ее, по белому, замазали глиной — и получились очертания чего-то вроде изломанного худого человека, крепко надоевшего Тихону Ильичу. За печью высилась двуспальная постель; над постелью был прибит ковер мутно-зеленых и кирпичных шерстей с изображением тигра, усатого, с торчащими кошачьими ушами. Против двери, у стены, стоял комод, крытый вязаной скатертью, на нем — венчальная шкатулка Настасьи Петровны...

— В лавку! — крикнула, приотворив дверь, кухарка.

Дали затянуло водянистым туманом, опять становилось похоже на сумерки, моросил дождь, но ветер повернул, дул с севера — и воздух посвежел. Веселее и звончей, чем за все последние дни, крикнул на станции отходивший товарный поезд.

— Здорово, Ильич,— сказал, кивая мокрой манджурской папахой, трегубый мужик, державший у крыльца мокрую пегую лошадь.

— Здорово,— кинул Тихон Ильич, косо глянув на белый крепкий зуб, блестевший из-за раздвоенной губы мужика.— Что надо?

И, торопливо отпустив соли и керосину, торопливо вернулся в горницы.

— Лба не дадут перекрестить, собаки! — бормотал он на ходу.

Самовар, стоявший на столе возле простенка, бурлил, клокотал, зеркальце, висевшее над столом, подернулось налетом белого пара. Отпотели окна и олеография, прибитая под зеркалом,— великан в желтом кафтане и красных сафьяновых сапогах, с российским стягом в руках, из-за которого глядел башнями и глазами московский кремль. Фотографические карточки в рамках из раковин окружали эту картину. На самом почетном месте висел портрет знаменитого иерея в муаровой рясе, с реденькой бородкой, с припухшими щеками и маленькими пронзительными глазками. И, взглянув на него, Тихон Ильич истово перекрестился на икону в углу. Потом снял с самовара закопченный чайник, налил стакан чаю, крепко пахнущего распаренным веником.

«Лба не дадут перекрестить,— думал он, страдальчески морщась.— Зарезали, будь они прокляты!»

Казалось, что нужно что-то вспомнить, сообразить или просто лечь и выспаться как следует. Хотелось тепла, покоя, ясности, твердости мысли. Он встал, подошел к горке, задребезжавшей стеклами и посудой, взял с полки бутылку рябиновки, кубастенький стаканчик, на котором было написано: «Его же и монаси приемлют»...

— Ай не надо? — сказал он вслух.

И налил и выпил, еще налил и еще выпил. И, закусывая толстым кренделем, сел за стол.

Он жадно хлебал с блюдечка горячий чай, сосал, держа на языке, кусочек сахару. Он рассеянно и подозрительно покосился, хлебая чай, на простенок, на мужика в желтом кафтане, на карточки в рамках из раковин и даже на иерея в муаровой рясе.

«Не до леригии нам, свиньям!» — подумал он и, как бы оправдываясь перед кем-то, грубо прибавил: — Поживика у деревни, похлебай-ка кислых щей!

Косясь на иерея, он чувствовал, что все сомнительно... даже, кажется, и обычное благоговение его к этому иерею... сомнительно и не продумано. Если подумать хорошенько... Но тут он поспешил перевести взгляд на московский кремль.

— Страм сказать! — пробормотал он.— В Москве сроду не бывал!

Да, не бывал. А почему? Кабаны не велят! То торга-

шество не пускало, то постоялый двор, то кабак. Теперь вот не пускают жеребец, кабаны. Да что — Москва! В березовый лесишко, что за шоссе, и то десять лет напрасно пробирался. Все надеялся как-нибудь урвать свободный вечерок, захватить с собой ковер, самовар, посидеть на траве, в прохладе, в зелени,— да так и не урвал... Как вода меж пальцев, скользят дни, опомниться не успел — пятьдесят стукнуло, вот-вот и конец всему, а давно ли, кажись, без порток бегал? Прямо вчера!

Неподвижно смотрели лица из рамок-раковинок. Вот, на полу (но среди густой ржи) лежат двое — сам Тихон Ильич и молодой купец Ростовцев — и держат в руках стаканы, ровно до половины налитые темным пивом... Какая дружба завязалась было между Ростовцевым и Тихоном Ильичом! Как запомнился тот серый масленичный день, когда снимались! Но в каком году это было? Куда исчез Ростовцев? Теперь нет даже уверенности, жив он или нет... А вот стоят, вытянувшись во фронт и окаменев, три мещанина, гладко причесанные на прямой ряд, в вышитых косоворотках, в длинных сюртуках, в расчищенных сапогах,— Бучнев, Выставкин и Богомолов. Выставкин, тот, что посредине, держит перед грудью хлеб-соль на деревянной тарелке, прикрытой полотенцем, расшитым петухами, Бучнев и Богомолов — по иконе. Эти снимались в пыльный, ветреный день, когда освящали элеватор,— когда приезжали архиерей и губернатор, когда Тихон Ильич так горд был тем, что попал в число публики, приветствовавшей начальство. Но что осталось в памяти от этого дня? Только то, что часов пять ждали возле элеватора, что тучей летела белая пыль по ветру, что губернатор, длинный и чистый покойник в белых штанах с золотыми лампасами, в шитом зóлотом мундире и треуголке, шел к депутации необыкновенно медленно... что было очень страшно, когда он заговорил, принимая хлеб-соль, что всех поразили необыкновенной худобой и белизной его руки, их кожа, тончайшая и блестящая, как снятая со змеи шкурка, блестящие, размытые перстни и кольца на сухих тонких пальцах с прозрачными длинными ногтями... Теперь губернатора этого уже нет в живых, нет в живых и Выставкина... А через пять, десять лет так же будут говорить и про Тихона Ильича:

— Покойный Тихон Ильич...

В горнице стало теплей и уютней от нагревшейся печки, зеркальце прояснилось, но за окнами ничего не было видно, стекла белели матовым паром,— значит, на дворе свежело. Все слышнее доносился нудный стон голодных кабанов,— и вдруг этот стон превратился в дружный и мощный рев: верно, кабаны заслышали голоса кухарки и Оськи, тащивших к ним тяжелую лоханку с месивом. И, не кончив дум о смерти, Тихон Ильич кинул папиросу в полоскательницу, надернул поддевку и поспешил на варок. Широко и глубоко шагая по хлюпающему навозу, он сам отворил закуту — и долго не сводил жадных и тоскливых глаз с кабанов, кинувшихся к корыту, в которое с паром вывалили месиво.

Думу о смерти перебивала другая: покойный-то покойный, а этого покойного, может быть, в пример будут ставить. Кто он был? Сирота, нищий, в детстве не жравший по два дня куска хлеба... А теперь?

— Твою биографию жизни описать следует,— насмешливо сказал однажды Кузьма.

А насмехаться-то, пожалуй, и не над чем. Значит, была башка на плечах, если из нищего, едва умевшего читать мальчишки вышел не Тишка, а Тихон Ильич...

Но вдруг кухарка, тоже пристально глядевшая на кабанов, теснивших друг друга и залезавших в корыто передними ножками, икнула и сказала:

— Ох, господи! Кабы у нас какой беды нынче не было! Вижу нынче во сне — нагнали к нам будто бы скотины на двор, нагнали овец, коров, свиней всяких... Да все черных, все черных!

И опять засосало сердце. Да, вот скотина эта самая! От одной скотины удавиться можно. Трех часов не прошло,— опять берись за ключи, опять таскай корм всему двору. В общем деннике — три дойных коровы, в отдельных — красная телушка, бык Бисмарк: им теперь подавай сена. Лошадям, овцам в обед полагается хоботье, а жеребцу — и сам черт не придумает что! Жеребец просунул морду в решетчатый верх двери, поднял верхнюю губу, обнажил розовые десны и белые зубы, исказил ноздри... И Тихон Ильич, с неожиданным для самого себя бешенством, вдруг гаркнул на него:

— Балуй, анафема, разрази тебя громом!

Опять он промочил ноги, прозяб — шла крупа — и опять выпил рябиновки. Ел картошки с подсолнечным маслом и солеными огурцами, щи с грибной подливкой, пшенную кашу... Лицо раскраснелось, голова отяжелела.

Не раздеваясь,— только стащив нога об ногу грязные сапоги,— он лег на постель. Но тревожило то, что придется вот-вот опять вставать: лошадям, коровам и овцам надо к вечеру задать овсяной соломы, жеребцу — тоже... или нет, лучше перебить ее с сеном, а потом полить и посолить хорошенько... Только ведь непременно проспишь, если дашь себе волю. И Тихон Ильич потянулся к комоду, взял будильник и стал заводить его. И будильник ожил, застучал — и в горнице стало как будто покойнее под его бегущий мерный стук. Мысли спутались...

Но только что спутались, как внезапно раздалось грубое и громкое церковное пение. В испуге открыв глаза, Тихон Ильич сперва разобрал только одно: орут в нос два мужика, а из прихожей несет холодом и запахом мокрых чекменей. Потом вскочил, сел и разглядел, что это за мужики: один был слепец, рябой, с маленьким носом, длинной верхней губой и большим круглым черепом, а другой — сам Макар Иванович!

Был Макар Иванович когда-то просто Макаркой — так и звали все: «Макарка Странник» — и зашел однажды в кабак к Тихону Ильичу. Брел куда-то по шоссе,— в лаптях, скуфье и засаленном подряснике,— и зашел. В руках — высокая палка, выкрашенная медянкой, с крестом на верхнем конце и с копьем на нижнем, за плечами — ранец и солдатская манерка; волосы длинные, желтые; лицо — широкое, цвета замазки, ноздри — как два ружейных дула, нос — переломленный, вроде седельного арчака, а глаза, как это часто бывает при таких носах, светлые, остро-блестящие. Бесстыжий, сметливый, жадно куривший цигарку за цигаркой и пускавший дым в ноздри, говоривший грубо и отрывисто, тоном, совершенно исключающим возражения, он очень понравился Тихону Ильичу, и как раз за этот тон,— за то, что сразу было видно: «прожженный сукин сын».

И Тихон Ильич оставил его у себя — за подручного. Скинул с него бродяжью одежу и оставил. Но вором

Макарка оказался таким, что пришлось жестоко избить его и прогнать. А через год Макарка на весь уезд прославился прорицаниями,— настолько зловещими, что его посещений стали бояться, как огня. Подойдет к кому-нибудь под окно, заунывно затянет «со святыми упокой» или подаст кусочек ладану, щепотку пыли — и уж не обойтись тому дому без покойника.

Теперь Макарка, в своей прежней одеже и с палкой в руке, стоял у порога и пел. Слепой подхватывал, закатывая молочные глаза под лоб, и по той несоразмерности, которая была в его чертах, Тихон Ильич сразу определил его, как беглого каторжника, страшного и беспощадного зверя. Но еще страшнее было то, что́ пели эти бродяги. Слепой, сумрачно шевеля поднятыми бровями, смело заливался мерзким гнусавым тенором. Макарка, остро блестя неподвижными глазами, гудел свирепым басом. Выходило что-то не в меру громкое, грубо-стройное, древнецерковное, властное и грозящее.

Расплачется мать сыра-земля, разрыдается! —

заливался слепой.

Ра-спла-че-тся, раз-ры-да-ется! —

убежденно вторил Макарка.

Перед Спасом, перед образом,—

вопил слепой.

Авось грешники покаются! —

угрожал Макарка, раскрывая нахальные ноздри. И, сливая свой бас с тенором слепого, твердо выговаривал:

Не минуют суда божьего!
Не минуют огня вечного!

И вдруг оборвал,— в лад со слепым,— крякнул и просто, своим обычным дерзким тоном, приказал:

— Пожалуйте, купец, рюмочкой погреться.

И, не дождавшись ответа, шагнул через порог, подошел к постели и сунул Тихону Ильичу в руки какую-то картинку.

Это была простая вырезка из иллюстрированного журнала, но, взглянув на нее, Тихон Ильич почувствовал вне-

запный холод под ложечкой. Под картинкой, изображавшей гнущиеся от бури деревья, белый зигзаг по тучам и падающего человека, была подпись: «Жан-Поль Рихтер, убитый молнией».

И Тихон Ильич опешил.

Но тотчас же медленно изорвал картинку на мелкие клочки. Потом слез с постели и, натягивая сапоги, сказал:

— Ты напугивай кого подурее меня. Я-то, брат, хорошо знаком с тобою! Получи, что следует, и — с богом.

Потом пошел в лавку, вынес Макарке, стоявшему со слепым возле крыльца, два фунта кренделей, пару селедок и повторил еще строже:

— С господом!

— А табачку? — нагло спросил Макарка.

— Табачку у самого к одному бочку,— отрезал Тихон Ильич.— Меня, брат, не перебрешешь!

И, помолчав, прибавил:

— Удавить тебя, Макарка, мало за твои шашни!

Макарка поглядел на слепого, стоявшего прямо, твердо, с высоко поднятыми бровями, и спросил его:

— Человек божий, как по-твоему? Удавить ай расстрелять?

— Расстрелять вернее,— ответил слепой серьезно.— Тут, по крайности, прямая сообщение.

Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою. Грязь густела. Спровадив Макарку, Тихон Ильич потопал озябшими ногами по крыльцу и пошел в горницу. Там он, не раздеваясь, сел на стул возле окошка, закурил и опять задумался. Вспомнились лето, бунт, Молодая, брат, жена... и то, что еще до сих пор не платил по квиткам за рабочую пору. Был у него обычай затягивать платежи. Девки и ребята, ходившие к нему на поденщину, по целым дням стояли осенью у его порога, жаловались на самые крайние нужды, раздражались, говорили иногда дерзости. Но он был непреклонен. Он кричал, призывая бога во свидетели, что у него «во всем доме две трынки, хоть обыщи!» — и вывертывал карманы, кошелек, в притворном бешенстве плевал, как бы пораженный недоверием, «бессовестностью» просителей... И нехорошим показался ему этот обычай теперь. Беспощаднострог, холоден был он с женой, чужд ей на редкость.

И вдруг и это поразило его: боже мой, да ведь он даже понятия не имеет, что она за человек! Чем она жила, что думала, что чувствовала все эти долгие годы, прожитые с ним в непрестанных заботах?

Он кинул папиросу, закурил другую... Ух, и умен эта бестия, Макарка! А раз умен, разве не может он предугадать — кого, что и когда ждет? Его же, Тихона Ильича, ждет непременно что-нибудь скверное. Ведь уж и не молоденький! Сколько его сверстников на том свете! А от смерти да старости — спасенья нет. Не спасли бы и дети. И детей бы он не знал, и детям был бы чужой, как чужд он всем близким — и живым и умершим. Народу на свете — как звезд на небе; но так коротка жизнь, так быстро растут, мужают и умирают люди, так мало знают друг друга и так быстро забывают все пережитое, что с ума сойдешь, если вдумаешься хорошенько! Вот он давеча про себя сказал:

— Мою жизнь описать следует...

А что описывать-то? Нечего. Нечего или не стоит. Ведь он сам почти ничего не помнит из этой жизни. Совсем, например, забыл детство: так, мерещится порой день какой-нибудь летний, какой-нибудь случай, какой-нибудь сверстник... Кошку чью-то опалил однажды — секли. Плеточку со свистулькой подарили — и несказанно обрадовали. Пьяный отец подозвал как-то,— ласково, с грустью в голосе:

— Поди ко мне, Тиша, поди, родной!

И неожиданно сгреб за волосы...

Если б жив был теперь шибай Илья Миронов, Тихон Ильич кормил бы старика из милости и не знал бы, едва замечал его. Ведь было же так с матерью, спроси его теперь: помнишь мать? — и он ответит: помню какую-то гнутую старуху... навоз сушила, печку топила, тайком пила, ворчала... И больше ничего. Чуть не десять лет служил он у Маторина, но и эти десять лет слились в один-два дня: апрельский дождик накрапывает и пятнит железные листы, которые, грохоча и звеня, кидают на телегу возле соседней лавки... серый морозный полдень, голуби шумной стаей падают на снег возле лавки другого соседа, торгующего мукой, крупой, халуем,— гуртуют, воркуют, трепещут крыльями,— а они с братом бычьим хвостом

подхлестывают жужжащий у порога кубарь... Маторин был тогда молод, крепок, сизо-красен, с чисто выбритым подбородком, с рыжими бачками, срезанными до половины. Теперь он обеднел, шмыгает старческой походкой в своей выгоревшей на солнце чуйке и глубоком картузе от лавки к лавке, от знакомого к знакомому, играет в шашки, сидит в трактире Даева, пьет понемножку, хмелеет и приговаривает:

— Мы — люди маленькие: выпили, закусили, расплатились — и домой!

А встречая Тихона Ильича, не узнает его, жалко улыбается:

— Никак, ты, Тиша?

А сам Тихон Ильич не узнал при первой встрече, нынешней осенью,— брата родного: «Да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревням и проселкам?»

— Постарел ты, брат!

— Есть малость.

— А раненько!

— На то я и русский. У нас это — живо!

Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко:

— Да неужели так и в других странах?

Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей,— например, купец Рукавишников,— рассказывали... Да и без Рукавишникова можно сообразить. Взять хоть русских немцев или жидов: все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели,— и не только по ньяному делу,— все помогают друг другу; если разъезжаются — переписываются, портреты отцов, матерей, знакомых из семьи в семью передают; детей учат, любят, гуляют с ними, разговаривают, как с равными,— вот вспомнить-то ребенку и будет что. А у нас все враги друг другу, завистники, сплетники, друг у друга раз в год бывают, мечутся как угорелые, когда нечаянно заедет кто, кидаются комнаты прибирать... Да что! Ложки варенья жалеют гостю! Без упрашиваний гость лишнего стакана не выпьет...

Мимо окон прошла чья-то тройка. Тихон Ильич внимательно оглядел ее. Лошади поджарые, но, видно, рез-

вые. Тарантас в исправности. За кем бы это? Поблизости ни у кого нет такой тройки. Поблизости помещики такая голь, что без хлеба по три дня сидят, последние ризы с икон продали, разбитого стекла вставить, крышу поправить не на что; окна подушками затыкают, а по полу, как дождь, лотки и ведра расставляют,— сквозь потолки как сквозь решета льет... Потом прошел Дениска-сапожник. Куда это? И с чем? Никак, с чемоданом? Ох, и дурак же, прости ты, господи, мое согрешение!

Тихон Ильич сунул ноги в калоши и вышел на крыльцо. Выйдя и глубоко дохнув свежим воздухом предзимних синеватых сумерек, опять остановился, сел на лавочку... Да, вот тоже семейка — Серый с сынком! Мысленно Тихон Ильич сделал ту дорогу, которую одолел Дениска по грязи, с чемоданом в руке. Увидал Дурновку, свою усадьбу, овраг, избы, сумерки, огонек у брата, огоньки по дворам... Кузьма сидит небось и читает. Молодая стоит в темной и холодной прихожей, возле чуть теплой печки, греет руки, спину, ждет, когда скажут — «ужинать!» — и, поджав постаревшие, подсохшие губы, думает... О чем? О Родьке? Брехня все это, будто она его отравила, брехня! А если отравила... Господи боже! Если отравила — что должна она чувствовать? Какой могильный камень лежит на ее скрытной душе!

Мысленно он взглянул с крыльца своего дурновского дома на Дурновку, на черные избы по косогору за оврагом, на риги и лозинки на задворках... За полями влево, на горизонте,— железнодорожная будка. В сумерки мимо нее проходит поезд — бежит цепь огненных глаз. А потом загораются глаза по избам. Темнеет, становится уютней — и неприятное чувство шевельнется каждый раз, когда взглянешь на избы Молодой и Серого, что стоят почти среди Дурновки, через три двора друг от друга: ни в той, ни в другой нет огня. Детишки Серого, как кроты, слепнут, шалеют от радости и удивления, когда удастся в какой-нибудь счастливый вечер осветить избу...

— Нет, грешно! — твердо сказал Тихон Ильич и поднялся с места.— Нет, безбожно! Надо хоть маленько помочь делу,— сказал он, направляясь к станции.

Морозило, душистее тянуло от вокзала запахом самовара. Чище блестели там огни, звучно громыхали бубен-

чики на тройке. Хоть куда троечка! Зато лошаденки мужиков-извозчиков, их крохотные тележки на полурассыпавшихся, косых колесах, облепленных грязью,— смотреть жалко! Визжала и глухо хлопала за палисадником вокзальная дверь. Обогнув его, Тихон Ильич поднялся на высокое каменное крыльцо, на котором шумел двухведерный медный самовар, краснея, как огненными зубами, своей решеткой, и столкнулся как раз с кем и нужно было,— с Дениской.

Дениска, в раздумье опустив голову, стоял на крыльце и держал в правой руке дешевый серый чемоданишко, щедро усеянный жестяными шляпками и перевязанный веревкой. Был Дениска в поддевке, старой и, видимо, очень тяжелой, с обвисшими плечами и очень низкой талией, в новом картузе и разбитых сапогах. Ростом он не вышел, ноги его, сравнительно с туловищем, были очень коротки. Теперь, при низкой талии и сбитых сапогах, ноги казались еще короче.

— Денис? — окликнул Тихон Ильич.— Ты зачем здесь, архаровец?

Никогда и ничему не удивлявшийся Дениска спокойно поднял на него свои темные и томные, с грустной усмешкой, с большими ресницами глаза и стащил с волос картуз. Волосы у него были мышиного цвета и не в меру густы, лицо землистое и как будто промасленное, но глаза красивые.

— Здравствуйте, Тихон Ильич,— ответил он певучим городским тенорком и, как всегда, как будто застенчиво.— Еду... в эту самую... в Тулу.

— Это зачем же, позвольте спросить?

— Може, место какая выйдет...

Тихон Ильич оглядел его. В руке — чемодан, из кармана поддевки торчат какие-то зеленые и красные книжечки, свернутые в трубку. Поддевка...

— А щеголь-то ты не тульский!

Дениска тоже оглядел себя.

— Поддевка-то? — скромно спросил он.— Что ж, вот наживу в Туле денег, вендерку себе куплю,— сказал он, называя венгерку вендеркой.— Я летом как было справился! Газетами торговал.

Тихон Ильич кивнул на чемодан:

— А это что ж за штука такая?

Дениска опустил ресницы:

— Чумадан себе купил.

— Да уж в венгерке без чемодана никак нельзя! — насмешливо сказал Тихон Ильич.— А в кармане что?

— Так, кляповинка разная...

— Покажь-ка.

Дениска поставил чемодан на крыльцо и вытащил из кармана книжечки. Тихон Ильич взял и внимательно переглядел их. Песенник «Маруся», «Жена-развратница», «Невинная девушка в цепях насилия», «Поздравительные стихотворения родителям, воспитателям и благодетелям», «Роль...»

Тут Тихон Ильич запнулся, но Дениска, следивший за ним, бойко и скромно подсказал:

— Роль проталерията в России.

Тихон Ильич качнул головой.

— Новости! Жрать нечего, а чемоданы да книжки покупаешь. Да еще какие! Верно, недаром тебя смутьяном-то зовут. Ты, говорят, все царя ругаешь? Смотри, брат!

— Да авось не имение купил,— ответил Дениска с грустной усмешкой.— А царя я не трогал. На меня брешут, как на мертвого. А я и в мыслях того не держал. Ай я лунатик какой?

Завизжал блок на двери, показался станционный сторож,— седой отставной солдат с свистящей и хрипящей одышкой,— и буфетчик, толстый, с заплывшими глазками, с сальными волосами.

— Посторонитесь-ка, господа купцы, позвольте самоварчик взять...

Дениска посторонился и опять взялся за ручку чемодана.

— Спер, верно, где-нибудь? — спросил Тихон Ильич, кивая на чемодан и думая о деле, по которому пошел на станцию.

Дениска промолчал, нагнув голову.

— И пустой ведь?

Дениска рассмеялся.

— Пустой...

— С места-то прогнали?

— Я сам ушел.

Тихон Ильич вздохнул.

— Живой отец! — сказал он.— Тот тоже всегда так-то: наладят его в шею, а он — «я сам ушел».

— Глаза лопни, не брешу.

— Ну, хорошо, хорошо... Дома-то был?

— Был две недели.

— Отец-то опять без дела?

— Таперь без дела.

— Таперь! — передразнил Тихон Ильич.— Деревня стоеросовая! А еще революцанер. Лезешь в волки, а хвост собачий.

«Авось и ты-то из тех же квасов»,— с усмешечкой подумал Дениска, не поднимая головы.

— Значит, сидит себе Серый да покуривает?

— Пустой малый! — убежденно сказал Дениска.

Тихон Ильич постучал ему в голову костяшками.

— Хоть бы дурь-то свою не выказывал! Кто ж так-то про отца говорит?

— Стар кобель, да не батькой звать,— ответил Дениска спокойно.— Отец — так корми. А он дюже меня кормил?

Но Тихон Ильич не дослушал. Он выбирал удобную минуту, чтобы начать деловой разговор. И, не слушая, перебил:

— А на билет-то до Тулы есть?

— А на кой он мне, билет-то? — ответил Дениска.— Приду в вагон,— прямо, господи благослови, под лавку.

— А книжечки-то где расчитывать? Под лавкой-то не расчитаешься.

Дениска подумал.

— Вона! — сказал он.— Не все ж под лавкой. Залезу в нужник,— читай хошь до свету.

Тихон Ильич сдвинул брови.

— Ну вот что,— начал он.— Вот что: всю эту музыку пора тебе бросать. Не маленький, дурак. Вали-ка назад, на Дурновку,— пора к делу прибиваться. А то ведь на вас смотреть тошно. У меня вон... надворные советники лучше живут,— сказал он, разумея дворовых собак.— Помогу, уж так и быть... на первое время. Ну, на товаришко там, на струмент... И будешь и сам кормиться, и отцу хоть немного подавать.

«К чему это он гнет?» — подумал Дениска.

А Тихон Ильич решился и докончил:

— Да и жениться пора.

«Та-ак!» — подумал Дениска и не спеша стал завертывать цигарку.

— Что ж,— спокойно и чуть-чуть печально отозвался он, не поднимая ресниц.— Я каляниться не стану. Жениться можно. По приституткам-то хуже ходить.

— Ну вот то-то и оно-то,— подхватил Тихон Ильич.— Только, брат, имей в виду,— жениться с умом надо. Их, детей-то, с капиталом хорошо водить.

Дениска захохотал.

— Чего гогочешь-то?

— Да как же! Водить! Вроде кур али свиней.

— Не меньше кур и свиней есть просят.

— А на ком? — с печальной усмешкой спросил Дениска.

— Да на ком? Да... на ком хочешь.

— Это на Молодой, что ли?

Тихон Ильич густо покраснел.

— Дурак! А Молодая чем плоха? Баба смирная, работящая...

Дениска помолчал, ковыряя ногтем жестяную шляпку на чемодане. Потом прикинулся дураком.

— Их, молодых-то, много,— сказал он протяжно.— Не знаю, про какую вы балакаете... Про энту, что ль, с какой вы жили?

Но Тихон Ильич уже оправился.

— Жил я ай нет,— это не твоего, свинья, ума дело,— ответил он и так быстро и внушительно, что Дениска покорно пробормотал:

— Да мне одна честь... Я ведь это так... к слову...

— Ну, значит, и не бреши попусту. Людьми сделаю. Понял? Приданого дам... Понял?

Дениска задумался.

— Вот съезжу в Тулу...— начал он.

— Нашел петух земчужное зерно! На кой ляд тебе Тула-то?

— Дюже дома оголодал...

Тихон Ильич распахнул чуйку, сунул руку в карман поддевки,— решил было дать Дениске двугривенный. Но

спохватился,— глупо деньги швырять, да еще и зазнается этот толкач, подкупают, мол,— и сделал вид, что ищет что-то.

— Эх, папиросы забыл! Дай-ка свернуть.

Дениска подал ему кисет. Над крыльцом уже зажгли фонарь, и при его тусклом свете Тихон Ильич вслух прочел крупно вышитое белыми нитками на кисете:

«Каво люблю таму дарю люблю сердечна дарю кисет на вечно».

— Ловко! — сказал он, прочитав.

Дениска застенчиво потупился.

— Значит, уж есть краля-то?

— Мало ль их, сук, шатается! — ответил Дениска беспечно.— А жениться я не отказываюсь. Ворочусь к мясоеду, и господи благослови...

Из-за палисадника загремела и с грохотом подкатила к крыльцу телега, вся закиданная грязью, с мужиком на грядке и ульяновским дьяконом Говоровым посредине, в соломе.

— Ушел? — тревожно крикнул дьякон, выкидывая из соломы ногу в новой калоше.

Каждый волос его красно-рыжей лохматой головы буйно вился, шапка съехала на затылок, лицо разорделось от ветра и волнения.

— Поезд-то? — спросил Тихон Ильич.— Нет-с, еще и не выходил-с.

— Ага! Ну, слава богу! — радостно воскликнул дьякон и все-таки, выскочив из телеги, стремглав кинулся к дверям.

— Ну, стало быть, так,— сказал Тихон Ильич.— Стало быть — до мясоеда.

В вокзале пахло мокрыми полушубками, самоваром, махоркой, керосином. Накурено было так, что точило горло, еле светили лампы в дыму, в полумраке, сырости и холоде. Визжали и хлопали двери, толпились и галдели мужики с кнутами в руках — извозчики из Ульяновки, дожидавшиеся седока иногда по целой неделе. Среди них, подняв брови, ходил еврей-хлеботорговец, в котелке, в пальто с капюшоном. Возле кассы мужики тащили на весы чьи-то господские чемоданы и корзины, обшитые клеенкой, на мужиков кричал телеграфист, исполнявший

должность помощника начальника станции,— молодой коротконогий малый с большой головой, с кудрявым желтым коком, по-казацки взбитым из-под картуза на левом виске,— и крупной дрожью дрожал сидевший на грязном полу пойнтер, пятнистый, как лягушка, с печальными глазами.

Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич подошел к буфетной стойке, поболтал с буфетчиком. Потом пошел назад домой. На крыльце все еще стоял Дениска.

— Что я вас хотел попросить, Тихон Ильич,— сказал он еще застенчивее, чем всегда.

— Что еще такое? — сердито спросил Тихон Ильич.— Денег? Не дам.

— Нет, каких денег! Письмо мое прочитать.

— Письмо? К кому?

— К вам. Хотел давеча отдать, да не насмелился.

— Да об чем?

— Так... житье свое описал...

Тихон Ильич взял из рук Дениски клочок бумажки, сунул его в карман и зашагал домой по упругой, застывшей грязи.

Теперь он настроен был мужественно. Хотелось работы, и он с удовольствием подумал, что опять надо корм скотине задавать. Вот жалко — погорячился, Жмыха прогнал, придется теперь самому ночь не спать. На Оську надежда плохая. Небось спит уже. А не то сидит с кухаркой и ругает хозяина... И, пройдя мимо освещенных окон избы, Тихон Ильич прокрался в сени и прильнул ухом к двери. За дверью послышался смех, потом голос Оськи:

— А то вот еще история была. Жил на селе мужик,— бедный-пребедный, беднее во всем селе не было. И выехал раз, братцы мои, этот самый мужик пахать. И увяжись за ним кобель рябый. Мужик пашет, а кобель сычует по полю и все что-й-то роет. Рыл-рыл, да как заво-ает! Что за притча такая? Кинулся мужик к нему, глядь в яму, а там — чугун...

— Чугу-ун? — спросила кухарка.

— Да ты слушай. Чугун-то чугун, да в чугуне-то золото! Видимо-невидимо... Ну и забогател мужик...

«Ах, пустоболты!» — подумал Тихон Ильич и жадно стал слушать, что дальше будет с мужиком.

— Забогател мужик, расстроился, как купец какой...

— Не хуже нашего Тугоногого,— вставила кухарка.

Тихон Ильич усмехнулся: он знал, что его уже давно зовут Тугоногим... Нет человека без прозвища!

А Оська продолжал:

— Еще побогаче... Да... А кобель-то возьми да околей. Как тут быть? Мочи нет — жалко кобеля, надо его честь честью хоронить...

Раздался взрыв хохота. Захохотал и сам рассказчик и еще кто-то — со старческим кашлем.

— Никак, Жмых? — встрепенулся Тихон Ильич.— Ну, слава богу. Ведь говорил дураку: верне-ешься!

— Пошел мужик к попу,— продолжал Оська,— пошел к попу: так и так, батюшка, кобель околел,— надо хоронить...

Кухарка опять не выдержала и радостно крикнула:

— У, пропасти на тебя нету!

— Да дай досказать-то! — крикнул и Оська и опять перешел на повествовательный тон, изображая то попа, то мужика.

— Так и так, батюшка,— надо кобеля хоронить. Как затопает поп ногами: «Как хоронить? Кобеля на кладбище хоронить? Да я тебя в остроге сгною, да я тебя в кандалы забью!» — «Батюшка, да ведь это не простой кобель: он, как околевал, вам пятьсот целковых отказал!» Как ускочит поп с места: «Дурак! Да разве я тебя за то браню, что хоронить? За то браню — где хоронить? Его в церковной ограде надо хоронить!»

Тихон Ильич громко кашлянул и отворил дверь. За столом, возле коптящей лампочки, разбитое стекло которой было заклеено с одного боку почерневшей бумажкой, сидела, наклонив голову и завесив все лицо мокрыми волосами, кухарка. Она чесалась деревянным гребнем и сквозь волосы рассматривала гребень на свет. Оська, с цигаркой в зубах, хохотал, откинувшись назад и болтая лаптями. Возле печки, в полутемноте, краснел огонек — трубка. Когда Тихон Ильич дернул дверь и показался на пороге, хохот сразу оборвался и куривший трубку робко поднялся с места, вынул ее изо рта и сунул в карман... Да, Жмых! Но, как будто и ничего не было утром, Тихон Ильич бодро и дружелюбно крикнул:

— Ребят! Корм задавать...

С фонарем бродили по варку, освещая застывший навоз, рассыпанную солому, ясли, столбы, кидая огромные тени, будя кур на переметах под навесами. Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засыпая на бегу, бежали куда попало. Большие лиловые глаза лошадей, поворачивавших на свет головы, блестели и глядели странно и великолепно. От дыхания шел пар,— точно все курили. И когда Тихон Ильич опускал фонарь и взглядывал вверх, он с радостью видел над квадратом двора, в глубоком чистом небе, яркие разноцветные звезды. Слышно было, как сухо шуршал по крышам и морозной свежестью дул в щели северный ветер... Слава тебе, господи, зима!

Отделавшись и заказав самовар, Тихон Ильич с фонарем сходил в холодную пахучую лавку, выбрал маринованную селедку получше — не плохо перед чаем-то подсолонцевать! — и за чаем съел ее, выпил несколько стаканчиков горько-сладкой, желто-красной рябиновки, налил чашку чаю, нашел в кармане письмо Дениски и стал разбирать его каракули.

«Деня получил 40 рублей деняг патом собрал вещи...»

«Сорок! — подумал Тихон Ильич.— Ах, голоштанный!»

«Пашел Деня на станцию Тула и как раз ево обабрали вытащили Все докопеки дстца некуда и Взяла ево тоска...»

Разбирать эту брехню было трудно и скучно, но вечер длинен, делать нечего... Самовар хлопотливо бурлил, спокойным светом светила лампа — и была в тишине и покое вечера грусть. Мерно ходила колотушка под окнами, звонко выделывала на морозном воздухе плясовую...

«Патом соскучился я как ехоть домой дюже отец грозен...»

«Ну и дурак же, прости, господи! — подумал Тихон Ильич.— Это Серый-то грозен!»

«Пайду В дремучай лес выбрать повыше ель и взять от сахарной головы бечевычку опредилится на ней навечную жизнь вновых брюках но безсапох...»

— Без сапог, что ли? — сказал Тихон Ильич, отставляя от уставших глаз бумажку.— Вот что правда, то правда...

Кинув письмо в полоскательницу, он поставил локти на стол, глядя на лампу... Чудной мы народ! Пестрая душа! То чистая собака человек, то грустит, жалкует,

нежничает, сам над собою плачет... вот вроде Дениски или его самого, Тихона Ильича... Стекла запотели, четко и бойко, по-зимнему, выговаривала колотушка что-то ладное... Эх, если бы дети! Если бы — ну, любовница, что ли, хорошая вместо этой пухлой старухи, которая осточертела одними своими рассказами о княжне и о какой-то благочестивой монахине Поликарпии, что зовут в городе Полукарпией! Да поздно, поздно...

Расстегнув шитый ворот рубахи, Тихон Ильич с горькой усмешкой ощупал шею, впадины по шее за ушами... Первый знак старости эти впадины,— лошадиной становится голова! Да и прочее недурно. Он нагнул голову, запустил пальцы в бороду... И борода седая, сухая, путаная. Нет, шабаш, шабаш, Тихон Ильич!

Он пил, хмелел, все плотнее стискивал челюсти, все пристальнее, щуря глаза, глядел на горящий ровным огнем фитиль лампы... Вы подумайте: к брату родному нельзя съездить,— кабаны не пускают, свиньи! А и пустили бы,— тоже радости мало. Читал бы ему Кузьма нотации, стояла бы с поджатыми губами, с опущенными ресницами Молодая... Да от одних этих опущенных глаз сбежишь!

Сердце ныло, голову туманило... Где это слышал он эту песню?

Пришел мой скучный вечер,
Не знаю, что начать,
Пришел мой друг любезный,
Он стал меня ласкать...

Ах да, это в Лебедяни, на постоялом дворе. Сидят в зимний вечер девки-кружевницы и поют... Сидят, плетут и, не поднимая ресниц, звонкими грудными голосами выводят:

Целует, обнимает,
Прощается со мной...

Голову туманило,— то казалось, что все еще впереди — и радость, и воля, и беззаботность,— то опять начинало безнадежно ныть сердце. То он бодрился:

— Были б денежки в кармане,— будет тетушка в торгу!

То зло глядел на лампу и бормотал, разумея брата:

— Учитель! Проповедник! Филарет милосливый... Голоштанный черт!

Он допил рябиновку, накурил так, что потемнело... Неверными шагами, по зыбкому полу, вышел он в одном пиджаке в темные сени, ощутил крепкую свежесть воздуха, запах соломы, запах псины, увидал два зеленоватых огня, мелькнувших на пороге...

— Буян! — позвал он.

Изо всей силы ударил Буяна сапогом в голову и стал мочиться на порог.

Мертвая тишина стояла над землей, мягко черневшей в звездном свете. Блестели разноцветные узоры звезд. Слабо белело шоссе, пропадая в сумраке. Вдали глухо, точно из-под земли, слышался все возрастающий грохот. И вдруг вырвался наружу и загудел окрест: бело блистая цепью окон, освещенных электричеством, разметав, как летящая ведьма, дымные косы, ало озаренные из-под низу, несся вдали, пересекая шоссе, юго-восточный экспресс.

— Это мимо Дурновки-то! — сказал Тихон Ильич, икая и возвращаясь в горницу.

Сонная кухарка вошла в нее, тускло освещенную выгорающей лампой и провонявшую табаком, внесла сальный чугунчик со щами, захватив его в черные от сала и сажи ветошки. Тихон Ильич покосился и сказал:

— Сию минуту выйди вон.

Кухарка повернулась, толкнула ногой дверь и скрылась.

Уже хотелось в постель, но он еще долго сидел, стискивая зубы и сонно, мрачно глядя в стол.

II

Кузьма всю жизнь мечтал учиться и писать.

Что стихи! Стихами он только «баловался». Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал «бесплодной смоковницей».

Обдумывая свою жизнь, он и казнил себя и оправдывал.

Что ж, его история — история всех русских самоучек. Он родился в стране, имеющей более ста миллионов без-

грамотных. Он рос в Черной Слободе, где еще до сих пор насмерть убивают в кулачных боях, среди великой дикости и глубочайшего невежества. Буквам и цифрам выучил его и Тихона сосед, заливщик калош Белкин; но и то только потому, что работы у него никогда не было,— уж какие там калоши в Слободе! — что драть кого-нибудь за «виски» всегда приятно и что не все же сидеть на завалинке распояской, наклонив и подставив солнцу лохматую голову, поплевывая на пыль между босыми ногами. В базарной лавке Маторина братья постигли письмо, чтение, стал Кузьма и книжками увлекаться, которые дарил ему базарный вольнодумец и чудак, старик-гармонист Балашкин. Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кричал: «Я тебе ухи оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты этакий!»

Там Кузьма и писать стал,— начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, ночью, по Муромским лесам, попал на ночлег к разбойникам и был зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей неправедной и «так рано пресекшейся жизни...». Но базар без пощады окатил его холодной водой:

— Ну и дурак же ты, прости господи! «Рано»! Давно пора черту пузатому! Да и как же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?

Тогда Кузьма написал кольцовским ладом песню престарелого витязя, завещающего сыну своего верного коня. «Он носил меня в моей младости!» — восклицал в песне витязь.

— Так! — сказали ему.— Сколько же лет было этому самому коню? Ах, Кузьма, Кузьма! Ты бы лучше дельное-то что-нибудь сочинил,— ну, хоть про войну, к примеру...

И Кузьма, подделываясь под базарный вкус, стал писать о том, о чем толковал тогда базар,— о русско-турецкой войне: о том, как —

В семьдесят седьмом году
Вздумал турка воевать,
Подвигал свою орду
И хотел Россию взять,—

и как эта орда —

В безобразных колпаках
Подкрадалась под Царь-Пушку...

С большой болью сознавал он потом, сколько тупости, невежества было в таких виршах и чего стоит этот хамский язык, это русское презрение к чужим колпакам!

Бросив лавку и продав, что осталось после умершей матери, стали они торгашить. В родном городе бывать случалось часто, и с Балашкиным Кузьма дружил попрежнему, книги, которые ему давал или указывал Балашкин, читал жадно. Однако, беседуя с Балашкиным о Шиллере, страстно мечтал он в то же время выпросить у него в долг «ливенку». Восторгаясь «Дымом», он, однако, твердил, что «кто умен, да не учен, в том без ученья много света». Побывав на могиле Кольцова, с восхищением записал безграмотную надпись на плите ее: «Подсим памятником погребено тело мещанина и поэта воронежскаго алесея василевича Калцова награжденного монаршаю милостию *просвещеннаго безнаук природою...*»

Старый, огромный, худой, зиму и лето не снимавший позеленевшей чуйки и теплого картуза, большелицый, бритый и косоротый, Балашкин бывал почти страшен своими злыми речами, своим глубоким стариковским басом, колючей серебристой щетиной на серых щеках и зеленым левым глазом, выпученным, сверкавшим и косившим в ту сторону, куда был скошен и рот его. И как рявкнул он однажды, выслушав речь Кузьмы «о просвещении без наук», как сверкнул этим глазом, отшвырнув цигарку, которую насыпал махоркой над коробкой из-под килек!

— Ослиная челюсть! Что мелешь? Обдумал ли, что значит это наше «без наук просвещение»?

И опять схватил цигарку и стал глухо реветь:

— Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили... Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели... А Шевченко? А Полежаев? Скажешь,— правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят?

Тревожно теребя пуговицы длиннополого сюртука, то застегиваясь, то расстегиваясь, хмурясь и ухмыляясь, смущенный Кузьма сказал в ответ:

— Такой народ! Величайший народ, а не «такой», позвольте вам заметить.

— Не смей призы раздавать! — опять крикнул Балашкин.

— Нет-с, посмею! Ведь писатели-то эти — дети этого самого народа. Платон Каратаев — вот признанный тип этого народа!

— А почему же не Ерошка, почему не Лукашка? Я, брат, ежели литературу-то захочу тряхнуть, всем богам по сапогам найду! Почему Каратаев, а не Разуваев с Колупаевым, не мироед-паук, не поп-лихоимец, не дьяк продажный, не Салтычиха какая-нибудь, не Карамазов с Обломовым, не Хлестаков с Ноздревым али, чтобы не далеко ходить, не твой негодяй-братец?

— Платон Каратаев...

— Вши съели твоего Каратаева! Не вижу тут идеала!

— А русские мученики, подвижники, угодники, Христа ради юродивые, раскольники?

— Что-о? А Колизеи, крестовые походы, войны религиозные, секты несметные? Лютер, наконец того? Нет, шалишь! Мне-то сразу клык не сломишь!

Да, нужно было одно — учиться. Но когда, где?

Целых пять лет торгашества — и это в самую лучшую пору жизни! Великим счастием казался даже приезд в город. Отдых, знакомые, запах пекарен и железных крыш, мостовая на Торговой улице, чай, булки и персидский марш в трактире «Карс»... Политые из чайников полы в лавках, бой знаменитого перепела у дверей Рудакова, запах рыбного ряда, укропа, романовской махорки... Добрая и страшная улыбка Балашкина при виде подходящего Кузьмы... Потом — громы и проклятия славянофилам, Белинский и скверная брань, бессвязное и страстное забрасывание друг друга именами, цитатами... И самые безнадежные выводы — в конце концов. «Теперь-то уж и впрямь шабаш,— во весь дух ломим назад, в Азию! — гудел старик и вдруг, понижая голос, озирался: — Слышал? Салтыков, говорят, помирает. Последний! Отравили, говорят...» А наутро — опять телега, степь, зной или грязь, напряженно-мучительное чтение под толчки бегущих колес... Долгое созерцание степной дали, сладко-тоскливый напев стихов в душе, перебиваемый думами о выручке или перебранкой с Тихоном... Волнующий запах дороги — пыли и дегтя... Запах мятных пряников и удушливая вонь ко-

шачьих шкур из тележного ящика... Поистине изнурили эти годы,— по две недели не снимаемые рубахи, еда всухомятку, хромота от кривых сапог, от сбитых в кровь пяток, почевки в чужих избах и сенцах!

Широко перекрестился Кузьма, когда наконец выскочил из этой кабалы. Но опять нужно было добывать как-нибудь кусок хлеба. Послужив без году неделю у гуртовщика под Ельцом, подался он на Воронеж. В Воронеже давно началась у него любовь, связь с чужой женой — туда и потянуло. И почти десять лет околачивался он в Воронеже — возле ссыпки хлеба, маклерствуя и пописывая в газетах статейки по хлебному делу, отводя или, вернее, растравляя душу статьями Толстого, сатирами Щедрина. И все томился неотступной думой, что пропадает, пропала его жизнь.

В начале девяностых годов умер от грыжи Балашкин, а незадолго до того видел его Кузьма в последний раз. И что это за свидание было!

— Писать надо,— хмуро и зло жаловался один.— Вянешь, как лопух в поле...

— Да, да,— гудел другой, уже сонно кося своим помертвевшим глазом, с трудом ворочая челюстью и не попадая махоркой в цигарку.— Сказано: кажный час учись, кажный час мысли... гляди кругом-то — на все беды и убожества наши...

Потом застенчиво ухмыльнулся, отложил цигарку и полез в столик.

— Вот,— забормотал он, роясь в пачке каких-то истершихся бумаг и вырезок из газет.— Вот тут, друг, куча добра... Я все почитывал, да вырезывал, да записывал... Помру,— годится тебе, матерьял о русской жизни дьявольский. Да вот постой, я тебе найду сейчас одну историйку...

Но рылся, рылся — и не нашел, стал искать очки, стал тревожно шарить по карманам — и махнул рукой. И, махнув, насупился и замотал головой:

— Да нет, нет,— этого ты пока и касаться не смей. Ты еще неуч слабоумный. Руби древо по себе. На энту тему, что давал-то я тебе, про Сухоносова-то, написал? Нет еще? Ну, и вышел ослиная челюсть. Какая тема-то!

— Про деревню бы надо, про народ,— сказал Кузьма.— Вот, сами же говорите: Россия, Россия...

— А Сухоносый не народ, не Россия? *Да она вся — деревня, на носу заруби себе это!* Глянь кругом-то: город это, по-твоему? Стадо кажный вечер по улицам прет — от пыли соседа не видать... А ты — «город»!

Сухоносый... Много лет не выходил из головы Кузьмы этот гнусный слободской старик, все имущество которого заключалось в загаженном клопами тюфяке и съеденном молью салопе,— в наследстве после жены. Он побирался, болел, голодал, ютился за полтинник в месяц в углу у торговки из «обжорного ряда» и, по мнению ее, мог отлично поправить свои обстоятельства продажей наследства. Но он дорожил им как зеницей ока — и, конечно, совсем не в силу нежных чувств к покойной: оно давало ему сознание, что у него есть, не в пример прочим, имущество. Ему казалось, что стоит оно дьявольски дорого: «Нынче таких салопов-то уж нетути!» Он не прочь, совсем не прочь был продать его. Но ломил такие нелепые цены, что в столбняк приводил покупателей... И Кузьма очень хорошо понимал эту слободскую трагедию. Но, начиная обдумывать, как изложить ее, начинал жить всем сложным бытом слободы, воспоминаниями детства, молодости — и запутывался, топил Сухоносова в обилии картин, осаждавших воображение, опускал руки, подавленный потребностью высказать свою собственную душу, выложить все, что калечило его собственную жизнь. А в этой жизни страшней всего было то, что она проста, обыденна, с непонятной быстротой разменивается на мелочи...

С тех пор прошло еще немало бесплодных лет. Он маклерствовал в Воронеже, потом, когда умерла в родильной горячке женщина, с которой он жил, маклерствовал в Ельце, торговал в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина. Стал он было страстным приверженцем Толстого: с год не курил, в рот не брал водки, не ел мяса, не расставался с «Исповедью», хотел переселиться на Кавказ, к духоборам... Но вот поручили ему побывать по делам в Киеве. Был ясный конец сентября, все было весело, прекрасно: и чистый воздух, и нежаркое солнце, и бег поезда, и открытые окна, и цветистые леса, мелькавшие вдоль них... Вдруг, на остановке в

Нежине, увидел Кузьма большую толпу у дверей вокзала. Толпа окружала кого-то и кричала, волновалась, спорила. У Кузьмы застучало сердце, и он побежал к ней. Быстро протолкался — и увидал красную фуражку начальника станции и серую шинель рослого жандарма, который распекал трех покорно, но упрямо стоявших перед ним хохлов в коротких толстых свитках, в несокрушимых сапогах, в коричневых бараньих шапках. Шапки эти едва держались на чем-то страшном — на круглых головах, увязанных жесткой от засохшей сукровицы марлей, над запухшими глазами, над вздутыми и остекленевшими лицами в зелено-желтых кровоподтеках, в запекшихся и почерневших ранах: хохлы были искусаны бешеным волком, отправлены в Киев в лечебницу и по суткам сидели чуть не на каждой большой станции без хлеба и без копейки денег. И, узнав, что их не пускают теперь только потому, что поезд называется скорым, Кузьма внезапно пришел в ярость и, под одобрительные крики евреев из толпы, заорал, затопал ногами на жандарма. Его задержали, составили протокол, и, ожидая следующего поезда, напился он до беспамятства.

Хохлы были из Черниговской губернии. Всегда она представлялась ему глухим краем, с тусклой, пасмурной синью над лесами. О временах Владимира, о давней жизни, боровой, древне-мужицкой, напомнили эти люди, испытавшие рукопашную схватку с бешеным зверем. И, напиваясь, наливая рюмку трясущимися после скандала руками, Кузьма восторгался: «Ах, и время же было!» Он задохнулся от злобы и на жандарма, и на этих покорных скотов в свитках. Тупые, дикие, будь они прокляты... Но — Русь, древняя Русь! И слезы пьяной радости и силы, искажающей всякую картину до противоестественных размеров, застилали глаза Кузьмы. «А непротивление?» — вспоминал он порою и качал головой, ухмыляясь. Спиной к нему, за общим столом, обедал молоденький чистенький офицер; и Кузьма ласково-нагло смотрел на его белый китель, такой короткий, с такой высокой талией, что хотелось подойти, одернуть его. «И подойду! — думал Кузьма.— А вскочит, крикнет — в рыло! Вот тебе и непротивление...» Затем поехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня проходил, хмельной и радостно возбужденный,

по городу, по обрывам над Днепром. И в Софийском соборе, за обедней, многие с удивлением оглядывали худого кацапа, стоявшего перед саркофагом Ярослава. Вид имел он странный: обедня кончалась, народ выходил, сторожа тушили свечи, он же, сжав зубы, опустив на грудь редкую сереющую бородку и страдальчески-счастливо закрыв глубоко запавшие глаза, слушал звон, певуче и глухо гудевший над собором... А вечером видели его у лавры. Он сидел возле калеки-мальчишки, с мутной и грустной усмешкой глядя на ее белые стены, на золото мелких куполов в осеннем небе. Мальчишка был без шапки, с холщовой сумой через плечо, в грязной рвани на тощем теле, в одной руке держал он деревянную чашечку, с копейкой на дне, а другой все перекладывал, как чужую, как вещь, свою уродливую, обнаженную до колена правую ногу, вялую, неестественно-тонкую, дочерна загорелую и поросшую золотистой шерстью. Никого не было кругом, но, сонно и болезненно откинув стриженую, жесткую от солнца и пыли голову, показывая тонкие детские ключицы и не обращая внимания на мух, точивших его сопли, мальчишка непрестанно тянул:

Взгляните, мамаши,
какие мы есть несчастные, страдащие!
Ах, не дай господь, мамаши,
таким страдащим быть!

И Кузьма поддакивал: «Так, так! Правильно!»

В Киеве он ясно понял, что у Касаткина держаться ему осталось теперь недолго, и что впереди — нищета, потеря лика человеческого. Так и случилось. Продержался он еще некоторое время, но в положении очень постыдном и тяжком: вечно полупьяный, неопрятный, охрипший, насквозь пропитанный махоркой, через силу скрывающий свою непригодность к делу... Затем пал еще ниже: вернулся в родной город, проживал последние гроши, ночевал целую зиму в общем номере на подворье Хлова, дни убивал в трактире Авденча на Бабьем базаре. Из этих грошей много ушло на глупую затею — на издание книжки стихов, и пришлось потом шататься среди посетителей Авденча и навязывать им книжку за полцены... Да мало того: он шутом стал! Раз стоял он на базаре возле мучных

лавок и глядел на босяка, который кривлялся перед купцом Мозжухиным, вышедшим на порог. Мозжухин, сонно-насмешливый, похожий лицом на отражение в самоваре, занят был больше котом, который лизал его расчищенный сапог. Но босяк не унимался. Он ударил себя кулаком в грудь, стал, поднимая плечи и хрипя, декламировать:

Кто пьянствует с похмелья,
Тот действует умно...

И Кузьма, блестя запухшими глазами, внезапно подхватил:

Да здравствует веселье,
Да здравствует вино!

А проходившая мимо старуха-мещанка, похожая лицом на старую львицу, остановилась, исподлобья поглядела на него и, подняв костыль, раздельно, зло сказала:

— Небось молитву-то не заучил так-то!

Ниже падать стало некуда. Но это-то и спасло его. Он пережил несколько страшных сердечных припадков — и сразу оборвал пьянство, твердо решив начать самую простую, трудовую жизнь, снимать, например, сады, огороды...

Мысль эта радовала его. «Да, да,— думал он,— давно пора!» И правда, нужен был отдых, нищая, но чистая жизнь. Стал он уже стареть. Совсем посерела его бородка, поредели, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще худее стало широкое в скулах лицо...

Весной, за несколько месяцев до мира с Тихоном, Кузьма прослышал, что сдается сад в селе Казакове, в родном уезде, и поспешил туда.

Было начало мая; после жары завернули холода, дожди, шли над городом осенние мрачные тучи. Кузьма, в старой чуйке и старом картузе, в сбитых сапогах, шагал на вокзал, за Пушкарную Слободу, и, качая головой, морщась от цигарки в зубах, заложив руки назад, под чуйку, иронически улыбался: навстречу ему только что пробежал босоногий мальчишка с кипой газет и на бегу бойко крикнул привычную фразу:

— Всеобщая забастовка!

— Опоздал, малый,— сказал Кузьма.— Поновей-то чего нету?

Мальчишка, блестя глазами, приостановился.

— Новые городовой на вокзале отнял,— ответил он.

— Ай да конституция! — едко сказал Кузьма и двинулся дальше, прыгая среди грязи под темными от дождей, гнилыми заборами, под ветвями мокрых садов и окнами косых хибарок, сходивших под гору, в конец городской улицы. «Чудеса в решете!» — думал он, прыгая. Прежде в такую погоду по лавкам, трактирам зевали, еле перекидывались словами. Теперь по всему городу — толки о Думе, о бунтах и пожарах, о том, как «Муромцев отбрил примьер-министра»... Ну, да ненадолго лягушке хвост! В городском саду играет оркестр стражников... Казаков прислали целую сотню... И третьего дня на Торговой улице один из них, пьяный, подошел к открытому окну общественной библиотеки и, расстегивая штаны, предложил барышне-библиотекарше купить «арихметику». Старик-извозчик, стоявший подле, стал стыдить его, а казак выхватил шашку, рассек ему плечо и с матерной бранью кинулся по улице за летящими куда попало, ошалевшими от страха прохожими и проезжими...

— Кошкодер, кошкодер, завалился под забор! — тонкими голосами завопили за Кузьмой девочки, прыгавшие по камням мелкого слободского ручья.— Там кошек дерут, ему лапку дадут!

— У, паршивые! — цыкнул на них шедший впереди Кузьмы кондуктор в страшно тяжелой даже на вид шинели.— Ровесника нашли!

Но по голосу можно было понять, что он сдерживает смех. Старые глубокие калоши кондуктора были в засохшей грязи, хлястик шинели висел на одной пуговице. Бревенчатый мостик, по которому он шел, лежал косо. Дальше, возле рвов, промытых вешней водой, росли чахлые лозинки. И Кузьма невесело взглянул и на них, и на соломенные крыши по слободской горе, на дымчатые и синеватые тучи над ними, и на рыжую собаку, грызущую во рву кость...

«Да, да,— думал он, поднимаясь на гору.— Ненадолго лягушке хвост!» Поднявшись, увидав среди пустых зеленых полей красные вокзальные постройки, он опять

ухмыльнулся. Парламент, депутаты! Вчера воротился он из сада, где, по случаю праздника, была иллюминация, взвивались ракеты, а стражники играли «Тореадора» и «Возле речки, возле моста», «Матчиш» и «Тройку», вскрикивая среди галопа: «Эй, мила-и!» — вернулся и стал звонить у ворот своего подворья. Дергал, дергал гремящую проволоку — ни души. Ни души и кругом, тишина, сумерки, холодное зеленоватое небо на закате за площадью в конце улицы, над головой — тучи... Наконец, плетется кто-то за воротами, кряхтит. Гремит ключами и бормочет:

— В отделку охромел...

— Отчего это? — спросил Кузьма.

— Лошадь убила,— ответил отворявший и, распахнув калитку, прибавил: — Ну, теперь еще двое осталось.

— Это судейские, что ли?

— Судейские.

— А не знаешь, зачем суд приехал?

— Депутата судить... Говорят, реку хотел отравить.

— Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?

— А чума их знает...

На окраине слободы, возле порога глиняной мазанки, стоял высокий старик в опорках. В руке у старика была длинная ореховая палка, и, увидав проходящего, он поспешил притвориться гораздо более старым, чем был,— взял палку в обе руки, поднял плечи, сделал усталое, грустное лицо. Сырой, холодный ветер, дувший с поля, трепал космы его серых волос. И Кузьма вспомнил отца, детство... «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» — пришло ему в голову восклицание Гоголя.— «Русь, Русь!.. Ах, пустоболты, пропасти на вас нету! Вот это будет почище — «депутат хотел реку отравить»... Да, но с кого и взыскивать-то? Несчастный народ, прежде всего — несчастный!..» И на маленькие зеленые глаза Кузьмы навернулись слезы — внезапно, как это стало часто случаться с ним последнее время. Забрел он недавно в трактир Авдеича на Бабьем базаре. Вошел во двор, утопая по щиколку в грязи, и со двора поднялся во второй этаж по такой вонючей, насквозь сгнившей деревянной лестнице, что даже его, человека, видавшего виды, затошнило; с трудом отворил тяжелую, сальную дверь в клоках войлока, в рваных ве-

тошках вместо обивки, с блоком из веревки и кирпича,— и ослеп от табачного дыма, оглох от звона посуды на стойке, от топота бегущих во все стороны половых и гнусавого крика граммофона. Затем прошел в дальнюю комнату, где народу было меньше, сел за столик, спросил бутылку меду... Под ногами, на затоптанном и заплеванном полу — ломтики высосанного лимона, яичная скорлупа, окурки... А у стены напротив сидит длинный мужик в лаптях и блаженно улыбается, мотает лохматой головой, прислушиваясь к кричащему граммофону. На столике сотка водки, стаканчик, крендели. Но мужик не пьет, а только мотает головой, смотрит себе на лапти и вдруг, почувствовав на себе взгляд Кузьмы, открывает радостные глаза, поднимает чудесное доброе лицо в рыжей вьющейся бороде. «Ну, залетел!» — восклицает он радостно и изумленно. И спешит добавить — в оправдание: «У меня, господин, брат тут служа... Брат родной...» И, сморгнув слезы, Кузьма стиснул зубы. У, анафемы, до чего затоптали, забили народ! «Залетел»! Это к Авдеичу-то! Да мало того: когда Кузьма поднялся и сказал: «Ну, прощай!» — поспешно поднялся и мужик и от полноты счастливого сердца, с глубокой благодарностью и за роскошь обстановки, и за то, что поговорили с ним по-человечески, поспешно ответил: «Не прогневайтесь...»

В вагонах прежде разговаривали только о дождях и засухах, о том, что «цены на хлеб бог строит». Теперь у многих в руках шуршали газетные листы, а толк шел опять-таки о Думе, о свободах, отчуждении земель — никто и не замечал проливного дождя, шумевшего по крышам, хотя ехал народ все жадный до весенних дождей — хлеботорговцы, мужики, мещане с хуторов. Прошел молодой солдат с отрезанной ногой, в желтухе, с черными печальными глазами, ковыляя, стуча деревяшкой, снимая манджурскую папаху и, как нищий, крестясь при каждом подаянии. И поднялся шумный негодующий говор о правительстве, о министре Дурново и каком-то казенном овсе... Издеваясь, вспомнили то, чем прежде восхищались: как «Витя», чтобы напугать японцев в Портсмуте, приказывал свои чемоданы увязывать... Сидевший против Кузьмы молодой человек, стриженный бобриком, покраснел, заволновался и поспешил вмешаться:

— Позвольте, господа! Вот вы говорите — свобода... Вот я служу письмоводителем у податного инспектора и посылаю статейки в столичные газеты... Разве это его касается? Он уверяет, что он тоже за свободу, а между тем узнал, что я написал о ненормальной постановке нашего пожарного дела, призывает меня и говорит: «Если ты будешь, сукин сын, писать эти штуки, я тебе голову отмотаю!» Позвольте: если мои взгляды левее его...

— Взгляды? — альтом карлика вдруг крикнул сосед молодого человека, толстый скопец в сапогах бутылками, мучник Черняев, все время косивший на него свиными глазками. И, не дав ему опомниться, завопил:

— Взгляды? Это у тебя-то взгляды? Это ты-то левее? Да я тебя еще без порток видал! Да ты с голоду околевал, не хуже отца своего, побирушки! Ты у инспектора-то ноги должен мыть да юшку пить!

— Кон-сти-ту-у-ция,— тонким голосом, перебивая скопца, запел Кузьма и, поднявшись с места, задевая колени сидящих, пошел по вагону к дверям.

Ступни у скопца были маленькие, полные и противные, как у какой-нибудь старой ключницы, лицо тоже бабье, большое, желтое, плотное, губы тонкие... Да хорош был и Полозов,— учитель прогимназии, тот, что так ласково кивал головой, слушая скопца и опираясь на трость, коренастый человек в серой шляпе и серой крылатке, ясноглазый, с круглым носом и роскошной русой бородой во всю грудь... Отворив дверь на площадку вагона, Кузьма с отрадой вздохнул холодной и душистой дождевой свежестью. Дождь глухо гудел по навесу над площадкой, лил с него ручьями, летел брызгами. Вагоны, раскачиваясь, грохотали среди шума дождя, навстречу, опускаясь и подымаясь, плыли проволоки телеграфа, по бокам бежали густые свеже-зеленые опушки орешника. Пестрая куча мальчишек вдруг выскочила из-под насыпи и звонко, хором закричала что-то. Кузьма умиленно улыбнулся, и все лицо его покрылось мелкими морщинами. А подняв глаза, он увидал на противоположной площадке странника: доброе, измученное крестьянское лицо, седую бороду, широкополую шляпу, драповое пальто, подпоясанное веревкой, мешок и жестяной чайник за плечами, на тонких ногах — бахилки. И крикнул сквозь грохот и шум:

— С богомолья?

— Из Воронежа,— с милой готовностью ответил слабым криком странник.

— Жгут там помещиков?

— Жгут...

— И чудесно!

— Ась?

— Чудесно, говорю! — крикнул Кузьма.

И, отвернувшись, дрожащими руками, смаргивая набежавшие слезы умиления, стал свертывать цигарку... Но мысли опять спутались. «Странник — народ, а скопец и учитель — не народ? Рабство отменили всего сорок пять лет назад,— что ж и взыскивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ!» И лицо Кузьмы опять потемнело и осунулось.

На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей — до Казакова было двенадцать верст,— потом пять с полтиной. Наконец, один сказал: «Трояк отдашь — повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не прежнее...» Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: «Опять же корма дорогие...» И повез за полтора. Грязь была непролазная, телега маленькая, еле живая, лошаденка — ушастая, как осел, слабосильная. Медленно потянулись со двора станции, мужик, сидевший на грядке, стал томиться, дергая веревочные вожжи, как бы желая всем своим существом помочь лошади. Он на станции хвастался, что ее «не удержишь», и теперь, видимо, стыдился. Но что было хуже всего, так это он сам. Молодой, огромный, полный, в лаптях и белых онучах, в коротком чекмене, подпоясанном оборкой, и в старом картузе на прямых, желтых волосах. Пахнет курной избой, коноплей,— пахарь времен царя Гороха! — лицо белое, безусое, а горло распухшее, голос сиплый.

— Как тебя зовут? — спросил Кузьма.

— Звали Ахванасьем...

«Ахванасьем!» — подумал Кузьма с сердцем.

— А дальше?

— Меньшóв... Н-но, анчихрист!

— Дурная, что ль? — кивнул Кузьма на горло.

— Ну, уж и дурная,— пробормотал Меньшов, отводя глаза в сторону.— Квасу холодного напился.

— Да глотать-то больно?

— Глотать — нет, не больно...

— Ну, значит, и не болтай попусту,— сказал Кузьма строго.— Налаживай-ка лучше в больницу поскорее. Женатый небось?

— Женатый...

— Ну, вот видишь. Пойдут дети — и наградишь ты их всех в лучшем виде.

— Уж это как пить дать,— согласился Меньшов.

И, томясь, стал дергать вожжи. «Но-но... Сладу с тобой нету, анчихрист!» Наконец, бросил это бесполезное занятие и успокоился. Долго молчал и вдруг спросил:

— Собрали, купец, Думу-то ай нет?

— Собрали.

— А Макаров-то, говорят, жив,— только не велел сказывать...

Кузьма даже плечами вздернул: черт знает что в этих степных головах! «А богатство-то какое!» — думал он, мучительно сидя с поднятыми коленями на голом дне телеги, на клоке соломы, крытом веретьем, и оглядывая улицу. Чернозем-то какой! Грязь на дорогах — синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов — темная, густая... Но избы — глиняные, маленькие, с навозными крышами. Возле изб — рассохшиеся водовозки. Вода в них, конечно, с головастиками... Вот богатый двор. Старая рига на гумне. Варок, ворота, изба — все под одной крышей, под старновкой в начес. Изба кирпичная, в две связи, простенки разрисованы мелом: на одном — палочка и по ней вверх — рогульки,— елка, на другом что-то вроде петуха; окошечки тоже окаймлены мелом — зубцами. «Творчество! — ухмыльнулся Кузьма.— Пещерные времена, накажи бог, пещерные!» На дверях пунек — кресты, написанные углем, у крыльца — большой могильный камень,— видно, дед или бабка про смерть приготовили... Да, двор богатый. Но грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки — крохотные, и в жилой половине избы небось темнота, вечная теснота: полати, ткацкий стан, здоровенная печь, лохань с помоями... А семья большая, детей много, зимой — ягнята, телята... И сырость, угар такой, что зеленый пар

стоит. А дети хнычут — и орут, получая подзатыльники; невестки ругаются — «чтоб тебя громом расшибло, сука подворотная!» — желают друг другу «подавиться куском на Велик день»; старушонка-свекровь поминутно швыряет ухваты, миски, кидается на невесток, засучивая темные жилистые руки, надрывается от визгливой брани, брызжет слюной и проклятиями то на одну, то на другую... Зол, болен и старик, изнурил всех наставлениями...

Дальше повернули на выгон. На выгоне налаживалась ярмарка. Уже кое-где торчали остовы палаток, навалены были колеса, глиняная посуда; дымилась смазанная на живую руку печь, пахло оладьями; серела походная кибитка цыган, и возле колес ее сидели овчарки на цепях. Дальше, возле казенного кабака, стояла тесная толпа девок, мужиков, и раздавались вскрикиванья.

— Гуляет народ,— задумчиво сказал Меньшов.

— Это с какой радости? — спросил Кузьма.

— Надеется...

— На что?

— Известно, на что... На домового!

— И-их! — крикнул кто-то в толпе под крепкий глухой топот:

Не пахать, не косить —
Девкам жамки носить!

И невысокий мужик, стоявший сзади толпы, вдруг взмахнул руками. Все на нем было домовито, чисто, прочно — и лапти, и онучи, и новые тяжевые портки, и очень коротко, кургузо подрезанная сборчатая юбка поддевки из толстого сивого сукна. Он вдруг мягко и ловко топнул лаптем, взмахнул руками, тенором крикнул: «Расступись, дай купцу глянуть!» — и, вскочив в разомкнувшийся круг, отчаянно затряс портками перед молодым высоким малым, который, склонив картуз, дьявольски вывертывал сапогами и, вывертывая, сбрасывал с себя, с новой ситцевой рубахи, черную поддевку. Лицо малого было мрачно, бледно и потно.

— Сынок! Желанный! — вопила, среди гама и дробного топота, старушка в поневе, протягивая руки.— Будя тебе за ради Христа! Желанный, будя — помрешь!

И сынок вдруг вскинул голову, сжал кулаки и зубы и с яростным лицом и топотом выкрикнул:

Цыц, бабка, не кукуй...

— А она и так последние холсты для него продала,— говорил Меньшов, тащась по выгону.— Любит она его без памяти,— дело вдовье,— а он почесть кажный день мордует ее, пьяный... Знать, того стóит.

— Это каким же манером — «того стóит»? — спросил Кузьма.

— А таким... Не потакай...

У одной избы сидел на скамейке длинный мужик — краше в гроб кладут: ноги стоят в валенках, как палки, большие мертвые руки ровно лежат на острых коленях, на протертых портках. На лоб по-стариковски надвинута шапка, глаза замученные, просящие, нечеловечески-худое лицо вытянуто, губы пепельные, полураскрытые...

— Это Чучень,— сказал Меньшов, кивая на больного.— От живота второй год помирает.

— Чучень? Это что ж — прозвище?

— Прозвишша...

— Глупо! — сказал Кузьма.

И отвернулся, чтобы не видеть девчонки возле следующей избы: она, перевалившись назад, держала на руках ребенка в чепчике, пристально глазела на проезжих и, высовывая язык, нажевывала, готовила для ребенка соску из черного хлеба... А на крайнем гумне гудели от ветра лозинки, трепалось покосившееся пугало пустыми рукавами. Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит ветер с поля, раздувает хвосты кур, бродящих по току, заросшему лебедой и чернобыльником, возле риги с раскрытым хребтом...

Лесок, синевший на горизонте,— две длинных лощины, заросших дубняком,— назывался Порточками. И около этих Порточек захватил Кузьму проливной дождь с градом до самого Казакова. Лошаденку Меньшов гнал под селом вскачь, а Кузьма, зажмурясь, сидел под мокрым холодным веретьем. Руки костенели от стужи, за ворот чуйки текли ледяные струйки, отяжелевшее под дождем веретье воняло прелым закромом. В голову стучали гра-

дины, летели лепешки грязи, в колеях, под колесами, шумела вода, где-то блеяли ягнята... Наконец стало так душно, что Кузьма отшвырнул веретье с головы назад. Дождь редел, вечерело, мимо телеги по зеленому выгону бежало к избам стадо. Тонконогая черная овца отбилась в сторону, и за ней гонялась, накрывшись мокрой юбкой, блестя белыми икрами, босая баба. На западе, за селом, светлело, на востоке, на сизо-пыльной туче, над хлебами, стояли две зелено-фиолетовые дуги. Густо и влажно пахло зеленью полей и тепло — жильем.

— Где тут господский двор? — крикнул Кузьма плечистой бабе в белой рубахе и красной шерстяной юбке.

Баба стояла на каменном пороге избы и держала за руку голосившую девочку. Девочка голосила с невероятной пронзительностью.

— Двор? — повторила баба.— Чей?

— Господский.

— Чей? Ничего не слыхать... А, да захлебнись ты, родимец те расшиби! — крикнула баба, дернув девочку за руку так сильно, что та перевернулась.

Расспросили в другом дворе. Проехали широкую улицу, взяли влево, потом вправо и мимо чьей-то старосветской усадьбы с забитым наглухо домом стали спускаться под крутую гору, к мосту через речку. С лица, с волос, с чекменя Меньшова падали капли. Умытое толстое лицо его с белыми крупными ресницами казалось еще тупее. Он с любопытством заглядывал куда-то вперед. Глянул и Кузьма. На том боку, на покатом выгоне,— темный казаковский сад, широкий двор, обнесенный разрушающимися службами и развалинами каменной ограды; среди двора, за тремя засохшими елками,— обшитый серым тесом дом под ржаво-красной крышей. Внизу, у моста,— кучка мужиков. А впереди, на крутой размытой дороге, бьется в грязи, вытягивается вверх тройка худых рабочих лошадей, запряженных в тарантас. Оборванный, но красивый батрак, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами, стоял возле тройки, дергал вожжи и, надсаживаясь, кричал: «Н-но! Н-но-о!» А мужики с гоготом и свистом подхватывали: «Тпру! Тпру!» И отчаянно простирала вперед руки сидевшая в тарантасе молодая женщина в трауре, с крупными слезами на длинных ресницах. От-

чаяние было и в бирюзовых глазах толстого рыжеусого человека, сидевшего с ней рядом. Обручальное кольцо блестело на его правой руке, сжимавшей револьвер; левой он все махал, и, верно, ему было очень жарко в верблюжьей поддевке и суконном картузе, съехавшем на затылок. А со скамеечки против сиденья с кротким любопытством озирались дети — мальчик и девочка, бледные, закутанные в шали.

— Это Мишка Сиверский,— громко и сипло сказал Меньшов, объезжая тройку и равнодушно глядя на детей.— Его сожгли вчерась... Видно, сто́ит того.

Делами господ Казаковых правил староста, бывший солдат-кавалерист, человек рослый и грубый. К нему, в людскую, и надо было обратиться, как сказал Кузьме работник, въезжавший на двор в телеге с накошенной крупной мокро-зеленой травой. У старосты случилось в этот день несчастье — умер ребенок,— и встречен был Кузьма неласково. Когда он, оставив Меньшова за воротами, подошел к людской, заплаканная, серьезная старостиха несла от сада рябую курицу, смирно сидевшую у нее под мышкой. Среди колонок на ветхом крыльце стоял высокий молодой человек в высоких сапогах и ситцевой косоворотке и, увидав старостиху, крикнул:

— Агафья, куда-й-то ты ее несешь?

— Резать,— ответила старостиха серьезно и печально.

— Дай-ка я зарежу.

И молодой человек направился к леднику, не обращая внимания на дождь, снова начавший накрапывать с насупившегося неба. Отворив дверь ледника, он взял с порога топор — и через минуту раздался короткий стук, и безголовая курица, с красным обрубочком шеи, побежала по траве, спотыкнулась и завертелась, трепыхая крыльями и разбрасывая во все стороны перья и брызги крови. Молодой человек кинул топор и направился к саду, а старостиха, поймав курицу, подошла к Кузьме:

— Тебе что?

— Насчет сада,— сказал Кузьма.

— Федор Иваныча подожди.

— А где он?

— Сейчас с поля приедет.

И Кузьма стал ждать у открытого окна людской. Он заглянул туда, увидел в полутьме печь, нары, стол, корытце на лавке у окна — гробик корытцем, где лежал мертвый ребенок с большой, почти голой головкой, с синеватым личиком... За столом сидела толстая слепая девка и большой деревянной ложкой ловила из миски молоко с кусками хлеба. Мухи, как пчелы в улье, гудели над ней, ползали по мертвому личику, потом падали в молоко, но слепая, сидя прямо, как истукан, и уставив в сумрак бельма, ела и ела. Кузьме стало страшно, и он отвернулся. Порывами дул холодный ветер, от туч становилось все темнее. Среди двора возвышались два столба с перекладиной, на перекладине, как икона, висела большая чугунная доска: значит, по ночам боялись, били в нее. По двору валялись худые борзые собаки. Мальчик лет восьми бегал среди них, возил на тележке белоголового бурдастого братишку в большом черном картузе — и тележка неистово визжала. Дом был сер, грузен и, должно быть, чертовски скучен в эти сумерки. «Хоть бы огонь зажгли!» — подумал Кузьма. Он смертельно устал, ему казалось, что он выехал из города чуть не год тому назад...

А вечер и ночь он провел в саду. Староста, приехав верхом с поля, сердито сказал, что «сад давно сдаден», а на просьбу о ночлеге только нагло изумился: «Однако ты умен! — крикнул он. — Постоялый двор какой нашел! Много вас теперь таких шатается...» Но смилостивился — разрешил ночевать в саду, в бане. Кузьма расчелся с Меньшовым и пошел мимо дома к воротам липовой аллеи. Из темных раскрытых окон, из-за железных сеток от мух, гремел рояль, покрываемый великолепным голосом, затейливыми вокализами, совершенно не идущими ни к вечеру, ни к усадьбе. По грязному песку покатой аллеи, в конце которой, как на краю света, тускло белело облачное небо, не спеша двигался навстречу Кузьме темнорыжий мужичок с ведром в руке, распоясанный, без шапки и в тяжелых сапогах.

— Ишь, ишь! — насмешливо говорил он на ходу, прислушиваясь к вокализам. — Ишь, раздолевается!

— Кто раздолевается? — спросил Кузьма.

Мужичок поднял голову и приостановился.

— Да баггчук-то,— весело сказал он, сильно картавя.— Говорят, семой год так-то!

— Это какой же,— что курицу рубил?

— Н-нет, другой... Да это еще что! Иной раз как примется кричать: «Нонче ты, завтра я» — прямо бяда-а!

— Учится, верно?

— Хороша ученье!

Все это было рассказано как будто небрежно, вскользь, с передышками, но с такой едкой усмешкой и картавостью, что Кузьма внимательно глянул на встречного. Похож на дурачка. Волосы прямые, в скобку. Лицо небольшое, незначительное, старинно-русское, суздальское. Сапоги огромные, тело тощее и какое-то деревянное. Глаза под большими сонными веками — ястребиные. Опустит веки — обыкновенный дурачок, поднимет — даже жутко немного.

— Ты в саду сидишь? — спросил Кузьма.

— В саду. А то где же?

— А как тебя зовут?

— Меня-то? Аким... А тебя?

— Я сад хотел снять.

— Вона... хватился!

И Аким, насмешливо мотнув головой, пошел своей дорогой.

Ветер дул все порывистее, сыпля брызги с ярко-зеленых деревьев, за садом, где-то низко, гремел тугой гром, бледно-голубые сполохи озаряли аллею, и повсюду пели соловьи. Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком упорном забытьи, так сладко и сильно цокать, щелкать и рассыпаться под этим тяжким свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых кустах. Но еще непонятнее было, как проводят караульщики на этом ветру ночи, как спят они на сырой соломе под навесом гнилого шалаша!

Их было трое. И все были больны. Один молодой, бывший пекарь, теперь босяк, жаловался на лихорадку; у другого, Митрофана, тоже босяка, была чахотка, хоть он говорил, что ему ничего, «только промеж крыльев холодит»; Аким страдал «куриной слепотой» — от худосочия плохо видел в сумерках. Пекарь, бледный и ласковый, сидел, когда подошел Кузьма, возле шалаша на корточках

и, засучив на худых, слабых руках рукава ватной кофты, промывал в деревянной чашке пшено. Чахоточный Митрофан, человек небольшого роста, широкий и темнолицый, весь в мокром отрепье и опорках, сбитых и жестких, как старое лошадиное копыто, стоял возле пекаря и, подняв плечи, карими блестящими глазами, расширенными и ничего не выражающими, глядел на его работу. Аким притащил ведро и разводил, поддувал в земляной печурке против шалаша огонь. Он входил в шалаш, выбирал там пуки соломы посуше и опять шел к пахуче дымившему под чугуном костру, все бормоча что-то, дыша со свистом и насмешливо-загадочно, небрежно улыбаясь на подтруниванья сотоварищей, зло и ловко срезая их порою. А Кузьма закрывал глаза и слушал то разговор, то соловьев, сидя на сырой скамейке возле шалаша, осыпаемый ледяными брызгами, когда по аллее под сумрачным, вздрагивавшим от бледных зарниц и рокочущим небом проносился сырой ветер. Под ложечкой сосало от голода и тютюна. Кулеш, казалось, никогда не поспеет, из головы не выходила мысль, что, может, и самому придется жить такой же звериной жизнью, как эти караульщики... И раздражали порывы ветра, дальний однообразный гром, соловьи и медлительная, небрежно-едкая картавость Акима, его скрипучий голос.

— Ты бы, Акимушка, хотя поясок-то купил,— притворно-просто говорил пекарь, труня и поглядывая на Кузьму,— приглашая и его послушать Акима.

— Вот погоди,— рассеянно-насмешливо отвечал Аким, снимая длинной ложкой из закипевшего котелка пенистую жижу.— Вот отживем у хозяина лето — сапоги тебе со скрипом куплю.

— «Со скгипом»! Да я у тебя не прошу.

— А сам в опорках!

И Аким стал заботливо пробовать с ложки жижу.

Пекарь смутился и вздохнул:

— Уж где нам сапоги носить!

— Да будет вам,— сказал Кузьма,— вы вот лучше скажите, как вы тут коштуетесь. Небось каждый день все кулеш да кулеш?

— А тебе что ж — рыбки, ветчинки захотелось? — спросил Аким, не оборачиваясь и облизывая ложку.— Она

бы ничего так-то: водочки осьмушку, сомовинки хунтика три, хвостик ветчинки, чайку хруктового... А это не кулеш, а называется реденькая кашка.

— А щи, похлебку варите?

— У нас, брат, были они, щи-то, да какие еще! На кобеля плеснешь — шерсть соскочит!

Кузьма покачал головой:

— А ведь это ты от болезни так зол! Полечился бы, что ли, маленько...

Аким не ответил. Огонь уже потухал, под чугуном краснела горка угольков; сад темнел и темнел, и голубые сполохи при порывах ветра, раздувавших рубаху Акима, стали бледно озарять лица. Митрофан сидел рядом с Кузьмой, опершись на палку, пекарь — на пне под липой. Услыхав последние слова Кузьмы, пекарь стал серьезен.

— А я так полагаю,— сказал он покорно и грустно,— что не иначе, как все господь. Не даст господь здоровья, так никакие доктора тебе не помогут. Вон Аким правду говорит: раньше смерти не помрешь.

— Доктора! — подхватил Аким, глядя на угли и особенно едко выговаривая это слово: дохтогга!..— Доктора, брат, свой карман блюдут. Я б ему, доктору-то энтому, кишки за его дела выпустил!

— Не все блюдут,— сказал Кузьма.

— Я всех не видал.

— Ну, и не бреши, если не видал,— строго сказал Митрофан.

Но тут насмешливое спокойствие внезапно покинуло Акима. И, выкатив свои ястребиные глаза, он вдруг вскочил и закричал с запальчивостью идиота:

— Что? Это я-то не бреши? Ты был в больнице-то? Был? А я был! Я в ней семь дён сидел,— много он мне булок-то давал, дохтор-то твой? Много?

— Да дурак,— перебил Митрофан,— булки не всем же полагаются: это по болезни.

— А! По болезни! Ну, и подавись он ими, пузо его лопни! — крикнул Аким.

И, бешено озираясь, шваркнул длинную ложку в «реденькую кашку» и пошел в шалаш.

Там он, со свистом дыша, зажег лампочку, и в шалаше стало уютно. Потом достал откуда-то из-под крыши

ложки, кинул их на стол и крикнул: «Несите, что ль, кулеш-то!» Пекарь встал и пошел за чугунчиком. «Милости просим»,— сказал он, проходя мимо Кузьмы. Но Кузьма попросил только хлеба, посолил его и, с наслаждением жуя, опять вернулся к скамейке. Стало совсем темно. Бледно-голубой свет все шире, быстрее и ярче озарял шумящие деревья, точно раздуваемый ветром, и при каждом сполохе мертвенно-зеленая листва становилась на мгновение видна, как днем, после чего все заливалось могильной чернотою. Соловьи смолкли,— сладко и сильно цокал и рассыпался только один — над самым шалашом. «Даже и не спросили, кто я, откуда? — думал Кузьма.— Народ, пропади он пропадом!» И шутливо крикнул в шалаш:

— Аким! А ты и не спросил даже: кто я, откуда?

— А на что ты мне нужен-то? — ответил Аким.

— Я вот его о другом спрашиваю,— послышался голос пекаря,— сколько он от Думы земли чает получить? Как думаешь, Акимушка? А?

— Я не письмённый,— сказал Аким.— Тебе из навозу видней.

И пекарь, должно быть, опять смутился: на минуту наступило молчание.

— Это он насчет нашего брата,— заговорил Митрофан.— Я рассказывал как-то, что в Ростове бедный народ, пролетариат то есть, зимой в навозе спасается...

— Выйдет за город,— радостно подхватил Аким,— и — в навоз! Зароется не хуже свиньи, и горя мало.

— Дурак! — отрезал Митрофан.— Чего гогочешь? Застигнет бедность — зароешься!

Аким, опустив ложку, сонно посмотрел на него. И снова с внезапной запальчивостью раскрыл свои пустые ястребиные глаза и бешено крикнул:

— А-а! Бедность! По часам захотел работать?

— А как же? — бешено крикнул и Митрофан, раздувая свои дагомейские ноздри и в упор глядя на Акима блестящими глазами.— Двадцать часов за двугривенный?

— А-а! А тебе бы час за целковый? Дюже жаден, пузо твое лопни!

Но ссора столь же быстро и потухла, как разгорелась. Через минуту Митрофан уже спокойно говорил, обжигаясь кулешом:

— Это он-то не жаден! Да он, дьявол слепой, за копейку в алтаре удавится. Верите ли — жену за пятиалтынный продал! Ей-богу, не шучу. Там у нас в Липецке есть такой старичок, Панков прозывается, тоже прежде садовничал, ну, а теперь на покое и очень любит это дело...

— Аким, значит, тоже липецкий? — спросил Кузьма.

— Из деревни Студенки,— равнодушно сказал Аким, точно и не про него шел толк.

— При брате живет,— подтвердил Митрофан.— Землей, двором сообча владеет с ним, но только все-таки вроде как заместо дурачка, и жена от него, конечно, уж сбежала; а отчего сбежала — как раз от этого от самого: сторговался с Панковым за пятиалтынный, чтоб пустить его, заместо себя, ночью в клеть — и пустил.

Аким молчал, постукивая ложкой по столу и глядя на лампочку. Он уже наелся, утерся и теперь что-то думал.

— Брехать, малый, не пахать,— сказал он наконец.— А хоть бы и пустил: ай она слиняет?

И, прислушиваясь, осклабился, поднял брови, и его суздальское личико стало радостно-грустно, покрылось крупными деревянными морщинами.

— Вот бы из ружья-то его! — сказал он особенно скрипуче и картаво.— Так бы и кувыркнулся!

— Это ты про кого же? — спросил Кузьма.

— Да про соловья-то этого...

Кузьма сжал зубы и, подумав, сказал:

— А стерва ты мужик. Зверь.

— Поцелуй меня в ж... теперь,— отозвался Аким. И, икнув, поднялся:

— Ну, что ж даггом огонь-то жечь?

Митрофан стал завертывать цигарку, пекарь — убирать ложки, а он вылез из-за стола, повернулся к лампочке спиной и, поспешно перекрестившись три раза, с размаху поклонился в темный угол шалаша, встряхнул мочальными прямыми волосами и, подняв лицо, зашептал молитву. От него пала на какие-то тесовые ящики и переломилась большая тень. Он опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился — и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится — и попробуй-ка спросить его, верит ли он в бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Разве он татарин какой!

Казалось, что год тому назад выехал он из города и что никогда-то теперь не доберешься до него. Тяготил мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжатые грязными сапогами. Лицо за день обветрилось, горело. Поднявшись со скамьи, Кузьма пошел навстречу сырому ветру, к воротам в поле, к пустоши давно упраздненного погоста. Из шалаша падал на грязь слабый свет, но, как только Кузьма отошел, Аким дунул на лампочку, свет исчез, и сразу наступила ночь. Голубоватая зарница блеснула смелее, неожиданней, раскрыла все небо, всю глубину сада до самых отдаленных елок, где стояла баня, и вдруг залила все такой чернотой, что закружилась голова. И опять где-то низко загремел дальний гром. Постояв и различив тусклый просвет в воротах, Кузьма вышел на дорогу, пролегавшую вдоль вала, мимо шумящих старых лип и кленов, и стал медленно ходить взад и вперед. На картуз, на руки опять посыпался дождь. И опять глубоко распахнулась черная тьма, засверкали капли дождя, и на пустоши, в мертвенно-голубом свете, вырезалась фигура мокрой тонкошеей лошади. Бледное, металлически-зеленое поле овсов мелькнуло за пустошью на чернильном фоне, а лошадь подняла голову — и Кузьме стало жутко. Он повернул назад, к воротам. Когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе. Он дернул спичкой, увидал широкие нары возле окошечка и, свернув чуйку, кинул ее в изголовье. В темноте влез на нары и с глубоким вздохом растянулся на них, лег по-стариковски, на спину, и закрыл усталые глаза. Боже мой, какая нелепая и тяжкая поездка! И как это он попал сюда? В барском доме теперь тоже тьма, и зарницы, на лету, украдкой отражаются в зеркалах... В шалаше, под проливным дождем, спит Аким... Вот в этой бане не раз, конечно, видали чертей: верит ли Аким хоть в черта как следует? Нет. А все-таки с уверенностью рассказывает о том, как его покойник-дед — непременно дед и непременно покойник — пошел раз в ригу за хоботьем, а черт сидит себе на водиле, ножки переплел, лохматый, как собака... И, выставив одно колено, Кузьма положил кисть руки на лоб и стал, вздыхая и тоскуя, задремывать...

Лето он провел в ожидании места. Мечты о садах ока-

зались очень глупы. Возвратясь в город и хорошенько обдумав свое положение, начал он искать места приказчика, конторщика; потом стал соглашаться на любое — лишь бы был кусок хлеба. Но поиски, хлопоты, просьбы пропадали даром. В городе он давным-давно слыл за большого чудака. Пьянство и безделье превратили его в посмешище. Жизнь его сперва изумляла город, потом стала казаться подозрительной. Да и правда: где это видано, чтобы мещанин в его годы жил на подворье, был холост и нищ, как шарманщик: всего имущества — сундучок да тяжелый старый зонт! И Кузьма стал посматривать в зеркало: что это, в самом деле, за человек перед ним? Ночует в «общем номере», среди чужих, приезжающих и уезжающих людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную белую улицу и бледно-голубое от жары небо... Для кого и для чего живет на свете этот худой и уже седой от голода и строгих дум мещанин, называющий себя анархистом и не умеющий толком объяснить, что значит — анархист? Сидит, читает; вздохнет, пройдется по комнате; опустится на корточки, отомкнет свой сундучок; переложит поаккуратнее истрепанные книжки и рукописи, две-три линючих косоворотки, старый длиннополый сюртук, жилетку, истершееся метрическое свидетельство... А что дальше делать?

И лето тянулось бесконечно долго. Теперь в городе стояла адская сушь. Угловой дом подворья жарился на солнце. По ночам от духоты кровь стучала в голову, и будил каждый звук за открытыми окнами. А на сеновале нельзя было спать от блох, крика петухов и вони навозного двора. Все лето не покидала Кузьму мечта съездить в Воронеж. Хоть бы от поезда до поезда побродить по воронежским улицам, посмотреть на знакомые тополя, на тот голубенький домик за городом... Да зачем? Истратить десять, пятнадцать рублей, а потом отказывать себе в свечке, в булке? Да и стыдно старику предаваться любовным воспоминаниям. А что до Клаши, так его ли еще дочь-то она? Видел он ее года два тому назад: сидит у окна, плетет кружево, облик милый и скромный, но похожа только на мать...

К осени Кузьма убедился, что необходимо или по святым местам уйти, в монастырь какой-нибудь, или — просто дернуть по горлу бритвой. Наступала осень. Уже пахло на базаре яблоками, сливами. Навезли гимназистов. Стало солнце садиться за Щепной площадью: выйдешь из ворот вечером и, переходя перекресток, ослепнешь: налево вся улица, упирающаяся вдали в площадь, залита низким скучным блеском. Сады за заборами — в пыли, паутине. Идет Полозов навстречу — на нем крылатка, но шляпу уже сменил картуз с кокардой. В городском саду ни души. Забита раковина музыкантов, забит киоск, где продавали летом кумыс и лимонад, закрыт дощатый буфет. И однажды, сидя возле этой раковины, Кузьма так затосковал, что уже не шутя задумался о самоубийстве. Солнце садилось, свет его был красноватый, летела мелкая розовая листва по аллее, дул холодный ветер. В соборе звонили ко всенощной, и под этот мерный, густой звон, уездный, субботний, душа ныла нестерпимо. Вдруг под раковиной послышался кашель, кряхтенье... «Мотька»,— подумал Кузьма. И правда: вылез из-под лестницы Мотя-Утиная-Головка. Был он в рыжих солдатских сапогах, в очень длинном гимназическом мундире, обсыпанном мукой,— видно, базар позабавился,— и в соломенной шляпе, много раз попадавшей под колеса. Не раскрывая глаз, отплевываясь и шатаясь с похмелья, он прошел мимо. Кузьма, сдерживая слезы, сам окликнул его:

— Моть! Иди потолкуем, покурим...

И Мотя вернулся, сел на скамью, стал сонно, шевеля бровями, завертывать цигарку, но, кажется, плохо соображал, кто это рядом с ним, кто это жалуется ему на свою судьбу...

А на другой день тот же Мотя принес Кузьме записку Тихона.

В конце сентября Кузьма переехал в Дурновку.

III

В ту давнюю пору, когда Илья Миронов года два жил в Дурновке, был Кузьма совсем ребенок, и остались у него в памяти только темно-зеленые пахучие конопляники,

в которых тонула Дурновка, да еще одна темная летняя ночь: ни единого огня не было в деревне, а мимо избы Ильи шли, белея в темноте рубахами, «девять девок, девять баб, десятая удова», все босые, простоволосые, с метлами, дубинами, вилами, и стоял оглушительный звон и стук в заслонки, в сковороды, покрываемый дикой хоровой песнью: вдова тащила соху, рядом с ней шла девка с большой иконой, а прочие звонили, стучали и, когда вдова низким голосом выводила:

Ты, коровья смерть,
Не ходи в наше село! —

хор, на погребальный лад, протяжно вторил:

Мы опахиваем —

и, тоскуя, резкими горловыми голосами подхватывал:

Со ладаном, со крестом...

Теперь вид дурновских полей был будничный. Ехал Кузьма с Воргла веселый и слегка хмельной,— Тихон Ильич угощал его за обедом наливкой, был очень добр в этот день,— и с удовольствием смотрел на равнины сухих бурых пашен, расстилавшиеся вокруг него. Почти летнее солнце, прозрачный воздух, бледно-голубое ясное небо,— все радовало и обещало долгий покой. Седой, корявой полыни, вывороченной с корнем сохами, было так много, что ее возили возами. Под самой усадьбой стояла на пашне лошаденка, с ременьями в холке, и телега, высоко нагруженная полынью, а подле лежал Яков, босой, в коротких запыленных портках и длинной посконной рубахе, и, придавив боком большого седого кобеля, держал его за уши. Кобель рычал и косился.

— Ай кусается? — крикнул Кузьма.

— Лют — мочи нет! — торопливо отозвался Яков, поднимая свою косую бороду.— На морды лошадям сигает...

И Кузьма засмеялся от удовольствия. Уж мужик так мужик, степь так степь!

А дорога шла под изволок, и горизонт суживался. Впереди зеленела новая железная крыша риги, казавшаяся потонувшей в глухом низкорослом саду. За садом, на противоположном косогоре, стоял длинный ряд изб из глинобитных кирпичей, под соломой. Справа, за пашнями,

тянулся большой лог, входивший в тот, что отделял усадьбу от деревни. И там, где лога сходились, торчали на мысу крылья двух раскрытых ветряков, окруженных несколькими избами однодворцев,— Мысовых, как назвал их Оська,— и белела на выгоне вымазанная мелом школа.

— Что ж, учатся ребятишки-то? — спросил Кузьма.

— Обязательно,— сказал Оська.— Ученик у них — бядовый!

— Какой ученик? Учитель, что ли?

— Ну, учитель, одна часть. Вышколил, говорю, ихнего брата — куда годишься. Солдат. Бьет не судом, да зато у него уж и прилажено все! Заехали мы как-то с Тихоном Ильичом — как вскочут все разом да как гаркнут: «Здравия желаем!» — где тебе и солдатам так-то!

И опять засмеялся Кузьма.

А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге мимо небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома наконец. И, взойдя на крыльцо, переступив порог, Кузьма низко поклонился темной иконе в углу прихожей...

Против дома, задом к Дурновке, к широкому логу, стояли амбары. С крыльца дома, чуть влево, видна была Дурновка, вправо — часть мыса: ветряк и школа. Комнаты были малы и пусты. В кабинете была ссыпана рожь, в зале и гостиной стояло только несколько стульев с продранными сиденьями. Гостиная выходила окнами в сад, и всю осень Кузьма ночевал в ней на продавленном диване, не закрывая окон. Пол никогда не мели: за кухарку первое время жила вдова Однодворка, бывшая любовница молодого Дурново, которой надо было и к ребятишкам своим бегать, и себе кое-что стряпать, и Кузьме с работником. Кузьма сам ставил по утрам самовар, потом сидел под окном в зале, пил чай с яблоками. В утреннем блеске, за логом, густо дымились крыши деревни. Сад свежо благоухал. А в полдень солнце стояло над деревней, на дворе было жарко, в саду рдели клены и липы, тихо роняя разноцветные листья. Голуби, пригретые солнцем, весь день спали на скате кухонной крыши, желтевшей новой соломой в ясном синем небе. Отдыхал после обеда работник. Однодворка уходила домой. А Кузьма бродил. Он шел на

гумно, радуясь солнцу, твердой дороге, высохшим бурьянам, побуревшему подсвекольнику, милому позднему цвету голубого цикория и тихо летевшему по воздуху пуху татарок. Пашни в поле блестели под солнцем шелковистыми сетями паутины, затянувшей их на необозримое пространство. По огороду на сухих репейниках сидели щеглы. На гумне, в глубокой тишине, на припеке, горячо сипели кузнечики... С гумна Кузьма перелезал через вал, возвращался в усадьбу садом, по ельнику. В саду болтал с мещанами, съемщиками сада, с Молодой и Козой, сбиравшими падальцы, залезал с ними в крапивную глушь, где лежали самые спелые. Порой он брел на деревню, в школу...

Солдат-учитель, глупый от природы, на службе сбился с толку совершенно. По виду это был самый обыкновенный мужик. Но говорил он всегда так необыкновенно и нес такую чепуху, что приходилось только руками разводить. Он все чему-то с величайшей хитростью улыбался, глядел на собеседника снисходительно, щурясь, на вопросы никогда не отвечал сразу.

— Как величать-то тебя? — спросил его Кузьма, в первый раз зайдя в школу.

Солдат прищурился, подумал.

— Без имени и овца баран,— сказал он наконец, не спеша.— Но спрошу и я вас: Адам — это имя ай нет?

— Имя.

— Так. А сколько же, к примеру, народу померло с тех пор?

— Не знаю,— сказал Кузьма.— Да ты это к чему?

— А к тому самому, что нам этого отроду не понять! Я, к примеру, солдат и коновал. Иду недавно по ярмарке — глядь, лошадь в сапе. Сейчас к становому: так и так, ваше высокоблагородие. «А можешь ты эту лошадь пером зарезать?» — «С великим удовольствием!»

— Каким пером? — спросил Кузьма.

— А гусиным. Взял, очинил, в жилу становую чкнул, дунул маленько, в перо-то,— и готово. Дело-то, кажись, просто, ан поди-ка, ухитрись!

И солдат лукаво подмигнул и постучал себя пальцем в лоб:

— Тут еще есть смекалка-то!

Кузьма пожал плечами и смолк. И, уж проходя мимо

Однодворки, от ее Сеньки узнал, как зовут солдата. Оказалось — Пармен.

— А что вам задано на завтра? — прибавил Кузьма, с любопытством глядя на огненные вихры Сеньки, на его живые зеленые глаза, конопатое лицо, щуплое тельце и потрескавшиеся от грязи и цыпок руки и ноги.

— Задачи, стихи,— сказал Сенька, подхватив правой рукой поднятую назад ногу и прыгая на одном месте.

— Какие задачи?

— Гусей сосчитать. Летело стадо гусей...

— А, знаю,— сказал Кузьма.— А еще что?

— Еще мышей...

— Тоже сосчитать?

— Да. Шли шесть мышей, несли по шесть грошей,— быстро забормотал Сенька, косясь на серебряную часовую цепочку Кузьмы.— Одна мышь поплоше несла два гроша... Сколько выйдет всего...

— Великолепно. А стихи какие?

Сенька выпустил ногу.

— Стихи — «Кто он?».

— Выучил?

— Выучил...

— А ну-ка.

И Сенька еще быстрее забормотал — про всадника, ехавшего над Невой по лесам, где были только

Ель, сосна да мох сядой...

— Седой,— сказал Кузьма,— а не сядой.

— Ну, сидой,— согласился Сенька.

— А всадник-то этот кто же?

Сенька подумал.

— Да колдун,— сказал он.

— Так. Ну, скажи матери, чтоб она хоть виски-то тебе подстригла. Тебе же хуже, когда учитель дерет.

— А он ухи найдет,— беспечно сказал Сенька, снова берясь за ногу, и запрыгал по выгону.

Мыс и Дурновка, как это всегда бывает со смежными деревнями, жили в постоянной вражде и взаимном презрении. Мысовые считали разбойниками и побирушками

дурновцев, дурновцы — мысовых. Дурновка была «барская», а на Мысу обитали «галманы», однодворцы. Вне вражды, вне распрей находилась только Однодворка. Небольшая, худая, аккуратная, она была жива, ровна и приятна в обращении, наблюдательна. Она знала, как свою, каждую семью и на Мысу и в Дурновке, первая извещала усадьбу о каждом, даже малейшем деревенском событии. Да и ее жизнь знали все отлично. Она никогда и ни от кого ничего не скрывала, спокойно и просто рассказывала о муже, о Дурново.

— Что ж делать-то,— говорила она, легонько вздыхая.— Бедность была лютая, хлебушка и в новину не хватало. Мужик меня, правду надо сказать, любил, да ведь покоришься. Целых три воза ржи дал за меня барин. «Как же быть-то?» — говорю мужику.— «Видно, иди»,— говорит. Поехал за рожью, таскает мерку за меркой, а у самого слезы кап-кап, кап-кап...

Днем работала она не покладая рук, по ночам штопала, шила, воровала щиты на чугунке. Раз, поздно вечером, выехал Кузьма к Тихону Ильичу, поднялся на изволок и обмер от страха: над потонувшими во мраке пашнями, на чуть тлеющей полосе заката росло и плавно неслось на Кузьму что-то черное, громадное...

— Кто это? — слабо крикнул он, натягивая вожжи.

— Ой! — слабо, в ужасе крикнуло и то, что так быстро и плавно росло в небе, и с треском рассыпалось.

Кузьма очнулся — и сразу узнал в темноте Однодворку. Это она бежала на него на своих легких босых ногах, согнувшись, взгромоздив на себя два саженных щита — из тех, что ставят зимой вдоль чугунки от заносов. И, оправившись, с тихим смехом зашептала:

— Напугали вы меня до смерти. Бежишь так-то ночью — дрожишь вся, а что ж делать-то? Вся деревня топится ими, только тем и спасаемся...

Зато совершенно неинтересный человек был работник Кошель. Говорить с ним было не о чем, да он и не словоохотлив был. Как большинство дурновцев, он все только повторял старые немудреные изречения, подтверждал то, что давным-давно известно. Погода портилась — и он посматривал на небо:

— Портится погодка. Дожжок теперь для зеленей первое дело.

Двоили пар — и он замечал:

— Не передвоишь — без хлеба посидишь. Так-то старички-то говаривали.

Он служил в свое время, был на Кавказе, но солдатчина не оставила на нем никаких следов. Он ничего не мог рассказать о Кавказе, кроме того только, что там гора на горе, что из земли бьют там страшно горячие и странные воды: «положишь баранину — в одну минуту сварится, а не вынешь вовремя — опять сырая станет...» И нисколько не гордился тем, что повидал свет; он даже с презрением относился к людям бывалым: ведь «шатаются» люди только поневоле или по бедности. Ни одному слуху не верил — «все брешут!» — но верил, божился, что недавно под сельцом Басовым катилось в сумерки тележное колесо — ведьма, а один мужик, не будь дурак, взял да и поймал это колесо, всунул во втулок подпояску и завязал ее.

— Ну, и что же? — спрашивал Кузьма.

— Да что? — отвечал Кошель.—Проснулась эта ведьма на-рани, глядь — а у ней подпояска из рота и из заду торчит, на животе завязана...

— А чего ж она не развязала-то ее?

— Видно, узел закрещен был.

— И тебе не стыдно такой чепухе верить?

— А мне что ж стыдиться? Люди ложь, и я тож.

И любил Кузьма только напевы его слушать. Сидишь в темноте у открытого окна, нигде ни огонька, деревня чуть чернеет за логом, тихо так, что слышно падение яблок с лесовки за углом дома, а он медленно похаживает по двору с колотушкой и заунывно-мирно напевает себе фальцетом: «Смолкни, пташка-канарейка...» До утра он караулил усадьбу, днем спал,— дела почти не было: с дурновскими делами Тихон Ильич поспешил в этот год управиться рано, из скотины оставил всего лошадь да корову.

Ясные дни сменились холодными, синевато-серенькими, беззвучными. Стали щеглы и синицы посвистывать в голом саду, цыкать в елках клесты, появились свиристели, снегири и еще какие-то неторопливые крохотные

птички, стайками перелетавшие с места на место по гумну, пáдрины которого уже проросли ярко-зелеными всходами; иногда такая молчаливая легонькая птичка одиноко сидела где-нибудь на былинке в поле... На огородах за Дурновкой докапывали последние картошки. Стало рано темнеть, и в усадьбе говорили: «Как поздно машина-то теперь проходит!» — хотя расписание поездов ничуть не изменилось... Кузьма, сидя под окном, целый день читал газеты; он записал свою весеннюю поездку в Казаково и разговоры с Акимом, делал заметки в старой счетоводной книге,— то, что видел и слышал в деревне... Больше всех занимал его Серый.

Серый был самый нищий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестин, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него: он встрявал не только во все мирские, но и во все соседские — после купли, продажи, мены. Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бечевой, о шапке и говорить нечего. Сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. По ему, по его мнению, чертовски не везло. Не подпадало дела настоящего, да и только! Ну, а в бирюльки играть был он не охотник. Всякий, конечно, норовил охаять...

— Да ведь язык-то без костей,— говорил Серый.— Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и бреши.

Земли у него было порядочно — три десятины. Но податей зашло — на десятерых. И отвалились от земли руки у Серого: «Поневоле сдашь ее, землю-то: ее, матушку, в порядке надо держать, а уж какой тут порядок!» Сам он сеял не больше полнивы, но и ту продавал на корню,— «милое за немилое сбывал». И опять с резоном: дождиська ее, попробуй! — «Все, к примеру, дождаться-то лучше...» — бормотал Яков, глядя в сторону и зло усмехаясь. Но усмехался и Серый — печально и презрительно.

— Лучше! — хмыкал он.— Тебе хорошо брехать: девку отдал, малого женил. А у меня — глянь, угол-то сидит...

ребятишек-то. Не чужие ведь. Я вон козу для них держу, поросенка выкармливаю... Тоже небось пить-есть просят.

— Ну, коза, к примеру, в этом деле не повинна,— возражал, раздражаясь, Яков.— Это у нас, к примеру, все водочки да трубочки на уме... трубочки да водочки...

И, чтоб не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от Серого. А Серый спокойно и дельно замечал ему вслед:

— Пьяница, брат, проспится, дурак никогда.

Разделившись с братом, долго скитался Серый по квартирам, нанимался и в городе и по имениям. Ходил и на клевера́. И вот на клеверах-то и повезло ему однажды. Нанялась артель, к какой пристрял Серый, отделать большую партию по восьми гривен с пуда, а клевер возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его — Серый подрядился машонку бить. Нагнал в азадки зерна и купил их. И забогател: в ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал: оказалось, что избу нужно топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы, и простояла она без крыши год, почернела вся. А труба пошла на хомут. Правда, лошади еще не было; да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение... И Серый махнул рукой: решил продать избу, поставить или купить подешевле, глинобитную. Рассуждал он так: будет в избе — ну, на худой конец, десять тысяч кирпичей, за тысячу дают пять, а то и шесть рублей; выходит, значит, больше полсотни... Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи, за матицу пришлось взять не пять целковых, а два с полтиной... Озабоченно приглядывая себе новую избу, целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему. И примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую — крепкую, просторную, теплую.

— В этой я, прямо говорю, не жилец! — отрезал он однажды.

Яков внимательно посмотрел на него, тряхнул шапкой.

— Так. Значит, ждешь, корабли приплывут?

— И приплывут,— ответил Серый загадочно.

— Ой, брось дурь,— сказал Яков,— наймись куда ни на есть, да зубами, к примеру, держись за место...

Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то лад-

ной, настоящей работе отравляла всю жизнь Серому. Скучал он на местах.

— Она, видно, работа-то, не мед,— говорили соседи.

— Небось была бы мед, кабы хозяин попался путный!

И Серый, вдруг оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую историю: как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у попа под Ельцом.

— Да я и сейчас поди туда — с руками оторвут! — восклицал он.— Только слово сказать: пришел, мол, папаша, поработаться на вас.

— Ну, к примеру, и шел бы...

— Шел бы! Когда у меня детей цельный угол сидит! Вестимо: чужую беду — руками разведу. А тут человек без толку пропадает...

Без толку пропадал Серый и нынешний год. Всю зиму с озабоченным видом просидел дома, без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой: в своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертела ему русановская экономия хуже горькой редьки.

— Ой, малый! — сказал раз приказчик.— Наскрозь тебя вижу: придираешься ты лыжи наладить. Забираете, сукины дети, денежки вперед, да и норовите в кусты.

— Это, может, бродяга какой так-то норовит, а не мы,— отрезал Серый.

Но приказчик намека не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз Серого навозить к вечеру хоботья для скотины. Он поехал на гумно и стал навивать воз соломы. Подошел приказчик:

— Разве я тебе не русским языком сказал — хоботье накладать?

— Не время его накладать,— твердо ответил Серый.

— Это почему?

— Путные хозяева хоботье в обед дают, а не на ночь.

— Да ты-то что за учитель такой?

— Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь.

— А везешь солому?

— На все время надо знать.

— Сию же минуту брось накладывать!

Серый побледнел.

— Нет, дела я не брошу. Дела мне нельзя бросать.

— Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха.

— Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу — и отойду. И совсем уйду.

— Ну, брат, навряд! Уйдешь, да вскорости и назад, в волость припрешь.

Серый соскочил с воза, бросил вилы в солому:

— Это я-то припру?

— Ты-то!

— Ой, малый, не припри ты! Авось и за тобой знаем. Тоже, брат, не похвалит хозяин...

Толстые щеки приказчика налились сизой кровью, белки выпучились.

— А-а! Вот как! Не похвалит? Говори же, когда такое дело,— за что?

— Мне нечего говорить,— пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели ноги от страха.

— Нет, брат, брешешь — скажешь!

— А куда мука́ девалась? — внезапно крикнул Серый.

— Мука? Какая такая мука? Какая?

— Сляпая. С мельницы...

Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу — и на мгновение оба замерли.

— Ты что же это,— за пельки хватать? — спросил Серый спокойно.— Задушить хочешь?

И вдруг яростно завизжал:

— Ну, бей, бей, пока сердце кипит!

И, рванувшись, вырвался и схватил вилы.

— Ребята! — заорал приказчик, хотя кругом никого не было.— За старостой! Прислушайте: он меня заколоть хотел, сукин сын!

— Не суйся, нос сшибешь,— сказал Серый, держа вилы наперевес.— Авось не прежнее вам времечко!

Но тут приказчик размахнулся — и Серый торчмя головой полетел в солому...

Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от Думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь, едущему на клевера... Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до сипоты, опалил ресницы, промок до нитки, распоряжаясь водовозами, теми, что ки-

дались с вилами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки, и теми, что просто метались среди жара, треска, льющейся воды, гама, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, рыдающих баб и сыплющихся с обгорелых лозин черных листьев... Как-то в октябре, когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд и соседский боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый первый, со всего разбега, шарахнулся в воду — спасать... Боров все равно утонул, но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый, зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хвастать — и опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у попа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывал брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал:

— Хорошо. Снюхалась она, Матрюшка-то, с Егоркой с этим... Ну, снюхалась и снюхалась. Нехай. Сижу как-то под окошечком, вижу — раз Егорка прошел мимо избе, два... а моя — все нырь да нырь к окошечку... Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе: ты тут кормочку скотине дай, а я пойду,— на сходку повещали. Сел за избой в солому, сижу, жду. А уж снежок первый напал. Вижу — опять снизу крадется Егорка... А она и вот она. Зашли за погреб, потом — шмыг в избу в новую, в пустую, рядом. Подождал я сколько-нибудь...

— История! — сказал Кузьма и болезненно усмехнулся.

Но Серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью. И продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его:

— Стой, слухай, что дальше-то будет. Подождал, говорю, сколько-нибудь — да за ними... Вскочил на порог — прямо на ней и прихватил! Перепужались они — до страсти. Он, как куль, наземь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка... «Ну, говорит, бей меня теперь». Это он-то. «Бить, говорю, ты мне не нужо-он...» Поддевочку его взял, пинжачок — тоже, оставил в одних под-

штанниках,— почесть в чем мать родила... «Ну, говорю, ступай теперь, куды хочешь...» А сам домой. Смотрю — и он сзади идет: снег белый — и он белый, идет, сопит... Деться-то некуда,— куда кинешься? А моя Матрена Миколавна, как я только из избе,— в поле! Закатилась — насилу соседка под самым Басовым за рукав поймала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: «Мы люди бедные ай нет?» Молчит. «Мать-то у тебя убогая ай умная?» Опять молчит. «Как ты нас оконфузила? А? Ты что ж, полон угол мне их нашвыряешь, выбледков-то своих, а я глазами моргай?» Ну, и зачал ее лудить,— был у меня тут кнутик похоженький... Просто сказать, всю пояснику ей изрубил! А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за голубчика...

— И женил? — спросил Кузьма.

— Вона! — воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток.— Еще как свадьбу-то сыграли! На расходы я, брат, жмуриться не стану...

«Ну, и рассказ!» — долго думал Кузьма после этого вечера.— А погода портилась. Писать не хотелось, тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз Гололобый из Басова,— совершенно лысый мужик в огромной шапке,— писать прошение на свата, переломившего ему ключицу. Приходила вдова Бутылочка с Мыса — писать письма к сыну, вся в лохмотьях, вся мокрая и ледяная от дождя. Начнет диктовать,— в слезы.

— Город Серьпухов, при дворянской бане, дом Желтухин...

И заплачет.

— Ну? — спрашивает Кузьма, скорбно кося брови, постариковски глядя на Бутылочку — поверх пенсне.— Ну, написал. Дальше что?

— Дальше-то? — спрашивает Бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает:

— Дальше-то пиши, касатик, поскладнее... Передать, значит, Михал Назарычу Хлусову... в собственные руки...

И продолжает — то с остановками, то совсем без остановок:

— Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише,

что же ты, Миша, про нас забыл, никакого слуху нету от вас... Ты сам знаешь, мы на хватере, а теперича нас сгоняют долой, куда ж мы теперича денемся... Дорогой наш сыночек Миша, просим мы вас за ради господа бога, чтоб вы приезжали домой как ни можно скорей...

И опять сквозь слезы шепотом:

— Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем у своем угле...

Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой листвой акаций, необозримые пашни и озими вокруг Дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре — дожди, где за нуждой приходится идти на варок или в вишенник. Когда завернуло ненастье, пришлось гостиную забить наглухо и перебраться в зал, чтоб уже всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином, и Кузьма проводил сумерки без огня, а вечером зажигал какой-нибудь огарок только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча, с строгим лицом подавала Молодая.

«Куда бы поехать?» — думал он порою.

Соседей поблизости было всего только трое: старуха-княжна Шахова, которая не принимала даже предводителя дворянства, считая его невоспитанным; отставной жандарм Закржевский, геморроидально-злой человек, который и на порог не пустил бы к себе; и, наконец, мелкопоместный дворянин Басов, живший в избе, женившийся на простой бабе, говоривший только о хомутах и скотине. Отец Петр, священник из Колодезей, куда Дурновка была приходом, посетил раз Кузьму, но вести знакомство не возымел охоты ни тот, ни другой. Кузьма угостил священника только чаем — священник резко и неловко захохотал, увидав на столе самовар. «Самоварчик? Отлично! Вы, я вижу, не тароваты на угощенье!» И хохот совсем не шел к нему: точно другой кто-то хохотал за этого высокого, худого человека с большими лопатками и черными крупными волосами, с бегающим взглядом.

Не часто бывал Кузьма и у брата. А тот приезжал только тогда, когда был чем-нибудь расстроен. И одиночество было так безнадежно, что порою Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове. Сравнивал он себя и с Серым. Ах, ведь и он, подобно Серому, нищ, слабоволен, всю жизнь ждал каких-то счастливых дней для работы!

По первому снегу Серый куда-то ушел и пропадал с неделю. Явился домой сумрачный.

— Ай опять к Русанову ходил? — спросили соседи.

— Ходил,— ответил Серый.

— Зачем?

— Уговаривали наняться.

— Так. Не согласился?

— Дурей их не был да дó веку и не буду!

И Серый, не снимая шапки, опять надолго засел на лавку. И в сумерки тоскливо становилось на душе при взгляде на его избу. В сумерки за широким снежным логом скучно чернела Дурновка, ее риги и лозинки на задворках. Но темнело и — загорались огоньки, казалось, что в избах мирно, уютно. И неприятно чернела только темная изба Серого. Она была глуха, мертва. Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья — пахнет снегом, в дыры крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит навозом и хворостом, кое-как накиданным на стропила; найдешь ощупью покосившуюся стену и отворишь дверь, встретишь холод, тьму, чуть мерцающее во тьме мерзлое окошечко... Никого не видно, но угадываешь: хозяин на лавке,— угольком краснеет его трубка; хозяйка,— смирная, молчаливая, с придурью баба,— тихонько покачивает повизгивающую люльку, где болтается бледный, сонный от голода рахитик. Детишки забились на чуть теплую печку и что-то шепотом рассказывают друг другу. В гнилой соломе под нарами шуршат, возятся коза и поросенок,— большие друзья. Страшно разогнуться, чтобы не удариться головой в потолок. Повертываешься тоже с опаской: от порога до противоположной стены всего пять шагов.

— Кто-й-то? — раздается из темноты негромкий голос.

— Я.

— Никак, Кузьма Ильич?

— Он самый.

Серый подвигается, опрастывает место на лавке. Кузьма садится, закуривает. Понемногу начинается разговор. Угнетенный темнотой, Серый прост, грустен, сознается в своих слабостях. Голос его порою дрожит...

Зима наступила долгая, снежная.

Бледно-белеющие под синевато-сумрачным небом поля стали шире, просторней и еще пустыннее. Избы, пуньки, лозины, риги резко выделялись на первых порошах. Потом завернули вьюги и намели, навалили столько снега, что деревня приняла дикий северный вид, стала чернеть только дверями да окошечками, еле выглядывающими из-под нахлобученных белых шапок, из белой толщи завалинок. За вьюгами подули по затвердевшему серому насту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах, пошел тонуть в непролазных наносах, испещренных заячьими следами, однодворец Тарас Миляев, спокон веку приверженный охоте, превратились в мерзлые глыбы водовозки, наросли ледяные скользкие бугры вокруг прорубей, накатались дороги по сугробам — и зимние будни установились. Начались по деревне повальные болезни: оспа, горячка, скарлатина... Вокруг прорубей, из которых пила вся Дурновка, над вонючей темно-бутылочной водой, по целым дням стояли, согнувшись и подоткнув юбки выше сизых голых колен, в мокрых лаптях, с большими, закутанными головами, бабы. Они вытаскивали из чугунов с золою свои серые замашные рубахи, мужицкие тяжевые портки, детские загаженные свивальники, полоскали их, били вальками и перекликались, сообщая друг другу, что руки «зашлись с пару», что во дворе у Матютиных помирает в горячке бабка, что у снохи Якова завалило горло... Смеркалось часа в три, лохматые собаки сидели на крышах, почти сровнявшихся с сугробами. Ни единая душа не знала, чем питаются эти собаки. Однако они были живы и даже свирепы.

Просыпались в усадьбе рано. На рассвете, в синеватой темноте, когда зажигались по избам огоньки, затапливались печи и сквозь застрехи медленно шел густой молочный дым, а во флигеле с замерзшими серыми окнами

становилось холодно, как в сенцах, Кузьму будил стук дверей и шуршанье мерзлой, со снегом, соломы, которую таскал из розвальней Кошель. Слышался его негромкий сиплый голос,— голос человека, проснувшегося рано, натощак озябшего. Гремела трубой самовара и строгим шепотом переговаривалась с Кошелем Молодая. Она спала не в людской, где тараканы до крови обтачивали руки и ноги, а в прихожей, и вся деревня была убеждена, что это неспроста. Деревня хорошо знала, что пережила Молодая за осень. Молчаливая Молодая была строже и печальнее схимницы. Но что с того? Кузьма уже знал от Однодворки, что́ говорили на деревне, и, просыпаясь, всегда вспоминал об этом со стыдом и отвращением. Он стучал кулаком в стену, давая знать, что ждет самовара, и, кряхтя, закуривал цигарку: это успокаивало сердце, облегчало грудь. Он лежал под тулупом и, не решаясь расстаться с теплом, курил и думал: «Бесстыжий народ! Ведь у меня дочь ровесница ей...» То, что за стеной ночевала молодая женщина, волновало его только отеческой нежностью: днем она была серьезна, скупа на слова, когда спала, было в ней что-то детское, грустное, одинокое. Но разве деревня могла верить этой нежности? Не верил даже Тихон Ильич: что-то уж очень странно усмехался он порою. Он и всегда-то был недоверчив, подозрителен, груб в своих подозрениях, а теперь и совсем потерял ум: что ему ни скажи,— у него на все один ответ.

— Слышал, Тихон Ильич? Закржевский, говорят, от катара помирает: в Орел повезли.

— Брехня. Знаем мы этот катар!

— Да мне фельдшер говорил.

— А ты слушай его побольше...

— Хочу газетку выписать,— скажешь ему.— Дай мне, пожалуйста, в счет жалованья рублей десять.

— Гм! Охота же человеку брехней голову забивать. Да, признаться, со мной и денег-то всего пятиалтынный, не то двугривенный...

Войдет Молодая с опущенными ресницами:

— Муки, Тихон Ильич, у нас осталось чуть...

— Это как же так — чуть? Ой, брешешь, баба!

И перекосит брови. А доказывая, что муки должно было хватить, по крайней мере, еще дня на три, все бы-

стро поглядывает то на Кузьму, то на Молодую. Раз даже спросил, усмехнувшись:

— А как спать-то вам,— ничего, тепло?

И Молодая густо покраснела и, нагнув голову, вышла, а у Кузьмы от стыда и злобы похолодели пальцы.

— Стыдно, брат, Тихон Ильич,— пробормотал он, отвертываясь к окну.— И особливо после того, что ты сам же открыл мне...

— А чего ж она покраснела? — зло, смущенно и неловко улыбаясь, спросил Тихон Ильич.

По утрам неприятнее всего было умываться. В прихожей несло морозом от соломы, плавал, как битое стекло, лед в рукомойнике. Кузьма порой принимался за чай, вымыв только руки, и со сна казался совсем стариком. От нечистоты и холода он сильно похудел и поседел за осень. Похудели руки, кожа на них стала тоньше, глянцевитее, покрылась какими-то мелкими лиловыми пятнышками.

Утро было серое. Под затвердевшим серым снегом серой была и деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле изб — лили помои, выкидывали золу. Оборванные мальчишки спешили по улице между избами и пуньками в школу, взбегали на сугробы, скатывались с них на лаптях; на всех были холщовые мешки с грифельными досками и с хлебом. Навстречу им, приседая под коромыслом с двумя ушатами и неловко ступая безобразными задубеневшими валенками, обшитыми свиной кожей, шел в одном армячишке старый, больной, темнолицый Чугунок; тянулась с бугра на бугор и, раскатываясь, расплескивалась чья-нибудь заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, занимавшие друг у друга то соли, то пшена, то совок мучицы на лепешки или саламату. На гумнах было пусто,— только у Якова дымились ворота риги: он, подражая богатым мужикам, молотил зимою. А за гумнами, за голым лозняком на задворках, расстилалось под низким белесым небом серое снежное поле, пустыня волнообразного наста.

Порой Кузьма ходил завтракать к Кошелю в людскую— горячими, как огонь, картошками или вчерашними

кислыми щами. Он вспоминал город, где прожил всю жизнь, и дивился: совсем не тянуло его туда. У Тихона город был заветной мечтой, он презирал и ненавидел деревню всей душою. Кузьма только силился ненавидеть. Он теперь с еще большим страхом, чем прежде, оглядывался на свое существование: он совсем одичал в Дурновке, — часто не умывался, весь день не снимал чуйки, хлебал из одной миски с Кошелем. Но хуже всего было то, что, страшась своего существования, которое старило его не по дням, а по часам, он чувствовал, что оно все-таки приятно ему, что он, кажется, возвратился в ту именно колею, какая, может быть, и надлежала ему от рождения: недаром, видно, текла в нем кровь дурновцев!

После завтрака он гулял иногда, по усадьбе или по деревне. Бывал на гумне у Якова, в избе у Серого или Кошеля, старуха которого жила одна, слыла колдуньей, была высока и страшно худа, зубаста, как смерть, говорила грубо и решительно, как мужик курила трубку: истопит печку, сядет на нары и покуривает себе, мотая тонкой длинной ногой в тяжелом черном лапте. Раза два за весь пост Кузьма выезжал — был на почте и у брата. И поездки эти были тяжелы: промерзал Кузьма до того, что не чувствовал, есть у него тело или нет. Бараний тулуп его служил так давно, что весь пошел лысинами. А ветер в поле был свирепый. После сидения в Дурновке нельзя было надышаться крепкой свежестью зимнего воздуха. После долгого созерцания деревни поражал снежно-серый простор, по-зимнему синеющие дали казались неоглядными, красивыми, как на картине. Бодро, отфыркиваясь, неслась против жесткого ветра лошадь, смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней. Кошель, с черно-лиловой обмороженной щекой, бодро кряхтя, соскакивал с облучка на раскатах и на бегу боком вскакивал на него. Но ветер продувал насквозь, ноги, поставленные в солому, перебитую со снегом, ныли и коченели, лоб и скулы ломило... А в низенькой почтовой конторе в Ульяновке было скучно так, как может быть скучно только в захолустных казенных местах. Пахло плесенью, сургучом, оборванный почтальон стучал штемпелем, угрюмый Сахаров орал на мужиков, сердясь, что Кузьма не догадывается прислать ему пяток кур или пуд

муки. Возле дома Тихона Ильича волновал запах паровозного дыма, напоминал, что есть на свете города, люди, газеты, новости. Поговорить с братом, отдохнуть у него, согреться было бы приятно. Но разговор не налаживался. Брата поминутно отрывали в лавку, по хозяйству, говорил он тоже только о хозяйстве, о брехне, о подлости и злобе мужиков,— о необходимости поскорее, поскорее развязаться с имением. Настасья Петровна была жалка. Она, видимо, стала страшно бояться мужа; невпопад встревала в беседу, невпопад хвалила его,— его ум, зоркий хозяйский глаз, то, что он по хозяйству во все, во все вникает сам.

— Уж такой доступный до всего, такой доступный! — говорила она — и Тихон Ильич грубо обрезал ее. Через час такой беседы Кузьму начинало тянуть домой, в усадьбу. «Он рехнулся, ей-ей, рехнулся!» — бормотал Кузьма на пути домой, вспоминая угрюмое и злое лицо Тихона, его замкнутость, подозрительность и утомительное повторение одного и того же. И покрикивал на Кошеля, на лошадь, торопясь скрыть в своем домишке и тоску свою, и старую холодную одежду...

На святках к Кузьме повадился Иванушка из Басова. Это был старозаветный мужик, ошалевший от долголетия, некогда славившийся медвежьей силой, коренастый, согнутый в дугу, никогда не подымавший лохматой бурой головы, ходивший носками внутрь. В холеру девяносто второго года вся огромная семья Иванушки вымерла. Уцелел только сын, солдат, служивший теперь будочником на чугунке, недалеко от Дурновки. Можно было дожить век и у сына, но Иванушка предпочел бродить, побираться. Он косолапо шел по двору с палкой и шапкой в левой руке, с мешком в правой, с раскрытой головой, на которой белел снег — и овчарки почему-то не брехали на него. Он входил в дом, бормотал: «Дай бог дому сему да хозяина в дому»,— и садился у стены на пол. Кузьма отрывался от книги и с удивлением, с робостью смотрел на него поверх пенсне, как на какого-то степного зверя, присутствие которого было странно в комнате. Молча, с опущенными ресницами, с легкой ласковой улыбкой, мягко ступая лаптями, появлялась Молодая, подавала Иванушке миску вареных картошек и целую краюху хлеба, серую

от соли, и становилась у притолки. Она носила лапти, в плечах была плотна, широка, и красивое поблекшее лицо ее было так крестьянски-просто и старинно, что, казалось, иначе и не могла она называть Иванушку, как дедушкой. И она, улыбаясь,— она улыбалась только ему одному,— негромко говорила:

— Закуси, закуси, дедушка.

А он, не поднимая головы, зная ее ласку только по голосу, тихо ныл в ответ, иногда бормотал: «Спаси табе господь, внучкя», широко и неловко, точно лапой, крестился и жадно принимался за еду. На его бурых волосах, нечеловечески густых и крупных, таяло. С лаптей текло по полу. От ветхого бурого чекменя, надетого на грязную посконную рубаху, пахло курной избой. Изуродованные долголетней работой руки, корявые негнущиеся пальцы с трудом ловили картошки.

— Небось холодно в одном чекмене-то? — громко спрашивал Кузьма.

— Ась? — слабым нытьем отзывался Иванушка, подставляя закрытое волосами ухо.

— Холодно тебе небось?

Иванушка думал.

— Чем холодно? — отвечал он с расстановкой.— Ничаво ня холодно... В старину куда стюдяней было.

— Подними голову-то, волосы-то поправь!

Иванушка медленно качал головою.

— Таперь, брат, не подымешь... Гнеть к земле-то...

И с тусклой улыбкой силился поднять свое страшное, заросшее волосами лицо, свои крохотные, сощуренные глазки.

Наевшись, он вздыхал, крестился, собирал и дожевывал крошки с колен; потом шарил возле себя — искал мешок, палку и шапку, а найдя и успокоившись, начинал неторопливую беседу. Он мог просидеть молча весь день, но Кузьма и Молодая расспрашивали — и он, как во сне, откуда-то издалека, отвечал. Он рассказывал своим неуклюжим старинным языком, что царь, говорят, весь из золота, что рыбу царь не может есть — «дюже солона», что пророк Илья раз проломил небо и упал на землю: «дюже был грузен»; что Иван Креститель родился лохматый, как баран, и, крестя, бил крестника костылем железным в го-

лову, чтобы тот «очухался»; что всякая лошадь раз в году, в день Флора и Лавра, норовит человека убить; рассказывал, что в старину ржи были такие, что уж не мог проползти, что косили прежде в день по две десятины на брата; что у него был мерин, которого держали «на чепи» — так силен и страшен был он; что однажды, лет шестьдесят тому назад, у него, у Иванушки, украли такую дугу, за которую он двух целковых не взял бы... Он был твердо убежден, что семья его вымерла не от холеры, а оттого, что перешла после пожара в новую избу, ночевала в ней, не дав сперва переночевать кочету, и что он с сыном спасся только случайно: спал в риге... Под вечер Иванушка поднимался и уходил, не обращая внимания ни на какую погоду, не склоняясь ни на какие увещания остаться до утра... И простудился насмерть — и под крещение скончался в будке сына. Сын уговаривал его причаститься. Иванушка не согласился: сказал, что, причастившись, помрешь, а смерти он твердо решил «не поддаваться». Он по целым дням лежал без памяти; но даже и в бреду просил невестку сказать, что его дома нет, если постучится смерть. Ночью раз пришел в себя, собрал силы, слез с печи и стал на колени перед образом, озаренным лампадкой. Он тяжко вздыхал, долго бормотал, повторял: «Господи-батюшка, прости мои прегрешения...» Потом задумался, долго молчал, приникнув головою к полу. И вдруг поднялся и твердо сказал: «Не, не поддамся!» Но утром увидал, что невестка разваливает пироги, жарко топит печь...

— Ай мне на похороны? — спросил он дрогнувшим голосом.

Невестка промолчала. Он опять собрал силы, опять слез с печи, вышел в сенцы: да, верно,— у стены стоймя стоял громадный лиловый гроб с белыми восьмиконечными крестами! Тогда он вспомнил, что было лет тридцать тому назад с соседом, стариком Лукьяном: Лукьян захворал, ему купили гроб — тоже хороший, дорогой гроб,— привезли из города муки, водки, соленого судака; а Лукьян возьми да и поправься. Куда было девать гроб? Чем оправдать траты? Лукьяна лет пять проклинали потом за них, сживали попреками со свету... Иванушка, вспомнив это, поник головой и покорно побрел в избу. А ночью,

лежа на спине без памяти, стал дрожащим, жалобным голосом петь, да все тише, тише — и вдруг затряс коленами, заикал, высоко поднял грудь вздохом и, с пеной на раскрытых губах, застыл...

Чуть не месяц Кузьма пролежал из-за Иванушки в постели. Утром на крещенье говорили, что птица мерзнет на лету, а у Кузьмы даже валенок не было. И все-таки он поехал взглянуть на мертвого. Руки его, сложенные и закоченевшие под огромной грудью на чистой посконной рубахе, уродованные мозолистыми наростами в течение целых восьмидесяти лет первобытно-тяжкой работы, были так грубы и страшны, что Кузьма поспешил отвернуться. А на волосы, на мертвое звериное лицо Иванушки он даже и покоситься не мог,— поскорее кинул белый коленкор. Чтобы согреться, он выпил водки и посидел перед жарко пылающей печкой. В будке было тепло и празднично-чисто, над возглавием широкого лилового гроба, закрытого коленкором, мерцал золотистый огонек восковой свечки, прилепленной к угловому темному образу, пестрела яркими красками лубочная картина — продажа братьями Иосифа. Приветливая солдатка легко поднимала на рогаче и вдвигала в печь пудовые чугуны, весело говорила о казенных дровах и все упрашивала остаться до возвращения из села мужа. Но Кузьму била лихорадка; лицо горело, от водки, отравой разлившейся по озябшему телу, стали навертываться на глаза беспричинные слезы... И, не согревшись, Кузьма поехал по белым крепким волнам полей к Тихону Ильичу. Заиндевевший, бело-кудрявый мерин бежал шибко, екая селезенкой, кидая из ноздрей столбы серого пара; козырьки голосили, звонко визжали железными подрезами по жесткому снегу; сзади, в морозных кругах, желтело низкое солнце; спереди, с севера, несло жгучим, захватывающим дух ветром; вешки клонились в густом кудрявом инее, и крупные серые овсянки стаей летели перед мерином, рассыпáлись по лоснящейся дороге, клевали мерзлый навоз, опять взлетали и опять рассыпáлись. Кузьма глядел на них сквозь тяжелые, белые ресницы, чувствовал, что задеревеневшее лицо его с белыми кудрями усов и бороды стало похоже на святочную маску... Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом блеске, от их хребтов и за-

зубрин тянулись голубые тени... Кузьма круто повернул лошадь и погнал ее назад, домой. Солнце село, в доме с запушенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно. Снегирь, висевший в клетке возле окна в сад, околел, лежал вверх лапками, распушив перья, раздув красный зобик.

— Готов! — сказал Кузьма и понес снегиря выкидывать.

Дурновка, занесенная мерзлыми снегами, такая далекая всему миру в этот печальный вечер среди степной зимы, вдруг ужаснула его. Кончено! Горящая голова мутна и тяжела, он сейчас ляжет и больше не встанет... Скрипя по снегу лаптями, к крыльцу подходила с ведром в руке Молодая.

— Заболел я, Дунюшка! — ласково сказал Кузьма, в надежде услыхать от нее ласковое слово.

Но Молодая равнодушно, сухо ответила:

— Самовар, что ль, поставить?

И даже не спросила, чем заболел. Не спросила ничего и об Иванушке... Кузьма вернулся в темную комнату и, весь дрожа, со страхом соображая, как же это и куда он будет ходить теперь за нуждой, лег на диван... И вечера смешались с ночами, ночи с днями, счет их потерялся...

В первую ночь, часа в три, он очнулся и постучал в стену кулаком, чтобы попросить воды: мучила во сне жажда и мысль, выкинули ли снегиря. Но на стук никто не отозвался. Молодая ушла ночевать в людскую. И Кузьма вспомнил, почувствовал, что он смертельно болен, и его охватила такая тоска, точно он очнулся в склепе. Значит, в прихожей, пахнущей снегом, соломой и хомутами, было пусто! Значит, он, больной и беспомощный, совсем один в этом темном ледяном домишке, где тускло сереют окна среди мертвой тишины бесконечной зимней ночи и висит ненужная клетка!

— Господи, спаси и помилуй, господи, помоги хоть сколько-нибудь,— зашептал он, поднимаясь и шаря дрожащими руками по карманам.

Он хотел зажечь спичку. Но шепот его был горячечный, в пылающей голове шумело и звенело, руки, ноги леденели... Приехала Клаша, его родная, милая дочь, быстро распахнула дверь, положила его голову на подушку,

села на стул возле дивана... Одета она была барышней,— бархатная шубка, шапочка и муфта из белого меха,— руки ее пахли духами, глаза блестели, щеки с мороза раскраснелись... «Ах, как хорошо распуталось все!» — шептал кто-то, но нехорошо было то, что Клаша почему-то не зажгла огня, что приехала она не к нему, а на похороны Иванушки... что она внезапно басом запела под гитару: «Хаз-Булат удалой, бедна́ сакля твоя...»

В смертельной тоске, отравлявшей душу в начале болезни, Кузьма бредил снегирем, Клашей, Воронежем, но даже в бреду не покидала его мысль — сказать кому-то, чтобы хоть в одном сжалились над ним — не хоронили в Колодезях. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость в Дурновке! Раз он пришел в себя утром, когда топили печку,— и простые, спокойные голоса Кошеля и Молодой показались ему так беспощадны, чужды и странны, как всегда кажется беспощадна, чужда и странна больным обыденная жизнь здоровых. Он хотел крикнуть, попросить поставить самовар — и онемел: послышался сердитый шепот Кошеля, говорившего, конечно, о нем, о больном, и отрывистый ответ Молодой:

— А, да ну его! Помрет — похоронят...

Потом светило в окна, сквозь голые ветви акаций, предвечернее солнце. Синел табачный дым. Возле постели сидел старичок-фельдшер, пахнущий лекарствами и морозной свежестью, отдиравший с усов ледяные сосульки. На столе кипел самовар, и Тихон Ильич, высокий, седой, строгий, заваривал, стоя у стола, душистый чай. Фельдшер говорил о своих коровах, ценах на муку и масло, а Тихон Ильич рассказывал, как чудесно, богато хоронили Настасью Петровну, как он рад, что нашелся наконец покупатель на Дурновку. Кузьма понимал, что Тихон Ильич только что из города, что Настасья Петровна умерла там внезапно, по дороге на вокзал; понимал, что стоили Тихону Ильичу похороны страшно дорого и что он уже взял задаток за Дурновку — и был совершенно равнодушен...

Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за самовар. День был пасмурный, теплый, навалило много свежего снега. Отпечатывая в нем следы лаптей, испещренные крестиками, прошел под окном

Серый. Вокруг него, обнюхивая его рваные полы, бежали овчарки. А он тянул за повод высокую грязно-соловую лошадь, безобразную от старости и худобы, с истертыми хомутом плечами, с побитой спиной, с жидким нечистым хвостом. Она ковыляла на трех ногах, четвертую, переломленную ниже колена, волочила. И Кузьма вспомнил, что третьего дня был Тихон Ильич и сказал, что велел Серому полакомить овчарок,— найти и зарезать старую лошадь, что Серый и прежде промышлял иногда этим делом — покупкой дохлой или негодной скотины на шкуру. С Серым, говорил Тихон Ильич, был недавно страшный случай: готовясь резать какую-то кобылу, Серый забыл ее спутать, связал и затянул на сторону только морду,— и кобыла, как только он, перекрестившись, ударил ее тонким ножичком в жилу возле ключицы, взвизгнула и, с визгом, с желтыми, оскаленными от боли и ярости зубами, с бьющей на снег струей черной крови, кинулась на своего убийцу и долго, как человек, гонялась за ним — и настигла бы, да «спасибо, снег был глубок»... Кузьму так поразил этот случай, что теперь, заглянув в окно, он опять почувствовал тяжесть в ногах. Он стал глотать горячий чай — и понемногу оправился. Покурил, посидел... Наконец встал, вышел в прихожую и взглянул на голый, редкий сад за оттаявшим окном: в саду, на белоснежном покрове поляны, краснела бокастая кровавая туша с длинной шеей и ободранной головою; собаки, сгорбившись и упершись лапами в мясо, жадно вырывали и растягивали кишки; два старых черно-сизых ворона боком подпрыгивали к голове, взлетали, когда собаки, рыча, кидались на них, и опять опускались на девственно-чистый снег. «Иванушка, Серый, вороны...— подумал Кузьма.— Господи, спаси и помилуй, вынеси меня отсюда!»

Недомогание не покидало Кузьму еще долго. Грустно и радостно трогала мысль о весне, хотелось поскорее вон из Дурновки. Он знал, что зиме еще и конца не предвидится; но оттепели уже начинались. Первая неделя февраля была темная, туманная. Туман скрывал поля, съедал снег. Деревня чернела, между грязными сугробами стояла вода; становой проехал однажды по деревне гуськом, весь закиданный конским пометом. Пели петухи, из вентилятора тянуло волнующей весенней сыростью... Жить еще

хотелось — жить, ждать весны, переезда в город, жить, покоряясь судьбе, и делать какое угодно дело, хотя бы за один кусок хлеба... И, конечно, у брата,— какой он ни есть. Брат ведь уже предлагал ему, больному, переселиться на Воргол.

— Куда ж мне гнать-то тебя,— сказал он, подумав.— Я и лавку с двором с первого марта передаю,— поедем-ка, братуша, в город, подальше от этих живорезов!

И правда: живорезы. Была Однодворка и передавала подробности недавней истории с Серым. Дениска вернулся из Тулы и околачивался без дела, болтая по деревне, что хочет жениться, что у него есть денежки и что скоро заживет он за первый сорт. Деревня сперва называла эти россказни брехнею, потом, по намекам Дениски, сообразила, в чем дело, и поверила. Поверил и Серый и стал заискивать в сыне. Но, ободрав лошадь, получив целковый от Тихона Ильича и нажив полтинник на шкуре, загордел и загулял: пил два дня, потерял трубку и лег отлеживаться на печке. Голова болела, покурить было не из чего. Вот он и стал обдирать на цигарки потолок, который Дениска оклеивал газетами и разными картинами. Обдирал он, конечно, тайком, но раз таки застал его Дениска за этим делом. Застал и заорал. Серый с похмелья тоже заорал — и Дениска стащил его с печки и бил смертным боем до тех пор, покуда не сбежались соседи... Но, думал Кузьма, не живорез ли и Тихон Ильич, с упорством сумасшедшего настаивавший на свадьбе Молодой с одним из этих живорезов!

Услыхав об этой свадьбе впервые, Кузьма твердо решил, что не допустит ее. Какой ужас, какая нелепость! Потом, приходя в себя во время болезни, он даже радовался этой нелепости. Удивило и поразило его равнодушие Молодой к нему, больному. «Зверь, дикарь! — думал он и, вспоминая о свадьбе, злобно прибавлял: — И отлично! Так ей и надо!» Теперь, после болезни, исчезли и решимость и злоба. Как-то заговорил он с Молодой о намерении Тихона Ильича — и она спокойно ответила:

— Да что ж, я уж балакала с Тихоном Ильичом об этом деле. Дай бог ему доброго здоровья, это он хорошо придумал.

— Хорошо? — изумился Кузьма.

Молодая посмотрела на него и покачала головою:

— Да как же не хорошо-то? Чудны вы, ей-богу, Кузьма Ильич! Денег сулит, свадьбу берет на себя... Опять же не вдовца какого-нибудь придумал, а малого молодого, без порока... не гнилого, не пьяницу...

— А лодыря, драчуна, дурака набитого,— прибавил Кузьма.

Молодая потупила глаза, помолчала. Вздохнула и, повернувшись, пошла к двери.

— Да как знаете,— сказала она с дрожью в голосе.— Дело ваше... Отговаривайте... Бог с вами.

Кузьма широко раскрыл глаза и крикнул:

— Стой, да ты с ума сошла! Разве я тебе зла желаю?

Молодая обернулась и остановилась.

— А разве не зла? — горячо и грубо заговорила она, краснея и блестя глазами.— Куда ж, по-вашему, мне деваться? Век чужие пороги обивать? Чужую корку глодать? Бездомной побирушкой шататься? Ай вдовца, старика искать? Мало я слез-то поглотала?

И голос ее сорвался. Она заплакала и вышла. Вечером Кузьма убедил ее, что он и не думал расстраивать дела, и она наконец поверила, ласково и застенчиво усмехнулась.

— Ну, спасибо вам,— сказала она тем милым тоном, каким говорила с Иванушкой.

Но и тут на ресницах ее задрожали слезы — и опять развел руками Кузьма.

— А теперь-то ты о чем? — сказал он.

И Молодая тихо ответила:

— Да авось и Дениска не радость...

Кошель привез с почты газету почти за полтора месяца. Дни стояли темные, туманные, и Кузьма с утра до вечера читал, сидя у окна. И, кончив, ошеломив себя числом новых «террористических актов» и казней, оцепенел. Косо неслась белая крупа, падая на черную нищую деревушку, на ухабистые, грязные дороги, на конский навоз, лед и воду; сумеречный туман скрывал поля...

— Авдотья! — крикнул Кузьма, поднимаясь с места.— Скажи Кошелю — лошадь в козырьки запречь!

Тихон Ильич был дома. Он сидел за самоваром, в одной ситцевой косоворотке, смуглый, с белой бородой, с на-

супленными серыми бровями, большой и сильный, и заваривал чай.

— А! братуша! — приветливо воскликнул он, не раздвигая бровей.— Вылез на свет божий? Смотри, не рано ли?

— Уж очень соскучился, брат,— ответил Кузьма, целуясь с ним.

— Ну, а соскучился, давай греться и балакать...

Расспросив друг друга, нет ли новостей, стали молча пить чай, потом закурили.

— Очень ты похудел, братуша! — сказал Тихон Ильич, затягиваясь и исподлобья глядя на Кузьму.

— Похудеешь,— ответил Кузьма тихо.— Ты не читаешь газет?

Тихон Ильич усмехнулся.

— Брехню-то эту? Нет, бог милует.

— Сколько казней, если бы ты знал!

— Казней? Поделом... Ты не слыхал, что под Ельцом-то было? На хуторе братьев Быковых?.. Помнишь небось,— картавые-то?.. Сидят эти Быковы, не хуже нас с тобою, этак вечерком, играют в шашки... Вдруг — что такое? Топот на крыльце, крик: «Отворяй!» И не успели, братец ты мой, эти самые Быковы глазом моргнуть — вваливается ихний работник, мужичишка на манер Серого, а за ним — два архаровца какие-то, золоторотцы, короче сказать... И все с ломами. Подняли ломы да как заорут: «Руки уверх, мать вашу так!» Быковы, конечно, перепугались не на живот, а на смерть, вскочили, кричат: «Да что такое?» А мужичишка свое: уверх да уверх!

И Тихон Ильич сумрачно улыбнулся и, задумавшись, смолк.

— Да договаривай же,— сказал Кузьма.

— Да и договаривать-то нечего... Подняли, конечно, руки и спрашивают: «Да что вам надо-то?» — «Ветчину подавай! Где ключи у тебя?» — «Да сукин сын! Тебе ли не знать? Да вот они, на притолке на гвоздике висят...»

— Это с поднятыми-то руками? — перебил Кузьма.

— Конечно, с поднятыми... Ну, да и всыпят им теперь за эти руки! Удавят, конечно. Они уж в остроге, голубчики...

— Это за ветчину-то удавят?

— Нет, за транду, прости ты, господи, мое согреше-

ние,— полусердито, полушутливо отозвался Тихон Ильич.— Будет тебе, ей-богу, ерепениться-то, Балашкина из себя корчить! Пора бросать...

Кузьма потеребил свою серенькую бородку. Измученное, худое лицо его, скорбные глаза, косо поднятая левая бровь отражались в зеркале, и, поглядев на себя, он тихо согласился:

— Ерепениться-то? Верно, что пора... давно пора...

И Тихон Ильич перевел разговор на дела. Видимо, он и задумался-то давеча, среди рассказа, только потому, что вспомнил что-то гораздо более важное, чем казни,— какое-то дело.

— Вот я уж сказал Дениске, чтобы он как ни можно скорее кончал эту музыку,— твердо, четко и строго заговорил он, из горсти подсыпая в чайник чаю.— И прошу тебя, братуша,— прими ты участие в ней, в музыке-то этой. Мне, понимаешь, неловко. А после того перебирайся сюда. Га́рно, братуша, будет! Раз мы уж порешили раскассировать все вдребезги, сидеть тебе там без толку нечего. Только расходы двойные. И, переехавши, запрягайся со мной рядом. Свалим с плеч обузу, доберемся, бог даст, до города,— за ссыпку примемся. Тут, в этой яруге, не развернешься. Отрясем от ног прах ее,— и хоть в тартарары провались она. Не погибать же в ней! У меня, имей в виду,— сказал он, сдвигая брови, протягивая руки и стискивая кулаки,— у меня еще не вывернешься, мне еще рано на печи-то лежать! Черту рога сломлю!

Кузьма слушал, почти со страхом глядя в его остановившиеся, сумасшедшие глаза, в его косивший рот, хищно чеканивший слова,— слушал и молчал. Потом спросил:

— Брат, скажи ты мне за ради Христа, какая у тебя корысть в этой свадьбе? Не пойму, бог свидетель, не пойму. Дениску твоего я прямо видеть не могу. Этот новенький типик, новая Русь, почище всех старых будет. Ты не смотри, что он стыдлив, сентиментален и дурачком прикидывается,— это такое циничное животное! Рассказывает про меня, что я с Молодой живу...

— Ну, уж ты ни в чем меры не знаешь,— нахмуриваясь, перебил Тихон Ильич.— Сам же долбишь: несчастный народ, несчастный народ! А теперь — животное!

— Да, долблю и буду долбить! — горячо подхватил Кузьма.— Но у меня ум за разум зашел! Ничего теперь не понимаю: не то несчастный, не то... Да ты послушай: ведь ты же сам его, Дениску-то, ненавидишь! Вы оба ненавидите друг друга! Он про тебя иначе и не говорит, как «живорез, в холку народу въелся», а ты *его* живорезом ругаешь! Он нагло хвастается на деревне, что теперь он — кум королю...

— Да знаю я! — опять перебил Тихон Ильич.

— А про Молодую он, знаешь, что говорит? — продолжал Кузьма, не слушая.— У нее, понимаешь, такой нежный, белый цвет лица, а он, животное, знаешь, что говорит? «Чисто кафельная, сволочь!» Да наконец пойми ты одно: ведь он не будет жить в деревне, его, бродягу, теперь арканом в деревне не удержишь. Какой он хозяин, какой семьянин? Вчера, слышу, идет по деревне и поет блядским голоском: «Прикрасна, как андел небесный, как деман коварна и зла...»

— Знаю! — крикнул Тихон Ильич.— Не будет жить в деревне, ни за что не будет! Ну, и черт с ним! А что он не хозяин, так и мы с тобой хороши хозяева! Я, помню, об деле тебе говорю,— в трактире-то, помнишь? — а ты перепела слушаешь... Да дальше-то, дальше-то что?

— Как что? И при чем тут перепел? — спросил Кузьма.

Тихон Ильич побарабанил пальцами по столу и строго, раздельно отчеканил:

— Имей в виду: воду толочь — вода будет. Слово мое есть свято во веки веков. Раз я сказал — сделаю. За грех мой не свечку поставлю, а сотворю благое. Хоть и лепту одну подам, да за лепту эту попомнит мне господь.

Кузьма вскочил с места.

— Господь, господь! — воскликнул он фальцетом.— Какой там господь у нас! Какой господь может быть у Дениски, у Акимки, у Меньшова, у Серого, у тебя, у меня?

— Постой,— строго спросил Тихон Ильич.— У какого такого Акимки?

— Я вон околевал лежал,— продолжал Кузьма, не слушая,— много я о нем думал-то? Одно думал: ничего о нем не знаю и думать не умею! — крикнул Кузьма.— Не научен!

И, оглядываясь бегающими страдальческими глазами, застегиваясь и расстегиваясь, прошел по комнате и остановился перед самым лицом Тихона Ильича.

— Запомни, брат,— сказал он, и скулы его покраснели.— Запомни: наша с тобой песня спета. И никакие свечи нас с тобой не спасут. Слышишь? Мы — дурновцы!

И, не находя слов от волнения, смолк. Но Тихон Ильич уже опять думал что-то свое и внезапно согласился:

— Верно. Ни к черту не годный народ! Ты подумай только...

И оживился, увлеченный новой мыслью:

— Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я! больше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда косить! «Как люди, так и мы»,— только и всего. Заметь! — строго крикнул он, сдвигая брови, как когда-то кричал на него Кузьма.— «Как люди, так и мы!» Хлеба ни единая баба не умеет спечь,— верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой — кислая вода!

И Кузьма опешил. Мысли его спутались.

«Он рехнулся!» — подумал он, бессмысленными глазами следя за братом, зажигавшим лампу.

А Тихон Ильич, не давая ему опомниться, с азартом продолжал:

— Народ! Сквернословы, лентяи, лгуны, да такие бесстыжие, что ни единая душа друг другу не верит! Заметь,— заорал он, не видя, что зажженный фитиль полыхает и чуть не до потолка бьет копотью,— не нам, а друг другу! И все они такие, все! — закричал он плачущим голосом и с треском надел стекло на лампу.

За окнами посинело. На лужи и сугробы летел молодой белый снег. Кузьма смотрел на него и молчал. Разговор принял такой неожиданный оборот, что даже горячность Кузьмы пропала. Не зная, что сказать, не решаясь взглянуть в бешеные глаза брата, он стал свертывать папиросу.

«Рехнулся,— думал он безнадежно.— Да туда и дорога. Все равно!»

Закурил, стал успокаиваться и Тихон Ильич. Сел и, глядя на огонь лампы, тихо забормотал:

— А ты — «Дениска»... Слышал, что Макар Иванович-то, странник-то, наделал? Поймали, с дружком со своим, бабу на дороге, оттащили в караулку в Ключиках — и четыре дня ходили насиловали ее... поочередно... Ну, теперь в остроге...

— Тихон Ильич,— ласково сказал Кузьма,— что ты городишь? К чему? Ты нездоров, должно быть. Перескакиваешь с одного на другое, сейчас одно утверждаешь, а через минуту другое... Пьешь ты, что ли, много?

Тихон Ильич промолчал. Он только махнул рукою, и в глазах его, устремленных на огонь, задрожали слезы.

— Пьешь? — тихо повторил Кузьма.

— Пью,— тихо ответил Тихон Ильич.— Да запьешь! Ты думаешь, легко мне досталась эта клетка-то золотая? Думаешь, легко было кобелем цепным всю жизнь прожить, да еще со старухою? Ни к кому у меня, братуша, жалости не было... Ну, да и меня не много жалели! Ты думаешь, я не знаю, как меня ненавидят-то? Ты думаешь, не убили бы меня на смерть лютую, кабы попала им, мужичкам-то этим, шлея под хвост, как следует,— кабы повезло им в этой революции-то? Погоди, погоди,— будет дело, будет! Зарезали мы их!

— А за ветчину — давить? — спросил Кузьма.

— Ну уж и давить,— отозвался Тихон Ильич страдальчески.— Это ведь я так, к слову пришлось...

— Да ведь удавят!

— А это — не наше дело. Им отвечать всевышнему.

И, сдвинув брови, задумался, закрыл глаза.

— Ах! — сокрушенно сказал он с глубоким вздохом.— Ах, брат ты мой милый! Скоро, скоро и нам на суд перед престолом его! Читаю я вот по вечерам требник — и плачу, рыдаю над этой самой книгой. Диву даюсь: как это можно было слова такие сладкие придумать! Да вот, постой...

И он быстро поднялся, достал из-за зеркала толстую книжку в церковном переплете, дрожащими руками надел очки и со слезами в голосе, торопливо, как бы боясь, что его прервут, стал читать:

— Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду в гробех лежащую по образу божию созданную нашу красоту, безобразну, безгласну, не имущую вида...

— Воистину суета человеческая, житие же — сень и сонне. Ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде же вкупе царие и нищии...

— Царие и нищии! — восторженно-грустно повторил Тихон Ильич и закачал головою.— Пропала жизнь, братуша! Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, *а она взяла да и истаскала его наизнанку*... Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить,— праздника, мол, дождусь,— а пришел праздник — лохмотья одни остались... Так вот и я... *с жизнью-то своей*. Истинно так!

Возвращаясь в Дурновку, Кузьма чувствовал только одно — тупую тоску. В тупой тоске прошли и все последние дни его в Дурновке.

Шел снег эти дни, а снегу только и ждали в дворе Серого, чтобы дорога поправилась к свадьбе.

Двенадцатого февраля, перед вечером, в сумраке холодной прихожей произошел негромкий разговор. У печки стояла Молодая, надвинув на лоб желтый с черным горошком платок, глядя на свои лапти. У дверей — коротконогий Дениска, без шапки, в тяжелой, с обвислыми плечами поддевке. Он тоже смотрел вниз, на полусапожки с подковками, которые вертел в руках. Полусапожки принадлежали Молодой. Дениска починил их и пришел получить пятак за работу.

— Да у меня нету,— говорила Молодая.— А Кузьма Ильич, никак, заснул. Ты подожди до завтра-то.

— Мне, был, ждать-то нельзя,— певуче и задумчиво ответил Дениска, ковыряя ногтем подковку.

— Ну, как же теперь быть?

Дениска подумал, вздохнул и, тряхнув своими густыми волосами, вдруг поднял голову.

— Ну, что ж язык-то даром трепать,— громко и решительно сказал он, не глядя на Молодую и пересиливая застенчивость.— Говорил с тобой Тихон Ильич?

— Говорил,— ответила Молодая.— Надоел даже.

— Так я приду сейчас с отцом. Все равно ему, Кузьме-то Ильичу, вставать сейчас, чай пить...

Молодая подумала.

— Дело твое...

Дениска поставил полусапожки на подоконник и, не напоминая больше о деньгах, ушел. А через полчаса на крыльце послышался стук обиваемых от снега лаптей: Дениска вернулся с Серым — и Серый был зачем-то подпоясан по чекменю, по кострецам красной подпояской. Кузьма вышел к ним. Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом тряхнули волосами и подняли лица.

— Сват, не сват, а добрый человек! — не спеша начал Серый необычно-развязным и ладным тоном.— Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать.

И степенно, низко поклонился.

Сдерживая болезненную улыбку, Кузьма велел кликнуть Молодую.

— Беги, ищи,— шепотом, как в церкви, приказал Серый Дениске.

— Да я тут,— сказала Молодая, выходя из-за двери, от печки, и поклонилась Серому.

Наступило молчание. Самовар, стоявший на полу и красневший в темноте решеткой, кипел и клокотал. Лиц не было видно.

— Ну, как же, дочка, решай,— усмехаясь, сказал Кузьма.

Молодая подумала.

— Я малого не корю...

— А ты Денис?

Дениска тоже помолчал.

— Что ж, жениться все равно когда-нибудь надо... Може, бог даст, ничего...

И сваты поздравили друг друга с начатием дела. Самовар унесли в людскую. Однодворка, раньше всех узнавшая новость и прибежавшая с Мыса, зажгла в людской лампочку, послала Кошеля за водкой и подсолнухами, посадила невесту с женихом под икону, налила им чаю, сама села рядом с Серым и, чтобы нарушить неловкость, высоко и резко запела, поглядывая на Дениску, на его землистое лицо и большие ресницы:

Как у нас да по садику,
Зелено́м виноградику,
Ходил, гулял молодец,
Пригож, бел-белешенек...

На другой день всякий, кто слышал от Серого об этом пире, ухмылялся и советовал: «Ты бы хоть немножко-то помог молодым!» То же сказал и Кошель: «Дело их молодое, молодым помогать надо». Серый молча ушел домой и принес Молодой, которая гладила в прихожей, два чугунчика и моток черных ниток.

— Вот, невестушка,— сказал он смущенно,— на, свекровь прислала. Может, на что годится... Нету ведь ничего,— кабы было что, из рубахи выскочил бы...

Молодая поклонилась и поблагодарила. Она гладила гардину, присланную Тихоном Ильичом «заместо фаты», и глаза ее были влажны и красны. Серый хотел утешить, сказать, что и ему «не мед», но помялся, вздохнул и, поставив чугунки на подоконник, вышел.

— Нитки-то я в чугунчик положил,— пробормотал он.

— Спасибо, батюшка,— еще раз поблагодарила Молодая тем ласковым и особенным тоном, каким говорила только с Иванушкой, и как только вышел Серый, неожиданно улыбнулась слабой насмешливой улыбкой и запела: «Как у нас да по садику...»

Кузьма высунулся из зала и строго посмотрел на нее поверх пенсне. Она смолкла.

— Слушай,— сказал Кузьма.— Может, кинуть всю эту историю?

— Теперь поздно,— негромко ответила Молодая.— Уж и так страму не оберешься... Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем? Да и расход уж начали...

Кузьма пожал плечами. Правда, вместе с гардиной Тихон Ильич прислал двадцать пять рублей, мешок крупичатой муки, пшена и худую свинью... Но не пропадать же из-за того, что свинью эту зарезали!

— Ох,— сказал Кузьма,— измучили вы меня! «Срам, расход»... Да ай ты дешевле свиньи?

— Дешевле не дешевле,— мертвых с погоста не носят,— просто и твердо ответила Молодая и, вздохнув, аккуратно сложила выглаженную, теплую гардину.— Обедать-то сейчас будете?

Лицо ее стало спокойно. «Ну, шабаш,— тут пива не сваришь!» — подумал Кузьма и сказал:

— Ну, как знаешь, как знаешь...

Пообедав, он курил и смотрел в окно. Темнело. В люд-

ской, он знал, уже спекли ржаную витушку — «ряженый пирог». Готовились варить два чугуна студня, чугун лапши, чугун щей, чугун каши — все с убоиной. И Серый хлопотал на снежном бугре между амбарами и сараем. На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовы. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень,— тень язычника. Потом мимо амбара, по тропинке, на деревню, пробежала и скрылась под снежным бугром Однодворка — созывать игриц и просить у Домашки елку, сберегаемую в погребе, переходившую с девишника на девишник. А когда Кузьма, причесавшись и переменив пиджак с продранными локтями на заветный длиннополый сюртук, оделся и вышел на побелевшее от падающего снега крыльцо, в мягкой серой темноте, у освещенных окон людской уже чернела большая толпа девок, ребят, мальчишек, стоял гам, говор, играли сразу на трех гармоньях и все разное. Кузьма, горбясь, перебирая пальцы и хрустя ими, дошел до толпы, протолкался и, нагнувшись, вошел в темь, в сени. Было людно, тесно и в сенях. Мальчишки шныряли между ног, их хватали за шеи и выталкивали вон,— они снова лезли...

— Да пустите, ради бога! — сказал Кузьма, сдавленный у дверей.

Его сдавили еще больше — и кто-то рванул дверь. В клубах пара он перешагнул порог и остановился у притолки. Тут теснился народ почище — девки в цветных шалях, ребята во всем новом. Пахло красным товаром, полушубками, керосином, махоркой, хвоей. Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутами, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой. Вокруг стола, под мокрыми, оттаявшими окошечками, у черных сырых стен, сидели наряженные игрицы, грубо нарумяненные и набеленные, с блестящими глазами, все в шелковых и шерстяных платочках, с радужными вью-

щимися перьями из хвоста селезня, заткнутыми на висках в волосы. Как раз когда Кузьма вошел, Домашка, хромая девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню:

Как у нас при вечеру-вечеру,
При последнем концу вечера,
При Авдотьином девишнику...

Девки дружным и нестройным хором подхватили ее последние слова — и все обернулись к невесте: она сидела, по обычаю, возле печки, неубранная, с головой накрытая темной шалью, и должна была ответить песне громким плачем и причитаниями: «Родный мой батюшка, родимая матушка, как мне век вековать, замужем горе горевать?» Но невеста молчала. И девки, кончив песню, недовольно покосились на нее. Потом пошептались и, нахмурившись, медленно и протяжно запели «сиротскую»:

Растопися, банюшка,
Ты ударь, звонкий колокол!

И у Кузьмы задрожали крепко сжатые челюсти, пошел мороз по голове и по голеням, сладостно заломило скулы, и глаза налились, помутились слезами. Невеста завернулась в шаль и вдруг вся затряслась от рыданий.

— Будя, девки! — крикнул кто-то.

Но девки не слушали:

Ты ударь, звонкий колокол,
Разбуди мово батюшку...

И невеста со стоном стала падать лицом на свои колени, на руки, захлебываясь от слез... Дрожащую, шатающуюся, ее увели, наконец, в холодную половину избы — наряжать.

А потом Кузьма благословил ее. Жених пришел с Васькой, сыном Якова. Жених надел его сапоги; волосы жениха были подстрижены, шея, окаймленная воротом голубой рубахи с кружевом, докрасна выбрита. Он умылся с мылом и очень помолодел, был даже недурен и, зная это, степенно и скромно опускал темные ресницы. Васька, дружко́, в красной рубахе, в романовском полушубке нараспашку, войдя, строго покосился на игриц.

— Будя драть-то! — грубо сказал он и прибавил то, что полагалось по обряду: — Вылязайте, вылязайте.

Игрицы хором ответили:

— Без троицы дом не строится, без четырех углов — изба не кроется. Положь по рублю на кажном углу, пятый — посередке да бутылку водки.

Васька вытащил из кармана полштоф и поставил его на стол. Девки взяли — и поднялись. Стало еще теснее. Опять распахнулась дверь, опять понесло паром и холодом — вошла, расталкивая народ, Однодворка с фольговой иконкой, а за ней невеста, в голубом платье с баской, и все ахнули: так была она бледна, спокойна и красива. Васька наотмашь дал затрещину в лоб широкоплечему, головастому мальчишке на кривых, как у такса, ногах — и кинул на солому посреди избы чей-то старый полушубок. На него стали жених и невеста. Кузьма, не поднимая головы, взял икону из рук Однодворки — и стало так тихо, что слышно было свистящее дыхание любопытного головастого мальчишки. Жених и невеста разом упали на колени и поклонились в ноги Кузьме. Поднялись и опять упали. Кузьма взглянул на невесту, и в глазах их, встретившихся на мгновение, мелькнул ужас. Кузьма побледнел и с ужасом подумал: «Сейчас брошу образ на пол...» Но руки его невольно сделали иконой крест в воздухе — и Молодая, чуть приложившись к ней, поймала губами его руку. Он сунул икону кому-то в сторону, схватил голову Молодой с отцовской болью и нежностью и, целуя новый пахучий платок, горько заплакал. Потом, ничего не видя от слез, повернулся и, расталкивая народ, шагнул в сени. Снежный ветер ударил ему в лицо. Занесенный порог белел в темноте, крыша гудела. А за порогом несла непроглядная вьюга, и свет, падавший из окошечек, из толщи снежной завалинки, стоял дымными столбами...

Вьюга не стихла и утром. В серой несущейся мути не было видно ни Дурновки, ни мельницы на Мысу. Порой светлело, порой становилось похоже на сумерки. Сад побелел, гул его сливался с гулом ветра, в котором все чудился дальний колокольный звон. Острые хребты сугробов дымились. С крыльца, на котором, жмурясь, обоняя сквозь свежесть вьюги теплый вкусный запах из трубы людской, сидели облепленные снегом овчарки, с трудом раз-

личал Кузьма темные, туманные фигуры мужиков, лошадей, сани, позвякиванье колокольцев. Под жениха запрягли пару, под невесту одиночку. Сани покрыли казанскими войлоками с черными разводами на концах. Поезжане подпоясались разноцветными подпоясками. Бабы надели ватные шубки, накрылись шалями, шли к саням опасливо, мелкими шажками, церемонно приговаривая: «Батюшки, свету божьего не видно!..» На невесте и шубку и голубое платье завернули на голову — она села в сани на белую юбку, чтобы платье не измять. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шалями, подшальниками. Она так ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белил усы, бороды, шапки, и поезжане с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке.

— Ух, мать твою не замать! — бормотал Васька, нагибая голову, беря вожжи и садясь рядом с женихом.

И грубо, равнодушно крикнул на ветер:

— Господа бояре, бословите жениха по невесту ехать!

Кто-то отозвался:

— Бог бословит...

И бубенцы заныли, полозья заскрипели, сугробы, разрываемые ими, задымились, завихрились, вихри, гривы и хвосты понесло в сторону...

А на селе, в церковной сторожке, где отогревались в ожидании священника, все угорели. Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно — от вьюги, низких сводов и решеток в окошечках. Свечи горели только в руках жениха и невесты да в руке черного, с большими лопатками священника, наклонявшегося к книге, закапанной воском, и быстро читавшего сквозь очки. По полу стояли лужи — на сапогах и лаптях натаскали много снегу,— в спины дул ветер из отворяемых дверей. Священник строго поглядывал то на двери, то на жениха с невестой, на их напряженные, ко всему готовые фигуры, на лица, застывшие в покорности и смирении, золотисто освещенные снизу свечами. По привычке, он произносил некоторые слова как бы с чувством, выделяя их с трогательной моль-

бой, но совершенно не думая ни о словах, ни о тех, к кому они относились.

«Боже пречистый и всея твари содетелю... — говорил он торопливо, то понижая, то повышая голос.— Иже раба твоего Авраама благословивый и разверзый ложесна Саррина... иже Исаака Ревекце даровавый... Иакова Рахили сочетавый... подаждь рабом твоим сим...»

— Имя? — строгим шепотом, не меняя выражения лица, перебивал он самого себя, обращаясь к псаломщику. И, поймав ответ: «Денис, Авдотья...» — продолжал с чувством:

«Подаждь рабом твоим сим Денису и Евдокии живот мирен, долгоденствие, целомудрие... сподоби я видеть чада чадов... и даждь има от росы небесныя свыше... исполни домы их пшеницы, вина и елея... возвыси я яко кедры ливанские...»

Но окружающие, если бы даже слушали и понимали его, все же помнили бы о доме Серого, а не Авраама и Исаака, о Дениске, а не о кедре ливанском. Ему же самому, коротконогому, в чужих сапогах, в чужой поддевке, было неловко и страшно держать на неподвижной голове царский венец — медный огромный венец с крестом наверху, надетый глубоко, на уши. И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья...

Вьюга в сумерках была еще страшнее. И домой гнали лошадей особенно шибко, и горластая жена Ваньки Красного стояла в передних санях, плясала, как шаман, махала платочком и орала на ветер, в буйную темную муть, в снег, летевший ей в губы и заглушавший ее волчий голос:

У голубя, у сизого
Золотая голова!

Москва.
1909—1910

СУХОДОЛ

I

В Наталье всегда поражала нас ее привязанность к Суходолу.

Молочная сестра нашего отца, выросшая с ним в одном доме, целых восемь лет прожила она у нас в Луневе, прожила как родная, а не как бывшая раба, простая дворовая. И целых восемь лет отдыхала, по ее же собственным словам, от Суходола, от того, что заставил он ее выстрадать. Но недаром говорится, что, как волка ни корми, он все в лес смотрит: выходив, вырастив нас, снова воротилась она в Суходол.

Помню отрывки наших детских разговоров с нею:

— Ты ведь сирота, Наталья?

— Сирота-с. Вся в господ своих. Бабушка-то ваша Анна Григорьевна куда как рано ручки белые сложила! Не хуже моего батюшки с матушкой.

— А они отчего рано померли?

— Смерть пришла, вот и померли-с.

— Нет, отчего рано?

— Так бог дал. Батюшку господа в солдаты отдали за провинности, матушка веку не дожила из-за индюшат господских. Я-то, конечно, не помню-с, где мне, а на дворне

сказывали: была она птишницей, индюшат под ее начальством было несть числа, захватил их град на выгоне и запорол всех до единого... Кинулась бечь она, добежала, глянула — да и дух вон от ужасти!

— А отчего ты замуж не пошла?

— Да жених не вырос еще.

— Нет, без шуток?

— Да говорят, будто госпожа, ваша тетенька, заказывала. За то-то и меня, грешную, барышней ославили.

— Ну-у, какая же ты барышня!

— В аккурат-с барышня! — отвечала Наталья с тонкой усмешечкой, морщившей ее губы, и обтирала их темной старушечьей рукой.— Я ведь молочная Аркадь Петровичу, тетенька вторая ваша...

Подрастая, все внимательнее прислушивались мы к тому, что говорилось в нашем доме о Суходоле: все понятнее становилось непонятное прежде, все резче выступали странные особенности суходольской жизни. Мы ли не чувствовали, что Наталья, полвека своего прожившая с нашим отцом почти одинаковой жизнью,— истинно родная нам, столбовым господам Хрущевым! И вот оказывается, что господа эти загнали отца ее в солдаты, а мать в такой трепет, что у нее сердце разорвалось при виде погибших индюшат!

— Да и правда,— говорила Наталья,— как было не пасть замертво от такой оказии? Господа за Можай ее загнали бы!

А потом узнали мы о Суходоле нечто еще более странное: узнали, что проще, добрей суходольских господ «во всей вселенной не было», но узнали и то, что не было и «горячее» их; узнали, что темен и сумрачен был старый суходольский дом, что сумасшедший дед наш Петр Кириллыч был убит в этом доме незаконным сыном своим, Герваськой, другом отца нашего и двоюродным братом Натальи; узнали, что давно сошла с ума — от несчастной любви — и тетя Тоня, жившая в одной из старых дворовых изб возле оскудевшей суходольской усадьбы и восторженно игравшая на гудящем и звенящем от старости фортепиано экосезы; узнали, что сходила с ума и Наталья, что еще девчонкой на всю жизнь полюбила она покойного дядю Петра Петровича, а он сослал ее в ссылку,

на хутор Со́шки... Наши страстные мечты о Суходоле были понятны. Для нас Суходол был только поэтическим памятником былого. А для Натальи? Ведь это она, как бы отвечая на какую-то свою думу, с великой горечью сказала однажды:

— Что ж! В Суходоле с татарками за стол садились! Вспомнить даже страшно.

— То есть с арапниками? — спросили мы.

— Да это все едино-с,— сказала она.

— А зачем?

— А на случай ссоры-с.

— В Суходоле все ссорились?

— Борони бог! Дня не проходило без войны! Горячие все были — чистый порох.

Мы-то млели при ее словах и восторженно переглядывались: долго представлялся нам потом огромный сад, огромная усадьба, дом с дубовыми бревенчатыми стенами под тяжелой и черной от времени соломенной крышей — и обед в зале этого дома: все сидят за столом, все едят, бросая кости на пол, охотничьим собакам, косятся друг на друга — и у каждого арапник на коленях: мы мечтали о том золотом времени, когда мы вырастем и тоже будем обедать с арапниками на коленях. Но ведь хорошо понимали мы, что не Наталье доставляли радость эти арапники. И все же ушла она из Лунева в Суходол, к источнику своих темных воспоминаний. Ни своего угла, ни близких родных не было у ней там; и служила она теперь в Суходоле уже не прежней госпоже своей, не тете Тоне, а вдове покойного Петра Петровича, Клавдии Марковне. Да вот без усадьбы-то этой и не могла жить Наталья.

— Что делать-с: привычка,— скромно говорила она.— Уж куда иголка, туда, видно, и нитка. Где родился, там годился...

И не одна она страдала привязанностью к Суходолу. Боже, какими страстными любителями воспоминаний, какими горячими приверженцами Суходола были и все прочие суходольцы!

В нищете, в избе обитала тетя Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уго-

воры нашего отца, покинуть родное гнездо, поселиться в Луневе:

— Да лучше камень в горе бить!

Отец был беззаботный человек; для него, казалось, не существовало никаких привязанностей. Но глубокая грусть слышалась и в его рассказах о Суходоле. Уже давным-давно выселился он из Суходола в Лунево, полевое поместье бабки нашей Ольги Кирилловны. Но жаловался чуть не до самой кончины своей:

— Один, один Хрущев остался теперь в свете. Да и тот не в Суходоле!

Правда, нередко случалось и то, что, вслед за такими словами, задумывался он, глядя в окна, в поле, и вдруг насмешливо улыбался, снимая со стены гитару.

— А и Суходол хорош, пропади он пропадом! — прибавлял он с тою же искренностью, с какой говорил и за минуту перед тем.

Но душа-то и в нем была суходольская,— душа, над которой так безмерно велика власть воспоминаний, власть степи, косного ее быта, той древней семейственности, что воедино сливала и деревню, и дворню, и дом в Суходоле. Правда, столбовые мы, Хрущевы, в шестую книгу вписанные, и много было среди наших легендарных предков знатных людей вековой литовской крови да татарских князьков. Но ведь кровь Хрущевых мешалась с кровью дворни и деревни спокон веку. Кто дал жизнь Петру Кириллычу? Разно говорят о том предания. Кто был родителем Герваськи, убийцы его? С ранних лет мы слышали, что Петр Кириллыч. Откуда истекало столь резкое несходство в характерах отца и дяди? Об этом тоже разно говорят. Молочной же сестрой отца была Наталья, с Герваськой он крестами менялся... Давно, давно пора Хрущевым посчитаться родней с своей дворней и деревней!

В тяготенье к Суходолу, в обольщении его стариною долго жили и мы с сестрой. Дворня, деревня и дом в Суходоле составляли одну семью. Правили этой семьей еще наши пращуры. А ведь и в потомстве это долго чувствуется. Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таинственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не богаче любого улуса

в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание. А предание да песня — отрава для славянской души! Бывшие наши дворовые, страстные лентяи, мечтатели,— где они могли отвести душу, как не в нашем доме? Единственным представителем суходольских господ оставался наш отец. И первый язык, на котором мы заговорили, был суходольский. Первые повествования, первые песни, тронувшие нас,— тоже суходольские, Натальины, отцовы. Да и мог ли кто-нибудь петь так, как отец, ученик дворовых,— с такой беззаботной печалью, с таким ласковым укором, с такой слабовольной задушевностью про «верную-манерную сударушку свою»? Мог ли кто-нибудь рассказывать так, как Наталья? И кто был роднее нам суходольских мужиков?

Распри, ссоры — вот чем спокон веку славились Хрущевы, как и всякая долго и тесно живущая в единении семья. А во времена нашего детства случилась такая ссора между Суходолом и Луневым, что чуть не десять лет не переступала нога отца родного порога. Так путем и не видали мы в детстве Суходола: были там только раз, да и то проездом в Задонск. Но ведь сны порой сильнее всякой яви. И смутно, но неизгладимо запомнили мы летний долгий день, какие-то волнистые поля и заглохшую большую дорогу, очаровавшую нас своим простором и кое-где уцелевшими дуплистыми ветлами; запомнили улей на одной из таких ветел, далеко отошедшей с дороги в хлеба,— улей, оставленный на волю божью, в полях, при заглохшей дороге; запомнили широкий поворот под изволок, громадный голый выгон, на который глядели бедные курные избы, и желтизну каменистых оврагов за избами, белизну голышей и щебня по их днищам... Первое событие, ужаснувшее нас, тоже было суходольское: убийство дедушки Герваськой. И, слушая повествования об этом убийстве, без конца грезили мы этими желтыми, куда-то уходящими оврагами: все казалось, что по ним-то и бежал Герваська, сделав свое страшное дело и «канув как ключ на дно моря».

Мужики суходольские навещали Лунево не с теми целями, что дворовые, а насчет земельки больше; но и они как в родной входили в наш дом. Они кланялись отцу в пояс, целовали его руку, затем, тряхнув волосами, трое-

кратно целовались и с ним, и с Натальей, и с нами в губы. Они привозили в подарок мед, яйца, полотенца. И мы, выросшие в поле, чуткие к запахам, жадные до них не менее, чем до песен, преданий, навсегда запомнили тот особый, приятный, конопляный какой-то запах, что ощущали, целуясь с суходольцами; запомнили и то, что старой степной деревней пахли их подарки: мед — цветущей гречей и дубовыми гнилыми ульями, полотенца — пунькамн, курными избами времен дедушки... Мужики суходольские ничего не рассказывали. Да что им и рассказывать-то было! У них даже и преданий не существовало. Их могилы безыменны. А жизни так похожи друг на друга, так скудны и бесследны! Ибо плодами трудов и забот их был лишь хлеб, самый настоящий хлеб, что съедается. Копали они пруды в каменистом ложе давно иссякнувшей речки Каменки. Но пруды ведь ненадежны — высыхают. Строили они жилища. Но жилища их недолговечны: при малейшей искре дотла сгорают они... Так что же тянуло нас всех даже к голому выгону, к избам и оврагам, к разоренной усадьбе Суходола?

II

В усадьбу, породившую душу Натальи, владевшую всей ее жизнью, в усадьбу, о которой так много слышали мы, довелось нам попасть уже в позднем отрочестве.

Помню так, точно вчера это было. Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и ослепительно-быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжко свалилась к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно зеленела равнина хлебов под ее огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал... И вдруг, у самого поворота в Суходол, увидали мы в высоких мокрых ржах высокую и престранную фигуру в халате и шлыке, фигуру не то старика, не то старухи, бьющую хворостиной пегую комолую корову. При нашем

приближении хворостина заработала сильнее, и корова неуклюже, крутя хвостом, выбежала на дорогу. А старуха, что-то крича, направилась к тарантасу и, подойдя, потянулась к нам бледным лицом. Со страхом глядя в черные безумные глаза, чувствуя прикосновение острого холодного носа и крепкий запах избы, поцеловались мы с подошедшей. Не сама ли это Баба-Яга? Но высокий шлык из какой-то грязной тряпки торчал на голове Бабы-Яги, на голое тело ее был надет рваный и по пояс мокрый халат, не закрывавший тощих грудей. И кричала она так, точно мы были глухие, точно с целью затеять яростную брань. И по крику мы поняли: это тетя Тоня.

Закричала, но весело, институтски-восторженно и Клавдия Марковна, толстая, маленькая, с седенькой бородкой, с необыкновенно живыми глазками, сидевшая у открытого окна в доме с двумя большими крыльцами, вязавшая нитяный носок и, подняв очки на лоб, глядевшая на выгон, слившийся с двором. Низко, с тихой улыбкой поклонилась стоявшая на правом крыльце Наталья — дробненькая, загорелая, в лаптях, в шерстяной красной юбке и в серой рубахе с широким вырезом вокруг темной, сморщенной шеи. Взглянув на эту шею, на худые ключицы, на усталогрустные глаза, помню, подумал я: это она росла с нашим отцом — давным-давно, но вот именно здесь, где от дедовского дубового дома, много раз горевшего, остался вот этот, невзрачный, от сада — кустарники да несколько старых берез и тополей, от служб и людских — изба, амбар, глиняный сарай да ледник, заросший полынью и подсвекольником... Запахло самоваром, посыпались расспросы; стали появляться из столетней горки хрустальные вазочки для варенья, золотые ложечки, истончившиеся до кленового листа, сахарные сушки, сбереженные на случай гостей. И, пока разгорался разговор, усиленно дружелюбный после долгой ссоры, пошли мы бродить по темнеющим горницам, ища балкона, выхода в сад.

Все было черно от времени, просто, грубо в этих пустых, низких горницах, сохранивших то же расположение, что и при дедушке, срубленных из остатков тех самых, в которых обитал он. В углу лакейской чернел большой образ святого Меркурия Смоленского, того, чьи железные сандалии и шлем хранятся на солее в древнем соборе

Смоленска. Мы слышали: был Меркурий муж знатный, призванный к спасению от татар Смоленского края гласом иконы божьей матери Одигитрии Путеводительницы. Разбив татар, святой уснул и был обезглавлен врагами. Тогда, взяв свою главу в руки, пришел он к городским воротам, дабы поведать бывшее... И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, держащего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону Путеводительницы,— на этот, как говорили, заветный образ дедушки, переживший несколько страшных пожаров, расколовшийся в огне, толсто окованный серебром и хранивший на оборотной стороне своей родословную Хрущевых, писанную под титлами. Точно в лад с ним, тяжелые железные задвижки и вверху и внизу висели на тяжелых половинках дверей. Доски пола в зале были непомерно широки, темны и скользки, окна малы, с подъемными рамами. По залу, уменьшенному двойнику того самого, где Хрущевы садились за стол с татарками, мы прошли в гостиную. Тут, против дверей на балкон, стояло когда-то фортепиано, на котором играла тетя Тоня, влюбленная в офицера Войткевича, товарища Петра Петровича. А дальше зияли раскрытые двери в диванную, в угольную,— туда, где были когда-то дедушкины покои...

Вечер же был сумрачный. В тучах, за окраинами вырубленного сада, за полуголой ригой и серебристыми тополями, вспыхивали зарницы, раскрывавшие на мгновение облачные розово-золотистые горы. Ливень, верно, не захватил Трошина леса, что темнел далеко за садом, на косогорах за оврагами. Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез, уцелевших от аллеи, по высокой крапиве, бурьянам и кустарникам вокруг балкона. И глубокая тишина вечера, степи, глухой Руси царила надо всем...

— Чай кушать пожалуйте-с,— окликнул нас негромкий голос.

Это была она, участница и свидетельница всей этой жизни, главная сказительница ее, Наталья. А за ней, внимательно глядя сумасшедшими глазами, немного согнув-

шись, церемонно скользя по темному гладкому полу, подвигалась госпожа ее. Шлыка она не сняла, но вместо халата на ней было теперь старомодное барежевое платье, на плечи накинута блекло-золотистая шелковая шаль.

— Où êtes-vous, mes enfants?[1] — жантильно улыбаясь, кричала она, и голос ее, четкий и резкий, как голос попугая, странно раздавался в пустых черных горницах...

III

Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной Суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе.

Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами. Сгнивший, серо-голубой от времени балкон, с которого, за отсутствием ступенек, надо было спрыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшее под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а *он* стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки — и в ситцевых пестреньких платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалях — залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но, когда девки, по глупости, через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски — и думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями, ветер, шумя и шелестя, бежал с полей — и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом

[1] Где вы, дети мои? *(франц.)*

проносясь над белыми цветами за болтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет; ветер замирал, сонно ползали пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу,— и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей... Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые трусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили свои далеко расставленные, выпученные глаза на высокие татарки, кусты белены и заросли крапивы, глушившей терн и вишенник! А в полураскрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки — и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный, куковала кукушка в Трошином лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы... Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало — и поля, и деревня, и усадьба. А филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вкруг риги, по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу — и болезненно вскрикивал... Тетя просыпалась на лавке у печки.

— Исусе сладчайший, помилуй мя,— шептала она, вздыхая.

Мухи сонно и недовольно гудели по потолку жаркой, темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы; то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись, с треском падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол; то старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу; или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух, в темноте лезших в глаза, вставала, шарила

по лавкам, хлопала дверью — и, выйдя на порог, наугад запускала вверх, в звездное небо, скалку. Филин, с шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши — и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая,— и вдруг испускал вопль изумления; смолкал — и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать; опять смолкал — и разражался стонами, всхлипываниями, рыданиями... А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зарница осторожно мелькала над темным Трошиным лесом — и тепло, сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом Скорпион...

Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставали Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте,— и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым.

— Наталья? — тихо окликали мы.

— Я-с? — тихо и просто отзывалась она, прерывая молитву.

— Что же ты не спишь до сих пор?

— Да авось еще в могиле-с наспимся...

Мы садились на коник, раскрывали окно; она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зарницы, озаряя темные горницы; перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе-тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка...

— Гуляли-с?

— Гуляли.

— Что ж, дело молодое... Мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали... Одна заря выгонит, другая загонит...

— Хорошо жилось прежде?

— Хорошо-с...

И наступало долгое молчание.

— Чего это, нянечка, филин кричит? — говорила сестра.

— Не судом кричит-с, пропасти на него нету. Хоть бы из ружья постращать. А то прямо жуть, все думается: либо к беде какой? И все барышню пугает. А она ведь до смерти пуглива!

— А как захворала она?

— Да известно-с: все слезы, слезы, тоска... Потом молиться зачали... Да все лютее с нами, с девками, да все сердитей с братцами...

И, вспоминая арапники, мы спрашивали:

— Не дружно, значит, жили?

— Куда как дружно! А уж особливо после того, как заболели-то оне, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. Горячие все были — чистый порох!

— А пороли дворовых часто?

— Этого у нас и в заведенье не было-с. Я как провинилась-то! А и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, затрапезную рубаху надеть да на хутор отправить...

— А чем же ты провинилась?

Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямотой и тщательностью; но порою запиналась, что-то думала; потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается:

— Да тем и провинилась... Я ведь уж сказывала... Молода-глупа была-с. «Пел на грех, на беду соловей во саду...» А, известно, дело мое было девичье...

Сестра ласково просила ее:

— Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца.

И Наталья смущалась.

— Это не стихи-с, а песня... Да я ее и не упомню-с теперь.

— Неправда, неправда!

— Ну, извольте-с...

И скороговоркой кончала:

— «Как на грех, на беду...» То бишь: «Пел на грех, на беду соловей во саду — песню томную... Глупой спать не давал — в ночку темную...»

Пересиливая себя, сестра спрашивала:

— А ты очень была влюблена в дядю?

И Наталья тупо и кратко шептала:

— Очень-с.

— Ты всегда поминаешь его на молитве?

— Всегда-с.

— Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в Сошки?

— В оморок-с. Мы, дворовые, страшные нежные были... жидки на расправу... не сравнять же с серым однодворцем! Как повез меня Евсей Бодуля, отупела я от горя и страху... В городе чуть не задвохнулась с непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало! Метнулся офицер навстречу, похожий на них,— крикнула я, да и замертво! А пришедчи в себя, лежу этак в телеге и думаю: хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном!

— Строг он был?

— Не приведи господи!

— Ну, а все-таки своенравнее всех тетя была?

— Оне-с, оне-с. Докладываю же вам: их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними! Им бы жить да поживать теперь, как надобно, а оне погордилися, да и тронулись... Как любил их Войткевич-то! Ну, да вот поди ж ты!

— Ну, а дедушка?

— Те что ж? Те слабы умом были. А, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие... Да зато прежние-то господа нашим братом не брезговали. Бывалыча, папаша ваш накажут Герваську в обед,— энтого и следовало! — а вечером, глядь, уж на дворне жируют, на балалайках с ним жундят...

— А скажи,— он хорош был, Войткевич-то?

Наталья задумывалась.

— Нет-с, не хочу соврать: вроде калмыка был. А сурьезный, настойчивый. Все стихи ей читал, все напугивал: мол, помру и приду за тобой...

— Ведь и дед от любви с ума сошел?

— Те по бабушке. Это дело иное, сударыня. Да и дом у нас был сумрачен,— не веселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова...

И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое, долгое повествование...

IV

Если верить преданиям, прадед наш, человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол: не любил наших мест, их глуши, лесов. Да, ведь это вошло в пословицу: «В старину везде леса были...» Люди, пробиравшиеся лет двести тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная: полустепной простор, голые косогоры, на полях — рожь, овес, греча, на большой дороге — редкие дуплистые ветлы, а по суходольскому верху — только белый голыш. От лесов остался один Трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный: широкая аллея в семьдесят раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной. И глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня, большая, бедная и — беззаботная.

— Вся в господ-с! — говорила Наталья.— И господа беззаботны были — не хозяйственны, не жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, разделились с нами: себе взяли что побольше да полутче, престольную вотчину, нам только Сошки, Суходол да четыреста душ прикинули. А из четырех-то сот чуть не половина разбежалася...

Дедушка Петр Кириллыч умер лет сорока пяти. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду, под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на

дворне, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе: тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч,— сутулый брюнет, с черными, внимательно-ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню,— в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали куда девать, и вот он, в сафьяновых сапожках и пестром архалуке, заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые.

— Это я для Тонечки в приданое,— бормотал он, когда захватывали его.— Надежнее, друзья мои, надежнее... Ну, а за всем тем — воля ваша: не хочете — я не буду...

И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле; или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю — неумело толок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой и есть ее было не под силу. Когда же, после обеда, жизнь в усадьбе замирала, все разбредались по излюбленным углам и надолго засыпали, не знал куда деваться одинокий, даже и по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих:

— Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?

И, получив сердитый окрик: «Да отвяжитесь вы, ради бога, папенька!» — торопливо успокаивал:

— Ну, спи, спи, душа моя. Я тебя будить не буду...

И уходил дальше,— минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый,— а через десять минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками,— «уж не Петенька ли из полка в побывку»,— или что заходит страшная градовая туча.

— Они, голубчики, уж очень грозы боялись,— рассказывала Наталья.— Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну, а все-таки помню-с. Дом у нас какой-то черный был... невеселый, господь с ним. А день летом — год. Двор-

ни девать было некуды... одних лакеев пять человек... Да, известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж Петр Кириллыч не приступайся к нам,— особливо к Герваське. «Лакеи! Лакеи! Вы спите?» А Герваська подымет голову с ларя, да и спрашивает: «А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?» — «Да ты кому ж это говоришь-то, бездельник ты этакий?» — «Домовому, сударь: спросонья...» Ну вот, Петр Кириллыч и пойдут опять по залу, по гостиной и все в окна, в сад заглядывают: не видно ли тучи? А гро́зы, и правда, куда как часто в старину сбирались. Да и грозы-то великие. Как, бывалыча, дело после обеда, так и почнет орать иволга, и пойдут из-за саду тучки... потемнеет в доме, зашуршит бурьян да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон... прямо жуть, скука-с! А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать,— боялась я того полотенца до смерти! — али ножницы за окошко выкидывают. Это уж первое дело-с, ножницы-то: очень хорошо против грозы...

Было веселее в суходольском доме, когда жили в нем французы,— сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, книзу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнувшая мадмазель Сизи,— когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: «Идьите и больше не вернитесь!» — когда слышалось в классной: «Maître corbeau sur un arbre perché» [1] — и на фортепиано училась Тонечка. Восемь лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на третьи каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку: достаточно было, по его мнению, отправить одного Пе-

---

[1] «Ворон, взобравшись на дерево» *(франц.)*.

теньку. И дети навсегда остались и без ученья и без призора... Наталья говаривала:

— Я-то была моложе их всех. Ну, а Герваська с папашей вашим почти однолетки были и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда говорится,— волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами, а Герваська вскорости же и начереди: чуть было вашего папашу в пруде не утопил! Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. «Что ж,— говорит раз барчуку,— ты подрастете, будете меня пороть?» — «Буду».— «Ан нет».— «Как так?» — «А так...» И надумал: стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметь ее, да и подучи Аркадь Петровича залезть в нее и покатиться вниз. «Перва, говорит, ты, барчук, прожжете, а там я...» Ну, а барчук-то и послушайся: залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду, как пошел... Матушка царица небесная! Только пыль столбом завихрилась!.. Уж спасибо вблизи пастухи оказалися...

Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и власть, и подчинение, и парадные покои, и семейные, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллыч. Но что он мог? Кто кем владел: он дворовыми или дворовые им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла,— обедали без скатерти и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому,— и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с треском раскалывались громовые удары,— по ночам в доме было страшно. А днем — сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллыч все слабел, становился все незаметнее, хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Усти-

повна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом: он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обиждаю...» Отцу, юноше, не до Суходола было: его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то Мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей.

— Так уж мы и знали-с,— говорила Наталья,— в доме только почивают. А не почивают,— значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте: зимою — зайцы, осенью — лисицы, летом — перепела, утки либо дряхвы; сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с господом: нынче на Середнюю мельницу, завтра на Мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это барчук его таскает. Любил его, врага своего, Аркадь Петрович истинно как брата, а он, чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывалыча, скажут: «Ну, давай, Гервасий, на балалайках! Выучи ты меня, за ради бога, *«Закатилось солнце красное за лес...»*. А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте перва ручку у меня». Побелеют весь Аркадь Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще черней сделается, насупится, как разбойник какой. «Встать, негодяй!» Встанет, вытянется, как борзой, портки плисовые висят... молчит. «Проси прощенья».— «Виноват, сударь». А барчук задвохнутся — и уж не знают, что дальше сказать. «То-то «сударь»! — кричат.— Я, мол, поровлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтиться, я, мол, иной раз думаю: я для него души не пожалею... А ты что? Ты нарочно меня озлобляешь?»

— Диковинное дело! — говорила Наталья.— Над барчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной — барышня. Барчук,— а, по правде-то сказать, и сами дедушка,— в Герваське души не чаяли, а я — в ней... как из Сошек-то вернулась я да маленько образумилась после своей провинности...

V

С арапниками садились за стол уже после смерти дедушки, после бегства Герваськи и женитьбы Петра Петровича, после того как тетя Тоня, тронувшись, обрекла себя в невесты Иисусу сладчайшему, а Наталья возвратилась из этих самых Сошек. Тронулась же тетя Тоня и в ссылке побывала Наталья — из-за любви.

Скучные, глухие времена дедушки сменились временем молодых господ. Возвратился в Суходол Петр Петрович, неожиданно для всех вышедший в отставку. И приезд его оказался гибельным и для Натальи и для тети Тони.

Они обе влюбились. Не заметили, как влюбились. Им казалось сперва, что «просто стало веселее жить».

Петр Петрович повернул на первых порах жизнь в Суходоле на новый лад — на праздничный и барский. Он приехал с товарищем, Войткевичем, привез с собой повара, бритого алкоголика, с пренебрежением косившегося на позеленевшие рубчатые формы для желе, на грубые ножи, вилки. Петр Петрович желал показать себя перед товарищем радушным, щедрым, богатым — и делал это неумело, по-мальчишески. Да он и был почти мальчиком, очень нежным и красивым с виду, но по натуре резким и жестоким, мальчиком как будто самоуверенным, но легко и чуть не до слез смущающимся, а потом надолго затаивающим злобу на того, кто смутил его.

— Помнится, брат Аркадий,— сказал он за столом в первый же день своего пребывания в Суходоле,— помнится, была у нас мадера недурная?

Дедушка покраснел, хотел что-то сказать, но не насмелился и только затеребил на груди архалук. Аркадий Петрович изумился:

— Какая мадера?

А Герваська нагло поглядел на Петра Петровича и ухмыльнулся.

— Вы изволили забыть, сударь,— сказал он Аркадию Петровичу, даже и не стараясь скрыть насмешки.— У нас, и правда, девать некуда было этой самой мадеры. Да все мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.

— Это еще что такое? — крикнул Петр Петрович, заливаясь своим темным румянцем.— Молчать!

Дедушка восторженно подхватил.

— Так, так, Петенька! Фóра! — радостно, тонким голосом воскликнул он и чуть не заплакал.— Ты и представить себе не можешь, как он меня уничтожает! Я уж не однажды думал: подкрадусь и проломлю ему голову толкачом медным... Ей-богу, думал! Я ему кинжал в бок по эфес всажу!

А Герваська и тут нашелся.

— Я, сударь, слышал, что за это больно наказывают,— возразил он, насупясь.— А то и мне все лезет в голову: пора барину в царство небесное!

Говорил Петр Петрович, что после такого неожиданно-дерзкого ответа сдержался он только ради чужого человека. Он сказал Герваське только одно: «Сию минуту выйди вон!» А потом даже устыдился своей горячности — и, торопливо извиняясь перед Войткевичем, поднял на него с улыбкой те очаровательные глаза, которых долго не могли забыть все знавшие Петра Петровича.

Слишком долго не могла забыть этих глаз и Наталья.

Счастье ее было необыкновенно кратко — и кто бы мог думать, что разрешится оно путешествием в Сошки, самым замечательным событием всей ее жизни?

Хутор Сошки цел и доныне, хотя уже давно перешел к тамбовскому купцу. Это — длинная изба среди пустой равнины, амбар, журавль колодца и гумно, вокруг которого бахчи. Таким, конечно, был хутор и в дедовские времена; да мало изменился и город, что на пути к нему из Суходола. А провинилась Наташка тем, что, совершенно неожиданно для самой себя, украла складное, оправленное в серебро, зеркальце Петра Петровича.

Увидела она это зеркальце — и так была поражена красотой его,— как, впрочем, и всем, что принадлежало Петру Петровичу,— что не устояла. И несколько дней, пока не хватились зеркальца, прожила ошеломленная своим преступлением, очарованная своей страшной тайной и сокровищем, как в сказке об аленьком цветочке. Ложась спать, она молила бога, чтобы скорее прошла ночь, чтобы скорее наступило утро: празднично было в доме, который ожил, наполнился чем-то новым, чудесным с при-

ездом красавца барчука, нарядного, напомаженного, с высоким красным воротом мундира, с лицом смуглым, но нежным, как у барышни; празднично было даже в прихожей, где спала Наташка и где, вскакивая с рундука на рассвете, она сразу вспоминала, что в мире — радость, потому что у порога стояли, ждали чистки такие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всего страшнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилось двойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе,— за садом, куда, пока еще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть при жарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокруженья, а потом опять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, на кого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.

Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилась тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее, принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-то сладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл и превратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую, в затрапезной рубахе, с лицом, опухшим от слез, на глазах всей дворни, посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытая всем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сном весь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшего гороха, домовитую возню наседок в горячей земле, мирно-грустную перекличку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью ястреба и не вскакивать, не кричать тонким протяжным

голосом: «Шу-у!..» Там, на хуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над ее жизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву! Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут на смертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживало ее на пути в ссылку,— конечно, вечную, как полагала она.

На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да не до того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращение к ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Но что будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет, навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. И Евсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула — и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сушью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон, который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что очень жарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорог нет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах, выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что издалека пахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормили лошадь, возле пустых под вечер «обжорных» навесов,— пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются на стоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму; сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный от зноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке «поглядывать» и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь, не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромной серебряной звездой горевшего где-то далеко за домами,— сидела до тех пор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачом под мышкой, снова заводить лошадь в оглобли.

— Припоздали мы с тобой. королевишна, маленько! — оживленно бормотал он, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке.— Ну, да авось не удавят! Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану,— мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла,— говорил он, уже разумея Демьяна.—Разинул хайло: «Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя в портках-то...» А-ах! — думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня, мол, господа, и те еще не спускали порток-то... не тебе чета, чернонёбому.— «Смотри!» — А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу — и совсем не ворочусь: девку доправлю, а сам перехрещусь да потуда меня и видели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клином сошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хуторя — только слово сказать: в один мент за Ростовым-батюшкой очутишься... А там и поминай как звали!

И мысль: «удавлюсь» — сменилась в стриженой голове Наташки мыслью о бегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь к колодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалося солнце за большой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту еще больше возбудил мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченым молоком и выдают их за убогеньких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их в кандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, как говорит Герваська!

Но окна в остроге гасли, мысли путались,— нет, бежать еще страшнее, чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.

— Припоздали, девка,— уже беспокойно говорил он, вскакивая боком на грядку телеги.

И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням... «Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее,— не то думала, не то чувствовала Наташка,— повернуть, доскакать до Суходола — и упасть господам в ноги!» Но Евсей погонял. Звезды за

домами уже не было. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома — и все это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дóма, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, за старой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери на балкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристально смотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняя гостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонеза Огинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за нею офицера — приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою и сосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...

«У ней — свой, а у меня — свой»,— не то думала, не то чувствовала Наташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистый сад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного,— того, что сойдет с балкона барчук, пойдет по аллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами — и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...

А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, что представлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возле домов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... «И зачем поехал тут Евсей,— думала она,— как решился он греметь тут телегой?»

Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистым пыльным косогорам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг... Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одиноком домишке близ шлагбаума... Вот и

совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму — и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степной свежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсем шагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе,— только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее — и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущих по шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик, а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову — и вдруг увидела Наташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко... Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...

Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли и нежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдруг поняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать ее стриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.

Тогда она очнулась от приступа тошноты — и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...

А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она на спине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что она уснула,— только головой покачивал,— и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь у нее — одна душа. И душе этой было «так хорошо, ровно в царстве небесном»...

Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Но в степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла она любовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкие и жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души.

VI

Любовь в Суходоле необычна была. Необычна была и ненависть.

Дедушка, погибший столь же нелепо, как и убийца его, как и все, что гибли в Суходоле, был убит в том же году. На Покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей — и очень волновался: будет ли предводитель, давший слово быть? Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал — и обед удался на славу. Было и шумно и весело, дедушке — веселее всех. Рано утром второго октября его нашли на полу в гостиной мертвым.

Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собою ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он «поневоле» должен взять в свои руки. Должен и знакомства завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими — просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно-толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзою. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить, первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте.

На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно-счастлив, но бестактен, болтлив и жалок в своей бархатной шапочке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из

приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки и внизу и вверху, сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него; а распахнув двери, стал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца,— и на крыльцо пришлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай,— топтался от волнения, завидя же входящего, кидался к нему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил:

— Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!

Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лупево, к Ольге Кирилловне. «Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень» — что могли думать гости после таких непрошеных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может статься, и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей «Людмилу» или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена...» Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства,— поднести, например, ей цветок,— и Войткевич внезапно уехал. Когда же уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать — и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрестанный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки, иногда тревожно прибегал дедушка. Тогда Тонечка начинала топать ногами, кричать: «Отвяжитесь от меня, враги мои лютые!» — и дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой.

— Да пойми же ты, пойми,— бешено шипел Петр Петрович, выгнав вон девок, дедушку, захлопнув дверь и

крепко ухватясь за скобку,— пойми, змея, что́ могут вообразить!

— Ай! — неистово взвизгивала Тонечка.— Папенька, он кричит, что я брюхата!

И, вцепившись себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты.

Очень тревожил на Покров и Герваська: как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове.

Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, но остричься под польку не пожелал — подрубил их в кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили: «Рот до ушей, хоть завязочки пришей». Будылястый, очень широкий в плоской костлявой груди, с маленькой головою и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами, он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку: борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливания, многие думали: «А скоро ты, борзой, издохнешь!» Вслух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем.

Боялись его и господа. У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушке в день приезда Петра Петровича Герваське, к удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко: «Положительно скотина ты, брат!» — на что и ответ получил очень краткий: «Терпеть его не могу я, сударь!» А к Петру Петровичу Герваська сам пришел: стал на порог и, по своей манере, развязно осев на свои несоразмерно с туловищем длинные ноги в широчайших шароварах, углом выставив левое колено, попросил, чтобы его выпороли.

— Очень я грубиян и горячий, сударь,— сказал он безразлично, играя черными глазищами.

И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил.

— Успеется еще, голубчик! Успеется! — притворно-строго крикнул он.— Выйди вон! Я тебя, дерзкого, видеть не могу.

Герваська постоял, помолчал. Потом сказал:

— Есть на то воля ваша.

Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, поскалил по-собачьи голубоватые челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры — ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, но даже в глаза ему смотреть.

Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на Покров. Все сбились с ног, готовясь к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругаясь, споря, моя полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в сенцы собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит вилок, что пережарятся налевашники, хворостики; один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, алкоголику-повару: «Потише, отец дьякон, подрясник лопнет!»

— Смотри не напейся,— рассеянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваське Петр Петрович.

— С отроду не пил,— как равному кинул ему Герваська.— Не антересно.

И потом, при гостях, Петр Петрович даже заискивающе кричал на весь дом:

— Гервасий! Не пропадай ты, пожалуйста. Без тебя как без рук.

А Герваська вежливейше и с достоинством отзывался:

— Не извольте, сударь, беспокоиться. Не посмею отлучиться.

Он служил, как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, вслух говорившего гостям:

— До чего дерзок этот дылда, вы и представить себе не можете! Но положительно гений! Золотые руки!

Мог ли он предположить, что роняет в чашу именно ту каплю, которая переполнит ее? Дедушка услыхал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь стол закричал предводителю:

— Ваше превосходительство! Подайте руку помощи!

Как к отцу, прибегаю к вам с жалобой на слугу моего! Вот на этого, на этого — на Гервасия Афанасьева Куликова! Он на каждом шагу уничтожает меня! Он...

Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски-счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы остричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке,— крупных, черных, грубо подрубленных и образующих выступ над тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям:

— Хорошо, я прощаю его! Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня. Ни за что не отпущу! Особливо же прошу, не уезжайте нá вечер. Как дело нá вечер, я сам не свой: такая тоска, такая жуть! Тучки заходят, в Трошином лесу, говорят, опять двух французов бонапартишкиных поймали... Я беспременно помру вечером,— попомните мое слово! Мне Мартын Задека предсказал...

Но умер он рано утром.

Он настоял-таки: «ради него» много народу осталось ночевать; весь вечер пили чай, варенья было страшно много и все разное, так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать; затем наставили столов, зажгли столько спермацетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дыма душистого жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались. И, значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы: ведь если бы не он, не Петр Кириллыч, никогда не сошел бы так отлично праздник, никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда.

«Да, да,— волнуясь, думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед заж-

женными на нем восковыми свечечками, глядя на черный образ Меркурия.— Да, да, смерть грешнику люта... Да не зайдет солнце в гневе нашем!»

Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое; горбясь и шепча пятидесятый псалом, прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки псалтирь и, развернув, снова с глубоким, счастливым вздохом поднял глаза на безглавого святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой:

— Да, да: есть старик — убил бы его, нет старика — купил бы его!

Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнущих табаком, стояла та особенная тишина, что бывает только после праздника, осторожно, на босу ногу вышел он в гостиную, заботливо поднял несколько мелков, валявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга, взглянув на сад за стеклянными дверями: на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывшего и балкон и перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом. Он отворил дверь и потянул носом: еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом, белоствольных берез, и прелестный, радостный, неуловимо-лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазури. Пробежала собака в холодной тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму — и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную и, затаивая дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська — без казакина, заспанный, «злой, как черт», как он сам же про себя рассказывал потом.

Он вошел и строго крикнул шепотом:

— Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?

Дедушка поднял возбужденное лицо и, с той нежностью, которая не покидала его весь вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил:

— Вот видишь, какой ты, Гервасий! Я простил тебя вчерась, а ты, заместо благодарности барину...

— Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени! — перебил Герваська.— Пусти.

Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь над тонкой шеей, торчавшей из ворота белой рубахи, но вспыхнул и загородил собою ломберный стол, который хотел тащить в угол.

— Ты пусти! — мгновение подумав, негромко крикнул он.— Это ты должóн уступить барину. Ты доведешь меня: я тебе кинжал в бок всажу!

— А! — досадливо сказал Герваська, блеснув зубами,— и наотмашь ударил его в грудь.

Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками — и как раз виском ударился об острый угол стола.

Увидя кровь, бессмысленно-раскосившиеся глаза и разинутый рот, Герваська сорвал с еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре... оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца... Затем неслышно и быстро вышел из гостиной — и как в воду канул.

Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.

VII

Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события: женился Петр Петрович и отправились братья «Охотниками» в Крымскую кампанию.

Вернулась она только через два года: о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол.

В тот летний вечер, когда телега, присланная с барского двора, заскрипела возле хуторской хаты и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул:

— Ужли это ты, Наташка?

— А то кто же? — ответила Наташка с чуть заметной улыбкой.

И Евсей покачал головою:

— Добре́ ты не хороша-то стала!

А стала она только не похожа на прежнюю: из стриженой девчонки, круглоликой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми.

На пути в Суходол Евсей сказал:

— Ну, вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?

Она только головой помотала:

— Нет, дядя Евсей, никогда не пойду.

— Это с какой же радости? — спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул.

И не спеша она пояснила: не всем же замужем быть; отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя богу и, значит, замуж ее не пустит; да и сны уж очень явственные снились ей не раз...

— Что ж ты видела? — спросил Евсей.

— Да так, пустое,— сказала она.— Напугал меня тогда Герваська до смерти, наговорил новостей, раздумалась я... Ну, вот и снилось.

— А ужли правда, завтракал он у вас, Герваська-то?

Наташка подумала:

— Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. Ему и накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочиста, да и пошел себе...

— Да что ж ты хозяев-то не кликнула?

— Эко-ся. Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать. А им сказал,— спать под анбар иду...

В Суходоле с большим любопытством глядела на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так же кратко и точно любуясь какой-то ролью, взятой на себя.

— Хорошо было,— повторяла она.

А раз сказала тоном богомолки:

— У бога всего много. Хорошо было.

И просто, без промедлений вступила в рабочую, будничную жизнь, как бы совсем не дивясь тому, что нет дедушки, что ушли молодые господа на войну «Охотниками», что барышня «тронулась» и бродит по комнатам, подражая дедушке, что правит Суходолом новая, всем чужая барыня,— маленькая, полная, очень живая, беременная...

Барыня крикнула за обедом:

— Позовите же сюда эту... как ее? — Наташку.

И Наташка быстро и неслышно вошла, перекрестилась, поклонилась в угол, образам, потом барыне и барышне — и стала, ожидая расспросов и приказаний. Расспрашивала, конечно, только барыня,— барышня, очень выросшая, похудевшая, востроносая, глядя своими неправдоподобно-черными глазами пристально-тупо, ни слова не проронила. Барыня же и определила ее состоять при барышне. И она поклонилась и просто сказала:

— Слушаю-с.

Барышня, глядя все так же внимательно-равнодушно, внезапно кинулась на нее вечером и, яростно раскосив глаза, жестоко и с наслаждением изорвала ей волосы — за то, что она неумело дернула с ее ноги чулок. Наташка по-детски заплакала, но смолчала; а выйдя в девичью, сев на коник и выбирая вырванные волосы, даже улыбнулась сквозь висевшие на ресницах слезы.

— Ну, люта-а! — сказала она.— Трудно мне будет.

Барышня, проснувшись утром, долго лежала в постели, а Наташка стояла у порога и, опустив голову, искоса поглядывала на ее бледное лицо.

— Что ж видела во сне? — спросила барышня так равнодушно, точно кто-то другой говорил за нее.

Она ответила:

— Кажись, ничего-с.

И тогда барышня, опять так же внезапно, как вчера, вскочила с постели, бешено запустила в нее чашку с чаем и, упав на постель, горько, с криком зарыдала. От чашки Наташка увернулась — и вскоре научилась увертываться с необыкновенной ловкостью. Оказалось, что глупым девкам, отвечавшим на вопрос о снах: «Ничего-с не вида-

ла»,— барышня кричала иногда: «Ну, полги что-нибудь!» Но так как лгать Наташка была не мастерица, то и пришлось ей развивать в себе другое уменье: увертываться.

Наконец к барышне привезли лекаря. Лекарь дал много пилюль, капель. Боясь, что ее отравят, барышня заставила перепробовать эти пилюли и капли Наташку — и та без отказа перепробовала их все подряд. Вскоре после приезда узнала она, что барышня ждала ее «как света белого»: барышня-то и вспомнила о ней — все глаза проглядела, не едут ли из Сошек, горячо уверяла всех, что будет совсем здорова, как только вернется Наташка. Наташка вернулась — и встречена была совершенно равнодушно. Но не были ли слезы барышни слезами горького разочарования? У Наташки дрогнуло сердце, когда она сообразила все это. Она вышла в коридор, села на рундук и опять заплакала.

— Что ж, лучше тебе? — спросила барышня, когда она вошла к ней потом с опухшими глазами.

— Лучше-с,— шепотом сказала Наташка, хотя от лекарств у нее замирало сердце и кружилась голова, и, подойдя, горячо поцеловала руку барышни.

И долго после того ходила с опущенными ресницами, боясь поднять их на барышню, умиленная жалостью к ней.

— У, хохлушка подколодная! — крикнула раз одна из подруг ее по девичьей, Солошка, чаще всех пытавшаяся стать наперсницей всех тайн и чувств ее и постоянно натыкавшаяся на краткие, простые ответы, исключавшие всякую прелесть девичьей дружбы.

Наташка грустно усмехнулась.

— А что ж,— сказала она задумчиво.— И то правда. С кем поведешься, от того и наберешься. Я иной раз по отцу-матери не жалкую так-то, как по хохлам своим...

В Сошках она сперва совсем не придала значения тому новому, что окружало ее. Приехали под утро — и странным показалось ей в это утро только то, что хата очень длинна и бела, далеко видна среди окрестных равнин, что хохлушка, топившая печь, поздоровалась приветливо, а хохол не слушал Евсея. Евсей молол без умолку— и о господах, и о Демьяне, и о жаре в пути, и о том, что ел он в городе, и о Петре Петровиче, и, уж конечно, о зеркальце,— а хохол, Шарый, или, как звали его в Суходоле,

Барсук, только головой мотал и вдруг, когда Евсей смолк, рассеянно глянул на него и превесело заныл под нос: «Круть, верть, метелиця...» Потом стала она понемногу приходить в себя — и дивоваться на Сошки, находить в них все больше прелести и несходства с Суходолом. Одна хата хохлацкая чего стоила — ее белизна, ее гладкая, ровная, очеретёная крыша. Как богато казалось в этой хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, висевшие над ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева.

Чем они удивительны, она не совсем понимала, но чувствовала постоянно. Никогда еще не видала она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый. Был он невысок, голову имел клином, стриженую, в густом крепком серебре, усы,— он только усы носил,— тоже серебряные, узкие, татарские, лицо и шею черные от загара, в глубоких морщинах, но тоже каких-то ладных, определенных, нужных почему-то. Ходил он неловко,— тяжелы были его сапоги,— в сапоги заправлял порты из грубого беленого холста, в порты — такую же рубаху, широкую под мышками, с отложным воротом. На ходу гнулся слегка. Но ни эта манера, ни морщины, ни седины не старили его: не было ни усталости нашей, ни вялости в его лице; небольшие глаза глядели остро, тонко-насмешливо. Старика-серба, откуда-то заходившего однажды в Суходол с мальчиком, игравшим на скрипке, напомнил он Наташке.

А хохлушку Марину суходольцы прозвали Копьем. Стройна была эта высокая пятидесятилетняя женщина. Желтоватый загар ровно покрывал тонкую, не суходольскую кожу ее широкоскулого лица, грубоватого, но почти красивого своей прямотой и строгой живостью глаз — не то агатовых, не то янтарно-серых, менявшихся, как у кошки. Высоким тюрбаном лежал на ее голове большой черно-золотой, в красном горошке, платок; черная, короткая плахта, резко оттенявшая белизну сорочки, плотно облегала удлиненные бедра и голени. Обувалась она на босу ногу, в башмаки с подковками, голые берцы ее были

тонки, но округлы, стали от солнца как полированное желто-коричневое дерево. И когда она порою пела за работой, сдвинув брови, сильным грудным голосом, песню об осаде неверными Почаева, о том,

Як зійшла зоря вечіровая
Та над Почаевом стала,

как сама божья матерь святой монастырь «рятувáла», в голосе ее было столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с нее.

Детей хохлы не имели; Наташка была сирота. И живи она у суходольцев, звали бы ее дочкой приемной, а порой и воровкой, то жалели бы ее, то глаза кололи. А хохлы были почти холодны, но ровны в обращении, совсем не любопытны и не многоречивы. Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками». Но распашонок Наташка чуждалась: слыли они распутными, дурноболезными, были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали как угорелые. Рассеялось бы ее горе в привычном быту, в откровенностях, в слезах и песнях. Да с кем было откровенничать или песни петь? Распашонки затягивали своими грубыми голосами, подхватывали их не в меру дружно и зычно, с ёканьем и свистом. Шарый пел только насмешливо-плясовое что-то. А Марина в своих песнях, даже любовных, была строга, горда и задумчиво-сумрачна.

В кінці греблі шумлять верби,
Що я посадила,—

тоскливо-протяжно рассказывала она — и прибавляла, понижая голос, твердо и безнадежно:

Нема могó
Миленького,
Що я полюбила...

И в одиночестве, медленно испила Наташка первую, горько-сладкую отраву неразделенной любви, перестрадала свой стыд, ревность, страшные и милые сны, часто снившиеся ей по ночам, несбыточные мечты и ожидания, долго томившие ее в молчаливые степные дни. Часто жгу-

чая обида сменялась в ее сердце нежностью, страсть и отчаяние — покорностью, желанием самого скромного, незаметного существования близ *него,* любви, навеки скрытой от всех и ничего не ждущей, ничего не требующей. Вести, новости, доходившие из Суходола, отрезвляли. Но не было долго вестей, не было ощущения будничной суходольской жизни — и начинал казаться Суходол таким прекрасным, таким желанным, что не хватало сил терпеть одиночество и горе... Вдруг явился Герваська. Он торопливо-резко выкинул ей все суходольские новости, в полчаса рассказал то, что другой не сумел бы и в день рассказать,— вплоть до того, как он насмерть «толконул» деда, и твердо сказал:

— Ну, а теперь прощай дóвеку!

Он, прожигая ее, ошеломленную, своими глазищами, крикнул, выходя на дорогу:

— А дурь из головы пора вон выбить! Он вот-вот женится, ты ему и в любовницы не годишься... Образумься!

И она образумилась. Пережила страшные новости, пришла в себя — и образумилась.

Дни потянулись после того мерно, скучно, как те богомолки, что шли и шли по шоссе мимо хутора, вели, отдыхая, долгие беседы с ней, учили терпению да надежде на господа бога, имя которого произносилось тупо, жалобно, а пуще всего правилу: не думать.

— Думай не думай — по-нашему не будет,— говорили богомолки, перевязывая лапти, морща измученные лица и расслабленно глядя в степную даль.— У господа бога всего много... Сорви-ка ты нам, деушка, лучку украдкой...

А иные, как водится, и стращали — грехами, тем светом, сулили еще и не такие беды и страхи. И однажды приснилось ей чуть не подряд два ужасных сна. Все думала она о Суходоле,— трудно было сначала не думать-то! — думала о барышне, о дедушке, о своем будущем, гадала, выйдет ли она замуж, и если выйдет, то когда, за кого... Думы так незаметно перешли однажды в сон, что совершенно явственно увидала она предвечернее время знойного, пыльного, тревожно-ветреного дня и то, что бежит она на пруд с ведрами — и вдруг видит на глинисто-сухом косогоре безобразного, головастого мужика-карлика в разбитых сапогах, без шапки, со всклоченными ветром

рыжими кудлами, в распоясанной, развевающейся огненно-красной рубахе. «Дедушка! — крикнула она в тревоге и ужасе.— Ай пожар?» — «До шпенту все слетит сейчас! — тоже криком, заглушаемым горячим ветром, отозвался карлик.— Туча́ идет несказанная! И думать не моги замуж собираться!» — А другой сон был и того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, припертая кем-то снаружи, замирала, ждала чего-то — и вот выпрыгнул из-за печки громадный серый козел, вскинулся на дыбы — и прямо к ней, непристойно возбужденный, с горящими, как уголья, радостно-бешеными и молящими глазами. «Я твой жених!» — крикнул он человечьим голосом, быстро и неловко подбегая, мелко топоча маленькими задними копытцами — и с размаху упал ей на грудь передними...

Вскакивая после таких снов на своей постели в сенцах, чуть не умирала она от сердцебиения, от страха темноты и мысли, что не к кому кинуться ей.

— Господи Исусе,— скороговоркой шептала она.— Матушка царица небесная! Угодники божии!

Но оттого, что все угодники представлялись ей коричневыми и безглавыми, как Меркурий, делалось еще страшнее.

Когда же стала она обдумывать сны, то в голову стало приходить, что девичьи годы ее кончены, что судьба ее уже определилась,— недаром выпало ей на долю нечто необычное, любовь к барину! — что ждут ее еще какие-то испытания, что надо подражать хохлам в сдержанности, а богомолкам — в простоте и смирении. И так как любят суходольцы играть роли, внушать себе непреложность того, что будто бы должно быть, хотя сами же они и выдумывают это должное, то взяла на себя роль и Наташка.

VIII

У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бодуля — за нею, когда увидала она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидала рваную шапку на лохматой голове Бодули, его выцветшую на солнце путаную бороду,

его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт, увидала знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бодулей, но со всем Суходолом,— мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густо-опушенной шеи, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бодуля по пути домой плел, что в голову влезет, о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался, и Наташка рассудительно говорила:

— Что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то...

Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении — смотреть новыми глазами на старое, знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в Суходол с большой дороги, на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк жеребенок: мальчишка, став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по-мужичьи, а по-бабьи,— с прямо вытянутыми ногами,— с напряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что «нечего в гроб положить», без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце,— вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха, и с хохотом кричавшей:

— Нет, дед, не калянься: видно, уж придется подгузники скидавать! Не минуешь!

А как забилось сердце, когда увидала она выгон, ряд изб — и усадьбу: сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурья-

нам, татаркам; чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно — все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда, впервые после двухлетнего пребывания в избе, вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнущий восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном,— и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей...

По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостиной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих, ярких подоконниках... Казалось,— все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, во всем — и особенно в запахе цветов — чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся — самое себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна. Исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуготовляя его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее косою. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизова истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы,— барышня Тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками... Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидала роковое зеркальце в серебряной оправе — и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожида-

ние стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре... Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая, старая суходольская кровь текла в ней! Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал Суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнувшей речки. Не пугали ее изнуряющие будни — пугало необычное. Не страшила даже смерть; но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и — огонь. Как ребенка под сердцем, носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед...

Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сровнялось года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома.

Родила Клавдия Марковна. Федосью-птичницу произвели в няньки — и Федосья, женщина еще молодая, надела темное старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва таращил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал новый Хрущев. А его уже называли барчуком,— уже слышались из детской старые, старые причитания:

— Вон он, вон он, старик-то с мешком... Старик, старик! Не ходи к нам, мы не дадим тебе барчука, он не будет кричать...

И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой — нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна — и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом, а воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня «почесть совсем как живая», хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом.

А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина, благообразного, богатого однодворца, с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но

преображавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда — поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитры и зорки были его маленькие глаза, истово искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился — и уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем.

— Зорька... темняет... пора,— говорил он таинственно.

Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом,— даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре,— на случай зова, приказаний Клима,— мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий, необычный голос:

— Встань, раба божия!

Затем показывалась его сивая голова из-за двери.

— Доску,— кидал он безжизненно.

И на доску, положенную на пол, ставили барышню, с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он зачинал странным, отдаленным каким-то голосом:

— Взыдет Филат... Окна откроет... Двери растворит... Кликнет и скажет: тоска, тоска!

— Тоска, тоска! — восклицал он с внезапной силой и грозной властью.— Ты иди, тоска, во темные леса,— там твои мяста! На море, на окияне,— бормотал он глухой зловещей скороговоркой,— на море, на окияне, на острове Буяне лежит сучница, на ей серая руница...

И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно-гру-

бого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимыми недугом,— тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхвования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай:

— Ну, теперь еще две зорьки осталось... Авось, бог даст, полегчает маленько... Сеяли гречишку-то в нонешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи! Дюже хороши!

Летом ждали из Крыма хозяев. Но прислал Аркадий Петрович «страховое» письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться — по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало: благополучно. И барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало. Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что́ она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здравие, как потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед — и тем, что́ держала она в тайне.

Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи — о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что, напротив, будут с осени забривать в солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стукался головой в стену и с радостным лицом отскакивал.

— Птушечки мои! — фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца.— Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!

И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом:

— Угодниче божий Дроние, моли бога за мя, грешную!

И при этом крике у Наташки глаза останавливались от страшных предположений.

Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косого младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубахе и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.

— Бяда! — бормотал он, задыхаясь.— Бяда...

Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.

— Когда ж еще придешь, Тимоша? — кричала ему барышня.

И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни:

— О святой, Лукьяновна!

И жалостно вопила вослед ему барышня:

— Угодниче божий! Моли бога за мя, грешную, Марию Египетскую!

Каждый день приходили отовсюду вести о бедах — о грозах и пожарах. И все возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмиряется

огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечки... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — «явление природы». Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала при молниях, а чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771-м году в Тироле и сразу убившей сто одиннадцать человек. А слушательницы подхватывали — торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец, к этим радениям пристрял некто Юшка, «провинёный монах», как он называл себя.

IX

Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил, где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей «провинности».— «Я, брат, мужик, да умен и на горбатого похож,— говорил он.— Что ж мне работать!»

И правда, смотрел он как горбун — едко и умно, растительности на лице не имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему «непристойно и скучно». Вот он и пошел в Киевскую лавру, «подрос там» — и был изгнан «за провинность». Тогда, сообразив, что прикидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу,— старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить и пить сколько влезет,— он никогда не пьянел,— издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений.

— Ну, известно,— рассказывал он мужикам, подмигивая,— известно, сейчас меня, раба божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, на Русь... Не пропаду, мол!

И точно — не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его.

— Так и зарекся ты навек работать? — спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровенностей.

— Черт меня теперь заставит работать! — отзывался Юшка.— Набалован, брат! Яровит я пуще козла лаврского. Девки эти самые,— мне бабы и даром не надобны! — боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам хоть куда: пёрушком не хорош, зато косточкой строён!

Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: «Я мела, млада, сенюшки, нашла себе сахарцу...» Увидев его, она в ужасе вскочила.

— Да кто-й-то? — крикнула она.

— Человек,— ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы.— Доложи барыне.

— Кто это? — крикнула и барыня из зала.

Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается на родину — и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямотой барыню, что на другой же день мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: «Влюбился я в тебя, девка!» — глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.

Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: «Приду. Хоть зарежь, приду. А закричишь — дотла вас сожгу». Но что пуще всего лишало ее сил, так это сознание, что совершается нечто *неминучее,* что близко осуществление страшного сна ее,— в Сошках, про козла,— что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: по ночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что́ именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: «Змий эдемский, иерусалимский душит мя!» А кто же этот змий, как не черт, не тот серый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом, неминучем часе, сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и с бьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступы той тяжкой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве — и бежала, изуверски, сладострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладостнее и мучительнее, чем вскрикивала барышня...

И неминучее свершилось. Юшка пришел — как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью Наделящего, древнего Огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала — и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время — она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное

огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала — и остановилась как вкопанная: осиновые бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут,— и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей.

— На море, на окияне, на острове Буяне...— зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями.— Там лежит сучнища, серая руница...

И лишь только сказала эти первобытно-грозные слова, как увидала, обернувшись, Юшку, с поднятыми плечами стоявшего в двух шагах от нее. Озарилось лицо его молнией — бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию — и, сдавив, одним махом кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей...

Пришел к ней Юшка и на следующую ночь. Ходил и еще много ночей,— и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему: и думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, как, говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому Ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному, в конце концов, в Сибирь, на поселение... Наконец наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол — и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился.

Через месяц после того она почувствовала себя матерью. А в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго, страшно пылал суходольский дом: исполнилось и второе ее сновидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, под-

прыгивая, по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани,— от бани, где она проводила целые дни и ночи в слезах,— рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом: он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам... Было ли все это или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка.

И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней; и она успокоилась, стала жить, как все,— расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею у мощей и Наталья — и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уж нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем! Как ни приготовлялась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель! Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастии,— ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара! — и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу: сам бог отметил их с барышней губительным перстом своим — им ли было бояться людей! Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия, вошла она в суходольский дом, возвратясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичьи, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем...

Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные слухи о воле — и вызвали даже тревогу и на дворне и в деревне: что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать — начинать жить по-новому! По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели.

Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле — все это быстро изменило лица и души господ, лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придирчивость друг к другу: начались «нелады», как говорил отец, дошло до татарок за столом... Нужда стала напоминать о настоятельной необходимости поправить как-нибудь дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строг и подозрителен, другой — нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход: заложили имение и скупили около трехсот захудавших лошадей,— собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыгана. Лошадей они хотели выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все, одна за другою, к весне почему-то поколели...

И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастие не свалилось на Суходол. Зимой, на четвертый год после возвращения своего из Крыма, Петр Петрович уехал однажды в Лунево, где была у него любовница. Он прожил на хуторе двое суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно; в розвальни, покрытые ковром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную, молодую, горячую лошадь, по брюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег,— будто бы головой к ней,— спать. Наступали туманные, сизые сумерки. И, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бодуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки Казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями,— крикнул: «Пошел!» — и ударил Евсея в спину ногой. И сильный гнедой коренник, уже мокрый, дымясь и екая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге, в туманную муть глухого поля, навстречу все густеющей, хмурой зимней ночи... А в полночь, когда

уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади, розвальни и с кнутом в руках стоявший Евсей.

— Беда, девка, беда,— забормотал он глухо, странно, как во сне,— барина лошадь убила... пристяжная... Набежала, осунулась и — копытом... Все лицо раздавила. Он уж холодеть стал... Не я, не я, вот те Христос, не я!

Молча сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвальням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дикорадостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота...

X

Когда случалось нам отдыхать от городов в тихой и нищей глуши Суходола, снова и снова рассказывала Наталья повесть своей погибшей жизни. И порою глаза ее темнели, останавливались, голос переходил в строгий, ладный полушепот. И все вспоминался мне грубый образ святого, висевший в углу лакейской старого нашего дома. Обезглавленный, пришел святой к согражданам, на руках принес свою мертвую голову — во свидетельство своего повествования...

Уже исчезали и те немногие вещественные следы прошлого, что застали мы когда-то в Суходоле. Ни портретов, ни писем, ни даже простых принадлежностей своего обихода не оставили нам наши отцы и деды. А что и было, погибло в огне. Долго стоял в прихожей какой-то сундук, в клоках задеревеневшей и лысой тюленьей кожи, которой был обшит он чуть не сто лет тому назад,— дедовский сундук с выдвижными ящичками из карельской березы, набитый обгорелыми французскими вокабулами да церковными книгами, донельзя закапанными воском. Потом исчез и он. Изломалась, исчезла и тяжкая мебель, что стояла в зале, гостиной... Дом ветшал, оседал все более. Все те долгие годы, что прошли над ним со времени последних событий, здесь рассказанных, были для него года-

ми медленного умирания... И все легендарнее становилось его прошлое.

Росли суходольцы среди жизни глухой, сумрачной, но все же сложной, имевшей подобие прочного быта и благосостояния. Судя по косности этого быта, судя по приверженности к нему суходольцев, можно было думать, что ему и конца не будет. Но податливы, слабы, «жидки на расправу» были они, потомки степных кочевников! И как под сохой, идущей по полю, один за другим бесследно исчезают холмики над подземными ходами и норами хомяков, так же бесследно и быстро исчезали на наших глазах и гнезда суходольские. И обитатели их гибли, разбегались, те же, что кое-как уцелели, кое-как и коротали остаток дней своих. И мы застали уже не быт, не жизнь, а лишь воспоминания о них, полудикую простоту существования. Все реже навещали мы с годами наш степной край. И все более чужим становился он для нас, все слабее чувствовали мы связь с тем бытом и сословием, из коего вышли. Многие из соплеменников наших, как и мы, знатны и древни родом. Имена наши поминают хроники; предки наши были и стольниками, и воеводами, и «мужами именитыми», ближайшими сподвижниками, даже родичами царей. И называйся они рыцарями, родись мы западнее, как бы твердо говорили мы о них, как долго еще держались бы! Не мог бы потомок рыцарей сказать, что за полвека почти исчезло с лица земли целое сословие, что столько нас выродилось, сошло с ума, наложило руки на себя, спилось, опустилось и просто потерялось где-то! Не мог бы он признаться, как признаюсь я, что не имеем мы ни даже малейшего точного представления о жизни не только предков наших, но и прадедов, что с каждым днем все труднее становится нам воображать даже то, что было полвека тому назад!

То место, где стояла луневская усадьба, было уже давно распахано и засеяно, как распахана, засеяна была земля на местах многих других усадьб. Суходол еще кое-как держался. Но, вырубив последние березы в саду, по частям сбыв почти всю пахотную землю, покинул ее даже сам хозяин ее, сын Петра Петровича,— ушел на службу, поступил кондуктором на железную дорогу. И тяжело доживали свои последние годы старые обитательницы

Суходола — Клавдия Марковна, тетя Тоня, Наталья. Сменялась весна летом, лето осенью, осень зимою... Они потеряли счет этим сменам. Они жили воспоминаниями, снами, ссорами, заботами о дневном пропитании. Летом те места, где прежде широко раскидывалась усадьба, тонули в мужицких ржах: далеко стал виден дом, окруженный ими. Кустарник, остаток сада, так одичал, что перепела кричали у самого балкона. Да что лето! «Летом нам рай!» — говорили старухи. Долги, тяжки были дождливые осени, снежные зимы в Суходоле. Холодно, голодно было в пустом разрушающемся доме. Заметали его вьюги, насквозь продувал морозный сарматский ветер. А топить — топили очень редко. По вечерам скудно светила из окон, из горницы старой барыни,— единственной жилой горницы,— жестяная лампочка. Барыня, в очках, в полушубке и валенках, вязала чулок, наклоняясь к ней. Наталья дремала на холодной лежанке. А барышня, похожая на сибирского шамана, сидела в своей избе и курила трубку. Когда не бывала тетя в ссоре с Клавдией Марковной, ставила Клавдия Марковна лампочку свою не на стол, а на подоконник. И сидела тетя Тоня в странном слабом полусвете, доходившем из дома во внутренность ее ледяной избы, заставленной обломками старой мебели, заваленной черепками битой посуды, загроможденной рухнувшим набок фортепиано. Такая ледяная была эта изба, что куры, на заботы о которых направлены были все силы тети Тони, отмораживали себе лапы, ночуя на этих черепках и обломках...

А теперь уже и совсем пуста суходольская усадьба. Умерли все помянутые в этой летописи, все соседи, все сверстники их. И порою думаешь: да полно, жили ли и на свете-то они?

Только на погостах чувствуешь, что было так; чувствуешь даже жуткую близость к ним. Но и для этого надо сделать усилие, посидеть, подумать над родной могилой,— если только найдешь ее. Стыдно сказать, а нельзя скрыть: могил дедушки, бабушки, Петра Петровича мы не знаем. Знаем только то, что место их — возле алтаря старенькой церкви в селе Черкизове. Зимой туда не пробершься: там по пояс сугробы, из которых торчат редкие кресты и верхушки голых кустов, прутья. В летний день

проедешь по жаркой, тихой и пустой деревенской улице, привяжешь лошадь у церковной ограды, за которой темно-зеленой стеной стоят, пекутся в зное елки. За откинутой калиткой, за белой церковью с ржавым куполом — целая роща невысоких ветвистых вязов, ясени, лимов, всюду тень и прохлада. Долго бродишь по кустам, буграм и ямам, покрытым тонкой кладбищенской травой, по каменным плитам, почти ушедшим в землю, пористым от дождей, поросшим черным рассыпчатым мохом... Вот два-три железных памятника. Но чьи они? Так зелено-золотисты стали они, что уже не прочесть надписей на них. Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко. И сидишь, думаешь, силясь представить себе всеми забытых Хрущевых. И то бесконечно далеким, то таким близким начинает казаться их время. Тогда говоришь себе:

— Это не трудно, не трудно вообразить. Только надо помнить, что вот этот покосившийся золоченый крест в синем летнем небе и при них был тот же... что так же желтела, зрела рожь в полях, пустых и знойных, а здесь была тень, прохлада, кусты... и в кустах этих так же бродила, паслась вот такая же, как эта, старая белая кляча с облезлой зеленоватой холкой и розовыми разбитыми копытами.

Васильевское. 1911

КРИК

Однажды, ранней весной, шли мы в Батум из Порт-Саида.

В Стамбуле были чумные случаи, дела наш грузовик там не имел; мы решили миновать Золотой Рог, а рассвета дождаться в Коваках, у входа в Черное море: ночью из Босфора не выпускают. И вот отправили с нами из Дарданелл двух турок, двух карантинных стражей, дабы они удостоверили, придя в Коваки, что остановки на Босфоре не делалось.

Снялись мы из Дарданелл в четыре. В пять матросы обедают. Перед обедом полагается им по манерке спирту. Но был чистый четверг, некоторые сочли за грех пить в такой день. А чтобы спирт не пропадал даром, поднесли — для потехи — туркам. Спирт свалил их, непривычных к вину, с ног, и они заснули: один, рослый, дюжий, на корме, над самым винтом, другой, маленький, на крышке трюма между кормой и машинной частью. И перед тем, как заснуть, этот маленький долго бормотал и по-турецки, и по-гречески, и даже по-русски:

— Русс — карашо, араб — нет карашо!

Он рассказывал, что у него, человека простого и бедного, жена была такая красавица, что он даже по имени не звал ее никогда, а говорил: «Джаным, сердце мое», что она уже давно умерла, родив ему сына, что и сын его был красив, нежен и почтителен, как девушка, да увезли его в Стамбул, отправили на войну, в Аравию. А уж из

Аравии не вернешься, нет! — говорил он. И, вскакивая, громко вскрикивал, как бы стреляя из карабина, падал на спину, изображая убитого наповал, и задирал свои кривые ноги в шерстяных полосатых чулках. Штаны его, очень узкие книзу, были в заплатах, мундир — коротенький, истрепанный, феска грязная, бараньи глаза мутны, усы вислые, подбородок давно не брит, лицо все в морщинах. И матросы хохотали и жалостно говорили:

— Вино-то, вино-то, братцы, что делает!

Вечером я лег спать, приказав разбудить себя, лишь только откроется маяк. Около двух часов ночи вестовой постучал в дверь моей каюты и негромко сказал:

— Подходим.

Я оделся и вышел. В кают-компании тускло и печально горел один рожок. Легкий свежий бриз дул в открытую дверь, за которой синела лунная ночь, и, сухо шелестя, чуть трепетали перистые веточки карликовой японской пальмы, стоявшей в горшке у камина. Среди тишины, царившей всюду, выделялись только этот шелест да медленное постукивание стенных часов. А чуть слышный звон рюмок, которыми увешан потолок в буфете, и та слабая дрожь, которой дрожит весь пароход от машины, работающей в глубине его глухо и мерно, как огромное сердце, не нарушали тишины. Я вышел на левый борт — и загляделся на приближающийся Стамбул, на редкие ночные огни его, матово блестевшие за белесым тонким паром, на его призрак, фантастический и величавый, таинственно-бледный на синеве лунной ночи...

Потом поднялся на мостик. Глядя вперед, за фок-мачту, дежурили у телеграфа капитан и вахтенный помощник, в шапках, в теплых куртках. Они не обернулись, когда я стал за ними, возле штурманской рубки, где, в сумраке, держась за рога рулевого колеса и не спуская глаз с компаса, освещенного низко спущенной электрической лампочкой под колпаком, каменел рулевой. Они, тоже завороженные ночью и Стамбулом, роняли слова команды медленно, вполголоса.

— Пять градусов лево,— бесстрастно, не оборачиваясь, говорил капитан.

— Есть пять градусов лево,— протяжным сиплым альтом отзывался рулевой.

Мерно, медленно отдавались из глубины вздохи машины, и медленно шло и развертывалось перед нами сказочное царство великого города.

— Так держать,— просто и осторожно говорил капитан.

— Та-ак держа-ать! — на четыре тона выше брал рулевой.

Я поднялся на штурманскую рубку... Мертвый штиль. Полная ясная луна стоит справа, почти сзади нас, над туманными силуэтами Принцевых островов. Огромная золотая полоса продольно блещет между ними, под той тенью, что всегда лежит по горизонту за лунным блеском. Блеск зеленоватого стекла возникает и гаснет, переливается по волнам возле самого борта. Но все в отдалении,— и холмистые побережья, и Золотой Рог, медленно раскрывающийся перед нами, и бледные призраки Скутари, Стамбула, Галаты,— все подернуто матово-белесой чадрой, нежной, прозрачной, как драгоценные брусские газы. И за этой чадрой, как несметные глаза, таинственные и прекрасные, матово и недвижно блещут несметные, далекие и близкие огни: золотые, мелкие — густо насыпанные, среди темных садов, на скутарийском берегу; роями усеявшие сверху донизу гору Галаты; изумрудные и рубиновые, крупные — на мачтах в Золотом Роге, на буях, сторожевых лодках, длинно отражающиеся в зеркальной воде; редкие и сонные — в Стамбуле, спящем с открытыми блестящими глазами на своих холмах против луны... Я различал деревянные дома его предместий, легкие высокие минареты вокруг чашеобразных куполов белой Ахмедиэ, древний, дорогой мне купол Софии, сады Сераля и серую стену дворца Константина. Я опять обонял этот особый, сладкий и сухой аромат берегов Турции... Вдруг откуда-то издалека пронесся в тишине чей-то слабый рыдающий зов.

— Юсу-уф! — крикнул кто-то.

Все ближе роились огни. Мы шли, а мимо нас несло назад красные фонарики на сторожевых лодках. Я подумал: это, верно, кто-нибудь на сторожевой лодке крикнул; может быть, это убийство и вопль о пощаде; может быть, контрабандиста-грека поймали.

Вот опять негромкая команда и альт рулевого. Луна меняет место, надвигается справа скутарийский берег — далеко по зеркальной воде легла тень его. Уже прошла гора Галаты, сплошь залитая каменным городом, подернутая прозрачно-белым покровом. Сзади остались два сонных сквозных изумруда, низко, один над другим повисших над водою,— там, где торчит из воды белая башенка Леандра. Нос парохода медленно поворачивает,— закрывается выход в Мраморное море, блещущий, как стеклянно-золотое поле, возле Серальского мыса. Это поле меркнет; раздается короткий хрустальный звон нашего телеграфа; мы все круче забираем вправо. Теперь уже нигде нет блеска. Беломраморные дворцы тянутся по левому прибрежью, купая в воде широкие ступени своих мраморных пристаней. Тень достигает и до них; зеленовато-бледен в тени мрамор...

— Юсуф! — опять долетает откуда-то издалека.

Я прислушиваюсь.

— Юсуф! — страстно, захлебываясь слезами, кличет голос с кормы.— Юсу-уф!

Спустившись с рубки, я быстро пошел туда. Сбежал по трапу со спардека, прошел возле мерно и глубоко вздыхающей машины, обдавшей меня своим теплом и запахом разогретого масла... Опять луна переменила место. Она далеко за кормою, над золотым огромным озером, которым стал теперь Босфор среди сомкнувшихся берегов... И, еще раз сбежав, увидел я черную фигурку, на коленях, спиной ко мне, стоящую на крышке трюма. Она садилась порою на пятки, как делают это во время молитвы, порывисто поднималась, что-то искала в рогожке, служившей ей вместо молитвенного коврика, и опять откидывалась и, воздевая руки, страстно, кратко, с несказанной болью и мольбою вскрикивала:

— Юсу-уф!

И я все понял.

Он, этот маленький турок, заснул, набормотавшись, напевшись спьяну греческих песен. Он проспал все Мраморное море... И вдруг очнулся возле самого Стамбула, отнявшего у него сына... Он покорно, как истый муслим, принял и затаил в сердце свое горе. Никто не замечал следов скорби в его равнодушных морщинах, в бесстра-

стно поднятых бровях и висячих усах. Да и слишком тупо ныла эта скорбь в его сердце. Но вот это путешествие в Коваки, эти чужие люди, начавшие угощать его махоркой и огненной водкой... Сведенный ею с ума, чувствуя, что он плывет в город самого падишаха, стал он с болезненным восхищением вспоминать, как увозили туда его сына, представлять себе с непонятным восторгом, как убили его в Аравии... И свалился, наконец, потерял сознание... А потом вдруг очнулся. Что-то тяжко томило его в пьяном, тяжком сне. Когда же открылись его глаза, почувствовал он позднюю ночь по той тишине, которая окружала его, увидал величавый и фантастический в лунном свете призрак Стамбула — и внезапно, всем существом своим, постиг всю глубину того, что сделал Стамбул с его никому не нужной, жалкой жизнью и с прекрасной молодостью Юсуфа. И это о нем, о сыне, рассказывал он хохотавшим русским собакам!

Я подошел к нему. Он повернул ко мне бледное в лунном свете, все мокрое от слез, с мокрыми висячими усами лицо, выпучил на меня свои бараньи, остекленевшие от алкогольного яда, от рыданий и натуги глаза... Зачем под ним эта скомканная рогожка? Он вспомнил еще и то, что проспал вечернюю молитву, и кинулся, падая и опять поднимаясь, расстилать эту рогожку... Но до молитвы ли! Все мешается в его мозгу, он чувствует только одно — ужас и тоску. И вдруг начинает кричать Стамбулу, лунной ночи, что он один и погибает. Нет, этого не может быть! Сын жив, он должен быть жив, он должен вернуться!

Я взял его ледяную руку. Он отшатнулся, вырвал ее. И опять, не сладив с хмелем, тяжело упал задом на пятки. Неудержимо катившиеся слезы застилали его изумленные глаза, пьяный насморк затыкал дыхание.

— Юсуф! — крикнул он тупо и кратко, как человек, вынырнувший из воды.

И завопил, затрясшись от рыданий, захлебываясь и простирая руки к Стамбулу:

— Юсуф! Юсу-уф!

Неслась вода мимо борта. Золотое озеро за кормою меркло.

28. VI. 1911

СМЕРТЬ ПРОРОКА

Во имя бога милостивого, милосердого.

Вот рассказ о смерти пророка,— мир ему! — дабы утвердились сомневающиеся в необходимости покоряться Вожатому.

«Мы не видели и не видим его»,— говорят они. Но солнце не виновато, что глазам летучей мыши не дано зрения. Сердце человека ищет веры и защиты. Кто же прибегает к защите совы? Лучше мечтать о сени феникса, хотя бы феникс и не существовал в мире. Сень же творца существует от века.

Черноух следует за львом: лев знает, где добыча, а черноух питается остатками его трапезы. Так шли евреи за пророком из Египта. По милости божией, он совершил подвиг.

Он испытал сладость сна, пробуждения и ласки в детстве. Царская дочь качала его на своих темных и круглых руках, гладких, как змея, но теплых, как плод на солнце. Она радостно и пристально смотрела на него черными глазами и порывисто целовала, прижимая к холодным грудям; она притворно душила его, как делают это все девушки. Вспоминая подобное, не один восклицает в сердце: «Зачем не юношей был я тогда!» Но всему свое время.

Фараон дал ему перстень власти и одежды царедворца. Когда утренняя свежесть сменяется теплом солнца, когда на базаре поливают укроп, чтобы привлечь обоняние покупателя, когда пахнет из труб и туманом с большой реки, по которой медленно, в пару, идут высокие белые паруса, а редкобородый буйвол, сизый и шершавый, как свинья, тупо глядит на них из прибрежного ила,— пророк чувствуя силы и бодрость, ехал в колеснице надзирать за полевыми работами и мог по голове стегать бичом ленивых, кричать на них до красноты лица, чтобы сладко, в сознании исполненного долга, отдохнуть потом в легкой тени пальм, на сухой плотине между каналами.

Возмужав, он провел десять лет в супружестве. Он спал с женщиной богатой и дородной, он наслаждался ею ночью, а днем — своими распоряжениями и заботами, питьем и пищей, легкостью тела, любившего и сухой жар внутри двора, и прохладное веяние ветра по дому, приходившего с реки и от цветущих садов острова. Он гордился почетом людей. И был счастлив, как многие. Но незримая рука натягивала лук его жизни; она пробовала тетиву и древко, готовясь пускать стрелы истины. И еще десять лет провел он в работе ума и сердца, в молчаливом постижении мудрости Египта, ибо стене предшествует основание, а речи — мысль. И сказал о жрецах: «Глупцы! Рабам, страдающим от зноя, простительно воздевать руки к солнцу и призывать его, как бога. Но солнце — не бог. Бога никто не может видеть. Он непостижим. Его можно только чувствовать. Он один. У него нет детей». И тогда фараоном овладела ярость, как диким ослом, гуром. «Кто смеет жить и верить без моего соизволения? — воскликнул он.— У него нет драгоценных колец на пальцах, нет ожерелья на шее. Он мой раб. Вот я воздвигну гонение на него и на весь народ его. Я блесну, как молния, я оглушу, как гром». Пророк же напряг силы, как человек, стоящий перед крутым подъемом в гору, и пошел своим путем без страха и уверенно.

Мускус растирают, алоэ кладут на огонь, чтобы дали они запах. Водолаз не сорвал бы ни единой жемчужной раковины, если бы боялся задерживать дыхание, бросаясь в море. И когда настало время поднять самый тяжкий камень для здания, вскинуть его на колено, перехватить

покрепче и нести, пророк вскинул его до боли в паху. И сорок лет нес в пустыне, напряженный, изнемогающий и радостный сознанием, что творит волю бога, а не фараона. И, донеся куда нужно, куда указано Строителем, кинул камень ладно и плотно, и выпрямился, и отер пот с лица — рукой дрожащей, ослабевшей и ноющей до самого плеча.

И настало время умереть ему.

Он познал истинного бога. Он убедился, что безумно изображать его в виде идолов из камня, глины и металла. Бог возложил на него подвиг освобождения еврейского народа от рабства и соблазна идолопоклонства: и он порвал шелковые сети мира, восстал и одолел в борьбе. Бог послал ему испытание: сорок лет быть вождем строптивых и слабых, предводительствовать и поучать в голодной и знойной пустыне. И сорок лет был он властен, как царь, неутомим, как поденщик, обремененный детьми, нищ, как пастух, крепок и высок, как борец, силен и рыж, как лев. Тело его, лишь по чреслам препоясанное звериной шкурой, стало черным от солнца и ветра, а ступни грубы и мозолисты, как у верблюда. В старости он стал страшен для людей, и никто из них не думал, что он смертен. Но час его приблизился.

Вы, слушающие! В Книге написано: «Все зачаты в лоне истины,— это родители делают из детей евреев, христиан, огнепоклонников». Мудрый как слепой: он ощупывает палкой каждый камень, выбирая путь правый, он поднимает лицо кверху, тянется к единому источнику света и тепла. Он думает о жизни и о смерти, уменьшая страх свой перед нею. И было немало тех, что приняли чашу неизбежного спокойно; были и те, что говорили: она сладостна так же, как чаша жизни. Только глупец тянется к чаше смерти при жизни. Вид его противен. Но и тот глупец, кто не думает о неизбежном, кто забывает, что у всех смертных должен быть единый Возлюбленный, обладающий благостью и требующий покорности. Вы, слушающие! Слушайте внимательно, как всегда должен слушать человек человека, и, слушая, думайте. Ибо мы говорим, мешая чужие хорошие слова со своими порядочными, о том, что не чуждо ни единому из нас, и цель наша — утешение.

В Книге написано: «Мы к человеку ближе, чем его сонная жила». Бог милосерд. Он знает, что́ хорошо и что́ дурно для нас. Он сотворил нас смертными, мы же думаем противиться смерти. Напрасный труд! Слышали ли вы, чего стоило Искандеру Двурогому достигнуть Страны Мрака? Все же ему не удалось испить воды вечной жизни, о которой ему говорили: она в Стране Мрака. Ангел ветров не заботится о том, что от крыл его погаснет светильник бедной вдовы. Гонец смерти не внемлет ни мольбе пастуха, ни воплю владыки. Погоди: земля выест мозги из наших черепов, полных замыслов. Смерть не могол, и ты не Атабек-Абубекр: от нее не откупишься золотом.

Пророк воспротивился воле бога в пустыне; и за ослушание был наказан тяжко: бог запретил ему войти в землю обетованную. Пророк возмутился духом, когда вспомнил, что он смертен и что смерть уже близка к нему, ибо он был стар. Он сказал: «Я вступлю в единоборство с нею». В полдень, проходя по еврейскому стану в горах Моава, он не увидел на белых камнях возле себя своей тени. И затрепетал от страха, и помутилось в голове его, как у человека, сраженного лихорадкой. Тогда пошел он к шатру своему той поступью, какой идет раненый зверь на противника. И препоясался мечом и приказал подать пищи. И ел много и жадно, до пресыщения. И почувствовал боли и тошноту, как бы от яда, как бы от плода с адского древа Заккум, и позеленел в лице, покрылся по́том, как рождающая женщина, и лег на землю, крича дико: «Вот я умираю, обнажите мечи и встаньте на защиту мою!» Так кричал он первый день. На второй день боли усилились, и он стал молить, стеная и злобствуя: «Позовите врача ко мне!» Когда же врач обнаружил свое бессилие, и настал третий день, пророк сказал тихо: «О, пожалейте меня! Смерть непобедима!» И ослабел, и впал в сон, и спал весь день, и боли отступили от него. И, очнувшись, увидал, что уже ночь, и он один, и опять ощутил сладость жизни и печаль разлуки. Тогда вошли к нему два темных ангела, чтобы утешить и приготовить его.

Один сел в возглавии, другой — в ногах пророка. «Говори!» — сказали они. Но он молчал и не ответил им, думая. Он глядел в ночь, за приподнятую полу шатра, в страхе чувствуя их присутствие, ибо еще не вошла во

все жилы его истина. И было так тихо в шатре и в пустыне, что все трое слышали шорох горячего ветра, пробегавшего в темноте мимо. Звезды же горели сумрачно, как во все жаркие ночи.

«Бог милосерд к своим созданиям»,— сказал ангел, сидящий в головах пророка.

«Но вот человек страдающий: он умирал и умирает»,— сказал ангел, сидящий в ногах его.

Они хотели испытать пророка, но он понял это. И ответил, думая:

«Это не смерть, а болезнь, наказание. Не лучше ли так думать? Ибо испытавший смерть не может говорить о ней. Мы не знаем ее».

«Солнце — источник жизни»,— сказал ангел, сидящий в возглавии.

«Но оно же и смертельно, как рогатая гадюка»,— сказал ангел, сидящий напротив.

Они хотели испытать пророка, но он понял это. И ответил, думая:

«Мы не знаем цели бога. А он благ, и цель его — благая. Не лучше ли так думать? Каждое мгновение свое должен человек посвящать жизни, помня о смерти лишь затем, дабы взвешивать дела свои на весах ее и без страха встретить час неизбежный. Как бы знал торгующий, что он честен с покупателем, что он дает ему должное, если бы не было весов? Как бы провел свой день человек, если бы сердца его не покидало возмущение, что зайдет в свой час солнце, если бы овладело им желание не допустить этого? Был бы он безумен и бесплоден».

«Сон мертвых сладок»,— сказал ангел, сидящий в возглавии.

«Но вот умер в стане еврейском человек счастливый, молодой, любимый,— сказал ангел, сидящий напротив.— Ты послушай: вот шорох горячего ветра, пробегающего в темноте мимо, звезды горят сумрачно, и гиены плачут и скулят от злого счастья, торопливо разрывая могилу, принюхиваясь к зловонию и предвкушая пожирание внутренностей. Скорбь же близких умершего страшней самой могилы».

Они хотели испытать пророка и ранили сердце его. Но, думая, он сказал им:

«Я вспоминаю каждое мгновение моей жизни: сладкого детства, радостной молодости, трудового мужества — и оплакиваю их. Вы говорите о могиле,— и руки мои холодеют от страха. Прошу вас: не утешайте меня, ибо утешение лишает мужества. Прошу вас: не напоминайте мне о теле, ибо оно сгниет. Не лучше ли иначе думать? И стоянку, долину, защищенную от ветров, где провел человек хотя бы один день, покидает он с сожалением; но он должен идти, если идти необходимо. Говоря со страхом о могиле, не говорим ли мы словами древних, знавших тело и не знавших бога и бессмертия душ? Страшно величие дел божиих. Не принимаем ли мы этот страх за страх смерти? Чаще говорите себе: час ее не так страшен, как мы думаем. Иначе не мог бы существовать ни мир, ни человек».

«Он мудр»,— сказал ангел, сидящий в возглавии.

«Он был строптив и дерзок,— сказал ангел, сидящий напротив.— Он мечтал бороться с богом и вот снова будет наказан: ни единый смертный не укажет могилы его в горах Моава. И тем уменьшится слава его».

Они хотели испытать пророка, но он понял их и ответил им твердо:

«Благостна слава достойных славы; но должно быть уменьшено то, что заслужило уменьшения. Ибо и самого славного радует только истинная мера славы».

Тогда ангелы, пораженные его мудростью, воскликнули, вставая с мест:

«Воистину сам бог утешит тебя! Мы же поклоняемся тебе».

Они были темны и стояли в темном шатре. Но глаза их сияли, и пророк видел звездное сияние их глаз. Они отошли в ночь, как тени, чуть склонясь при выходе из шатра. Пророк же остался один среди ночи и пустыни, лежа на земле. И когда взошло солнце из-за каменистых гор, и стало светло и жарко в шатре, пророк, чувствуя великую жажду отдыха в прохладе, оставил свое ложе и пошел в долину среди гор, ища тени. Но и в долине уже не было ее. В недрах же одной горы была пещера. И вот два невольника острыми кирками осекают вход в пещеру. Камни у входа были белы, как снег горный, и горячи от солнца. И черные волосы медноликих невольников и по-

вязки вокруг чресл их были мокры от пота. Но два свежих плода, два яблока лежало на камне возле пещеры, а в пещере были мрак и прохлада. И сказали работавшие, опуская кирки:

«Приветствуем тебя, господин и вождь, во имя бога милостивого, милосердого. Вот мы кончили свой труд».

И пророк спросил их:

«Кто вы и что вы делали?»

Они же ответили ему:

«Мы готовили для царя кладохранительницу. Войди, взгляни и отдохни от пути и зноя. Уста свои освежи плодами и скажи нам: какой слаще из них?»

И, войдя в пещеру, пророк сел на каменное ложе у стены ее и почувствовал тень и прохладу. И, откусив первого плода, сказал:

«Воистину это сама жизнь: я пью ключевую воду, я обоняю благоухание полевых цветов и чувствую вкус осиного меда. Я бодр и силен».

И, откусив второго, воскликнул:

«Воистину это ни с чем несравнимо: я пью вина райские, запечатанные печатью из мускуса, смешанные с водой источника, утоляющего жажду тех, что приближаются к Вечному. Я обоняю аромат Сада небесного и чувствую вкус меда из цветов его: в этом меде нет горечи. И вот, сон блаженный туманит мне голову. Не будите меня, невольники, доколе не исполнится мой срок».

И невольники,— это были невольники божии,— стали тихо продолжать затихающую речь его:

«Доколе,— сказал первый, читая суру о Великой Вести,— доколе солнце не будет согнуто, не падут с неба звезды, не сдвинутся с места горы, не будут покинуты верблюдицы, не соберутся в стаи дикие звери, не закипят моря...»

«Я Син,— сказал второй, читая суру Отходную.— Слава царствующему надо всем миром! Вы все возвратитесь к нему...»

И, слушая невольников, их тихое, мерное чтение, пророк возлег на ложе и опочил сном смерти, не ведая того. И они закрыли вход в могильную пещеру и отошли к господину, посылавшему их. И приложился пророк к народу своему, насыщенный днями и не заметив конца своих

дней. Никто, даже доныне, не созерцал его могилы в горах Моава. Но мудрость его запечатлена в памяти всех народов и записана на небесах в книге вечной — Гилльюн.

Шейх Саади,— да будет благословенно его имя! — шейх Саади,— много его жемчужин нанизали мы рядом со своими на нитку хорошего слога! — рассказал нам о человеке, испытавшем сладость приближения к Возлюбленному. Человек этот был погружен в созерцание; когда же очнулся он, спросили его с ласковой усмешкой: «Где же цветы из сада мечты твоей?» И человек ответил: «Я хотел набрать для друзей моих целую полу роз; но, когда я приблизился к розовому кусту, так опьянил меня аромат его, что я выпустил ее из рук».

Кто может, тот свяжет рассказ поэта с нашим.

Мир и радость всем живущим!

Капри. 1911

СНЕЖНЫЙ БЫК

В час ночи, зимней, деревенской, до кабинета доносится из дальних комнат жалобный детский плач. Дом, усадьба, село — все давно спит. Не спит только Хрущев. Он сидит читает, порою останавливает усталые глаза на огнях свечей: — Как все прекрасно! Даже этот голубой стеарин!

Огни, их золотисто-блестящие острия с прозрачными ярко-синими основаниями, слегка дрожат,— и слепит глянцевитый лист большой французской книги. Хрущев подносит к свече руку,— становятся прозрачными пальцы, розовеют края ладони. Он, как в детстве, засматривается на нежную, ярко-алую жидкость, которой светится и сквозит против огня его собственная жизнь.

Плач раздается громче,— жалобный, умоляющий.

Хрущев встает и идет в детскую. Он проходит темную гостиную,— чуть мерцают в ней подвески люстры, зеркало,— проходит темную диванную, темную залу, видит за окнами лунную ночь, ели палисадника и бледно-белые пласты, тяжело лежащие на их черно-зеленых, длинных и мохнатых лапах. Дверь в детскую отворена, лунный свет стоит там тончайшим дымом. В широкое окно без занавесок просто, мирно глядит снежный озаренный двор. Голубовато белеют детские постели. В одной спит Арсик.

Спят на полу деревянные кони, спит на спине, закатив свои круглые стеклянные глаза беловолосая кукла, спят коробки, которые так заботливо собирает Коля. Он тоже спит, но во сне поднялся в своей постельке, сел и заплакал горько, беспомощно,— маленький, худенький, большеголовый...

— В чем дело, дорогой мой? — шепчет Хрущев, садясь на край постельки, вытирая платком личико ребенка и обнимая его щупленькое тельце, что так трогательно чувствуется сквозь рубашечку своими косточками, грудкой и бьющимся сердечком.

Он берет его на колени, покачивает, осторожно целует. Ребенок прижимается к нему, дергается от всхлипываний и понемногу затихает... Что это будит его вот уже третью ночь?

Луна заходит за легкую белую зыбь, лунный свет, бледнея, тает, меркнет — и через мгновение опять растет, ширится. Опять загораются подоконники, косые золотые квадраты на полу. Хрущев переводит взгляд с пола, с подоконника на раму, видит светлый двор — и вспоминает: вот оно что, опять забыли сломать это белое чудище, что дети сбили из снега, поставили среди двора, против окна своей комнаты! Днем Коля боязливо радуется на него,— это человекоподобный обрубок с бычьей рогатой головой и короткими растопыренными руками,— ночью, чувствуя сквозь сон его страшное присутствие, вдруг, даже не проснувшись, заливается горькими слезами. Да снегур и впрямь страшен ночью, особенно если глядеть на него издали, сквозь стекла: рога поблескивают, от головы, от растопыренных рук падает на яркий снег черная тень. Но попробуй-ка сломать его! Дети будут реветь с утра до вечера, хотя он все равно уже тает понемногу: скоро весна, мокнут и дымятся в полдень соломенные крыши...

Хрущев осторожно кладет ребенка на подушку, крестит его и на цыпочках выходит. В прихожей он надевает оленью шапку, оленью куртку, застегивается, поднимая черную узкую бороду. Потом отворяет тяжелую дверь в сени, идет по скрипучей тропинке за угол дома. Луна, не высоко стоящая над редким садом, что сквозит на белых сугробах, ясна, но по-мартовски бледна. Раковинки легкой облачной зыби тянутся кое-где по небосклону. Тихо мер-

цают в глубокой прозрачной синеве между ними редкие голубые звезды. Молодой снежок чуть запорошил крепкий, старый. От бани в саду, стеклянно блещущей крышей, бежит гончая Заливка. «Здравствуй,— говорит ей Хрущев.— Мы одни с тобой не спим. Жалко спать, коротка жизнь, поздно начинаешь понимать, как хороша она...»

Он подходит к снегуру и медлит минуту. Потом решительно, с удовольствием ударяет в него ногою. Летят рога, рассыпается белыми комьями бычья голова... Еще один удар,— и остается только куча снега. Озаренный луной, Хрущев стоит над нею и, засунув руки в карманы куртки, глядит на блещущую крышу. Он наклоняет к плечу свое бледное лицо с черной бородой, свою оленью шапку, стараясь уловить и запомнить оттенок блеска. Потом поворачивается и медленно идет по тропинке от дома к скотному двору. Двигается у ног его, по снегу, косая тень. Дойдя до сугробов, он пробирается между ними к воротам. Ворота отзынуты. Он заглядывает в щель, откуда резко тянет северным ветром. Он с нежностью думает о Коле, думает о том, что в жизни все трогательно, все полно смысла, все значительно. И глядит во двор. Холодно, но уютно там. Под навесами сумрак. Сереют передки телег, засыпанные снегом. Над двором — синее, в редких крупных звездах небо. Половина двора в тени, половина озарена. И старые, косматые белые лошади, дремлющие в этом свете, кажутся зелеными.

29. VI. 1911

ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК

Рано чувствуется осень, ее спокойствие. Начало августа, а похоже на сентябрь, когда жарко лишь в затишье, на припеке.

Учитель Иваницкий, человек молодой, но необыкновенно серьезный, глубоко задумывающийся по самому малейшему поводу, медленно поднимается на пологую гору, прогоном через усадьбу князей Козельских. Заложив одну руку за широкий пояс, которым подпоясана его длинная чесучовая рубаха, а другой пощипывая кончики редких белесых усов, учитель горбит свой истяжной стан и щурит зоркие зеленоватые глаза.

Направо — большой сад за соломенным валом; налево — старая кузня, развалины псарни, пустые сушилки из розовых кирпичей, а между ними — проезд на бесконечное и тоже пустое гумно. В саду, уже поредевшем, тишина, косой солнечный блеск; кое-где золотится паутина; спокойно лежат пятна теней под яблонями; порой с коротким стуком падает в шелковистую, сухую траву спелое яблоко. Дерновая вогнутая крыша кузни вся в наростах мха, бархатно-изумрудных, с коричневым отливом. Раскрытые сушилки тяжелы, грубы, очертаниями своими говорят о чем-то давнишнем. И все это,— мох на кузне, псарня, заросшая лопухами, голые стропила над розовыми

стенами,— все так чудесно на ясном голубом небе среди белых круглых облаков. На огромном пустыре гумна воробьи ливнем пересыпаются с одной крапивной чащи на другую. За этими чащами поднимается порозовевший осинник... Учитель идет к Соловьевым, еще раз хочет повидаться с их дедом Таганком. Древен он, как говорят в Козельщине: ему сто восемь, он знаменитость.

За усадьбой учитель поворачивает налево, в ту широкую улицу, что пролегает между валом гумна и старыми избами бывших княжеских крепостных. Конец ее как бы упирается в небосклон — чуть зеленоватый, сентябрьский. Сентябрь и в верхушках лозин, кое-где растущих перед избами и сквозящих мелкой, желтеющей листвой на белых облаках и лазури; сентябрь в золотистом солнечном свете и в прозрачной тени, падающей от изб на улицу, на водовозки, прикрытые пегими попонами и армяками... Учитель идет и косится на избы, на их окошечки и крыльца.

Окошечки крохотные, темные. Крыльца, пороги обросли грязью. Да не лучше и возле них. В крепкой, как чугун, засохшей грязи, в которую вросли тряпки, сгнившие лапти, лежат большие камни, на которых летом обедают и ужинают. Дети кричат, перекликаются, лазят по ним. Много детей в Козельщине, и как сопливы они, в каких болячках их щеки и губы!

— Как тебя зовут? — спрашивает учитель толстого голубоглазого мальчика под лозинкой у двора Фоминых.

Мальчик молчит. Учитель повторяет вопрос. Мальчик пятится к лозинке, поднимает грудь, надувается так, что багровеет, и молчит.

Озабоченно бродят куры, раздирают лапами золу, землю, клюют что-то, кудахтают, приманивая цыплят. У двора Климовых спит под водовозкой старуха. Тень от избы скосилась, передвинулась, солнце падает на водовозку, печет лицо, так густо облепленное мухами, точно на нем черный рой привился, печет худой кострец, голые ноги, блестящие от загара. Мальчик в штанах с помочами и шерстяных красных чулках носится среди цыплят, бегающих и на бегу клюющих по земле и по ногам старухи мух, и все норовит затоптать хоть одного из них; цыплята с писком рассыпаются, и он останавливается, выжи-

дает, когда они соберутся в кучку, а как только соберутся, опять со всех ног летит на них.

Соловьевы разделились. Таганок живет у Глеба. Но учитель идет сперва к двору его другого внука, плотника Григория. Григорий стоит на прогалине между избою и погребом, в проходе на гумна, посреди квадрата из трех ярусов новых, телесного цвета бревен: рубит себе амбаришко. На нем городской картуз, еще не мытая ситцевая рубаха, вздутая розовым измятым пузырем, штаны из чертовой кожи и сапоги: Соловьевы — первые жители в Козельщине. Увидав гостя, он легонько и ловко всекает в бревно блеснувший на солнце топор. Здороваются, садятся на сруб, закуривают.

— К Таганку? — спрашивает Григорий.

— К нему. Давно не видал...

— Что ж, дело хорошее. Пройдите, проведайте. Он это любит.

— А как он? Дряхлеет?

— Нет, скрипит еще помаленьку. А, конечно, не наше с вами дело: ведь сто восемь. Да и житье, конечно, не сладкое.

— А что?

— Да что, надо правду говорить: голодом они его морят, вот главная вещь.

— Все сноха?

— Известно, она. Да я так думаю, всему причина брат Иглеб. Его допущение. Он должóн защищать, кому же больше? Сам-то Таганок, вы знаете, какой: за всю жизнь цыпленка не обидел.

— Серьезно, морят?

— Еще как серьезно-то! У них вон шесть пудов одной ветчины висит,— поверите, ребрышка никогда не дадут. Сами, как праздник, за чай, а он чашечки попросить боится. Ничтожности жалеют...

— Нда-а,— задумчиво говорит учитель.

Сипят кузнечики в бурьяне на припеке. Все сохнет, роняет черные зерна: крапива, белена, репьи, подсвекольник. Баба, в красной юбке, в белой рубахе, стоит в чаще конопляников выше ее ростом, берет замашки. За коноплянниками сереют риги, желтеют новые скирды.

— Нда-а,— говорит учитель, едко затягиваясь.— Скирды-то ваши?

— Нынешний год дал господь,— скромно, боясь сглазить, отвечает Григорий.

— А чашки чаю жалеют,— ухмыляется учитель.— Что он, и теперь еще хорошо помнит все?

— На удивление прямо! Все помнит: что когда сделать по дому, что, например, прибрать, купить, где что дешевле,— все первый скажет. Насчет корму, например, разумней его человека нету...

Проходят к Таганку задами. За двором Григория несколько колодок пчел. Учитель гнется, боится их, а Григорий смеется, уверяет, что пчелы чистого человека не трогают. Тут чуть тянет холодком с севера, под солнцем пыльно и сытно пахнут конопляники. Против конопляников приделано к каменной стене варка нечто вроде шалаша, сбитого из кольев и обшитого замашками. Это и есть летнее жилище знаменитого человека.

— Де-ед? — окликает учитель, отворяя дверку.

Никто не отзывается — в шалаше пусто. Верно, Таганок в избе. И Григорий уходит искать его. А гость спешит осмотреть шалаш. Все то же. И все так же трогательно. Чтобы не надоедать снохе своим присутствием, сократиться насколько возможно, перебирается сюда Таганок чуть не с великого поста. Гнилые розвальни без оглоблей, покрытые соломой, служат ему постелью. На соломе нет даже попонки. В изголовье, вместо подушки,— свернутый рваный чекмень, и по цвету видно, что чекменю этому полвека. У изголовья — столик из дощечки и кольев; на дощечке — подобие шкатулки, а в ней все добро, все хозяйство Таганка: моток ниток, варежки, тавлинка из бересты с нюхательным табаком... Боже мой, боже мой! Драгоценнейшим даром, даром сказочного долголетия одарила судьба своего избранника! А к чему он тут, этот дар?

У шалаша лежит большой обрубок, корень дуба. На нем дед отдыхает, греется,— обрубок отшлифован полушубком. Учитель садится и ждет. Когда же за углом слышатся шаркающие шаги, поднимается, чтобы уступить Таганку привычное место. Таганок показывается из-за угла,— невысокий, с опущенными плечами,— и подвигается нелов-

ко, вразвалку, опадая с одной ноги на другую. Ноги толсто опутаны онучами, в больших лаптях. Полушубок, почти голый с исподу,— вытерлась овчина,— стал широк, полы его висят. Большая шапка надета глубоко, немного криво. Увидав гостя, Таганок стаскивает ее обеими руками, как ребенок, кланяется низко. Длинные волосы, уцелевшие вокруг его темного черепа, белы и легки, как ковыль. Легка, бела и косая борода его. Выцветшие, налитые слезами глаза ничего не выражают, кроме не то покорности, не то грусти.

— Здорово, дедушка,— говорит учитель, садясь на землю.— Как поживаешь? Надевай шапку-то...

Таганок колеблется. Он, одолев больше века, невольно и сам считает себя особенным человеком. Но заслужил ли он наконец право быть при господах в шапке, этого он еще не знает. Поколебавшись, обеими руками надевает ее.

— Садись на обрубок-то, тебе покойнее будет...

Таганок, помедлив, садится; поправляет полы, складывает на коленях черные руки и что-то думает.

— Энтих уж нету,— говорит он медленно и так, точно разговаривает не с учителем, а с кем-то другим.— Энтих уж нету, что покоили-то...

— В старину лучше было? — спрашивает учитель.

— Гм! — слабо улыбается Таганок.— В два раза лучше было...

Все старики играют, притворяются чересчур старыми. Таганок не играет. Он нечеловечески прост. Учитель, как всегда, не спускает с него глаз; его волнуют странные мысли: подумать только — при Таганке прошел один из самых замечательных веков! Сколько было за этот век переворотов, открытий, войн, революций, сколько жило, славилось и умерло великих людей! А он даже малейшего понятия не имел никогда обо всем этом. Целых сто лет видел он только вот эти конопляники да думал о корме для скотины! И сидит он так смиренно, так неподвижно. Опустил плечи, сложил на худых коленях черные, спеченные столетием руки, перекрестил искривленные работой и простудой пальцы, а мухи ползают по ним, сучат ножками. Белый мотылек спокойно, как на дереве, замер на его детски худой и черной шее, окаймленной воротом серой рубахи. Шапка надвинута глубоко; из-под шапки видны

концы редких, длинных, зеленовато-белых бровей, устало приподнятых. Нижнее веко левого глаза немного разорвано и оттянуто книзу; этот глаз, полный слезою, совсем безжизнен. В правом — слабая мысль, слабая жизнь, чуждая всему нашему миру. Он, этот столетний человек, еще слышит, видит, разумно толкует с внуками о хозяйстве, помнит все, что нужно нынче или завтра сделать по дому, знает, где что лежит, что требует поправки, присмотра... И все же весь он в забытьи, в мире своих далеких воспоминаний. Что же это за воспоминания? Часто охватывает страх и боль, что вот-вот разобьет смерть этот драгоценный сосуд огромного прошлого. Хочется поглубже заглянуть в этот сосуд, узнать все его тайны, сокровища. Но он пуст, пуст! Мысли, воспоминания Таганка так поразительно просты, так несложны, что порою теряешься: человек ли перед тобою? Он разумный, милый, добрый. Следовало бы с благодарностью поцеловать его руку за то, что́ явил он нам, воплотив в себе редкое благословение неба. Но — человек ли он?

Говорит Таганок очень медленно, но не путаясь; выражает мысли с трудом, но точно. Он знает, что, волею судьбы, возложена на него обязанность толковать с гостями прежде всего о старине. И сам спешит дать повод к расспросам.

— Тепло,— говорит он, поводя плечом, что пригрето опускающимся солнцем.— Кровь-то моя уж холодеет... Студился, бывало, часто... А все отчего? В старину ведь в извозы ходили...

Учитель начинает расспрашивать его. И опять, опять слышит только давным-давно знакомое. Был дед два раза у хохлов, за Воронежем; был два раза в Москве, раз пять в Калуге; и много, много раз в Белеве...

— Что же? — спрашивает учитель, домогаясь обобщений.— Нравились тебе хохлы?

— Хохлы-то? — отвечает Таганок.— Ничего...

И, уже покончив с общим, переходит к частному:

— Мы туда под сретенье поехали... У меня тогда четыре лошади было... Прокорми-ка их!.. Ну, поехали туда порожняком... Оттуда пшеницу наклали... Доправили все честь-честью, стали барыши считать... Ан только себя самих да лошадей оправдали...

— А француза помнишь?

Таганок думает.

— Француза-то? — спокойно говорит он.— Это какой в Москву приходил? Нет, не помню...

— А Москва при тебе велика, хороша была?

— Большая... Приедем, бывало, в нее... Поставят нас на Болоте в ряд... Мы и стоим... Как хлаг спустят, может, значит, купец, какой купил чтó, подойтить, взять свой товар... Ну, подойдет, глянет и отправит его: либо на Воробьиные горы, либо еще куда...

Учитель нервно курит, хмурится: нет, ничего путного не выходит из его расспросов!

Он щиплет концы усов, собирается с мыслями, стараясь представить себе невозможное,— картину одной из самых долгих человеческих жизней, картину целого столетия; он силится войти в душу и тело этого необыкновенного человека — и никак не может примириться с тем, что говорит необыкновенный человек очень обыкновенно, даже чересчур обыкновенно, рассказывает же только пустяки. «Систематически надо, систематически,— думает учитель,— с самого начала надо начать...» Но краткие, трогательные и пустяковые ответы Таганка сбивают с толку, вызывают беспокойство, лишают охоты расспрашивать. «Рано ты начал помнить себя?» — «А бог его знает, не знаю... Ведь мы,— слабо улыбается дед,— народ темный, в лесу живем, пням молимся... Допрежь тут везде леса были...» — «Какие леса?» — «А всякие. Дуб, например, сосна... Разбойники водились...» — «Разбойники? Ты историю какую-нибудь о них помнишь?» — «Нет, истории, слава богу, никакой не было...» — «Ну, а село какое было? Меньше теперешнего?» — «Все такая же... Церковь только на старом кладбище стояла, а не возле училища... Я четырех попов пережил...» Но каковы были эти попы, похожи ли на теперешних, этого Таганок не умеет рассказать. Но, может быть, он хорошо помнит господ, князей Козельских, и о них расскажет что-нибудь путное? — Помнить-то помнит... Но узнаёт учитель только то, что было три генерала: Семен Милыч, Мил Семеныч и Григорий Милыч; что господа они были хорошие, что особенно «лихим» нравом отличался Мил Семеныч...

— Тебя пороли? — спрашивает учитель.

— Нет, бог не привел,— отвечает Таганок.— Одновá только. Да еще раз в шею дал мне Мил Семеныч... На постройке... Я бревно не тое ухватил... Вот продавать — продавали... Возили... Осерчал барин на нас, на ребят... Ну, и отправил одинцать голов... В энтот, в Белев-то... Ну, привезли нас на базар, постановили друг с дружкой... Подшел бурмистр селезневский... Мы было дюже оробели, да не сошлось что-й-то дело... А за меня хорошо — полтораста пять давали...

Солнце уже скрылось за далеким полем; гуще и свежее пахнут конопляники в вечерней тени, роса пала на огороды. Почти черное, гробовое лицо Таганка стало еще безжизненнее, глаза совсем остекленели. Ему холодно, он кутается в полушубок, оправляет полы, глубже надвигает шапку и засовывает руки в рукава.

— Покойник Семен Милыч был крут! А помер он, заступил его место Мил Семеныч,— стало и совсем никуда... Молили мужики, чтобы ему бог смерти дал... А я, бывало, скажу: «Напрасно вы его сбываете. Не сбывайте,— хуже будет...» Так оно и вышло... Да...

Таганок отдыхает; потом опять заводит медленную речь:

— Да... А как помер Мил Семеныч, привезли гроб в засмоленном рундуке... Скрозь рундук дрянь, кровь пролила... Нехорошо помер, без болезни, тело не выболело... Как, значит, кому назначено...

Учитель с трудом дослушивает этот тяжкий рассказ и поднимается.

— Ну, прощай, до свидания, дед,— говорит он.— Дай бог тебе еще пожить.

Таганок кротко поднимает брови.

— Пожить-то? — отвечает он.— Да ведь и так уж сто с восьмеркой...

И, помолчав, опускает голову.

— Но ведь хочется небось?

— А бог ее знает...

— Но позволь, ты-то сам как чувствуешь?

— Да что ж чуствовать? Тут чуствовать нечего... Чуствуй, не чуствуй...

— Позволь: ну, а если бы тебе, например, предложили пять лет прожить или год,— чтó ты выбрал?

Таганок слабо улыбается, глядя в землю:

— А господь ее знает...

И учитель тупо, долго глядит на него. Потом решительно пожимает его твердую ледяную руку и уходит.

Он уходит за деревню, в поле, и долго шагает в полутьме по мягкой пыльной дороге.

Возвращается уже в сумерки. Не спеша идет по улице. Огней нет, избы темны и тихи. Все спят. Пахнет жильем — как-то особенно, тепло, по-ночному. Сухо трюкают осторожные сверчки. Вот опять изба Глеба. Она вымазана известкой, слабо белеет. Стекла ее сини от вечера, в них еще слабо отражается небо. Внизу, по земле, реет какой-то еле заметный отсвет, отчего изба и полушубок кого-то сидящего на голыше возле нее странно выделяются. Кто это? Неужели Таганок?

— Дедушка, еще здравствуй,— негромко говорит учитель, очень тронутый видом этого одинокого, чужого всему миру человека, пережившего и всех сверстников своих и всех детей их.

— Кто это? — тихо откликается Таганок.

— Да я, учитель... Что же ты не спишь?

Таганок думает. Отвечает он теперь еще медленнее:

— Да какой наш сон... Древен я... А ночь эта — как медведь идет она на меня...

«Это не ночь, а смерть»,— думает учитель; и, помолчав, спрашивает:

— Ну, а как же? Пожил бы еще?

Тихо. Трюкают сверчки. На порог избы вышла дымчатая кошка, сбежала на землю — и стала невидима. Слабо белеет борода Таганка. Темного, гробового лица его не видно. Жив ли он?

Жив. Долго спустя он отзывается:

— Пожил бы... И пять годов одолел бы еще... Да за пять-то годов...

Он, видно, вспоминает сноху, свой шалаш, свою беспризорность, беспомощность.

И легонько вздыхает:

— За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы.

8. VII. 1911

СИЛА

Шел осенний, мглистый дождь в сумерках.

Прижав уши, стояла на барском дворе, в грязи возле людской, донская кобыла, темная от дождя, худая, будылястая, с тонкой длинной шеей, с обвислым задом, с подвязанным хвостом, запряженная в тележку, плетеный кузов которой был очень мал по тяжелым дрогам и крепко ошинованным колесам.

Мещанин Буравчик, приехавший в этой тележке к старосте, не заставший его дома и сидевший в людской за кубастым самоварчиком красной меди, был человек старенький, ростом с мальчика. Череп его был гол и желт. Над ушами и по затылку курчавились остатки черных жестких волос. Курчавилась и бородка его. Мокрые усы, прокопченные табачным дымом, лезли в добрый, беззубый рот. На темном морщинистом личике, под сдвинутыми бровями, живо и весело блестели кофейные глазки. Он и хмурился и вместе улыбался, тянул с блюдца горячую воду, сося кусочек сахару, и все шарил по впалой груди, ощупывая карманы ветхого длиннополого сюртука, порыжевшего на лопатках.

Горела над столом висячая лампочка.

Буравчик поглядывал на нее,— она коптила,— и без умолку говорил. А беременная старостиха, сидевшая на

нарах у печки и за веревку ногой качавшая люльку, закрытую ситцевым пологом, похожую на маленький шатер, рассеянно слушала, думая свое и заводя глаза от дремоты.

— Вот они распарятся, я их и подберу,— говорил Буравчик и схлебывал с блюдца, указывая на стакан, набитый разбухшими кусками кренделей.— Распарятся, тогда и съем. А так нет, не угрызу. Нечем.

И Буравчик, засмеявшись, полез сухим, бурым от окурков пальцем в рот.

— О! Ишь! — сказал он с удовольствием.— Ни аноо не аалось,— сказал он, желая сказать: «ни одного не осталось», и водя пальцем по голой розовой десне.

— По какой же такой притчине? — равнодушно спросила старостиха, с трудом поднимая веки и думая о том, что этот веселый старичок в обтертых сапожках и линючей розовой косоворотке пережил двух жен, вырастил шестерых сыновей, купил барское имение под городом, а прежних повадок все не кидает — живет побирушкой, торгует на селе в лавчонке, конокрадствует и, говорят, вот-вот опять должен в острог садиться.

Буравчик зорко глянул на старостиху, на ее большое сонное лицо.

— По какой притчине-то? — ответил он, вытирая палец о борт сюртука.— А совсем не по той, что ты думаешь. А совсем не по той. На меня несут, брешут, как на мертвого, ну, а хоть бы и правда была, так не родился еще тот человек, сударыня, какой смел бы коснуться меня. Не-ет, бог миловал! Меня голой рукой не возьмешь! У меня вон шесть сынов-бугаев, озорней их, чертей, во всем селе нету, а ты глянь, как я их вышколил: взгляду моего боятся! Пересолишь — хлебать не станешь,— прибавил он ни с того ни с сего одну из тех прибауток, связь которых с предыдущей речью очень часто оставалась совершенно непонятна его собеседникам.— Зуб же я своих лишился потому, что дюже болели они у меня, а добрые люди возьми да и научи купоросу в роту подержать. Ты вот послушай, какую антимонию расскажу я тебе про эти самые зубы. Муженек твой, без сомнения, застрял где-й-то, давай его, дружка милого, ждать да беседовать от скуки...

— Обещался к вечеру быть,— сказала старостиха.— Да, вишь, грязь-то какая.

— А мы его подождем,— ответил Буравчик и, поставив блюдце на стол, полез в боковой карман за кисетом с махоркой.— А мы его подождем. Да. История же эта самая такого рода была...

И не спеша, с удовольствием стал рассказывать. Череп его блестел от пота, брови хмурились, глаза блестели, выражая старческое довольство жизнью. «Беспременно сынки его дельце какое-нибудь нынче в ночь обработают,— думала старостиха.— Для того он и из дому уехал». А Буравчик, свертывая цигарку, рассказывал:

— Сила не в зубах, сударыня моя. Зубаст кобель, да прост. Опять же и не в медведе сила. У нас на Руси силу в пазухе носи... Да ты вот лучше послушай. В некотором царстве, не в нашем государстве, ехали мы раз, сударыня, с возами своими по белевской по большой дороге. А нужно тебе заметить, что мы тогда с братом Егором коробошниками были, кампанировали с ним по этой части да денежки плутовством наживали, откровенно же сказать — прямо муку мученическую терпели от этих от самых дождей и холодов. Вот и тут тоже подобное случилось: едем мы, едем, а дождь, господь с ним, как зарядил с утра, да так до вечеру и остался. Холит нас да холит, будто за хорошую цену нанялся, и до того добил, искоренил, что повернули мы, не долго думая, в лес какой-то встречный, к караулке. Надуваемся, ползем, ломим целиком, а по лесу, понимаешь, как мга какая от дождя синеет, а от лошадей альни дым валит: накаталось на колёса грязи этой самой с листьями — чертям невпроворот! Подъезжаем, наконец того...

Буравчик хлебнул с блюдца и остановился. Послышалось шлепанье лаптей по мокрой соломе в сенцах. Кто-то подошел к двери и стал шарить, ища скобки.

— Кажись, он? — спросила старостиха, прислушиваясь.

Прислушался и Буравчик. Дверь чмокнула, распахнулась, открыла на мгновение черную темноту, и вошел не староста, а работник Александр, большой мужик лет пятидесяти, лысый, бородатый, с ясными серыми глазами и нежным цветом крупного лица, в полушубке и чистой замашной рубахе. И опять зорко блеснули глаза Буравчика.

— А я насчет твоей лошади зашел,— сказал Але-

ксандр, чему-то улыбаясь и садясь на лавку.— Прибрать ее, ай нет?

Буравчик подумал.

— Да нет, погоди,— ответил он с притворной беспечностью.— Я еще, может, поеду. Я ведь этих дождей нисколько не боюсь. Мы, брат, люди русские, травленые...

— Дело твое,— сказал Александр и поглядел в сторону.— Я, признаться, и шел-то больше за тем, чтоб на тебя поглядеть: какой-такой, мол, Буравчик этот бытует? Давно слышу: Буравчик, Буравчик... А что за Буравчик,— неизвестно. Дай, думаю, гляну.

— Наслышан, значит, обо мне? — спросил Буравчик.— Ну что ж, гляди. Меня уж давно так кличут. У меня их две, фамилии-то: одна, значит, улишная, а другая журнальная. А ты кто же такой? На работника не похож что-й-то.

— И то не похож,— сказал Александр.— Это меня нуждишка заставила батраком-то на старости лет быть. Я панютинский, у нас село богатое. Я и сам хорошо жил, хозяином. Да такая оказия: третий раз горю дотла! Справлюсь-справлюсь, придет лето, хлебушко уберу... ну, думаю, слава тебе, господи... Ан нет: опять сумку надевай! Просто хоть удавись,— прибавил он с застенчивой улыбкой.— Двое ребятишек сгорело...

— Да что ты? — с притворным участием и даже ужасом воскликнул Буравчик.— Это не мед,— сказал он, качая головой.— Это не мед. Избавь бог.

И, помолчав, опять обратился к старостихе:

— Да, так вот я и говорю: заехали мы в лес, подъезжаем к караулке. Становим лошадей во двор, всходим в избу, самовар требуем. А лесник, надо тебе заметить, оказывается, вдовец, старик древний, да такой, что я и отродясь не видывал: просто орутан какой-то! Брат Егор даже испугался маленько. Глянул на меня, да и говорит мне по фарам, чтобы, значит, не понял нас лесник: «Брафарат, афара вефередь эферетофоро звеферерь. Офорон мофорожеферет уфурубифирить нафарас». То есть, по-русски сказать так: «Брат, а ведь это зверь. Он может убить нас...» А на зверя лесник, и правда, похож: рубаха ниже колен, лыком подпоясана, на ногах лаптищи, руки длин-

ные, вроде корней дубовых... Дикий, одно слово, человек и силы, видать, неописанной.

— Этот орутан в зверильнице живет,— вставил Александр.— Видел я его в городе.

— Он самый, он самый,— подтвердил Буравчик.— Да его и по избам большое число попадается... Да... И все, знаешь, гнется, кряхтит, в земь смотрит...

— А виски, небось, серые, невпрочес, как у кобеля хорошего,— опять вставил Александр.

— И то правильно,— сказал Буравчик.— Ты догадлив живешь, сударушка. Ну, только против дикого, как говорится, и сам дик да хитер будь. Мужик тебя ра́лом, а ты его жалом... Да. Обращаемся к леснику: «Чайку с нами милости просим».— «Можно, говорит, спасибо». И опять этак сумрачно, а главная вещь — шамкает. Сел за стол, налили мы ему чаю,— в корец, понятно, а не в чашечку какую-нибудь,— а он и давай, вот не хуже моего, скорки хлебныя крошить да в чаю их распаривать. Что́, думаем, за чудеса такие? «Дед, говорим, да ай у тебя зуб-то нету? Фигура у тебя знаменитая, а зуб нету: что, мол, за притча такая?» А он, понявши, без сомнения, такие слова, и совсем голову угнул. Молчал-молчал, да и выложил нам, дуракам, свое назидание.

— Стравил тоже чем-нибудь, зубы-то? — из вежливости спросила старостиха.

Буравчик закурил, закашлялся и ответил веселой скороговоркой:

— Да нет, в том и басня вся, что не стравил. За грех поплатился, за гордость. Ты вот послушай.

И опять перешел на размеренный тон:

— Он, понимаешь, лесник-то этот, так прямо и сказал нам: назидание мое, говорит, в том самом есть, что окоротил меня господь за грех тяжкий, за глупость мою. И вот каюсь я теперь, ребята, и конному и пешему. Видите, какия дисни-то у меня? О, гляньте,— сказал Буравчик, представляя лесника, и опять запустил в рот палец,— ни одного не осталось. А почему не осталось,— человека я хотел убить, на силу свою глупую понадеялся. Зашел ко мне, ребята, годов семьдесят тому назад солдат один из Польши: шел домой в отпуск несрочный и ночевать, значит, попросился. И было, вот как перед истинным

богом, росту в том солдате не боле двух аршин, а силы — и на двух вшей не хватит...

— На взгляд-то, значит,— сказал Александр, чтобы показать, что он понимает, к чему клонил лесник в своем назидании.— На первый взгляд, то есть... Вот вроде как у тебя,— прибавил он насмешливо и дружелюбно.

— Во, во, в аккурат! — подхватил Буравчик, блеснув в его сторону глазами.— Совсем коростовый, глядеться... И зачни, понимаешь, деньгами перед лесником хвастать. «Сел, говорит, за стол, похлебал моей похлебочки, закурил трубочку, снял ранец с себя — и давай деньги из него таскать, пересчитывать. А денег этих самых у него — прямо туча́: все сотельныя одне, и все в стопки, в кирпичи складены и оборочками хрест-нахрест перевязаны. «Да это еще что! — говорит.— У меня, говорит, еще гаман за гашником спрятан, полный золотом». И как, значит, глянул я на этакое богачество, потемнело у меня в глазах от жадности, отнялись мои ручки, ноженьки,— аж штаны ходуном заходили. Посчитал деньги солдат, попихал их в ранец свой и баст: «Что ж, пора и на печь, дядюшка!» А я в ответ ему мычу только да зубами стукаю, зубы же мои в ту пору таковы были, что мог я ими очень даже просто доску столовую перешибить. Ну, завалился, без сомнения, солдат мой на печь, потушил я лучину, нашарил топор-колун под лавкою, лег и жду, а сам думаю: тюкну, мол, обухом разок, и капут ему, суслику!»

— Ан суслик-то умнее нас вышел,— вставил Александр, показывая, что он уже предугадал и развязку притчи.

— «Долго ли, коротко ли,— продолжал Буравчик,— только слышу — успокоился солдат. Ну, думаю, слава тебе, господи, во сне-то ему легче помирать будет, он и сам небось кого-нибудь сонного пришиб,— больше неоткуда было ему такую уйму денег накопить. Подкрался с обухом своим к печке,— а в обухе том весу, никак, боле пуда было,— стал покрепче на приступку, повернул колун тылом, нащупал голову стриженую, размахнулся — раз!.. Мать честна́я! Только мокро, мол, останется!.. И что ж вы, ребятушки, думаете?»

Буравчик остановился и вытаращил глаза, держа блюдце на отлете.

— «Что ж вы думаете? — говорит лесник.— Очнулся солдат, потянул в себя носом и покойненько этак кличет меня: «Хозяин, а хозяин. Что-й-то у тебя тут делается! Либо у тебя прусаки водятся? Мне сейчас здо-оровый прусак на голову упал...» А хорош прусак, колун-то мой? Я прямо обомлел от этих слов, свалился с приступки, прижукнулся — и ни вздоху, ни пыху! Зачал, однакося, опять ждать своего...»

— Этот солдат, значит, слово знал такое,— сказала старостиха и, скрестив руки под грудями, перестала мотать ногой.

Александр, насмешливо и ласково улыбаясь, только розоволысой головой покачал. А Буравчик вскочил с места, торопливо поправил коптившую лампочку, опять сел и крикнул, открывая беззубый рот, с детскою гордостью и радостью:

— Ха! Слово! Слово слову розь, а тут не иначе, как кочетиное слово было! Слушай, что дальше-то будет, чай, примечай, куда чайки летят. Лесник мой не унялся, опять полез на печь. «Нащупал я, говорит, темя солдатово, обернул востряком колун и ухнул со всей силы-возможности. Ухнул и жду, а солдат приподнялся, да как захо-хо-о-чет! «Ну, говорит, хозяин, видно, у тебя не выспишься. У тебя, говорит, черти, без сомнения, водятся: видно, подложили плотники щетины под матицу и развели у тебя этих самых чертей видимо-невидимо. Сейчас один меня ровно прутом каким по лбу жиганул. Аж засвирбело...» Что тут делать? Отполз я от печи, а солдат поднялся и, слышу, обувается. «Хозяин, а хозяин, говорит, скоро свет, мне пора итить, проводи меня из лесу». Ну, думаю, и того лучше: угомоню его в лесу, мне же выгодней,— избу поганить не надо. Вскочил, будто спросонья: «А? Что? Проводить? Ладно, мол, идем...» Надеваю армяк, трясусь с ног до головы, никак в рукав не попаду, а сам за дубинку ловлюсь: стояла у меня в уголке на ту пору ха-а-рошая орясина, пудиков трех весом. А солдат умывается и — хохочет! Берет в рот воду из махоточки, льет из рота на руки, нагинается, моет лицо и хохочет... Чисто черт какой! Вышли, наконец того, пошли... Мне бы, дураку, давно пора понять, что никак не возьмет сила моя супротив ума солдатова, а я пру да пру, на затылок его стриже-

вый гляжу. Он передом, в ранце своем телячьем, сам меньше ранца, я — за ним, по пятам, вроде медведя какого. Стало, вижу, белеть вверху, дождь редеть да редеть, прояснилось в лесу. Дождался я спуску в ложок, приподнял свой корешок да и пустил с навесу по затылку солдатову. А солдат...»

Буравчик быстро взглянул на свесившуюся голову старостихи и уставился радостно-блестящими глазами в Александра:

— «А солдат клюнул этак носом, шапку подхватил, поправил, обернулся, будто удивился очень, да и говорит этак строго да внятно: «А-а, говорит, вот какой домовой-то в избе у тебя завелся! Понима-аю! Видно, надо поучить его маленько...» Поставил тихим манером ружьецо свое берданское к сосне, засучил рукава... «Ну-ка разинь рот»,— говорит. А я уж и дубинку уронил от ужасти и ничего не смыслю. Однако разеваю. «Да нет, говорит, ты пошире, пошире, стыдиться тут нечего!» Разеваю, сколько есть моей силы. Берет тогда солдат меня за зуб пальцами, давит его, как клещами залезными, и вынимает вон из рота, в горсть себе кладет. Вынимает опосля того и другой тем же побытом, вынимает и третий, вынимает четвертый...»

Остановились и у Александра его ясные глаза. А Буравчик, насладившись его ожиданием, уперся руками в колени, лихо расставил локти и отчетливо, раздельно стал доканчивать:

— «Выбрал он мне, без сомнения, зубы до единого, вынул лычко из карманчика: «Держи подол»,— говорит. Я держу, подставляю. Положил солдат в подол цельную горсть моих зуб, завернул, закатал и так-то аккуратненько завязал, закрутил его лычком. «Это, говорит, мужичок-серячок, на память тебе, а это на помин души моей...» И вынимает, подает мне сотельный билет!»

— Это не плохо,— с улыбкой мотнул головой Александр.

Буравчик залился смехом.

— Дай бог всякому! — воскликнул он.— Да ведь знаешь, сладок мед, а не по две ложки в рот. Деньги-то он приобрел, а зуб лишился. «Я, говорит, деньги-то беру, а сказать ничего не могу: хочу слово сказать, да с непри-

вычки только челюсью ворочаю. А-а, а-а,— только и всего. Хочу сказать: солдатушка...»

Буравчик, смеясь, поднял брови, сделал жалкое лицо:

— «Хочу сказать,— смеясь и почти плача, закричал он тонким голосом,— хочу сказать: солдатушка, а выходит: саатушка...»

Стягивая с блюдца воду и куски кренделей, он еще долго крутил головой, морщился, смеялся и повторял последние слова. Старостиха, сложив руки, крепко спала. Лампочка коптила, прусаки, пользуясь сумраком, бегали по старым бревенчатым стенам. На черных стеклах блестели капли дождя.

— Побаску твою понимаю,— сказал наконец Александр.

— Сила, значит, не в медведе,— пояснил Буравчик.

— Не иначе,— подтвердил Александр.— Был и у нас случа́й подобный. Я сам очевидец был. Будет этому, дай бог не солгать, лет небось пятнадцать тому назад. Был у нас в Панютине малый — дурак, звали его Бурлыга. Потому не мог он чисто сказать: тоже двух зубов на переде не хватало,— кобыла вышибла. Все, бывало: бур, бур. За то и Бурлыгой прозвали. Малый, говорю, был дурак, картавый, а вот, не хуже твоего лесника, рослый, здоровый, чистый палач. Потому его внешность дозволяла. Так вот, случись у нас в селе ярманка. Собрались его товарищи по пьяному виду, сидят на выгоне. Конечно, тут и водка, и всякая закуска при них. Зашел разговор, как вот у нас с тобой, про силу, а он, конечно, пьяный,— бывает, тверезый того не сказал бы, а тут: бур, бур, я, говорит, никого не боюсь, и бога никакого нету...

— Ну, уж это-то сдуру,— рассеянно сказал Буравчик, вздыхая после смеха, завертывая новую цигарку и думая о чем-то.— Это уж сдуру.

— Понятно, сдуру,— подтвердил Александр.— Подивились все ему. Мол, не снесешь ты, малый, своей головы! А он поднялся, пошел в народ, увидал свою кралю, сделал ей любовный знак. Подходит она к нему. Зачал он при ей еще пуще куражиться. Глаза помутил, полушубок размахнул, усы мокрые косицами в щербину лезут. Видит — сидит какой-то старичок на телеге, лопатами торгует, а в телеге лежит, связан большой белый баран, тоже, зна-

чит, продается. Лобик, поясника краской фуксином помечены. Рога здоровые, хвост толстый. А сам старичок легонький, как пух, в сером халатику, в белом колпачке из про́стой холстины и в чуньках покойницких. Сидит на грядке, закусывает калачиком. А малый-то мой сдуру куражится, ломается, лезет на него...

— Своей беды не чует,— вставил Буравчик в лад Александру, тем же тоном, каким и Александр вставлял замечания в его рассказ.

— Да, беды своей не чует,— повторил Александр.— «Сейчас, говорит, пойду, всю его амуницию расшибу и барану хвост отломлю». Любовница его мазаная, конечно, тоже уродничает, притворяется, упрашивает его. А он-то качается, ломается, будто пьян дюже! «Прошу тибе, не трожь ты мине, а то я хуже наделаю. Против силы моей, говорит, богатыря во всей державе не на́йдется». Подходит, значит, к старичку. «Бур, бур, дай, говорит, калачика мне». Старичок вынимает из телеги калач свежий, подает, а малый Бурлыга берет, а сам прицеливается барана сгресть, хвост ему зачать ломать. А старичок поглядел этак скромненько, слез с грядки, лопату поднял, да как размахнется, да как ахнет... Норовил-то по малому, а попал мерину по боку — аж по всей ярманке отозвалось! Мерин с ног долой, порядочно лопат переломал, ухнул, дохнул, да и каюк,— красная вода носом пошла. Тут, конечно, народ бежит, а старичок зашел за народ — да потуда его и видели. Как в воду канул. Мерин завалился, лежит, а баран сидит в телеге и на Бурлыгу лупится...

— Ну, а старик-то,— рассеянно перебил Буравчик,— он-то куда ж мог пропасть?

Александр подумал.

— А шат его знает,— сказал он.— Значит, слово такое знал. Значит, тоже прикоснулся он сатане... вот не хуже солдата твоего, либо тебя.

— Меня? — с притворным удивлением крикнул Буравчик, и глаза его блеснули довольством.— Ай ты очумел? Я-то тут при чем?

— Будя толковать-то! — сказал Александр ласково и грустно.— Авось слыхали про тебя. Ты, брат, тоже мал, да удал. Тоже хорош... Живучее всякой кошки али, скажем, козюли. Ты ее ралом, она тебя жалом... Ну, ты сам

посуди: что ты предо мной? Я тебя могу двумя щептями задавить. А куда ж мне, дураку, справиться с тобой? Ты захочешь — кровинки во мне не оставишь, дотла всего высосешь. Я, к примеру, могу две полнивы за день взодрать... Да и взодрал-таки на своем веку, дай бог всякому. А чего добился? Один хрест на шее, только и всего. А ты вот тысячами ворочаешь... Нет, как можно! — сказал он с непонятным восхищением.— Я твоего ногтя не стóю!

Буравчик молчал, загадочно и довольно улыбаясь. Что-то думая, он наклонил самовар и стал нацеживать последнюю чашку.

16. VIII. 1911

ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ

Моя жизнь хорошая была, я, чего мне желалось, всего добилась. Я вот и недвижным имуществом владаю,— старичок-то мой прямо же после свадьбы дом под меня подписал,— и лошадей, и двух коров держу, и торговлю мы имеем. Понятно, не магазин какой-нибудь, а просто лавочку, да по нашей слободе сойдет. Я всегда удачлива была, ну только и характер у меня настойчивый.

Насчет занятия всякого меня еще батенька заучил. Он хоть и вдовый был, запойный, а, не хуже меня, ужасный умный, дельный и бессердечный. Как вышла, значит, воля, он и говорит мне:

— Ну, девка, теперь я сам себе голова, давай деньги наживать. Наживем, переедем в город, купим дом на себе, отдам я тебя замуж за отличного господина, буду царевать. А у своих господ нам нечего сидеть, не стоют они того.

Господа-то наши, и правда, хоть добрые, а бедные-пребедные были, просто сказать — побирушки. Мы и переехали от них в другое село, а дом, скотину и какое было заведение продали. Переехали под самый город, сняли капусту у барыни Мещериной. Она фрелиной при царском дворце была, нехорошая, рябáя, в девках поседела вся, никто замуж не взял, ну и жила себе на спокое. Сняли

мы, значит, у ней луга, сели, честь честью, в салаш. Стыдь, осень, а нам и горя мало. Сидим, ждем хороших барышей и не чуем беды. А беда-то и вот она, да еще какая беда-то! Дело наше уж к развязке близилось, вдруг — скандал ужасный. Напились мы чаю утром,— праздник был,— я и стою так-то возле салаша, гляжу, как по лугу народ от церкви идет. А батенька по капусте пошел. День светлый такой, хоть и ветреный, я и загляделась, и не вижу, как подходят вдруг ко мне двое мужчин: один священник, высокий этакий, в серой рясе, с палкой, лицо все темное, землистое, грива, как у лошади хорошей, так по ветру и раздымается, а другой — простой мужик, его работник. Подходят к самому салашу. Я оробела, поклонилась и говорю:

— Здравствуйте, батюшка. Благодарим вас, что проведать нас вздумали.

А он, вижу, злой, пасмурный, на меня и не смотрит, стоит, калмышки палкой разбивает.

— А где,— говорит,— твой отец?

— Они,— говорю,— по капусте пошли. Я, мол, если угодно, покликать их могу. Да вон они и сами идут.

— Ну, так скажи ему, чтоб забирал он все свое добришко вместе с самоварчиком этим паршивым и увольнялся отсюда. Нынче мой караульщик сюда придет.

— Как,— говорю,— караульщик? Да мы уж и деньги, девяносто рублей, барыне отдали. Что вы, батюшка? (Я, хоть и молода, а уж продувная была.) Ай вы,— говорю,— смеетесь? Вы,— говорю,— бумагу нам должны предъявить.

— Не разговаривать,— кричит.— Барыня в город переезжает, я у нее луга эти купил, и земля эта теперь моя собственная.

А сам махает, бьет палкой в землю,— того гляди в морду заедет.

Увидал эту историю батенька, бежит к нам,— он у нас ужасный горячий был,— подбегает и спрашивает:

— Что за шум такой? Что вы, батюшка, на нее кричите, а сами не знаете, чего? Вы не можете палкой махать, а должны откровенно объяснить, по какому такому праву капуста вашей сделалась? Мы, мол, люди бедные, мы до суда дойдем. Вы,— говорит,— духовное лицо,

вражду не можете иметь, за это вашему брату к святым дарам нельзя касаться.

Батенька-то, выходит, и слова дерзкого ему не сказал, а он, хоть и пастырь, а злой был, как самый обыкновенный серый мужик, и как, значит, услыхал такие слова, так и побелел весь, слова не может сказать, альни ноги под рясой трясутся. Как завизжит, да как кинется на батеньку, чтобы, значит, по голове палкой его огреть! А батенька увернулся, схватился за палку, вырвал ее у него из рук вон, да об коленку себе — раз! Тот было — на грудь, а батенька пересадил ее пополам, отшвырнул куда подале и кричит:

— Не подходите, за ради бога, ваше священство! Вы,— кричит,— черный, жуковатый, а я еще жуковатей!

Да и схвати его за руки!

Суд да дело, сослали батеньку за это за самое, за духовное лицо, на поселенье. Осталась я одна на всем белом свете и думаю себе: что ж мне делать теперь? Видно, правдой не проживешь, надо, видно, с оглядочкой. Подумала годок, пожила у тетки, вижу,— деться мне некуды, надо замуж поскорей. Был у батеньки приятель хороший в городе, шорник,— он и посватался. Не сказать, чтоб из видных жених, да все-таки выгодный. Нравился мне, правда, один человек, крепко нравился, да тоже бедный, не хуже меня, сам по чужим людям жил, а этот все-таки сам себе хозяин. Приданого за мной копейки не было, а тут, вижу, берут без ничего, как такой случай упустить? Подумала, подумала и пошла, хоть, конечно, знала, что был он пожилой, пьяница, всегда разгоряченный человек, просто сказать — разбойник... Вышла и стала, значит, уж не девка простая, а Настасья Семеновна Жохова, городская мещанка... Понятно, лестно казалось.

С этим мужем я девять лет мучилась. Одно званье, что мещане, а бедность такая, что хоть и мужикам впору! Опять же дрязги, скандалы каждый божий день. Ну, да пожалел меня господь, прибрал его. Дети от него помирали все, остались только два мальчика, один Ваня, по девятому году, другой младенец на руках. Ужасный веселый, здоровый был мальчик, десяти месяцев стал ходить, разговаривать,— все они у меня, дети-то, на одиннадцатом месяцу начинали ходить и говорить,— сам стал чай

пить, уцопится, бывало, обоими ручонками за блюдцо, не выдерешь никак... Ну только и этот мальчик помер, году еще не было. Пришла я раз с речки домой, а мужнина сестра,— мы с ней квартеру-то снимали,— и говорит:

— Твой Костя нынче цельный день кричал, закатывался. Я уж перед ним и так и этак, и руками, и в щелчки, и сладкой воды давала — давится, да и только, и вода через нос назад идет. Либо он остудился, либо съел чего, ведь они, дети-то, всё в рот тащут, разве углядишь?

Я так и обомлела. Кинулась к люльке, отмахнула положок, а уж он томиться стал: даже и кричать не может. Сбегала сестра за фельшером знакомым, пришел он,— чем вы, говорит, его кормили?

— Ел, мол, кашу манную, только и всего.

— А ничем не играл?

— Так точно, играл,— говорит сестра.— Тут все колечко медное с хомута валялось, он и играл им.

— Ну,— говорит фельшер,— обязательно он его проглотил. Чтоб у вас руки,— говорит,— отсохли! Натворили вы делов, ведь он помрет у вас!

Понятно, по его и вышло. Двух часов не прошло — кончился. Повинтовали мы, повинтовали, да делать нечего,— видно, против бога не пойдешь. Так и этого похоронила, остался один Ваня. Остался один, да ведь, как говорится, и один — господин. Невелик человек, а все не меньше взрослого съест, сопьет. Стала я ходить к воинскому полковнику Никулину полы мыть. Люди они были с капиталом хорошим, квартеру снимали, тридцать рублей помесячно платили. Сами в верхнем этажу, внизу кухня. Стряпуха у них была совсем безответная, а распутная. Ну, и забеременела, понятно. Полы мыть нагинаться нельзя, чугуна из печки не вытащит... Ушла она рожать, а я и захвати ее место: так-то ловко к хозяевам подкатилась. Я ведь, правда, смолоду ловкая и хитрая была, за что, бывало, ни возьмусь, сделаю все чисто, аккуратно, любого официанта засушу, опять же и угодить умела: что ни скажут господа, а я все «да-с» да «так точно» да «истинная ваша правда...» Встану, бывало, чуть лунно, полы подотру, печку истоплю, самовар расчищу,— господа пока проснутся, а уж у меня все готово. Ну, и сама я, понятно, была чистоплотная, ладная, из себя, хоть и сухая, а

красивая. Мне ину пору даже жалко, бывало, себя станет: за что, мол, красота моя и звание на этакой черной работе пропадают?

Думаю себе — надо случа́ем пользоваться. А случай та́кой, что сам полковник ужасный здоровый был и видеть меня покойно не мог, а полковничиха у него была немка, толстая, больная, старе его годов на десять. Он не хорош, грузный, коротконогий, на кабана похож, а она того хуже. Вижу, стал он за мной ухаживать, в кухне у меня сидеть, курить меня заучать. Как жена со двора, он и вот он. Прогонит денщика в город, будто по делу, и сидит. Надоел мне до смерти, а, понятно, прикидываюсь: и смеюсь, и ногой сижу-мотаю,— всячески, значит, разжигаю его... Ведь что ж поделаешь, бедность, а тут, как говорится, хоть шерсти клок, и то дай сюда. Раз как-то в царский день всходит в кухню во всем своем мундире, в эполетах, подпоясан этим своим белым поясом, как обручем, в руках перчатки лайковые, шею надул, застегнул, альни синий стал, весь духами пахнет, глаза блестят, усы черные, толстые... Всходит и говорит:

— Я сейчас с барыней в собор иду, обмахни мне сапоги, а то пыль дюже — не успел по двору пройтись, запылился весь.

Поставил ногу в лаковом сапоге на скамейку, чисто тумбу какую, я нагнулась, хотела обтереть, а он схватил меня за шею, платок даже сдернул, потом затиснул за грудь и уж за печку тащит. Я туда, сюда, никак не выдерусь от него, а он так жаром и обдает, так кровью и наливается, старается, значит, одолеть меня, поймать за лицо и поцеловать.

— Что вы,— говорю,— делаете! Барыня идет, уйдите за ради Христа!

— Если,— говорит,— полюбишь меня, я для тебя ничего не пожалею!

— Как же, мол, знаем мы эти посулы!

— С места не сойтить, умереть мне без покаяния!

Ну, понятно, и прочее тому подобное. А, по совести сказать, что я тогда смыслила? Очень просто могла польститься на его слова, да, слава богу, не вышло его дело. Зажал он меня опять как-то не вовремя, я вырвалась, вся растрепанная, разозлилась до смерти, а она, барыня-то, и

вот она: идет сверху, наряженная, вся желтая, толстая, как покойница, стонет, шуршит по лестнице платьем. Я вырвалась, стою без платка, а она и вот она — прямо к нам. Он мимо нее да драло, а я стою, как дура, не знаю, что делать. Постояла она, постояла против меня, подержала шелковый подол,— как сейчас помню, в гости нарядилась, в коричневом шелковом платье была, в митенках белых, с зонтиком и в шляпке маленькой, вроде корзиночка,— постояла, застонала и вышла. Выговаривать, правда, ни ему, ни мне ни слова не стала. А как уехал полковник в Киев, она и прогнала меня.

Собрала я свое добришко и вернулась к сестре (Ваня-то у сестры жил). Сошла с этого места и опять думаю: пропадает задаром мой ум, ничего я не могу себе нажить, прилично замуж выйти и свое собственное дело иметь, обидел меня бог! Запрягусь, думаю, сызнова и уж жива не буду, а добьюсь своего, будет у меня свой капитал! Подумала, подумала так-то, отдала Ваню в ученье к портному, а сама в горничные, к купцу Самохвалову определилась, да и отдежурила цельных семь лет... С того и поднялась.

Жалованья положили мне два с четвертаком. Прислуги две — я да девушка Вера. Один день я за столом, она посуду моет, другой я посуду мою, она к столу подает. Семейство не сказать, чтоб большое: хозяин Матвей Иваныч, хозяйка Любовь Иванна, две взрослых дочери, два сына. Сам хозяин человек был серьезный, неразговорчивый, в будни никогда и дома не бывал, а как праздник, сидит у себя наверху, читает всякие газеты и сигару курит, а хозяйка простая, добрая, тоже, как я, из мещанок. Дочерей своих, Аню и Клашу, они скоро просватали и две свадьбы в один год сыграли,— выдали за военных. Тут-то, правду сказать, и начала я копить маленько: уж очень много на чай военные давали. Сделаешь просто даже безделицу какую-нибудь — спички когда так-то подашь, шинель с калошами,— глядишь, двадцать копеек, тридцать... Да и хаживали мы чисто, нравились военным. Вера, та, правда, из себя все что-й-то строила, барышню какую-то,— ходит мелкими шажками, нежна и обидчива до крайности, сейчас, чуть что, брови свои пушистые сдвинет, губы как вишни, задрожат и уж слезы на ресницах,— хороши,

правда, ресницы были, большие, я таких ни у кого не видывала! — ну, а я-то поумней была. Я, бывало, надену лиф гладкий, с прошивками, рукава короткие, на голову косу накладную с черным бантом бархатным, белый передник подкрахмаленный — так на меня даже взглянуть интересно. Вера, та все в корсет затягивалась,— затянется мочи нет как туго, и сейчас же голова у ней до рвоты разболится,— а я никогда и не знала этого корсета, и так ладная была... А сошли военные, стали сыновья хозяйские давать.

Старшóму-то уж годов двадцать сровнялось, как я на место заступила, а меньшому четырнадцатый пошел. Этот мальчик был сидяка убогий. Все руки, ноги себе переломал, я и то сколько разов видела это дело. Как сломает, приходит к нему сейчас доктор, всякой ватой, марлей забинтует, потом зальет чем-то вроде как известка, известка эта самая с марлей засохнет, станет как лубок, а как поживет, доктор и разрежет, все долой снимет,— рука-то, глядь, и срослась. Ходить он сам не мог, а полозил на заде. Бывало, и через пороги, и по лестницам — так и жжет. Даже через весь двор в сад проползал. Голова у него была большая, на отцову похожа, виски грубые, рыжие, как шерсть собачья, лицо широкое, старое. Потому как ел он страсть сколько: и колбасу, и бомбы шоколадные, и крендели, и слоенки — чего только его душа захочет. А ножки, ручки тонкие, как овечьи, все переломаны, в рубцах. Водили его долго без ничего, рубахи шили длинные. Грамоте учительница из духовного училища учила, на дом к нам ходила. Здóрово занимался, умная был голова! А уж как на гармонье играл — где тебе и хорошему так-то сыграть! Играет и подпевает. Голос сильный, пронзительный. Бывало, как подымет, подымет: «Я монах, красив собою!..» Эту песню часто певал.

Старший сын был здоровый, а тоже вроде дурачка, ни к каким делам не способен. Отдавали его в ученье во всякие училища — везде выгоняли, ничему не выучили. Как ночь, зальется куда-нибудь — и до самой зари. Матери все-таки боялся и через парадный ни за что, бывало, не пойдет. Я вечером отделаюсь и жду,— как хозяева заснут, прокрадусь по горницам, растворю окно в его кабинетике, а сама опять на свое место. Он сапоги на улице снимет,

пролезет в окно в одних чулках — и ни стуку, ни хрупу. На другой день встал,— как нигде и не был, а мне в невидном месте и сунет, что следует. Мне-то что ж, какая забота, беру с великой радостью! Сломит себе голову — его дело... А тут и от меньшого, от Никанор Матвеича, пошел доход.

Добивалась я тогда своего прямо день и ночь. Как забрала себе в голову одно обстоятельство, чтобы беспременно обеспечить себя, так и укрепилась в этой жизни. Каждую копеечку, бывало, берегу: деньги-то, оне с крылушками, только выпусти из рук! Сжила Веру эту самую — да она, по совести сказать, и без надобности была, я так и хозяевам сказала: я, мол, и одна справлюсь, вы лучше прибавьте мне какую ни на есть безделицу — осталáсь одна и ворочаю. Жалованье не стала на руки брать: как нарастет рублей двадцать, двадцать пять, сейчас прошу хозяйку в банк съездить, на мое имя положить. Платье, башмаки — все хозяйское шло, куда ж мне тратить? А тут еще, на счастье мое, на его беду, влюбился в меня, прости господи, убогий этот...

Теперь-то, понятно, часто думается: может, за него-то и наказал меня господь сынком! Иной раз из головы не идет,— я вот сейчас расскажу, что он над собой сделал,— да ведь надо понять, что уж очень обидно было: гляну, бывало, на него, головастого, и такая-то досада возьмет! «Чтоб тебе, мол, подеялось, в рубашке ты родился! Вот ведь и калека, а в каком богатстве живет. А мой и хорош, да в праздник того не съест, не сопьет, что ты в будни, пóходя!» Стала я замечать — похоже, влюбился он в меня: ну, прямо глаз с моего лица не сводит. Он уж тогда лет шестнадцати был и шаровары стал носить, рубашку подпоясывать, усы красные стали пробиваться. А нехороший, конопатый, зеленоглазый — избавь бог. Лицо широкое, а худищий, как кость. Сперва-то он, видно, тó в голову себе забрал, что понравиться может,— зачал прифранчиваться, подсолнухи покупать и так-то лихо, бывало, на гармонье заливается,— заслушаешься. Хорошо, правда, играл. Потом видит, что дело его не выходит,— притих, задумчивый стал. Раз стою на галерее, вижу — ползет с новой немецкой гармоньей по двору,— опять подбрился, причесался, рубаху синюю с косым высоким воротом надел,

в три пуговицы,— голову запрокинул, меня, значит, ищет. Поглядел, поглядел, глаза томные, мутные сделал — и-и залился под польку:

Пойдем, пойдем поскорее
С тобой польку танцевать,
В танцах я могу смелее
Про любовь свою сказать...

А я, будто и не заметила,— как шваркну из полоскательницы! Шваркнула, да и сама не рада, очень испугалась: будет, мол, мне теперь на орехи! А он ползет, бьется наверх по лестнице, обтирается одной рукой, другой гармонью тащит, глаза опустил, весь побелел и говорит этак скромно, с дрожью:

— Чтоб у вас руки отсохли. Грех вам за это будет, Настя.

И только всего... Правда, смирный был.

Худел он это время ну прямо не по дням, а по часам, и уж доктор сказал, что не жилец он на белом свете, обязан от чахотки помереть. Я гребовала, бывало, и прикоснуться к нему. Да, видно, гребовать бедному человеку не приходится, деньгами все можно сделать, вот он и стал подкупать меня. Как, бывало, позаснут все после обеда, он сейчас и зовет меня к себе — либо в сад, либо в горницу свою. (Он отдельно ото всех, внизу жил, горница большая, теплая, а скучная, все окна во двор, потолки низкие, шпалеры старые, коричневые.)

— Ты,— говорит,— посиди со мною, я тебе за это деньжонок дам. Мне от тебя ничего не надо, просто я влюбился в тебя и хочу посидеть с тобой: меня одного стены съели.

Ну, я возьму и посижу. И набрала таким манером с полсотни. Да жалованья у меня лежало с прóцентами сотни четыре. Значит, думаю себе, пора мне теперь понемножку вылезать из хомута. А все жалко было — хотелось еще годок-другой перегодить, еще покопить маленько, главная же вещь — проговорился он мне, что у него задушевная копилка есть, рублей двести по мелочам от матери набрал: понятно, болен часто, лежит один в постели, ну, мать и сует для забавы. А я нет-нет, да и подумаю: прости, господи, мое согрешение, лучше бы он мне эти деньги отдал! Ему все равно без надобности, вот-вот

помрет, а я могу на весь век справиться. Выжидаю только, как бы поумней дело это сделать. Стала, понятно, поласковее с ним, стала чаще сидеть. Войду, бывало, в его горницу, да еще нарочно оглянусь, будто крадучись вошла, дверь притворю и заговорю шепотком:

— Ну вот, мол, я и отделалась, давайте сидеть парочкой.

Значит, делаю вид, вроде как будто у нас свидание назначено, а я будто и робею, и рада, что отделалась, могу теперь побыть с ним. Потом стала скучной, задумчивой прикидываться. А он-то добивается:

— Насть, что ты такая грустная сделалась?

— Так, мол,— мало ли у меня горя!

Да еще вздохну, примолкну и нá руку щекой обопрусь.

— Да в чем,— говорит,— дело-то?

— Мало ли, мол, делов у бедных людей, да какая кому печаль об них? Я даже этим разговором и наскучать вам не хочу.

Ну, он вскорости и догадался. Умный, говорю, был, хоть бы здоровому впору. Раз пришла к нему,— дело, как сейчас помню, на средокрестной было, погода этакая сумрачная, мокрая, туман стоит, в доме все спят после обеда,— я вошла к нему с работой в руках,— шила себе что-й-то,— села возле постели и только это хотела было вздохнуть, опять скучной прикинуться и зачать его полегоньку на ум наводить, он и заговори сам. Лежит, как сейчас вижу, в рубашке розовой, новой, еще не мытой, в шароварах синих, в новых сапожках с лакированными голенищами, ножки крест-накрест сложил и смотрит искоса. Рукава широкие, шаровары того шире, а ножки, ручки — как спички, голова тяжелая, большая, а сам маленький,— даже смотреть нехорошо. Глянешь — думается, мальчик, а лицо старое, хоть и моложавое будто — от бритья-то,— и усы густые. (Он почесть каждый божий день брился, так, бывало, и пробивает борода, все руки конопатые и то все в волосах рыжих.) Лежит, говорю, причесался на бочок, отвернулся к стенке, шпалеры ковыряет и вдруг говорит:

— Насть!

Я даже дрогнула вся.

— Что вы, Никанор Матвеич?

А у самой так сердце и подкатилось.

— Ты знаешь, где моя копилка лежит?

— Нет,— говорю,— я этого, Никанор Матвеич, не могу знать. Я плохого против вас никогда в уме не держала.

— Встань, отодвинь нижний ящик в гардеропе, возьми старую гармонью, она в ней лежит. Дай мне ее сюда.

— Да зачем она вам?

— Так. Хочу деньги посчитать.

Я слазила в ящик, крышку на гармонье открыла, а там в мехах слон жестяной забит, порядочно тяжелый, чувствую. Вынула, подаю. Он взял, погремел, положил подле,— чистый, ей-богу, ребенок! — и задумался об чем-то. Молчал, молчал, усмехнулся и говорит:

— Я, Настьь, нынче сон один счастливый видел, даже досвету проснулся от него, и очень хорошо мне было весь день до обеда. Глянь-ка, я даже прифрантился для тебя.

— Да вы, мол, Никанор Матвеич, и всегда чисто ходите.

А сама даже не понимаю, что́ говорю, до того разволновалась.

— Ну,— говорит,— ходить-то мне, видно, уж на том свете придется. Уж какой я красавец на том свете буду,— ты даже представить себе того не можешь!

Мне даже жалко его стало.

— Над этим,— говорю,— грех смеяться, Никанор Матвеич, и к чему вы это говорите, я даже понять не могу. Может,— говорю,— господь даст, поздоровеете еще. Вы лучше мне скажите, какой такой сон видели?

Он было опять обиняками стал говорить, стал посмеиваться,— какой я, мол, житель! — стал ни к селу ни к городу про нашу корову толковать,— скажи ты, говорит, за-ради бога мамаше, чтоб продала она ее, мочи моей нету, надоела она мне, лежу на кровати и все смотрю через двор на сарайчик, где она помещается, и она все смотрит в решетку на меня обратно,— а сам все деньгами погромыхивает и в глаза не смотрит. А я слушаю и тоже половины не понимаю,— чисто помешанные какие, несем, что попало, и с Дону и с моря,— наконец того, не вытерпела,— ведь вот-вот, думаю, проснутся все, самовар потребуют, и пропало тогда все мое дело! — и поскорее перебиваю его, на хитрости пускаюсь:

— Да нет,— говорю,— вы лучше скажите, какой сон вы видели? *Про нас что-нибудь?*

Хотела, понятно, приятное ему сказать и так-то ловко попала. Взял он вдруг эту копилку, вынул ключик из шаровар, хочет отпереть — и никак не может, никак в дырку не попадет, до того руки трясутся,— наконец того, отпирает, высыпает ее себе на живот,— как сейчас помню, две серии и восемь золотых,— сгреб их в руку и вдруг говорит шепотом:

— Можешь ты меня один раз поцеловать?

У меня руки, ноги и отнялись от страху, а он-то с ума сходит, шепчет, тянется:

— Настечка, только раз! Бог свидетель тебе,— никогда больше не попрошу!

Я оглянулась — ну, думаю, была не была! — и поцеловала его. Так он даже задохнулся весь,— ухватил меня за шею, поймал губы и с минуту небось не пускал. Потом сунул все деньги в руку мне — и к стенке:

— Иди,— говорит.

Я выскочила и прямо в свою горницу. Заперла деньги на замок, схватила лимон и давай губы тереть. До того терла, альни побелели все. Очень, правда, боялась, что пристанет от него ко мне чахотка...

Ну, хорошо,— это дело, значит, слава богу, вышло, начинаю другое обделывать, поглавнее, из-за какого я и билась-то пуще всего. Чую — быть скандалу, боюсь, не будут меня с места пускать, начнет, думаю, приставать теперь с любовью, мужевать меня из-за этих денег... Нет, смотрю, ничего. Лезть не лезет, обходится по-прежнему, аккуратно, будто ничего и не было промеж нас, даже думается, еще скромнее, и в горницу не зовет: держит, значит, слово. Подвожу тогда хозяевам разговор,— мол, пора мне об сыну позаботиться маленько, ослободиться на время. Хозяева и слышать не хотят. А уж про него и говорить нечего. Намекнула ему раз, так он прямо побелел весь. Отвернулся к стенке и говорит этак с усмешечкой:

— Ты,— говорит,— не имеешь права этого сделать. Ты меня завлекла, приучила к себе. Ты должна подождать — я помру скоро. А уйдешь — я удавлюсь.

Хорош скромник оказался? Ах, думаю, бессовестные твои глаза! Я же из-за тебя себя неволила, а ты еще

грозить мне! Ну, нет, не на такую напался! И зачала еще пуще предлог искать. Родилась тут кстати у хозяйки еще девочка, наняли к ней мамку — я и придерись, что с ней жить не могу. Злая, правда, оголтелая старуха была, сама хозяйка и то ей боялась, да и пьяная к тому же,— полштоф под кроватью так и дежурил,— и возле себя прямо терпеть никого не могла. Стала она на меня наговаривать, смутьянить всячески. То белье не так выгладила, то подать ничего не умею... А скажешь ей слово, затрясется вся — и жалиться бежит. Плачет навзрыд, а больше, понятно, не от обиды, а от притворства. Дальше, больше, я и говорю хозяевам:

— Так и так, увольте меня, мне от этой самой старухи белый свет не мил, я на себя руки наложу.

А сама уж дом на Глухой улице приглядела. Ну, хозяйка и не стала больше меня неволить. Правда, как прощалась со мной, страсть как звала опять к себе жить, или хоть приходить когда к празднику, к именинам:

— Обязательно,— говорит,— чтоб ты приходила всегда все прибрать, приготовить. Я,— говорит,— только при тебе и покойна. Я к тебе как к родной привыкла.

Я, конечно, благодарю всячески. Наобещала всего с три сумы, накланялась в пояс — и сошла. И сейчас же, господи благослови, за дело. Купила дом этот, открыла кабак. Торговля пошла ужасная хорошая,— стану вечером выручку считать: тридцать да сорок, а то и всех сорок пять в кассе,— я и надумай еще лавочку открыть, чтоб уж, значит, одно к одному шло. Сестра мужнина замуж давно вышла за сторожа из Красного Креста, он все кумой меня звал, дружил со мной,— я к нему: взяла безделицу в долг на всякое обзаведенье, на права — и заторговала. А тут как раз и Ваня из ученья вышел. Советуюсь с умными людьми, куда, мол его устроить.

— Да куда,— говорят,— его устраивать, у тебя и дома работы девать некуды.

И то правда. Сажаю Ваню в лавку, сама в кабак становлюсь. Пошла жожка в ход! И мыслить, понятно, забыла обо всех этих глупостях, хоть, по совести сказать, он, убогий-то, даже в постель слег, как я уходила. Никому ни одного словечка не сказал, а слег прямо как мертвый, даже гармонью свою забыл. Вдруг, здоро́во живешь,—

Полканиха на двор, мамка эта самая. (Ее мальчишки Полканихой прозвали.) Является и говорит:

— Тебе, говорит, один человек велел кланяться, беспременно велел проведать его.

Тут меня даже в жар бросило со зла да стыда! Каков, думаю себе, голубчик! Что в голову свою забрал! Подружку какую себе нашел! Не стерпела и говорю:

— Мне его поклоны не надобны, он про свое убожество должен помнить, а тебе, старому черту, стыдно в сводни лезть. Слышала ай нет?

Она и осеклась. Стоит, согнулась, смотрит на меня исподлобья пухлыми глазами, да только качаном своим мотает. Либо от жары, либо от водки ошалела.

— Эх ты,— говорит,— бесчувственная! Он,— говорит,— даже плакал об тебе. Весь вечер вчера лежал, к стенке отвернувшись, а сам плакал навзрыд.

— Что ж,— говорю,— и мне, что ль, залиться в три ручья? И не стыдно ему было, красноперому, реветь на людях? Ишь ребеночек какой! Ай от сиськи отняли?

Так и выпроводила старуху эту без ничего и сама не пошла. А он вскорости возьми да и взаправду удавись. Тут-то я, понятно, пожалела, что не пошла, а тогда не до него было. У самой в доме скандал за скандалом пошел.

Две горницы в доме я под квартеру сдала, одну наш постовой городовой снял, отличный, серьезный, порядочный человек, Чайкин по фамилии, в другую барышня-проститутка переехала. Белокурая такая, молоденькая, и с лица ничего, красивая, Феней звали. Ездил к ней подрядчик Хо́лин, она у него на содержанье была, ну, я и пустила, понадеялась на это. А тут, глядь, вышла промеж них расстройка какая-то, он ее и бросил. Что тут делать? Платить ей нечем, а прогнать нельзя — восемь рублей задолжала.

— Надо,— говорю,— барышня, с вольных добывать, у меня не странноприимный дом.

— Я,— говорит,— постараюсь.

— Да вот, мол, что-й-то не видно вашего старанья. Вместо того, чтоб стараться, вы каждый вечер дома да дома. На Чайкина, говорю, нечего надеяться.

— Я постараюсь. Мне даже совестно слушать вас.

— А-ах,— говорю,— скажите пожалуйста, совесть какая!

Постараюсь-постараюсь, а старанья, правда, никакого. Стала пуще округ Чайкина увиваться, да он и глядеть на нее не захотел. Потом, вижу, за моего принялась. Гляну, гляну — все он возле ней. Затеял вдруг новый пинжак шить.

— Ну, нет,— говорю,— перегодишь! Я тебя и так одеваю барчуку хорошему впору: что сапожки, что картузик. Сама, мол, во всем себе отказывала, каждую копейку орлом ставила, а тебя снабжала.

— Я,— говорит,— хорош собою.

— Да что ж мне, на красоту твою дом, что ль, продать?

Замечаю, пошла торговля моя хуже. Недочеты, ущербы пошли. Сяду чай пить — и чай не мил. Стала следить. Сижу в кабаке, а сама все слушаю,— прислонюсь к стенке, затаюсь и слушаю. Нынче, послышу, гудят, завтра гудят... Стала выговаривать.

— Да вам-то,— говорит,— что за дело? Может, я на ней жениться хочу.

— Вот тебе раз, матери родной дела нету! Замысел твой,— говорю,— давно вижу, только не бывать тому во веки веков.

— Она без ума меня любит, вы не можете ее понимать, она нежная, застенчивая.

— Любовь хорошая,— говорю,— от поганки ото всякой распутной! Она тебя, дурака, на смех подымает. У ней,— говорю,— дурна́я, все ноги в ранах.

Он было и окаменел: глядит себе в переносицу и молчит. Ну, думаю, слава тебе, господи, попала по нужному месту. А все-таки до смерти испугалась: значит, видимое дело — врезался, голубчик. Надо, значит, думаю, как ни мога́, поскорей ее добивать. Советуюсь с кумом, с Чайкиным. Надоумьте, мол: что нам с ними делать? Да что ж, говорят, прихватить надо и вышвырнуть ее, вот и вся недолга. И такую историю придумали. Прикинулась я, что в гости иду. Ушла, походила сколько-нибудь по улицам, а к шести часам, когда, значит, смена Чайкину, тихим манером — домой. Подбегаю, толк в дверь — так и есть: заперто. Стучу — молчат. Я в другой, в третий — опять

никого. А Чайкин уж за углом стоит. Зачала я в окна колотить — альни стекла зудят. Вдруг задвижка — стук: Ванька. Белый, как мел. Я его в плечо со всей силы — и прямо в горницу. А там уж чистый пир какой: бутылки пивные пустые, вино столовое, сардинки, селедка большая очищена, как янтарь розовая,— все из лавки. Фенька на стуле сидит, в косе лента голубая. Увидала меня, привскочила, глядит во все глаза, а у самой аж губы посинели от страху. (Думала, бить кинусь.) А я и говорю этак просто, хоть по правде сказать, даже продохнуть не могу:

— Что-й-то у вас,— говорю,— ай сговор? Ай именинник кто? Что ж не привечаете, не угощаете?

Молчат.

— Что ж,— говорю,—молчите? Что ж молчишь, сынок? Такой-то ты хозяин-то, голубчик? Вот куда, выходит, денежки-то мои кровные летят!

Он было шерсть взбудоражил:

— Я сам в лета взошел!

— Та-ак,— говорю,— а мне-то как же? Мне, значит, от твоей милости с сучкой с этой из своего собственного дома выходить? Так, что ль? Пригрела я, значит, змейку на свою шейку?

Как он на меня заорет!

— Вы не можете ее обижать! Вы сами молоды были, вы должны понимать, что такое любовь!

А Чайкин, услыхавши такой крик, и вот он: вскочил, ни слова не сказавши, сгреб Ваньку за плечи, да в чулан, да на замо́к. (Человек ужасный сильный был, прямо гайдук!) Запер и говорит Феньке:

— Вы барышней числитесь, а я вас волчком могу сделать!

(С волчьим билетом, значит.)

— Хотите вы, говорит, этого, ай нет? — Нонче же комнату нам ослобонить, чтоб и духу твоего здесь не пахло!

Она — в слезы. А я еще поддала:

— Пусть,— говорю,— денежки мне прежде приготовит! А то я ей и сундучишко последний не отдам. Денежки готовь, а то на весь город ославлю!

Ну, и спровадила в тот же вечер. Как сгоняла-то я ее, страсть как убивалась она. Плачет, захлебывается, даже

волосы с себя дерет. Понятно, и ее дело не сладко. Куда деться? Вся состоянье, вся добыча при себе. Ну, однако, съехала. Ваня тоже попритих было на время. Вышел наутро из-под замка́ — и ни гугу: боится очень, и совесть изобличает. Принялся за дело. Я было и обрадовалась, успокоилась,— да ненадолго. Стало опять из кассы улетать, стала шлюха эта мальчишку в лавку подсылать, а онто и печеным и вареным снаряжает ее! То сахару навалит, то чаю, то табаку... Платок — платок, мыло — мыло,— что под руку попадет... Разве за ним углядишь? И винцо стал потягивать, да все злей да злей. Наконец того, и совсем лавку забросил: до́ма и не живет, почесть, только поесть придет, а там и опять поминай как звали. Каждый вечер к ней отправляется, бутылку под поддевку — и марш. Я мечусь как угорелая — из кабака в лавку, из лавки в кабак — и уж слово боюсь ему сказать: совсем босяк стал! Всегда красивый был,— весь в меня,— лицом белый, нежный, чистая барышня, глаза ясные, умные, из себя статный, широкий, волосы каштановые, вьющие... А тут морда одулась, волосы загустели, по воротнику лежат, глаза мутные, весь обтрепался, гнуться стал — и все молчит, в переносицу себе смотрит.

— Вы меня не тревожьте теперь,— говорит,— я могу каторжных дел натворить.

А захмеляет, расслюнявится, смеется ничему, задумывается, на гармонье «Невозвратное время» играет, и глаза слезами наливаются. Вижу, плохо мое дело, надо мне поскорей замуж. Сватают мне тут как раз вдовца одного, тоже лавочника, из пригорода. Человек пожилой, а кредитный, состоятельный. Самый раз, значит, то самое, чего и добивалась я. Разузнаю поскорее от верных людей об его жизни — беды, вижу, никакой: надо решаться, надо поскорее знакомство завесть,— нас друг другу только в церкви сваха перед тем показала,— надо, значит, предлог найтить, побывать друг у друга, вроде как смотрины сделать. Приходит он сперва ко мне, рекомендуется: «Лагутин, Николай Иваныч, лавочник».— «Очень приятно, мол». Вижу, совсем отличный человек,— ростом, правда, невеличек, седенький весь, а приятный такой, тихий, опрятный, политичный: видно бережно́й, никому, говорят, гроша за всю жизнь не задолжал... Потом и я к нему будто по делу

затеялась. Вижу, ренсковый погреб и лавка со всем, что к вину полагается: сало там, ветчина, сардинки, селедки. Домик небольшой, а чистая люстра. На окнах гардинки, цветы, пол чисто подметен, даром что холостой живет. На дворе тоже порядок. Три коровы, лошади две. Одна матка, трех лет, пять сот, говорит, уж давали, да не отдал. Ну, я прямо залюбовалась на эту лошадь — до чего хороша! А он только тихонько посмеивается, ходит, семенит и все рассказывает, как прейскурант какой читает: вот тут-то то-то, там-то то-то... Значит, думаю, мудрить тут нечего, надо дело кончать...

Понятно, это я теперь-то так вкратце рассказываю, а что я в ту пору прочувствовала — одна моя думка знает. Ног под собой от радости не чую,— мол, таки добилась своего, нашла свою партию! — а молчу, боюсь, дрожу вся: а ну-ка расстроится вся моя надежда? Да так оно едва и не случилось, чуть-чуть не пропали задаром все мои хлопоты, а из-за чего, даже теперь невозможно покойно сказать: из-за убогого этого да из-за сыночка милого! Мы так дело тихо, благородно вели, что ни кот, ни кошка, думалось, не узнает. Ан, слышу, уж весь пригород знает про наши с Николай Иванычем замыслы, дошел, понятно, слух и до Самохваловых,— небось сама же Полканиха и шепнула. А он, убогий-то, возьми, говорю, да и повесься! На вот, мол, тебе,— грозил, не верила, так вот же я назло тебе сделаю! Вколотил гвоздик в стену над кроватью, бечевку от сахарной головы приладил, захлестнулся и сполоз с кровати. Штука не хитрая, ума большого не надобно! Стою раз в сумерки в лавке, прибираю кой-что — вдруг кто-й-то грох, грох в ставню в доме! Так у меня сердце и оборвалось. Выскочила на порог — Полканиха.

— Ты что?

— Никанор Матвеич приказал долго жить!

Брякнула, повернулась — и домой. А я сгоряча-то не сообразилась,— меня прямо как варом обварило со страху,— накинула шаль, да за ней. Она бежит, спотыкается — и я бегу... Прямо страм на весь город! Бегу и ничего не понимаю. Одно думаю — пропала моя головушка! Шутка ли, что натворил, не тем бог помяни! До чего, думаю, совести в людях нету! Подбегаю, а там уж народу, как на пожаре. Парадный настежь, кто хочет, тот и лезет,— всем,

понятно, любопытно. Я было, сдуру-то, себе туда же. Да спасибо как по голове меня кто огрел: опомнилась, повернула — да назад. Тем, может, и спаслась, а то бы узнала чижа паленого. Вспомнил бы кто-нибудь,— да хоть та же Полканиха со зла,— вот, мол, ваше благородие, на кого мы думаем, кто всему причиной, извольте ее опросить,— и готова. Поди потом, вывертывайся. Человек-то, бывает, ни спом ни духом, а его за хвост да в мешок... Не первый случай.

Ну, похоронили его — у меня и отлегло от сердца. Готовлюсь к свадьбе, дело свое спешу прикончить, распродать, что можно, без убытку — вдруг опять беда-горе. И так с ног сбилась в хлопотах, спеклась вся от жары,— жара в тот год прямо непереносная стояла, да с пылью, с ветром горячим, особливо у нас, на Глухой улице, на косогорах-то этих,— вдруг еще новость — Николай Иваныч обиделся. Присылает сваху эту самую нашу, какая нас сводила-то,— лютая псовка была, небось сама же, востроглазая, и настрочила его, Николай-то Иваныча,— передает через нее Николай Иваныч, что свадьбу он до первого сентября откладает — делá будто есть — и об сыну, об Ване, наказывает: чтобы, значит, я об нем получше подумала, определила его куда ни на есть, потому как, говорит, в дом я его к себе ни за какие благи не приму. Хоть он, говорит, и сын твой родной, а он нас в чистую разорит и меня будет беспокоить. (И его-то, правда, положение. Как он никогда никакого шуму не знал, никаких скандалов не подымал, понятно, боялся волноваться: как разволнуется, у него всегда все в голове смешается, слова не может сказать.) Пускай, говорит, она его с рук сбывает. А куда мне его определять, куда сбывать? Малый совсем от рук отбился, в чужих людях, думаю, и совсем голову свернет, а сбывать — не миновать. Я и сама-то с ним на нет сошла с самых с этих пор, как ознакомился он с Фенькой: прямо околдовала, сука! День дрыхнет, ночь пьянствует,— ночь за день сходит... Что я тут горя вытерпела — сказать невозможно! До того добил — стала как свечка таять, ложки держать не могу, руки трясутся. Как стемняет, сяду на скамейку перед домом и жду, пока с улицы вернется, боюсь, ребята слободские умолотят. Раз было убилась до смерти, побежала

посмотреть в слободу: слышу шум, крик, думала, его холят, да в овраг и зашуршала...

Ну, получивши такое решенье от Николай Иваныча, призываю его к себе: так и так, мол, сынок, терпела я тебя долго, ну, а ты совсем ослаб и заблудился, на всю округу меня ославил. Привык ты нежиться и блаженствовать,— наконец того, совсем босяк, пьяница стал. Такого дарования, как я, ты не имеешь, сколько раз я падала, да опять подымалась, а ты ничего нажить себе не можешь. Я вот и почету себе добилась, и недвижное имущество у меня есть, и ем, пью не хуже людей, душу свою не морю, а все оттого, что всем мой хрип спокон веку заведовал. Ну, а ты, как был мот, так, видно, и хочешь остаться. Пора тебе с шеи моей слезть...

Сидит, молчит, клеенку на столе ковыряет.

— Что ж ты,— спрашиваю,— молчишь? Ты клеенку-то не дери,— наживи прежде свою,— ты отвечай мне.

Опять молчит, голову гнет и губами дрожит.

— Вы,— говорит,— замуж выходите?

— Это, мол, выду ли, нет ли, неизвестно, а и выду, так за хорошего человека, какой тебя в дом не пустит. Я, брат, не Фенька твоя, не шлюха какая-нибудь.

Как он вскочит вдруг с места, да как затрясется весь:

— Да вы ногтя ее не стóите!

Хорошо, ай нет? Вскочил, заорал не своим голосом, дверью грохнул — и был таков. А я, уж на что не плаксива была, так слезами и задалась. Плачу день, плачу другой,— как подумаю, какие слова он мог мне сказать, так и залью́сь. Плачу и одно в уме держу — дó веку не прощу ему такой обиды, со двора долой сгоню... А его все нету. Слышу — у своей пирует, танцы, пляс, пропивает наворованные денежки и мне грозит: я ее, говорит, все равно успокою, выжду, как пойдет куда-нибудь вечером, камнем убью. Присылает,— на смех мне, понятно,— в лавку за покупками, берет то жамок, то селедок. Я прямо трясусь от обиды, а креплюсь, отпускаю. Сижу раз в лавке — вдруг сам всходит. Пьян — лица нету. Вносит селедки,— утром девчонка приходила, купила, на его, понятно, деньги, четыре штуки,— и как шваркнет их на прилавок!

— Можете вы,— кричит,— присылать такую скверность покупателям? Они вонючие, их собакам только есть!

Орет, ноздри раздувает — предлог ищет.

— Ты,— говорю,— тут не буянь и не ори, сама я селедок не работаю, а бочонками покупаю. Не нравится — не жри, вот тебе твои деньги.

— А если бы я их съел да помер?

— Опять же,— говорю,— ты, свинья, не можешь тут кричать,— какой такой ты мне командир? Авось чин не велик имеешь. Ты честью должен сказать, а не нахрапом лезть в чужое помещение.

А он схватил вдруг безмен с ларя и этак шипом:

— Как жмакну тебя,— говорит,— сейчас по голове, так ты и протянешься!

И со всех ног вон из лавки. А я как села на пол, так и подняться не могу...

Потом слышу — уработали таки его слободские ребята! Еле живого на извозчике привезли — пьян без памяти, голова мотается, волосы от крови слиплись, все с пылью перебиты, сапоги, часы сняли, новый пинжак весь в клоках — хоть бы где орех целого сукна остался... Я подумала, подумала — принять его приняла и даже за извозчика заплатила, но только в тот же день посылаю Николай Иванычу поклон и твердо наказываю сказать, чтоб он больше ничего не беспокоился: с сыном, мол, я порешила,— прогоню его безо всякой жалости прямо же, как проспится. Отвечает тоже поклоном и велит сказать: очень, говорит, умно и разумно, благодарю и сочувствую... А через две недели и свадьбу назначил. Да...

Ну, да будет пока, тут и сказке моей конец. Большето, почесть, и рассказывать нечего. С этим мужем до того я ладно век свековала,— прямо редкость по нонешнему времю. Что я, говорю, прочувствовала, как этого рая добивалась,— сказать невозможно! Ну, и наградил меня, правда, господь,— вот двадцать первый год живу как за каменной стеной за своим старичком и уж знаю — он меня в обиду не даст: он ведь это с виду только тихий! А, понятно, нет-нет, да и заноет сердце. Особливо великим постом. Умерла бы теперь, думается,— хорошо, покойно, по всем церквам акафисты читают... Опять же иной раз и об Ване соскучусь. Двадцать лет ни слуху ни

духу об нем. Может, и помер давно, да не знаю о том Мне даже жалко его стало, как привезли-то его тогда. Втащили мы его, взвалили на кровать — цельный день спал мертвым сном. Взойду, послушаю дыхание,— жив ли, мол... А в горнице — вонь, кислотой какой-то, лежит он весь ободранный, изгвазданный, храпит и захлебывается... Страм и жалость смотреть, а ведь кровь моя родная! Погляжу, погляжу, послушаю и — выйду. И такая-то тоска меня взяла! Поужинала через силу, прибрала со стола, огонь потушила... Не спится, да и только,— вся дрожу-лежу... А ночь светлая, видная. Слышу, проснулся. Все кашляет, все выходит на двор, дверью хлопает.

— Что это ты,— спрашиваю,— ходишь?

— Живот,— говорит,— болит.

По голосу слышу — тревожится, тоскует.

— Ты,— говорю,— выпей чернобыльнику.

Полежала еще, даже задремала немножко, чувствую сквозь сон — прокрадается кто-й-то по половику. Вскочила — он.

— Мамаша,— говорит,— не пугайтесь меня за ради Христа...

И как зальется в три ручья! Сел на постель, руки ловит, целует, слезами обливает, а сам даже захлебывается,— так плачет-рыдает. Я не стерпела — и себе! Жалко, понятно, а делать нечего — из-за него вся моя судьба решается. Да он и сам, вижу, понимает это хорошо.

— Простить я тебя,— говорю,— могу, а поделать, ты сам видишь, теперь уж ничего нельзя. И уходи ты куда-нибудь подале, чтоб я и не слыхала про тебя!

— Мамаша,— говорит,— за что вы меня, не хуже сидяки этого, Никанор Матвеича, погубили?

Ну, вижу, человек еще не в своем уме, не стала и спорить. Поплакал, поплакал, поднялся и ушел. А наутро глянула я в горницу, где он спал, а его уж и след простыл. Ушел, значит, пораньше от страму — и как в воду канул. Был слух, жил будто в Задонске при монастыре, потом на Царицын подался, а там небось и голову сломил... Да что об том толковать — только сердце свое тревожить! Воду варить — вода будет...

А что он про Никанор Матвеича сказал, так я даже глупо это считаю. Авось не великими деньгами покоры-

стовалась, не из кармана вытащила. Он сам свое убожество понимал, сам скучал часто. Бывало, скажет мне:

— И калекой меня, Настя, судьба моя сделала, и характер у меня сумасходный: то мне весело чего-й-то, как перед бедой какой, то такая тоска, особливо летом, в жару, в пыль эту,— просто руки на себя наложил бы! Помру я, похоронят меня на Чернослободском кладбище — цельный век будет эта пыль лететь на мою могилку через ограду!

— Да что ж, мол, Никанор Матвеич, об этом убиваться? Мы этого чуять не будем.

— Да это,— говорит,— что ж, что чуять не будем,— беда та, что при жизни о том думаешь...

А, правда, скука, бывало, у нас в доме, у Самохваловых-то, как все позаснут после обеда, а ветер несет эту пыль! И руки-то он наложил на себя в страшную жару, в самое глухое время. Город у нас, правда, ужасный скучный. Я вон была недавно в Туле: какое же сравнение!

Капри. XI. 1911

СВЕРЧОК

Эту небольшую историю рассказал шорник Сверчок, весь ноябрь работавший вместе с другим шорником, Василием, у помещика Ремера.

Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру с его молодой женой, недавно поселившимся в дедовской усадьбе, было скучно, и вот они стали ходить по вечерам из своего еще забитого дома, где только внизу, под колоннами, была одна сносная жилая комната, в старый флигель, в упраздненную контору, где зимовала птица и помещались шорники, работник и кухарка.

Вечером под Введение несло непроглядной мокрой вьюгой. В просторной и низкой конторе, когда-то беленной мелом, было очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой, горевшей на верстаке, сапожным варом, политурой и мятной кислотой кожи, куски и обрезки которой, вместе с инструментами, новой и старой сбруей, хомутиной, потниками, дратвой и медным набором навалены были и на верстаке, и на затоптанном, сорном полу. Воняло и птицей из темной пристройки, но Сверчок и Василий, ночевавшие в этой вони и каждый день часов по десяти сидевшие в ней с согнутыми спинами, были, как всегда, очень довольны своим помещеньем,

особенно тем, что Ремер не жалеет топки. С узеньких подоконников капало, на черных стеклах сверкал и резко белел липкий, мокрый снег. Шорники пристально работали, кухарка, небольшая женщина в полушубке и мужицких сапогах, назябшаяся за день, отдыхала на продранном стуле у горячей печки. Она грела спину и, не сводя глаз с лампочки, слушала шум ветра, потрясавшего порою весь флигель, постукиванье по хомуту, который делал Василий, и старчески-детское дыхание лысого Сверчка, возившегося над шлеей и в затруднительные минуты шевелившего красным кончиком языка.

Лампочка, облитая керосином, стояла на самом краю верстака и как раз посредине между работавшими, чтобы видней было обоим, но Василий то и дело подвигал ее к себе своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной пó локоть. Сила, уверенность в силе чувствовались и во всей осанке этого черноволосого человека, похожего на малайца,— в каждой выпуклости его мускулистого тела, обозначавшегося под тонкой, точно истлевшей рубахой, бывшей когда-то красной, и всегда казалось, что Сверчок, маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, как все дворовые люди, побаивается Василия, никогда никого не боявшегося. Казалось это и самому Василию, усвоившему себе манеру, как бы в шутку, на забаву окружающим, покрикивать на Сверчка, даже помогавшего этой шутке.

Василий, держа между коленками, прикрытыми засаленным фартуком, новый хомут, обтягивал его темно-лиловой толстой кожей, одной рукой крепко захватывая ее и туго натаскивая на дерево клещами, а другой вынимая из сжатых губ гвозди с медными шляпками, втыкая их в наколы, заранее сделанные шилом, и затем с одного маха, ловко и сильно вколачивая молотком. Он низко нагнул свою большую голову в черных влажно-курчавых волосах, перехваченных ремешком, и работал с той приятной, ладной напряженностью, которая дается только хорошо развитой силой, талантом. Напряженно работал и Сверчок, но напряженность эта была иного рода. Он прошивал концом новую розово-телесного цвета шлею, тоже захватив ее в колени, в голенища и фартук, и с трудом накалывал, с трудом, шевеля языком и приноравливая к

свету лысую голову, попадал щетиной в дырочки, хотя раздергивал в разные стороны и закреплял конец даже с некоторой удалью старого, наторелого мастера.

Наклоненное к хомуту лицо Василия, широкое, с выступающими под маслянистой желто-смуглой кожей костями, с редкими и жесткими черными волосами над углами губ, было строго, нахмурено, значительно. А по наклоненному к шлее лицу Сверчка видно было только то, что ему темно и трудно. Он был ровно вдвое старше Василия и чуть не вдвое меньше ростом. Сидел ли он, вставал ли, разница была невелика,— так коротки были его ноги, обутые в разбитые, ставшие от старости мягкими, сапоги. Ходил он,— тоже от старости,— неловко, согнувшись, так, что отставал фартук и виден был глубоко провалившийся живот, слабо, по-детски подпоясанный. По-детски темны были его черные глазки, похожие на маслинки, а лицо имело слегка лукавый, насмешливый вид: нижняя челюсть у Сверчка выдавалась, а верхняя губа, на которой темнели две тонких, всегда мокрых косички, западала. Вместо «барин» говорил он «баин», вместо «было» — «быво» и часто всхлипывал, подтирая большой холодной рукой, суставами указательного пальца, свой повисший носик, на конце которого все держалась светлая капелька. Пахло от него махоркой, кожей и еще чем-то острым, как от всех стариков.

Сквозь шум метели послышался из сеней топот обиваемых от снега ног, хлопанье дверей — и, внося с собой свежий хороший запах, вошли господа, залепленные белыми хлопьями, с мокрыми лицами и блестками на волосах и одежде. Темно-красная борода и густые, нависшие над серьезными и живыми глазами брови Ремера, глянцевитый каракулевый воротник его мохнатого пальто и каракулевая шапка казались от этих блесток еще великолепнее, а нежное, милое лицо его беременной жены, ее мягкие длинные ресницы, сине-серые глаза и пуховый платок еще нежнее и милее. Кухарка хотела уступить ей продранный стул, она ласково ее поблагодарила, заставила остаться на своем месте и села на скамью в другой угол, осторожно сняв с нее узду со сломанными удилами; потом слабо зевнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрелась на огонь широко раскрытыми глазами.

Ремер закурил и стал ходить по комнате, не раздевшись и не сняв шапки. Как всегда, господа пришли только на минутку,— уж очень тяжелый и теплый был у шорников воздух,— но потом, как всегда, забылись, потеряли обоняние... И вот тут-то, неожиданно для всех, и рассказал Сверчок свою историю.

— Однако ты, брат, ловок,— прошепелявил он, когда Василий, поздоровавшись с господами кивком головы, опять придвинул к себе лампочку.— Однако ты, бъат, вовок. Я небось постарше тебя немножко,— сказал он, всхлипывая и подтирая нос.

— Что? — притворно-грозно крикнул Василий, сдвигая брови.— Может, тебе еще газовый рожок зажечь? Ослеп — так в богадельню.

Все улыбнулись,— даже и барыня, которой все-таки немного неприятны были эти шутки,— и подумали, что Сверчок, как всегда, отпустит что-нибудь смешное. Но на этот раз он только головой покрутил и, вздохнув, остановил взгляд на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями. Потом, взяв шило своей большой, в крупных жилах рукой с широко расставленными суставами большого и указательного пальцев, неловко и с трудом воткнул его в розоватую сырую кожу. Кухарка, заметив, что он смотрел на окна, заговорила о том, как она боится, что ее мужик, поехавший за коновалом в Чичерино, замерзнет, собьется с дороги, как вдруг Сверчок, делая вид, что он занят, сказал с грустным добродушием:

— Да, брат, ослеп... Поневоле ослепнешь! Ты вот доживи-ка до моих годов, да прочувствуй с мое! Ан не доживешь! Я вот спокон веку такой, неизвестно, в чем душа держится, а все тянулся, жил — и еще бы столько же прожил, как бы было зачем. Я, брат, очень даже хотел жить, пока было антиресно, и жил, смерти не подавался. А твою-то силу мы еще не знаем. Молода, в Саксоне не была...

Василий посмотрел на него пристально, как посмотрели господа и кухарка, удивленные его необычным тоном,— на минуту, в молчании, особенно явственно стал слышен шум ветра,— и серьезно спросил:

— Что это ты буровишь такое?

— Я-то? — сказал Сверчок, поднимая голову.— Нет,

брат, я не буровлю. Я это про сына вспомнил. Слышал небось какой молодец-то был? Пожалуй, еще почище тебя будет, а вот не мог же того выдержать, что я.

— Ведь он замерз, кажется? — спросил Ремер.

— Я его знал,— ответил Василий и, не стесняясь, как говорят о ребенке при нем же самом, добавил: — Да он и не сын ему, говорят, был,— Сверчку-то. Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца.

— Это дело иное,— так же просто сказал и Сверчок,— это все может быть, а почитал он меня не меньше отца, дай бог, чтобы твои так-то тебя почитали, да и не докапывался я, сын он мне али нет, моя кровь аль чужая... авось она у всех одинаковая! Сила в том, что он, может, дороже десятерых родных мне был. Вы вот, барин, и вы, сударыня,— сказал Сверчок, поворачивая голову к господам и особенно ласково выговаривая: «судаыня»,— вы вот послушайте, как было-с это дело, как замерз-то он. Я ведь его всю ночь на закорках таскал!

— Кура́ сильная была? — спросила кухарка.

— Никак нет,— сказал Сверчок.— Туман.

— Как туман? — спросила барыня.— Да разве в туман можно замерзнуть? И зачем же вы его таскали?

Сверчок кротко улыбнулся.

— Хм! — сказал он.— Да вы того, сударыня, и вообразить себе не можете-с, до чего он, туман-то этот, может замучить! А таскал я его затем, что уж очень жалко было-с, все думал отстоять его от этого... от смерти-то. Это так вышло,— картаво начал он, обращаясь не к Василию и не к Ремеру, а только к одной барыне,— это вышло-с как раз под самый Николин день...

— А давно? — спросил Ремер.

— Да лет пять или шесть тому назад,— ответил за Сверчка Василий, серьезно слушая и свертывая цигарку.

Сверчок мельком, старчески-строго глянул на него.

— Оставь мне затянуться,— сказал он и продолжал: — Работали мы, сударыня, у барина Савича в Огневке,— он, сын-то, со мной всегда ходил, не отбивался от меня,— ну, работали и работали, а квартеру в селе снимали, жили после смерти матери вроде как два дружных товарища. Подходит, наконец того, Николин день. Надо, думаем, домой отличаться, немножко в порядок себя при-

весть, а то, по совести сказать, уж очень все на нас земле предалось. Собираемся этак на́вечер, а того и не видим, что такая стыдь да еще с туманом к вечеру завернула, альни деревни за лужком не видать, уж не говоря про то, что очень местность везде глухая. Копаемся, прибираем струмент в этой самой бане, где мы, значит, спасались, никак ничего не найдем в темноте,— скупой барин-то был, огарочка не разживешься,— чувствуем, что припоздали маленько, и верите ли, такая тоска вдруг взяла меня, что я говорю: «Дорогой ты мой товарищ, Максим Ильич, ай нам остаться, до утра подождать?»

— А вас Ильей зовут? — спросила барыня, вдруг вспомнив, что она до сих пор не знает имени Сверчка.

— Ильей-с,— ласково сказал Сверчок и, всхлипнув, подтер нос,— Ильей Капитоновым. Но только сын-то меня тоже Сверчком звал и все,— вот не хуже этого Бовы Королевича, Василь Степаныча,— шутил, грубиянил со мной. Ну, конечно, пошутил, закричал и тут: «Это еще, мол, что такое? Поговори у меня!» — Нахлобучил мне шапку по уши, надел свою, ремешком подтянулся,— красавец был, сударыня, истинную вам правду говорю-с! — взял палочку и без дальних разговоров марш на крыльцо. Я за ним... Вижу, туман страсть какой и уж совсем стемняло, барский сад весь сизыми шапками, инеем оброс,— как туча какая в сумерках, в тумане этом мерещится,— да делать, значит, нечего, не хочу молодого человека обижать, молчу. Перешли лужки, поднялись на горку, оглянулись, а окон у барина уж и не видно стало. Отвернулся я от ветру,— в одну минуту дух захватило, так и несет этой мгой, туманом, вроде как дыханье какое,— чувствую, что уж на двух шагах до самых костей прохватило, а сапоги-то на нас нагольные, да и поддевочки на шереметьевский счет шиты, и опять говорю: «Ой, вернемся, Максим, не форси!» Он было и задумался... Да известно, дело молодое, по себе небось, сударыня, знаете,— как свою гордость не выказать? — опять пошел. Входим в деревню,— конечно, потише стало, везде огни по избам, хоть и мутные, а все-таки жилье,— он и бубнит: «Ну, видишь? Что дрожал? Видишь, на ходу-то куда теплей, это только сначала так стюдено́ показалось... Не отставай, не отставай, а то подгонять зачну...» А уж какое там,

сударыня, тепло, все водовозки на́ четверть инеем обросли, все лозинки к земле пригнуло, крыш не видать от туману и морозу... Конечно, жилье, да от этих огней туман еще больше выдает, и все ресницы у меня в инее, отяжелели, как у лошади хорошей, а барских окон на том боку и звания не осталось... Одно слово — ночь лютая, самая что ни на есть волчиная...

Василий нахмурился, пустил в обе ноздри дым и, подавая окурок Сверчку, перебил его:

— Ну, ты, «вовчиная», этак до второго пришествия не кончишь. Ты скорей рассказывай.

И деловито перевернул в коленях хомут, намереваясь продолжать работу. Сверчок, щепотками, кончиками прокопченных пальцев взяв у него окурок, сильно затянулся и на минуту грустно задумался, как бы слушая свое детское дыхание и шум ветра за стенами. Потом несмело сказал:

— Ну, бог с тобой, хорошо, покороче скажу. Я только хотел сказать, что просто мы заблудились в двух шагах. Мы, сударыня,— продолжал он увереннее, взглянув на барыню, уловив в ее глазах сочувствие и вдруг острее почувствовав свое давно ставшее привычным горе,— мы дорогу, значит, потеряли. Как только вышли-с за деревню, да попали в эту темь, во мгу, в холод, да прошли, может, с версту, так и заблудились. Тут большой верх, агромадный луг, буераки до самого села идут, а над ними дорога всегда есть, вот мы и потрафляли по ней, все думали, что верно держимся, а заместо того влево забрали по чьему-то следу, к бибиковским, значит, оврагам, и след этот тоже, на беду, упустили, а уж там и пошли месить по снегу, по ветру, как попало. Да это все, сударыня, история известная,— кто не блудил, все блудили,— а я то́ хотел сказать, какую му́ку-с я за эту ночь принял! Я, правда, до того оробел, до того испугался, как, значит, прокружились мы часа два али три, да зарьяли, задохнулись, обмерзли, стали в пень и видим, что в отделку пропали, до того, говорю, испугался, что у меня аж руки, ноги огнем закололо,— всякому, понятно, свой живот дорог,— но только я и в мыслях не держал, что дальше-то будет, как накажет меня господь! Я, понятно, думал, что мне первому конец,— много ль во мне духу, сами изво-

лите видеть,— а как увидал, что я-то еще жив, стою, а уж он на снег сел, как увидал его...

Сверчок слегка вскрикнул на последних словах, взглянул на кухарку, которая уже плакала, и, вдруг заморгав, исказив и брови, и губы, и задрожавшую челюсть, стал торопливо искать кисет. Василий сердито сунул ему свой, и он, вертя прыгающими руками цигарку и роняя в табак слезы, опять заговорил, но уже новым, размеренно-твердым и повышенным тоном:

— Дорогая моя сударыня, у нас был барин Ильин, лютей его во всей губернии не было,— до нашего, то есть, брата, до дворового,— так вот он тоже замерз, под городом нашли,— лежит в возке, весь снегом забит, и сам окоченел уж давно, и во рту лед, а возле него сидит-дрожит кобель живой, сетер его любимый, под шубой под енотовой: он, значит, злодей-то такой, шубу свою собственную снял с себя и кобеля накрыл, а сам замерз, и кучер его замерз, и вся тройка мерзлая на оглобли навалилась, поколела... А ведь тут не кобель, тут — сын родной, дорогой мой товарищ! Да, сударыня! Что мне было снять-то с себя? Поддевку-то эту? Да она была ровесница мне, на нем была вдвое теплей... Да тут и шубой не помог бы! Тут хоть рубаху сними — не спасешь, хоть на весь белый свет кричи — никого не докричишься! Он вскорости еще пуще меня испугался, и вот от этого от самого и пропали-то мы. Как только упустили мы след, он и заметался. Сперва все покрикивал, зубами ляскал да отдувался, как, значит, до животов-то прохватило нас ветром с морозом, потом вроде как с ума стал сходить. «Стой! — кричу.— Ради Христа, стой, давай сядем, одумаемся!..» Молчит. Я его за рукав хватаю, опять кричу... Молчит, да и только! Либо не понимает ничего, либо не слышит. Темь хоть глаз выколи, ног, рук уж не чуем, все лицо сковало, губ вроде как совсем нету — одна челюсь голая — и ничего не поймешь, ничего не видать! Гудит ветер в уши, несет мгу эту, а он кружится, мечется — и ничего не слушает меня. Бегу, глотаю туман, вязну по пояс... того гляди, думаю, из виду его упущу... вдруг — раз! сорвались куда-й-то, покатились, задохнулись в снегу... чую — в оврагах сидим. Помолчали, помолчали, от-

дышались — вдруг он и говорит: «Это что, отец? Бибиковские овраги? Ну, сиди, сиди, давай отдохнем. Вылезем — целиком назад пойдем. Теперь я все понимаю. Ты не бойся, не бойся,— я тебя доведу». А уж голос-то дикий. Не говорит, а рубит... И вот тут-то я и понял, что пропали мы. Вылезли, опять пошли, опять ошалели... месили, месили снег еще часа два, попали в кустарник дубовый, да как наткнулись на него, да поняли, что мы уж верстах в десяти от Огневки, в степи пустой,— тут он и сел вдруг: «Сверчок, прощай».— «Стой, как прощай? Очнись, Максим!..» Нет,— сел и смолк...

— Долга песня рассказывать, сударыня! — вдруг опять звонко сказал Сверчок, искажая брови.— Тут и страх весь пропал у меня. Как сел он, мне так в голову и вдарило: а-а, думаю, вон что, помирать мне теперь, видно, время нет! Руки стал у него целовать, умолять — мол, подержись хоть немножко еще, не сиди, не давайся сну этому смертному, пойдем целиком, обопрись на меня! Нет,— валится с ног долой, да и только! А я бы и помер от этакой страсти, да уж не могу... не в сустоянии... И когда уж кончился он, смолк совсем, отяжелел, оледенел, я его, мужчину этакого, на закорки навалил, под ноги подхватил — и попер целиком. Нет, думаю, стой, нет, шалишь, не отдам,— мертвого буду сто ночей таскать! Бегу, вязну в снегу, а у самого дух от тяжести занимается, волосы дыбом от страху встают, как он своей студеной головой,— картуз-то уж давно свалился,— по плечу моему елозит, до уха касается. А все бегу да кричу: «Нет, постой, не отдам, помирать мне теперь не время!» Думалось так, сударыня,— сказал Сверчок вдруг упавшим голосом и заплакал, вытирая рукавом глаза, выбирая на рукаве местечко менее грязное, ближе к плечу,— думалось так... принесу на село... может, оттает, ототру...

Долго спустя, когда Сверчок уже успокоился и стал пристально смотреть красными глазами в одну точку перед собою, когда вытерли слезы и облегченно вздохнули и барыня, и кухарка, Василий серьезно сказал:

— А напрасно я тебя окоротил. Ты хорошо рассказываешь. Я и не чаял такой прыти от тебя.

— Вот то-то и оно-то,— тоже серьезно и просто ответил Сверчок.— Тут, брат, всю ночь можно рассказывать, и то не расскажешь.

— А сколько ему было лет? — спросил Ремер, искоса поглядывая на жену, тихо улыбавшуюся после слез, и тревожно думая о том, как бы это не повредило ей в ее положении.

— Двадцать пятый-с,— ответил Сверчок.

— И больше у вас не было детей? — робко спросила барыня.

— Нет-с, не было...

— А у меня вон целых семеро,— нахмуриваясь, сказал Василий.— Изба два шага, а их куча. Тоже не велика сласть и дети. Нам, видно, чем раньше помереть, тем выгоднее.

Сверчок подумал.

— Ну, это не нашего ума дело,— еще проще, серьезней и грустней ответил он и опять взялся за шило.— Не замерзни он, меня, брат, до ста лет никакая смерть не взяла бы.

Господа переглянулись и, застегиваясь, поднялись с мест. Но еще долго стояли и слушали, как отвечал Сверчок на расспросы кухарки о том, донес ли он сына до села, чем кончилось дело. Сверчок отвечал, что донес, но только не до села, а до железной дороги, и упал, споткнувшись на рельсы. Обморозил руки, ноги и уже совсем терял сознание. Рассвело, шла метель, все белело, а он сидел в степи и смотрел, как заносит снег его мертвого сына, набивается в редкие усы и в белые уши. Подняли их кондуктора товарного поезда, шедшего из Балашова.

— Дивное дело,— сказала кухарка, когда он кончил,— не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть не замерз?

— Не до того было, матушка,— ответил Сверчок рассеянно, ища что-то на верстаке, в обрезках кожи.

Капри. 30. XI. 1911

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

I

Небо было серебристо-звездно, поле за садом и гумном темнело ровно, на чистом горизонте четко чернела мельница с двумя рогами крыльев. Но звезды искрились, трепетали, часто прорезывали небо зеленоватыми полосками, сад шумел порывисто и уже по-осеннему, холодно. От мельницы, с пологой равнины, с опустевшего жнивья дул сильный ветер.

Работники сытно поужинали,— был праздник, Успенье,— и жадно накурились по дороге через сад на гумно. Накинув армяки сверх полушубков, они шли туда спать, стеречь хлебные вороха. За работниками, таща подушку, шел высокий гимназист и бежали три борзых белых собаки. На гумне, на свежем ветру, хорошо пахло мякиной, новой ржаной соломой. Все уютно улеглись в ней, в самом большом омете, поближе к ворохам и риге. Собаки повозились, пошуршали у ног и тоже успокоились.

Над головами лежавших слабо белел широкий, раздваивающийся дымно-прозрачными рукавами Млечный Путь, наполненный висящей в них мелкой звездной россыпью. В соломе было тепло и тихо. Но по лозняку, что темнел вдоль вала слева, то и дело тревожно шел и, раз-

растаясь, приближался глухим неприязненным шумом северо-восточный ветер. Тогда до лиц, до рук доходило прохладное дуновение вместе с дурным запахом из проходов между ометами. А по небосклону, за неправильными черными пятнами волновавшегося лозняка, остро мелькали, вспыхивали льдистые алмазы, разноцветными огнями загоралась Капелла.

Улегшись, позевали и закрыли глаза. Ветер дремотно шелестел торчавшей над головами колючей соломой. Но дошла до лиц прохлада — и все почувствовали, что спать еще не хочется,— выспались после обеда. Только один гимназист изнемогал от сладкой жажды сна. Но ему заснуть не давали блохи. Он стал чесаться, раздумался о девках, о вдове, с которой он, при помощи работника Пашки, потерял в это лето невинность, и тоже разгулялся.

Это был худой, неуклюжий подросток с нежным цветом лица, такого белого, что даже загар не брал его, с синими глазами, с большим кадыком. Он все лето не разлучался с работниками,— возил сперва навоз, потом снопы, оправлял ометы, курил махорку, подражал мужикам в говоре и в грубости с девками, которые дружески поднимали его на смех, встречали криками: «Веретёнкин, Веретёнкин!» — дурацким прозвищем, придуманным подавальщиком в молотилку Иваном. Он ночевал то на гумне, то в конюшне, по неделям не менял белья и парусиновой одежды, не снимал дегтярных сапог, сбил в кровь ноги с непривычки к портянкам, оборвал все пуговицы на летней шинели, испачканной колесами и навозом...

— Совсем отбился от дому! — с ласковой грустью говорила о нем мать, восхищаясь даже его недостатками.— Конечно, поправится, окрепнет, но посмотрите, какая лохматая чушка, даже шеи не моет! — улыбаясь, говорила она гостям и теребила его мягкие каштановые лохмы, стараясь добраться до нежного завитка, кудрявившегося, как у девочки, на его затылке, на темной шее, отделявшейся от видного под косовороткой по-детски белого тела, от больших позвонков под тонкой гладкой кожей. А он угрюмо вывертывал голову из-под ее ласковой руки, хмурился, краснел. Он рос не по дням, а по часам и на ходу гнулся, задумчиво свистал, угловато вилял из сто-

роны в сторону. Он еще ел липовый цвет и вишневый клей, носил, хотя уже тайком, в кармане парусиновых панталон рогульку для стрельбы по воробьям, но сгорел бы от стыда, если б это обнаружилось, и не выпускал рук из карманов. Еще зимой он играл с Лилей в краснокожих. Но весной, когда по всем улицам города текли и дрожали ослепительным блеском ручьи, когда в классах горели от солнца белые подоконники, солнцем был пронизан голубой дым в учительской и директорская кошка подстерегала первых зябликов в гимназическом саду, еще полном серебряного снега,— весной он вообразил, что влюбился в худенькую, маленькую, начитанную и серьезную гимназистку Юшкову, подружился с шестиклассником в очках Симашко и решил посвятить все каникулы самообразованию. А летом мечты о самообразовании были уже забыты, было принято новое решение — изучить народ, вскоре перешедшее в страстное увлечение мужиками.

Вечером на Успенье гимназист был налит сном еще за ужином. К концу каждого дня, когда туманилась и на грудь падала голова,— от усталости, от разговоров с работниками, от роли взрослого,— возвращалось детство: хотелось поиграть с Лилей, помечтать перед сном о каких-нибудь дальних и неведомых странах, о необыкновенных проявлениях страсти и самопожертвования, о жизни Ливингстона, Беккера, а не мужиков Наумова и Нефедова, прочитать которых дано было Симашке честное слово; хотелось хоть одну ночь переночевать дома и не вскакивать до солнца, на холодной утренней заре, когда даже собаки так томно зевают и тянутся... Но вошла горничная, сказала, что работники уже пошли на гумно. Не слушая криков матери, гимназист накинул на плечи шинель с мотающимся хлястиком и картуз на голову, схватил из рук горничной подушку и в аллее нагнал работников. Он шел, шатаясь от дремоты, таща за угол подушку, и, как только довалился до омета, подлез под старую енотовую шубу, лежавшую там, так сейчас же и поплыл, понесся в сладкую черную тьму. Но огнем стали жечь мелкие собачьи блохи, стали переговариваться работники...

Их было пятеро: добрый лохматый старик Хомут, Кирюшка, хромой, белоглазый, безответный малый, преда-

вавшийся мальчишескому пороку, о чем все знали и что заставляло Кирюшку быть еще безответнее, молча сносить всяческие насмешки над его короткой, согнутой в колене ногой, Пашка, красивый двадцатичетырехлетний мужик, недавно женившийся, Федот, мужик пожилой, дальний, откуда-то из-под Лебедяни, прозванный Постным, и очень глупый, но считавший себя изумительно умным, хитрым и беспощадно-насмешливым человеком, Иван. Этот презирал всякую работу, кроме работ на земледельческих машинах, носил синюю блузу и всем внушил, что он прирожденный машинист, хотя все знали, что он ни бельмеса не смыслит в устройстве даже простой веялки. Этот все суживал свои сумрачно-иронические глазки и стягивал тонкие губы, не выпуская трубки из зубов, значительно молчал, когда же говорил, то только затем, чтобы убить кого-нибудь или что-нибудь замечанием или прозвищем: он решительно надо всем глумился — над умом и глупостью, над простотой и лукавством, над унынием и смехом, над богом и собственной матерью, над господами и над мужиками; он давал прозвища нелепые и непонятные, но произносил их с таким загадочным видом, что всем казалось, будто есть в них и смысл и едкая меткость. Он и себя не щадил, и себя прозвал: «Рогожкин»,— сказал он однажды про себя, так веско, так зло на что-то намекая, что все покатились со смеху, а потом уже и не звали его иначе, как Рогожкин. Окрестил он и гимназиста, сказал чепуху и про него: Веретёнкин.

Всех этих людей гимназист, как он думал, хорошо узнал за лето, ко всем по-разному привязался,— даже и к Ивану, издевавшемуся над ним,— у всех тому или другому учился, воспринимая их говор, совершенно, как оказалось, не похожий на говор мужиков книжных, их неожиданные, нелепые, но твердые умозаключения, однообразие их готовой мудрости, их грубость и добродушие, их работоспособность и нелюбовь к работе. И, уехавши после каникул в город и на другое лето уже не вернувшись к увлечению мужицкой жизнью, он весь свой век думал бы, что отлично изучил русский народ,— если бы случайно не завязался между работниками в эту ночь длинный откровенный разговор.

Начал старик, лежавший рядом с гимназистом и чесавшийся крепче всех.

— Ай, барчук, донимают? — спросил он.— Чистая беда эти блохи, хомут! — сказал он, употребляя слово, которым постоянно определял и всю жизнь свою, и всю тяготу ее, все неприятности.

— Мочи нет,— отозвался гимназист.— Вот баб, девок, тех не трогают. А уж кого бы, кажись, жиля́ть, как не их.

— Главная вещь, порток на них не полагается,— равнодушно подтвердил старик, ворочаясь и издавая крепкий запах давно не мытого тела и вытертого зипуна, прокопченного курной избой.

Прочие молчали. Обычно шутили перед сном, расспрашивали Пашку о его супружеской жизни, а он отвечал с таким спокойным и веселым бесстыдством, что даже гимназист, постоянно восхищавшийся им, не сводивший глаз с его умного и живого лица, досадовал — как это можно говорить так о своей молодой жене. Теперь никто не начинал расспросов, и гимназист уже хотел было сам начать их, чтобы еще более взволновать свое воображение, навеки отравленное вдовой, и послушать уверенный голос Пашки, как Пашка потянулся, сел и стал завертывать цигарку. Старик поднял голову в шапке и покачал ею.

— Ой, спалишь ты, малый, гумно! — сказал он.

— А я на барчука солгусь,— отвечал Пашка, немного хрипя от простуды, и, откашлявшись, засмеялся.— Он сам постоянно курит. Чу́дная ночь, барчук, сегодня,— сказал он, меняя тон на серьезный и оборачиваясь к гимназисту.— К этой ночи что́ недостает? Луну.

Чувствовалось, что он хочет рассказать что-то. И, правда, помолчав и не получив ответа, он вдруг спросил:

— Барчук, вы спите? Который теперь час будет?

Гимназист поднялся, вытащил из кармана панталон серебряные часы и при свете звезд стал разглядывать их.

— Половина одиннадцатого,— сказал он, горбясь.

— Ну вот, так я и знал,— весело и уверенно подтвердил Пашка, затиснув набок зубами крючок и закуривая от вонючего серника, загоревшегося в его сложенных ковшиком руках.— В аккурат в это самое время я человека прошлый год убил.

И гимназист сразу разогнулся, опустил руки — и точно окаменел на все время разговора. Он изредка подавал голос, но так, точно другой кто говорил за него. Потом все внутри у него стало дрожать мелкой ледяной дрожью, позывая на отрывистый, нелепый смех, и огнем стало гореть лицо.

II

Иван, как всегда, значительно молчал. Кирюшка совсем не интересовался тем, что́ говорили, лежал и думал свое — о гармонии, купить которую было его самой заветной мечтой. Долго молчал, лежа на локте, и Федот, сильный, плоский мужик, в начале лета казавшийся работникам чужим человеком по той причине, что носил он полушубок без талии, без сборок, вроде тех, что носят казанские татары. Чужим казался он и гимназисту. Насколько нравилось ему веселое спокойствие, ладность ухваток, загорелое лицо Пашки, настолько же не располагало его к близости лицо Федота, тоже спокойное, но ничего не выражающее, большое, пепельно-серое, морщинистое, с жидкими и всегда мокрыми от слюней, от трубки усами, с крупными отворотами белесых обветренных губ. Федот слушал внимательно, но не вставил в рассказ Пашки ни слова,— только чахоточно покашливал и поплевывал в солому. И сперва поддерживали разговор только пораженный гимназист да старик.

— Что брешешь пустое,— равнодушно сказал старик, услыхав хвастливое заявление Пашки.— Какого такого человека мог ты убить? Где?

— Глаза лопни, не брешу! — горячо отозвался Пашка, поворачиваясь к старику.— Прошлый год убил, на Успенье. Об этом даже во всех газетах писали, в приказе по полку и то было.

— Да где убил-то?

— Да на Кавказе, в Зухденах. Ей-богу! Конечно, брехать не стану, не я один убил, и Козлов стрелял,— наш же, елецкий,— эта благодарность не одному мне была, дивизии начальник, конечно, и ему спасибо сказал при всем фронте и прямо же нам по рублю наградил, но только я подлинно знаю, что это я его срезал.

— Кого его? — спросил гимназист.

— Да арестанта, грузинта этого.

— Стой,— перебил старик,— ты толком расскажи. Где вы стояли?

— Опять двадцать пять! — притворно-досадливо сказал Пашка.— Вот чудак, не верит ничему. Стояли мы в этих, в Новых Сеняках...

— Знаю,— сказал старик.— И мы там стояли восемнадцать дён.

— Ну, вот видишь,— значит, я не пустое брешу и могу тебе все это приблизительно рассказать. Мы там, брат, не восемнадцать дён, а цельный год семь месяцев стояли, а арестантов этих обязаны были до самых до Зухден препровождать. Арестанты эти были прямо что ни на есть самые главные проступники, бунтовщики, и, значит, всех их, десять человек, в горах поймали и к нам представили...

— Стой,— перебил гимназист,— а как же ты мне говорил, что не стал бы бунтовщиков стрелять, а скорее офицера, какой будет приказывать стрелять, застрелишь?

— А я и отцу родному не спущу, когда надо,— ответил Пашка, мельком взглянув на гимназиста и опять оборачиваясь к старику.— Я, может, и пальцем бы его не тронул, кабы он не задумал погубить нас, а он на хитрости пошел, и могли мы за него цельный год в арестанских ротах пробыть, а тут даже благодарность получили, немножко поумней его оказались. Ты вот послушай,— сказал он, делая вид, что говорит только со стариком.— Мы их честно-благородно вели. Озорства этого ничего с ними не делали, бить там, например, али прикладом подгонять... А один, худой этакий, малорослый, все идет и на живот жалится, до́ ветру все просится. Еле кандалами брянчит. Наконец того, подходит к старшо́му: «Дозвольте на телегу лечь». Ну, ему и дозволили, как путному. Только приходим в Зухдены. А ночь — хоть глаз выколи и дождь холит. Посадили мы их на крыльцо, стережем, у кажного, конечно, по фонарику в руке, а старшой в камеру отлучился, решетки в окнах пощупать: известно, затем, что целы ли, мол, не подпилены ли какой пилкой фальшивой...

— Обязательно,— сказал старик.— Он должо́н по закону все в исправности принять.

— Про то и толк,— подтвердил Пашка, опять торопливо пряча зажженный серник в руки, сложенные ковшиком.— Вот ты это дело знаешь, тебе и рассказывать интересно. Ну, пошел старшой,— продолжал он, давя спичку и пуская в ноздри дым,— пошел, осматривает, а мы стоим, клюем рыбу,— спать мочи нет как хочется,— а грузинт этот как вскочит вдруг да за́ угол! Он, понимаешь, значит, еще в телеге все это дело как следует обдумал, разрезал чем ни на есть ремень кандальный округ пояса, спустил кандалы с себя, подхватил вот так-то рукой,— Пашка нагнулся и, расставляя ноги, показал, как подхватил арестант кандалы,— да и дёру! А мы с Козловым, не будь дураки, фонари покидали и — за ним: Козлов тоже за́ угол, а я прямо наперерез. Бегу, а сам все норовлю поймать, где зук, где то есть кандалы его звенят,— дуро́м-то, думаю, и стрелять нечего,— наслышал, наконец того,— раз! Чую — мимо. Я в другой — опять, слышу, мимо. А Козлов лупит по чем ни попало, того гляди меня срежет... Взяло меня зло: ах, думаю, глаза твои лопни! — приложился, вдарил: слава тебе, господи, сорвался, слышу, зук, видно, упал. Выпустил еще два патрона в энто место, бегу, а он и вот он: на земи на заде сидит. Сел, руками уперся в грязь, зубы оскалил и храпит: «Скорей, говорит, скорей, рус, вдарь меня в это место штыком»,— в грудь, то есть. Я навесил с разбегу ружье — раз ему в самую душу... аж в спину выскочило!

— Ловко! — сказал старик.— Дай-ка затянуться разок... Ну, а Козлов-то где ж?

Пашка быстро, крепко затянулся и сунул старику окурок.

— А Козлов,— ответил он поспешно и весело, польщенный похвалой,— а Козлов бежит и не судом кричит: «Ай угомонил?» — «Угомонил, говорю, давай тушку тащить...» Взяли его сейчас за кандалы и поволокли назад, к крыльцу... Я его как жожку срезал,— сказал он, меняя тон на более спокойный и самодовольный.

Старик подумал.

— И по рублю, говоришь, наградил вас?

— Верное слово,— ответил Пашка,— прямо из своих рук дал, при всем полном фронте.

Старик, покачивая шапкой, плюнул в ладонь и потушил в слюне окурок.

Иван не спеша сказал сквозь зубы:

— А дураков, видно, и в солдатах много.

— Это как же так? — спросил Пашка.

— А так,— сказал Иван.— Ты что должон был делать? Ты должон был не волочь его, а послать с рапортом товарища, а сам с ружьем стать при мертвом телу. Теперь расчухал, ай нет?

III

Федот заговорил, когда все помолчали и побормотали: «Да-а... ловко...» — еще проще.

— А вот я,— начал он медлительно, лежа на локте и поглядывая на темную, неподвижно торчавшую перед ним на звездном небе фигуру гимназиста,— а вот я совсем задаром согрешил. Я человека убил, прямо надо сказать, из-за ничтожности: из-за козе своей.

— Как из-за козе? — в один голос перебили старик и Пашка.

— Ей-богу, правда,— ответил Федот.— Да вы вот послухайте, что за яд была эта коза...

Старик и Пашка опять стали закуривать и уминать солому, приготовляясь слушать. А Федот серьезно и спокойно продолжал:

— Из-за ней вся и дело вышла. Убил-то, конечно, ненароком... Он же меня первый избил... А потом пошла свара, суд... Он пьяный пришел, а я выскочил сгоряча, вдарил бруском... Да об этом что говорить, я и так в монастыре за него полгода отдежурил, а кабы не было этой козе, и ничего бы не было. Главная вещь, отроду ни у кого у нас не водилось этих коз, не мужицкое это дело, и обращенья с ними мы не можем понимать, а тут еще и коза-то попалась лихая, игривая. Такая стерва была, не приведи господи. Что борзая сучка, то она. Может, я и не захотел бы ее приобретать,— и так все смеялись, отговаривали,— да прямо нужда заставила. Угодий

у нас нету, простору и лесов никаких... Прогону своего у нас спокон веку не было, а какая мелочная скотина, так она просто по пара́м питается. Крупную скотину, коров мы на барский двор отдавали, а полагалось с нашего брата, мужичка, за всю эту инструкцию две десятины скосить-связать, две десятины пару вспахать, три дни с бабой на покосе отбыть, три дни на молотьбе... Сосчитать, сколько это будет? — сказал Федот, поворачивая голову к старику.

Старик сочувственно подтвердил:

— Избавь господи!

— А ко́зу купить,— продолжал Федот,— ну, от силы семь, али, скажем, восемь целковых отдать, а в напор она даст бутылки четыре, не мене, и молоко от ней гуще и слаже. Неудобство, конечно, от ней та, что с овцами ее нельзя держать — бьет их дюже, когда ко́тна, а зачнет починать, злей собаки исделается, зрить их не может. И такая цопкая скотина — это ей на́ избу залезть, на ракитку,— ничего не сто́ит. Есть ракитка, так она ее беспременно обдерет, всю шкурку с ней спустит — это самая ее удовольствие!

— Ты же хотел рассказать, как человека убил,— с трудом выговорил гимназист, все глядя на Пашку, на его лицо, неясное в звездном свете, не веря, что этот самый Пашка — убийца, и представляя себе маленького мертвого грузина, которого волокут за кандалы, по грязи, среди темной, дождливой ночи, два солдата.

— Да а я-то про что ж? — ответил Федот грубовато и заговорил немного живее.— Ты не можешь этого дела понимать, ты своим домом жить-то еще не пробовал, а за мамашей жить — это всякий проживет. Я про то и говорю, что этакий грех прямо из-за пустого вышел. Я из-за ней трех овец зарезал,— сказал он, обращаясь к старику.— Девять с полтиной за овец взял, а за нее восемь заплатил. Не дешево тоже обошлась... И опять же с бабой пошли кажный день скандалы. Взял, говорю, пустое, восемь за ко́зу отдал, ну, там кой-чего для хозяйства купил, кой-какую вещество, ребятенкам свистулек набрал, пошел домой, пер, пер, пришел к утру — глядь, полтинника нету: сунул, значит, в карман и посеял. Стала баба деньги считать — «Где ж, говорит, полтинник? прогло-

тил? Говорила тебе, дураку, тушками продать, а овчины себе оставить...» Слово за слово... Такой скандал пошел, не приведи господи! Она у меня такая, правду сказать, собака, во всей губернии поискать...

— Это своя допущенье,— деловито вставил Пашка.— Их не бить, добра не видать.

— Понятная дело,— сказал Федот.— Ну, одумалась, покорилась. А подоила козу, и совсем повеселела: хороша, правда, на удой оказалась, и молоко отличная. Мы было и обрадовались. Погнали в стадо. Дал я пастушатам на табак, поднес по чашке водки... а то они, сукины дети, бруха́ться приучают... Только ворочáется вечером стадо — смотрю, нету моей козе. Я к пастуху: почему нашей козе нету? А потому, говорит, пригнали мы стадо на лесной пар, зачала твоя коза с коровами играть, схватилась с быком: отойдет от него, разлетится, разлетится — раз его в кичку! До того его изняла, стал за коров от ней прятаться, а кинешься отгонять, она — шарк в овес... Мы прямо из сил выбились! А потом ушла, бегал за ней подпасок, весь лес выбегал, нигде не нашел,— как скрозь земь провалилась...

— Ну, правда,— яд коза! — сказал старик.

— Ха! — злорадно ответил Федот.— Да это еще что, ты послухай, что дальше-то будет! Как пропала эта самая коза, мы с бабой прямо очумели. Ну, думаем, каюк, попáнется она волку нá зубы. А того, понятно, и в голове не держим, что куда бы лучше было, кабы ее черти задрали. Кинулись наране в лес, кажись, живого места не оставили, все до шпенту объелозили — нигде нету! Затужил я бо-зна как, однако еду пахать,— как раз пахота подошла. Взял с собой хлебушка в платочке, положил под мéжу, пашу, а на другом бугре малый наш деревенский пашет — вдруг, слышу, кричит что-й-то, показывает рукой. Оглянулся я да так и ахнул: коза! Вытащила узелок, схватила в зубы, растрясла и стоит, дергает бородой, хлеб лопает... Кинул я поскорей соху — к ей. Я к ей, а она от мене. Я к ей, она от мене: отбежит, остановится, жует хлеб — и горюшка мало. И ведь такая веселая да умная стерва — за всем моим движением следит. А меня сердце на нее берет, очень хочется поймать, так бы, кажись, и расшиб ее! Сожрала хлеб и пошла: оберты-

вается, поглядывает, хвостом трясет,— ну, прямо насмешничает!

— Что и говорить, скотина беспечная! — сказал старик.

— Про что ж я-то говорю! — воскликнул Федот, поощренный сочувствием.— Я про то и говорю, что она прямо сокрушила нас! Тут и недели не прошло, стали все на меня обижаться, так, говорят, и живет коза твоя в мужицких хлебах, у меня у самого весь осьминник истолкла, все кисти с овса оборвала. Раз как-то зашла гроза, зачала молонья полыхать, опустился дождь — смотрю. несется моя белая коза, что есть духу, прямо к нам, орет не своим голосом — и прямо в сенцы. Я со всех ног за ей, зажмал ее в угол, затянул через рога подпояской, зачал ее утюжить... гром гремит, молонья жжет, а я ее деру, я ее деру! Должно, боле часу драл, верное слово. Посадил потом на варке, привязал на подпояске... да тот-то ее знает, либо подпояска была гнилая, либо еще что, только глянули мы наране — опять нету козе! Так, веришь ли, аж слеза меня со зла прошибла!

IV

Тон Федота стал так прост, сердечен, так полон хозяйственного огорчения, что никому бы и в голову не пришло, что это рассказывает о своем грехе убийца. Да и слушали его просто. Кирюшка неподвижно лежал вниз животом, с головой покрытый армяком, выставив из-под него толсто опутанные белыми онучами, в больших лаптях ноги. Иван, надвинув на лоб шапку, запустив руки в рукава, лежал на боку и тоже не двигался, молчал же строго и серьезно потому, что считал ниже своего достоинства интересоваться дураками. Ему так было мало дела, убийцы перед ним или нет, что он даже крикнул раз:

— Спать пора! Завтра домелете!

А Пашка и старик, полулежа и задумчиво перекусывая соломинки, только головами покачивали да порою усмехались: ну, правда, и зазнал горя Федот с козой! И Федот, видимо, считая себя уже оправданным этим сочувствием к его смешному и горькому положению, совсем

перестал стесняться отступлениями. И гимназист, стиснув зубы и от ветра, и от внутреннего холода, порою дико, с изумлением оглядывался: где он и что это за странная ночь? Но была все такая же, простая, знакомая, деревенская ночь, каких было много: темнело поле, черным треугольником вырезывалась в звездном небе рига, дул ветер по лозняку, за которым вспыхивали и пропадали звезды, доходило до лиц и рук прохладное дуновение с запахом мякины, шуршало в соломе и опять стихало... Глубоким сном спали, утонув в соломе белыми клубками, собаки... И страшное было только в том, что было уже поздно, что высоко поднялась с северо-востока кучка серебряных звезд, что глухо, по-осеннему шумит вдали темная туча дремотного сада, что блестят в звездном свете глаза на лицах разговаривающих...

— Да, братец ты мой,— говорил Федот,— истинно до слез меня довела! Сказывают мне, наконец того,— загнал ее мужик на Прилепах. Иду добывать, делать нечего, такой уж, видно, жребий мой. Прихожу на деревню, где ни гляну,— никого нету, все на работе. Едет мальчик за водой, вспрашиваю: где дом Бочкова? «А вон, говорит, где старуха в красной поневе под лозинкой сидит». Подхожу: «Это Бочков двор?» Махает мне старуха рукой, на варок показывает...

— Ошалела, значит, от старости,— вставил Пашка, так хорошо засмеявшись, что гимназист с изумлением и страхом оглянулся на него и подумал: «Да нет, не может быть — это он все наврал на себя!»

— Ошалела,— подтвердил Федот.— Только рукой махает. А я уж давно слышу, свинья на варке юзжит. Отворяю дверь в клетушку, где эта самая свинья сохраняется. Вижу, возит бабу здоровенная матка: навалилась на нее баба, держит одной рукой, другой из ведра на нее поливает. А свинья вся черная от грязи, возит ее, таскает, никак баба с ней не сладит, заголилась до самого живота. И смех и грех! Увидала меня, обдернула подол, ноги, руки, вся лицо в навозе... «Что тебе нужно?» — «Что нужно? По делу. Вы мою ко́зу загнали, держите приблудный скот, а объявление не делаете».— «Никакой, говорит, твоей козе мы не держим. Мы ее выпустили. Ее на барском дворе загнали». И смеется чего-й-то. Та-ак, думаю,

значит, опять моя дело табак. Ну, погоди ж ты! Вышел, пошел. Только зашел за соседний двор, повернул на стежку по конопям, откуда ни явись, мальчишка чей-то рыжий навстречу. «Ты за козой приходил?» — «За козой. А что?» Вдруг слышу, кричит баба за избой: «Кузьма, куда тебя закружило, глаза твои накройся?» — «Скорей, говорю, беги, вон мать с крапивой идет». А она и вот она — увидала его, бежит: «Не табе сказала за малым смотреть? А табе куда завихрило, такой-сякой?» Потом как вскинется на меня! «Ты чей?» — «А тебе, мол, что за дело?» — «Да нет, ты скажи, ты чей?» — «Старой транде казначей. Чего орешь? Я козу свою ищу».— «А, так это ты, глаза твои накройся, с своей козой спокою всему селу не даешь!..» И вижу вдруг — несется ко мне высокий мужик от рыги — без шапки, распояской, в сапогах. Набежал со всех ног: «Твоя коза?» — «Моя». Развернулся — как ахнет мне в ухо!

— Чисто! — в один голос воскликнули старик и Пашка, а гимназист даже взвизгнул: вот оно, самое страшное-то! Но Федот спокойно вытянул из-под себя полу полушубка и спокойно продолжал:

— Да, так огрел, аж в голове у меня зажундело. Я сгреб его за руки, вспрашиваю: за что? А тут уж народ бежит... Я при всех прошу просвидетельствовать это дело, опять вспрашиваю: что такое моя коза натворила? Оказывается, ребенка с ног долой сшибла, голову до крови проломила, рубаху сжевала, рожь истолкла. Чудесно,— подавай в суд, там и с меня спросят, и тебя не помилуют. Теперь-то, мол, елдак ты с меня возьмешь! Шапку надел и пошел поскорей на барский двор. Повеселел маленько: коза теперь, думаю, не уйдет, а взыскивать с меня ты теперь не можешь,— драться-то погодить было надо. Подхожу, вижу, едет на лошадке с подрубленным хвостиком мальчик в атласном картузике, с голыми руками, ногами, жокей называется. Лошадь подыгрывает, а он ее хлыстиком жиляет. «Здравия желаем, мол, дозвольте вспросить: у вашей милости моя коза?» — «А вы кто такой?» — «Хозяин этой козе».— «Ну, так ее мой папаша велел загнать». Расчудесное дело, иду дальше, взошел на барский двор, стоит, вижу, возле дома, на песочном току, карета четвериком,— лошади жирные,

рьяные. На крыльце лакей с двумя бородами. Выходит барышня взрослая в шляпке с лентами, вся лицо в кисее. «Даша,— кричит в дом горничной,— скажите барину, чтобы шел скорей. Он в манеже». Я к манежу. Вижу, стоит сам барин в мундире с зеленым воротом, а мальчишка на крыше сидит, запустил руку под пе́лену, ищет что-й-то. Должно, шкворцов, думаю себе. Ан нет,— воробьями занялся. Он глядит, кричит: «Лови, лови их, сукиных детей»,— а мальчишка ловит воробьят голых, вытаскивает и о́б земь бьет. Увидал меня: «Ты что?» —« Да вот, говорю, мою ко́зу ваш садовник на землянике прихватил. Дозвольте ее взять, убить».— «Уж это не в первый раз, говорит, я тебя оштрахую на два цалковых».— «Согласен, говорю, с вами, виноват, подписываюсь в этим. Такой грех, говорю,— у меня ее завсегда две девки стерегут, а вчерась, как нарочно,— пострел их знает, сырых грибов, что ль, наелись,— катаются, блюют, а жена-то, признаться, тоже не доглядела, в пуньке лежала, на крик кричала — рука развилась...» Надо ведь как-нибудь оправдываться. Рассказываю ему, какая у меня коза яд, как меня съездили по уху за нее,— смеется, подобрел. «Сколько, говорю, ни преследую, никак не поймаю, и так хотел у вашей милости порошку попросить да у огородника ружье взять, из ружья ее пристрелить». Ну, он и дозволил взять, а я тут же и пристукнул ее.

— Пристукнул-таки? — спросил старик.

— Обязательно,— сказал Федот.— «Ну, бери, говорит, только смотри с моими не смешай».— «Никак нет, говорю, я хорошо ее личность знаю». Пошли на варок, взяли пастуха Пахомку. Глянул я,— сейчас же и заметил ее через овец: стоит, жу́стрит что-й-то, косится на меня. Согнали мы с Пахомкой овец в угол поплочнее, стал я к ей подходить. Шага два сделал,— она сиг через барана! И опять стоит, глядит. Я опять к ей... Как она уткнет голову рогами в земь да как стреканет по овцам,— так те от ней, как вода, раздались! Взяло меня зло. Говорю Пахомке: «Ты ее подгоняй потише, а я, где потемнее, влезу на перемет, за рога ее перехвачу». А навозу на дворе страсть сколько, под самые переметы в иных местах. Залез я на перемет, лег, облапил покрепче, а Пахомка подпугивает ее ко мне. Дождался я, наконец того, пока она

под самый перемет подошла — цоп ее за рог! Как закричит она,— даже жуть меня взяла! Свалился с перемета, ногами упираюсь, держусь за рог, а она прет меня по двору, вытащила вон, рванулась... Глянул я, а она уж на крыше: вскочила на навоз, с навозу на крышу, с крыши — в бурьян... Слышим, зашумели собаки на дворе, подхватили ее, турят по деревне. Мы, конечно, выскочили — и за ней. А она летит, что ни есть духу, и прямо к крайней избе: там изба новая строилась, еще окна заложены были замашками и сенец нету, а положены к крыше наскосяк лозинки голые. Так она по ним на самый князек взвилась — взнесла ж ее вихорная сила! Подбежали мы поскорее, а она, видно, почуяла смерть — плачет благим матом, боится. Подхватил я здоровый кирпич, изловчился — да так ловко залепил, что она аж подскакнула, да как зашуршит вниз по крыше! Подбежали мы, а она лежит, дергает языком по пыли... дернет и захрипит, дернет и захрипит... А язык длинный, чисто как у змеи... Ну, понятно, через какой-нибудь полчаса и околела.

V

Помолчали. Федот приподнялся, сел и, согнувшись, разводя руками, стал медленно развивать оборки, которыми были опутаны его старые, все спускавшиеся онучи. И через минуту гимназист с ужасом и отвращением увидал то, что прежде видел столько раз совершенно спокойно: голую мужицкую ступню, мертвенно-белую, огромную, плоскую, с безобразно разросшимся большим пальцем, криво лежащим на других пальцах, и худую волосатую берцу, которую Федот, распутав и кинув онучу, стал крепко, с сладостным ожесточением чесать, драть своими твердыми, как у зверя, ногтями. Надрав, он пошевелил пальцами ступни, взял в обе руки онучу, залубеневшую, вогнутую и черную в тех местах, что были на пятке и подошве,— точно натертую черным воском,— и тряхнул ею, развевая, по свежему ветру нестерпимое зловоние. «Да, ему ничего не стоит убить! — дрожа, подумал гимназист.— Это нога настоящего убийцы! Как он страшно убил эту прелестную козу! Но Пашка! Пашка! Как он

мог так весело рассказывать? И с наслаждением: «Аж в спину выскочило!»

Вдруг, не поднимая головы, сумрачно заговорил Иван:

— Дураков и в алтаре бьют. А тебя-то, Постный, за эту козу задрать мало. За что ж ты ее убил? Ты бы продал-то ее. Какой же ты после этого хозяин, когда не понимаешь, что без скотины мужику нельзя быть? Ее ценить надо. Да будь у меня коза-то...

Он не договорил, помолчал и вдруг усмехнулся.

— Это вот в Становой была история, ну, правда что... Вот не хуже твоей козе, бык у барина Мусина завелся озорной. Прямо проходу никому не давал. Двух пастушат заколол, на чепь приковывали, и то срывался, уходил. Тоже вот так-то весь хлеб у мужиков истолок, а согнать никто не смеет: боятся, за версту обходят. Ну, рога, понятно, спилили, вылегчили... посмирнел. Только мужики припомнили ему. Как пошли эти бунты, так они что сделали: поймали его на́ поле, веревками обротали, свалили с ног долой... бить не стали, а взяли да освежевали дочиста. Так он, голый, и примчался на барский двор,— разлетелся, грохнулся и околел тут же... кровью весь исшел.

— Как? — сказал гимназист.— Кожу содрали? С живого?

— Нет, с вареного,— пробормотал Иван.— Эх, ты, московский обуватель!

Все захохотали, а Пашка, хохоча пуще всех, подхватил:

— Ну и разбойники! А ты так-то говоришь, миловать нас! Нет, брат, знать, без нашего брата, прохожего солдата, тут не обойдешься! Мы вот, когда после Сеняк под Курском стояли, так тоже смиряли одно село. Затеялись там мужики барина разбивать... И барин-то, говорят, добрый был... Ну, пошли на него всем селом, и бабы, конечно, увязались, а навстречу им — стражники. Мужики с кольями, с косами,— на них. Стражники сделали залп, да, понятно, дра́ло... какая там черт сила в этих мужланах! — а одна пуля и жильни ребенка на руках у бабе. Баба жива осталась, а он, понятно, и не пискнул, так ножками и брыкнул. Так, господи ты боже мой! — сказал Пашка, мотая головой и усаживаясь поудобней,— чего

только не натворили мужики! Все в лоск, вдребезги разнесли, барина этого самого в закуту загнали, затолкли, а мужик этот, отец-то этого ребенка, прибежал туда с этим самым ребенком, задохнулся, очумел от горя — и давай барина по голове этим ребенком мертвым охаживать! Сгреб за ножки — и давай бузовать. А тут другие навалились и, значит, миром-собором и прикончили. Нас пригнали, а уж он тлеть стал...

Тут неожиданно зашевелился и Кирюшка и с детской наивностью сказал, поднимая голову:

— А вот что было, когда Кочергина-барина разбивали... бяда! Я тогда в пастухах у него жил... Так они все зеркала́ в пруд покидали... Ходили потом с деревни купаться и все из тины их вытаскивали... Нырнешь, станешь, а она под ногой так и скользанет... А эту... как ее... фортопьяну в рожь заволокли... Мы, бывало, придем... — Кирюшка приподнялся и, смеясь, облокотился.— Мы придем, а она стоит... Возьмешь дубинку, да по ней, по косточкам-то... с угла на угол... Так она лучше всякой гармоньи играет!

Все опять засмеялись. Федот переобулся, опять аккуратно перекрестил онучи оборками и, оправившись, принял прежнее положение. И, выждав минуту молчания, размеренно стал досказывать свою историю:

— Да-а, шмурыгнул меня по уху да еще в суд на меня подал... за эти, значит, за все протери-убытки, за потраву. Звали его Андрей Богданов... Андрей Иванов Богданов. Рослый мужик, красный, худой, завсегда злой, пьяный. Ну, и подал на меня. Меня же огрел по́ уху и на меня же подал! Тут самая рабочая пора подошла, дохнуть некогда, а я при за пятнадцать верст... За то-то, видно, и покарал его господь...

Глядя в солому, глухо покашливая и обтирая ладонью свои плоские губы, Федот говорил все сумрачнее и выразительнее. Сказав: «Покарал его господь»,— он помолчал и продолжал:

— Дело-то на нет, понятно, свели. Помирили нас. Обоюдная, значит, обида. Но только он тем не пронялся. Помирился со мной, да тут же отшел, пьяный напился, стал грозить убить меня. При всех кричит: «Погоди, говорит, погоди, это я еще не пьян сейчас, а выпью, я тебя

утешу». Хочу от скандалу уйтить,— за пельки хватает... Потом на деревню к нам зачал ходить: придет, пьяный, под окна и давай меня матерко́м пушить. А у меня дочь взрослая...

— Неладно! — сочувственно крякнул старик и зевнул.

— Хороша лада! — сказал Федот.— Ну, вот и пришел под Кирики, вечером. Слышу, шумит по улице. Я встал, ни слова не говоря, ушел на двор, сел на борону, стал косу отбивать. А такая зло берет, аж в глазах темняет. Слышу — подшел к избе, буянит. Должно, стекла хочет бить, думаю себе. А он погамел и уж пошел было прочь. Тем бы и кончилось, может, да выскочила Олька, дочь моя... да и закричи не своим голосом: «Отец, караул, меня Андрюшка бьет!» Я выскочил с бруском от косе, да сгоряча — раз его в голову! А он и на́земь. Подскочили к нему, а он лежит, хрипит и уж слюни пускает. Прибежал народ, стали водой отливать... А он лежит и уж только икает... Может, тут надо было походатайствовать чем-нибудь... какой-нибудь примочки там приложить, али еще что... в больницу бы свезть поскорей, да доктору десятку, да где ее взять? Ну, он поикал, поикал, да и помер к ночи. Побился, побился, на спину запрокинулся, вытянулся и готов. И народ кругом стоит, смотрит, молчит. А уж огни зажгли...

Весь дрожа мелкой дрожью, с пылающим лицом, гимназист поднялся и, утопая по́ пояс в соломе, пошел по омету вниз. Борзая, испуганная им, вдруг вскочила и отрывисто брехнула. Гимназист опять сел в солому и замер. Шумел холодный ветер, над самой головой белела кучка холодных осенних звезд, а за бугром шелестевшей соломы слышался мерный, низкий голос Федота:

— Я в пуньке под стражей два́ дни сидел и все это в окошечке видел... как анатомили-то его. Сошелся народ со всех деревень, смотреть этого убиенца и меня, конечно, в том числе. Лезут под самую пуньку... Вынесли две скамейки на выгон, поставили под самой пунькой, положили на них убиенца. Под голова́ чурбан подсунули. Резаку и следователю стулья, стол принесли. Подошел резак, рубаху оборвал, портки оборвал — лежит, вижу, труп совсем голый, уж твердый весь, где зеленый, где желтый, а лицо вся восковая, красная борода редкая так и отделяется. На

причинное место резак лопух положил. Тут же, обыкновенно, ящик с разными причандалами. Подошел резак, разобрал ему волосы от уха к уху, сделал надрез и зачал половинки с волосами зачищать. Где отóнок, ножичком скоблит. Отодрал их на обе стороны, открыл одну, на нос положил. Стал виден черепок весь — как колгушка какая... А на нем пятно черная окол правого уха, черная сгущенная кровь,— где, значит, удар-то был. Резак говорит следователю, а тот пишет: «На таких-то сводах три трещины...» Потом зачал черепок кругом подпиливать. Пила не взяла, так он вынул молоточек с зубрильцем и по этому следку, где пилкой-то наметил, зубрильцем прострочил. Черепок так и отвалился, как чашка, стал весь мозг виден...

— Что делают, разбойники-живорезы! — хрипло заметил задремавший было старик.

А Федот твердо договаривал:

— Потом вынул толстый нож, стал резать грудь по хрушшам. Вырубил косяк, стал отдирать — трещит даже... Стало видать желудок весь, легкие синие, всю нутренность...

Глухой от стука собственного сердца, гимназист поднялся на ноги, во весь свой длинный рост, в картузе, сдвинутом на затылок, в легкой шинельке, которая была уже коротка ему. Серый, большой, страшный в своем монгольском спокойствии, Федот мерно говорил, держа трубку в зубах, но он уже не слушал его. Он во все глаза глядел на всех этих, таких знакомых и таких чужих, непонятных, всю душу его перевернувших в эту ночь людей. Жалкий в своем пороке и смиренности, в своей пастушеской первобытности, Кирюшка спал, покрывшись армяком, выставив из-под него толстую, в белых онучах, согнутую в колене ногу. Спал Иван с сумрачным, презрительным лицом, Иван, в черной землянке которого на краю голой деревни, в темноте и грязи, под низким потолком, под дерновой крышей, уже третий год лежит, умирает и все никак не умрет его страшная, черная старуха-мать, а зубастая, худая жена кормит темно-желтой, длинной, тощей грудью голопузого, сопливого, ясноглазого ребенка, с губами, в кровь источенными несметными избяными мухами. Спал крепким, здоровым сном, на свежем

ветру, счастливый Пашка, в своем солдатском картузе, тяжелых сапогах и новом полушубке. А старик Хомут, у которого нет даже полушубка,— есть только зипун с большой прорехой на плече,— у которого так низко висят всегда на дряблых ляжках истертые портки, сидел спиной к ветру, без шапки, голый по пояс. Он, старчески-худой, желтотелый, с косо-поднятыми плечами, с искривленным крупным позвоночником, блестевшим при свете звезд, сидел, наклонив лохматую голову, которую ерошил свежий ветер, согнув свою уже тонкую, всю в жестких морщинах шею, пристально осматривал снятую рубаху и, слушая Федота, порою крепко давил ногтями ее ворот.

Гимназист соскочил на твердую и гладкую осеннюю землю и, горбясь, быстро пошел к темному шумящему саду, домой.

Все три собаки тоже поднялись и, смутно белея, бочком побежали за ним, круто загнув хвосты.

Капри. 9—23. XII. 1911

ВЕСЕЛЫЙ ДВОР

I

Мать Егора Минаева, печника из Паже́ни, так была суха от голода, что соседи звали ее не Анисьей, а Ухватом. Прозвали и двор ее — окрестили в насмешку веселым...

Егор, как говорили в Пажени, весь выдался в Мирона, покойного отца своего: такой же пустоболт, сквернослов и курильщик, только подобрей характером.

— Сосед он хоть куда,— говорили про него,— и печник хороший, а дурак: ничего нажить не может.

Заработки у Егора всегда были плохи, надел не выходил из сдачи. Изба его, огромная, нескладная, с каждым годом все больше да больше сгнивала, разваливалась без призора. Раз он принес откуда-то и налепил снаружи на ее косой простенок, на трухлявые бревна, большую солдатскую мишень — черной краской напечатанное на белом бумажном листе туловище, с ружьем на плечо, в фуражке набекрень, с вытаращенными глазами. А вот поправить крышу, законопатить пазы, переложить печку, борова́ почистить — на это у него догадочки не хватало, и зимой в избе волков можно было морозить: по всем углам нарастала снежная опушка. Давным-давно по чурке растаскали бы все это тырло добрые люди. Да мешала Анисья.

Егор был белес, лохмат, не велик, но широк, с высокой грудью. Ходил Егор в облезлом, голубом от времени и тяжелом от пота, гимназическом картузе, в посконной рубахе с обитым, скатавшимся воротом, в обвисших, протертых и вытянутых на коленях портках, в лаптях, обожженных известкой. Всюду много и без толку болтал он, постоянно сосал трубку, до слез надрываясь мучительным кашлем, и откашлявшись, блестя запухшими глазами, долго сипел, носил своей всегда поднятой грудью. Кашлял он от табаку,— курить начал по восьмому году,— а глубоко дышал от расширения легких, и когда дышал, все раскрывалась, показывалась в продольную прореху во́рота бурая полоска загара, резко выделявшаяся на мертвенно-бледном теле. Уродливы были его руки: большой палец правой руки похож на обмороженную култышку, ноготь этого пальца — на звериный коготь, а указательный и средний пальцы — короче безымянного и мизинца: в них было только по одному суставу. Но ловко мял он этими тугими култышками золу в хлюпающей трубке, кашлял надрывисто, но даже с наслаждением как будто: «А-ах, так-то его так!» Глядя на него, не верилось, что бывают матери у таких хрипунов и сквернословов. Не верилось, что Анисья мать его.

Да и нельзя было верить. Он белес, широк, она — суха, узка, темна, как мумия; ветхая понева болтается на тонких и длинных ногах. Он никогда не разувается, она вечно боса. Он весь болен, она за всю жизнь не была больна ни разу. Он пустоболт, порой труслив, порой, с кем можно, смел, нахален, она молчалива, ровна, покорна. Он бродяга, любит народ, беседы, выпивки,— сём, пересём, лишь бы день перешел. А ее жизнь проходит в вечном одиночестве, в сиденье на лавке, в непрестанном ощущении тянущей пустоты в желудке и непрестанной грусти, с которой она уже сроднилась: «Земля забыла меня, грешную!» Единственным оправданием такой забывчивости была, по мнению Анисьи, необходимость стеречь, сохранять для Егора избу: все думала,— авось, уж не молоденький, авось, образумится, женится. Нежно и сладко туманили ей голову мечты об этом несбыточном счастье. А он постоянно твердил: «До́веку не женюсь! Теперь я — вольный казак, а женишься — журись о жене. Да пропади

она пропадом!..» Он не признавал ни семьи, ни собственности, ни родины.

Наняться куда-нибудь, работать мешала Анисье, помимо избы, еще и та беда, что очень слаба была она, да и крива вдобавок. Много лет ходил по лавке возле нее, по лавке, на которой провела она столько долгих дней, старый черный с золотом петух: она сидит и думает, подпирая тонкой рукой щеку, а он похаживает, клюет мух по мутным, собранным из кусочков стеклам. Раз сунулась она к окошку,— кто-то ехал по деревне с колокольчиками,— а петух как стукнет в левый глаз ее! И глаз вытек, впалые веки стянуло, осталась одна серая щелочка... Прежде сеяла она коноплю на огороде, брала замашки, мяла пеньку: все был доходишко. Но Егор и огород сдал. Прежде на поденщину принимали ее — к мелкому помещику Панаеву, что в версте от Пажени. Да стали обижаться девки,— «старый черт работу отбивает!» — стали наговаривать приказчику, будто все у нее, со́слепу, из рук валится, стали тайком всовывать краденые из барского сада яблоки в тот платочек, в который, идя на работу, завязывала она свой завтрак — горбушку черствого хлеба...

Замуж вышла Анисья рано,— рано одна на свете осталась. Любить Анисье в молодости некого было. Но и не любить не могла она. С несознаваемой готовностью отдать кому-нибудь душу выходила она за Мирона,— тоже печника, вольноотпущенного дворового,— и любила его долго, терпеливо, затем, что, скинув вскоре после свадьбы от побоев, долго лишена была возможности на детей перенести свою любовь. Во хмелю Мирон бывал буен. Дело известное: трезвый ребенка не обидит, а напьется — святых вон выноси. Бьет стекла, гоняется за сыном и женой с дубинкой. «Ну, опять у Минаевых крестный ход пошел! — говорили соседи, радуясь такой забаве.— И веселый же двор, ей-богу!» Когда нехотя просил он прощенья, протрезвившись, скоро сдавалась она на ласковое слово, только тихо говорила сквозь слезы: «Что ж, над тобой же будут люди смеяться, если калекой меня сделаешь!»

Все же, после смерти Мирона, даже такое прошлое стало казаться счастьем Анисье. Да, когда-то были и молодость, и семейная жизнь, и хозяйство у нее; был муж,

были дети, были радости и горести — все как у людей... Двадцать лет тому назад замерз Мирон,— ни с того ни с сего увязался пьяный за чужим обозом в Ливны,— и много ночей провела она без сна, сидя в темной избе на конике, вспоминая и думая; но никто не узнал ее дум. Всех умерших детей оплакала она горькими слезами, но оплакала тоже тайком, в одиночестве. Нищета, разорившая дотла ее двор, часто заставляла ее кланяться соседям, просить у них помощи ради сироты-сына, пока мал он был; но никогда не насмеливалась она напоминать людям, что в былое время помогала и она им. И вышло так, что в Пажени никому и не верилось, что жила она когда-то по-людски. Чаяла она отдохнуть хоть в старости, за сыном. Мужик он вышел добрый,— на словах только бесстыж и горяч, не то, что отец покойник. Руки у него золотые, говорила она, еще как жили-то бы, не брось он дома!

Нынешней зимой даже Пажень удивил Егор: всего могли ждать от него, но только не того, что вдруг бросит он свое дело, и ни с того ни с чего,— вот как Мирон за чужим обозом,— уйдет, всем на посмешище, в золотари в Москву. Но и в Москве пробыл он бе́з году неделю. Думала порой Анисья, в самое сердце пораженная вестью об его уходе, что, быть может, ради ее вечного голода, ради хорошего заработка, с затаенною целью поправить свою жизнь ушел Егор. Но вот он внезапно вернулся,— оборванный, без копейки денег; ночевал три ночи дома, но и двух слов путных не сказал ни с соседями, ни с матерью,— был какой-то, хоть и не скучный, а рассеянный; даже не сумел объяснить толком, зачем шатался в Москву,— сказал только: «Да ай велика беда?» — и опять исчез.

В мае нанялся он караулить Ланско́е, лес помещика Гурьева, что от Пажени верстах в пятнадцати. Положили ему отвесно́е только да три рубля в месяц. А что такое три рубля? То купи, другое купи... на спички даже не хватает... И, нанявшись, Егор совсем перестал помогать матери.

В Петровки, доев последнюю корку занятого с великим трудом хлеба, решилась она наконец побывать в Ланском, повидаться с сыном, проведать его, а главное,

хоть малость подкрепиться. Доедала она хлеб с большой осторожностью — и все слабела, слабела. Не в меру стало клонить в сон, рябить в глазу, звенеть в ушах; стали пухнуть ноги, стала томить неотвязная мечта: поесть чего-нибудь горячего, с солью. Боязно было сказать себе: пойду. Да надоумили, разговорили, настроили прохожие. Зашли они напиться — старушка и молодая; ходили в Гурьево, поминать умершего. Старушке умерший был сыном, молодой — мужем. И вот все трое разгрустились, разговорились о своей женской доле, о мужьях, сыновьях. Молодая,— крупная, с большим бледным лицом и большими серыми глазами навыкат, хорошо и нарядно одетая — в новую корсетку из коричневой сермяги со сборками назади, в красную шерстяную юбку и полсапожки, с черной бархаткой, украшенной белыми пуговками, на шее,— та все молчала. Старушка, сухонькая, чистенькая, устало-оживленная, говорила без умолку, а молодая за все время только раз, просто и не спеша, вставила свое слово: когда старушка запнулась, запамятовала город, куда угнали в солдаты ее меньшого сына.

— Три недели тому назад схоронили, сударушка,— ласково говорила старушка Анисье.— Съездил в город, был ужасный веселый, а приехал домой, погнал лошадей в ночное, двух десятин до Щедринского хутора не догнал,— мы через Щедрина, через его поле скотину-то гоняем,— воротился. Пришла я с холстами, вижу, лежит он на печи, полушубком накрылся... «Умираю, говорит, мамаш, заболел я. Погнал вчерась в ночное, двух десятин до Щедринского рубежа не догнал — понесло на меня вроде как холодом, ознобом, насилу назад дошел, ноги подламываются...»

Анисья вздохнула, и на глаз ее навернулась слеза. «Дитя-то хоть криво, а матери ро́дной все мило,— подумала она и вздохнула от грустной нежности к сыну.— Пойду, была не была, авось не чужая...» А старушка продолжала, вытирая углы тонких, сморщенных, стянутых в оборочку губ худыми твердыми пальчиками:

— Что тут, ягодка, делать? Дала я ему две просвирки, одну заздравную, другую за упокой. Съешь, говорю, сынок, може, полегчает. На третий день он и кличет меня: «Мамаш, добре́ нынче день хорош, поводите меня, а то

тут, в избе, дух чижелый». Повели мы его на гумно, посадили на солому, сами отлучились на минутку — бо́цу стричь. Немного годя приходим, а он уж и голову уронил, едва дышит: раньше лицо красная, как сукно, была, а тут уж ото лба белеть стала. Приподняли мы его, а он уж кончился. Не дождался, значит, нас...

И Анисья задумалась. Растроганная беседой, умиленная материнской нежностью, материнскими горестями, стала она советоваться с прохожими, как ей быть: идти или нет? Если уж идти, так не лучше ли с умом идти: не затем только, чтобы проведать, а чтобы на все лето остаться? Вон, говорят, он теперь отвесное получает; а ведь при отвесном и она прокормится,— авось не объест, много ль ей и надо-то...

Старушка сказала:

— Да ведь как сказать? — не угадаешь, как лучше, сударушка. Мой-то Тихон не пример другим. Уж такой степенный был, один в свете разумный и задумчивый! А послышишь кругом,— правда, не те сыновья ноне пошли, не чета моему, вероломные... Ну, а все-таки я бы пошла. Мой сгад — иди.

— Он не может не кормить матери,— прибавила молодая.

И Анисья повеселела.

— Ну, ин, пойду,— сказала она нерешительно.— Ведь он только скучлив у меня, а никто плохого не скажет,— не драчун, не пьяница. Вот только дома не любит сидеть... А мне голодно, да и скука съела. Иной раз думаешь: хоть бы захворал, что ли, все бы дома пожил... Мужик он добрый, да, конечно, рабочий человек, обидчивый. У меня одна душа, у него другая. Придешь, думается, а он ну-ка обидится...

Проводив прохожих, она долго оглядывала пустую избу: нельзя ли продать что? Но все богатство ее состояло в старой укладке, где хранился единственный подарок Егора,— погребальный платок, купленный в монастырской лавке в Задонске, большой белый коленкоровый платок, весь усеянный черными черепами, сложенными крест-накрест черными костями и черными надписями: «Святый боже, святый крепкий...» Грех продавать такую вещь, да и жалко, правду сказать: принес Егор свой

подарок с искренним желанием порадовать мать, выпивши... Ну, да сам же виноват, думала она,— забыл мать, до крайности довел. А бог милостив, он видит нужду: похоронят и без платка, с бедной старухи на том свете не взыщется... И пошла продавать платок. Тонет в хлебах, в лозняке Пажень. Одна кирпичная изба богача Абакумова далеко видна. Она на фундаменте, под железной крышей, с разноцветными мальвами, с палисадником. В воскресенье пошла Анисья к Абакумову. Абакумов зорко оглядел платок своими татарскими глазками, кликнул мать, сумрачную толстую, отекшую старуху в ватной кофте и валенках.

— Что ж просишь? — медленно выходя из избы, исподлобья оглядывая крыльцо и горбясь, неприветливо спросила старуха.

Анисья, чувствуя недоброе, стала хвалить платок, показывать товар лицом — накинула его на плечи, прошлась. Абакумов, подумав, положил «два орла» — гривенник; потом, усмехнувшись, прибавил еще пятак — «за манеру». Анисья покачала головой и пошла домой, даже не сняв с себя платка. А дома, сидя в этом трауре, долго разглядывала его концы своим единственным глазом, что-то обдумывая. Потом облокотилась на стол, уже ничего не думая, а только слушая звон в ушах... В пазах стола застряло когда-то порядочно пшена. Она наковыряла с полгорсти, съела. Потом спрятала платок в укладку, легла на большие голые нары возле большой треснувшей печки, когда еще не смерклось путем, говоря себе: надо поскорее заснуть, а то не дойдешь, надо выйти пораньше да уходя не забыть запереть укладку, закрыть трубу на случай грозы...

Продумав всю ночь сквозь сон что-то тревожное, неотступное, просучив ногами,— жгли их блохи, жиляли мухи,— заснула она крепко лишь под утро. Проснулась, когда уж ободнялось — и болезненно обрадовалась дню, тому, что она жива, что идет в Ланское, начинает какую-то новую, может, хорошую жизнь... Бог милостив — чувствовать себя на белом свете, видеть утро, любить сына, идти к нему, это — счастье, сладкое счастье... Изнутри приперла она дверь в сенцах однозубым рогачом, воткнув его в землю, нашла в углу палку, испачканную воробьями, перелезла через обвалившуюся стену... По зеленому

выгону, возле пруда, к которому ковыляли приказчиковы гуси, длинными серыми полосами лежали белившиеся холсты. Машка Бычок, конопатая, здоровая девка, навалив по свернутому, мокрому, тяжелому холсту на каждый конец коромысла, шла навстречу, вся виляясь, мелко перебирая белыми крепкими ногами по зелени. Анисья подумала: слава богу, с полным навстречу...

Весь май, весь июнь перепадали дожди. Хлеба́ и тра́вы в нынешнем году чудесные. Путаясь худыми ступнями и поневой по межам, заросшим травой и цветами, меряя палкой стежки среди ржей, овсов и гречи, радовалась, по привычке, Анисья на урожай, хотя уже давно не было ей никакой пользы от урожаев. Ржи были высоки, зыблились, лоснились, только кое-где синели васильки в них. Выметались и тускло серебрились тучные, глянцевитые стеблем овсы. Клины цветущей гречи молочно розовели. День был облачный, ветер дул мягкий, но сильный,— усыплял пчел, мешал им, путал их, сонно жужжащих, в ее кустистой заросли, обдавал порою запахом гретого меда. И то ли от ветра, то ли от этого запаха томно кружилась голова. Шла Анисья стежками, межами, чтобы сократить дорогу, но, когда миновала панаевские лощины и выбралась на противоположную гору, вышла в чистое поле, откуда далеко видно,— вплоть до станции на горизонте,— сообразила, что дала крюку.

С самого выхода из дому чувствовала она, что надо обдумать главное: дома ли Егор, застанет ли она его? И все отвлекалась, все не могла собраться с мыслями. Теперь две горлинки, шагах в десяти друг от друга, по одной линии, мелко и споро бежали перед нею вдоль аспидной дороги и мешали думать. Она долго, пока не поднялись они, не могла понять, что это такое: горлинки совсем под цвет дороги, только спинки с брусничным отливом. Они женственно, игриво семенили, потом легко взлетели, распустив серые хвосты с белой каемкой, и опять сели, опять побежали. Анисья махнула на горлинок палкой: затрепетал легкий свист крыльев, но не прошло и минуты, как опять увидала она их, бегущих быстро и однообразно. Они мучили, утомляли ее, но и трогали своей красотой, беззаботностью, нежной привязанностью друг к другу. Сколько лет ее черно-зеленой, клетчатой

поневе, грязной, истлевшей на высохшем теле рубахе, темному, в желтом горошке платку? Старость, худоба, горе так не идут к красоте горлинок, цветов, плодородной земли, забывшей ее, нищую старуху,— и она болезненно чувствовала это. Она опять неловко и робко махнула на горлинок. Горлинки взлетели — и она постояла, выждала, пока они скрылись...

Она бодрилась, но клонило в сон. Идти по убитому колесами проселку еще легче, чем по мягким стежкам, ступать босыми ногами по теплой земле так сладко. Но махали, махали по горизонту крыльями несуществующие мельницы. А поднимешь глаз на облачное небо — плывет, плывет стеклянный червячок, плывут стеклянные мушки, и никак не поймаешь, не задержишь их на месте: только остановишь взгляд, а червячок уж соскользнул куда-то — и опять плывет кверху, скользит, поднимаясь, и множатся, множатся мушки... Она замедляла шаг и переводила дух: «Ой, не дойду! Потише надо...» И опять шла, и опять, сама того не замечая, начинала спешить...

Теплый ветер, дувший с юга, в бок, нес над простором серо-зеленых равнин песни жаворонков, аромат цветочной пыли. Мягко, густо и нежно синели дальние деревни, перелески. Вон в далекой дали справа, за полями и верхами, видна церковь Знаменья, родного и уж давно забытого села. Вон налево, еще дальше, за Воргольскими лугами — бедные степные деревушки: Каменка, Сухие Броды, Рябинки... Небо загромождали огромные, но легкие и причудливые, лилово-дымчатые облака. Они собирались по горизонтам в синеватые тучки, и туманно-голубыми полосами опускался из них дождь. А невидимые мельницы все махали и махали крыльями даже и в этих полосах... Разве лечь, подремать? Но нет, нельзя: после отдыха еще труднее идти и работать, она хорошо знает это по долгому опыту. Да вон и едет кто-то... Показалась впереди тройка. Она стала разглядывать ее и оживилась. Тройка, вся в медных бляхах, в дорогой наборной сбруе, приближалась медленно, сдерживая игривую силу. Гнедой коренник, высоко задрав голову, шел шагом, темно-ореховые пристяжные, изгибая лоснящиеся шеи и почти касаясь раздутыми ноздрями дороги, плыли. Прищурив глаза, завалившись в задок тарантаса, ленился молодой кучер, в

плисовой безрукавке, в соловой рубахе, в городском картузе, в замшевых рукавицах... Какой-то особый вид у этих гладких, барских лошадей, какой-то особый вкусный запах у этих тарантасов: мягкой кожи, лакированных крыльев, теплой колесной мази, перемешанной с пылью... А вот начинается зелено-оловянное гороховое поле, тоже барское. От тройки Анисья перешла на межу, покосилась на горох, проводила глазом приподнятый задок тарантаса... Да нет, горох еще и не наливался. Кабы налился, наелась бы досыта — и не увидал бы никто! И, сморщив лицо, поглядела Анисья на небо, туда, где чувствовалось за более светлыми и теплыми облаками солнце: должно, едет кучер к часовому поезду на станцию,— у людей обеды на дворе...

Она забыла о мельницах — мельницы стали махать тише. Она шла и шла; межа, вся усыпанная белыми цветами, бежала ей под ноги, белые точки цветов дрожали. А где-то разнообразно, весело ругались бабы — перебивали друг друга звонкие бабьи голоса. Она ясно слышала каждый из них, даже с некоторым удовольствием следила за их изменениями, скороговорками, вскрикиваниями. Но внимания на них не обращала,— дело привычное слушать эти несуществующие голоса! — думала свое, что попало, все еще не будучи в силах собраться подумать о Егоре: думала то о муке какой-то, у кого-то занятой да так и не отданной, то о том, что вчера у соседки теленок сжевал весь подол рубахи, висевшей на плетне, то о своей близкой смерти... «Постыдилась бы, постыдилась бы!» — звонко кричали бабы.— «Надо сесть»,— отвечала им Анисья мысленно и все дожидалась кем-то назначенного для отдыха места. Кем оно назначено? Богом? «Нет, сыном, Егором!» — крикнул кто-то. Она вздрогнула, мотнула головой, прогоняя дремоту...

И по меже, и во рву под межою — всюду пестрели цветы. Чувствуя, что не добиться ей до назначенного места, Анисья села на первое попавшееся. Бабы смолкли. «Хорошо!» — подумала она. И с задумчиво-грустной улыбкой стала рвать цветы; нарвала, набрала в свою темную грубую руку большой пестрый пук, нежный, прекрасный, пахучий, ласково и жалостно глядя то на него, то на эту плодородную, только к ней одной равнодушную землю, на

сочный и густой зелено-оловянный горох, перепутанный с алым мышиным горошком. Бабы молчали, мельницы исчезли. Теперь она плыла, плыла, как тот стеклянный червячок по воздуху. Вон вдали, в горохе, шалашик для сторожа, пока еще пустой: залезть бы в него и — спать... Ветер нес над полями убаюкивающие трели жаворонков, убегала в поля зеленая межа. Не мало росло на ней ромашки, золотой куриной слепоты, бархатисто-лиловых медвежьих ушек, малинового клевера. Прикрывая глаз, Анисья щипала остинки то из медвежьих ушек, то из клеверных шапочек: тошнило, пекло губы, а в остинках были свежие капельки горького меду. Вдруг сердце замерло,— холодом облила голову, отняла плечи, заныла в них и по всему телу прошла та жуткая, как бы предсмертная, тошная волна, что накатывает на человека, высоко вознесшегося на качелях, вдруг сорвавшегося и летящего вниз. Переломив себя, вскочила Анисья с межи, с примятого во влажной траве места, и почти побежала. До дрожи в руках и ногах захотелось застать сына, что-то сказать ему, перекрестить на прощанье...

За горохом пошли пары. Мужики пахали их. Она слабо крикнула, верно ли, что влево поворот в Гурьево, а направо в Ланское? «В Ланское!» — тоже криком отозвался большой босой старик, расстегнувший под своей первобытно-густой бородищей ворот длинной рубахи, подоплека которой чернела от пыли и пота.— «А напиться, ро́дный, нечего?» Он, шатаясь, оступясь в борозде, подошел в это время с сохой к меже и, обивая блестящую палицу о подвои, остановился. «Можно»,— сказал он. Она подняла с межи кувшин, заткнутый шапкой, и припала к воде, косясь на ступни старика. Он был страшен, похож на лешего или болотного: огромная голова, зеленовато-желтые кудлы, такая же борода, фиолетовое конопатое лицо и совсем зеленые глаза, свирепо сверкавшие из-под косматых и редких бровей; ступни же его — цвета свеклы — напоминали сошники. Но сразу видно — редкой доброты человек... Она напилась, хотела спросить, нет ли хлебушка,— и не смогла, не сумела...

Теперь она вспомнила места. Оставалось до Ланского версты две, и она не спускала гла́за с большого дерева, одиноко белевшего стволом среди моря выколосившейся

пшеницы близ лесной опушки,— со старой березы, круглившейся своей вершиной, серебристой от ветра, на облачно-дымчатом небе. За пшеницей, за березой показался шелковистый березовый кустарник, темно-зеленый. Место тут степное, ровное, кажется очень глухим: ничего не видишь, кроме неба и бесконечного кустарника, когда входишь в Ланское. Везде буйно заросла земля, а уж тут прямо непролазная чащá. Трáвы — пó пояс; где кусты — не прокосишь. Пó пояс и цветы. От цветов — белых, синих, розовых, желтых — рябит в глазах. Целые поляны залиты ими, такими красивыми, что только в березовых лесах растут. Собирались тучи, ветер нес песни жаворонков, но они терялись в непрестанном, бегущем шелесте и шуме. Еле намечалась среди кустов и пней заглохшая дорога. Сладко пахло клубникой, горько — земляникой, березой, полынью. Анисья спешила, спотыкаясь, путаясь в цветах и травах. Вот и караулка. Но висит на ее дверке большой рыжий замок. И, увидав его, Анисья вдруг сморщила лицо и заголосила.

Но голосить на бегу было трудно. Заколотилось сердце, стало жарко, слезы мешали видеть. И она остановилась. Кругом — полынь, лопухи, крапива, в крапиве — избенка без крыши. Из лопухов вылез кобель, черно-седой, серо-усый, с гноящимися глазами, с обрубленным хвостом и обрубленными, в кровь разъеденными всякой мошкарой ушами. Он поднял эти обрубки и глухо забрехал — каким-то особым, лесным брехом. Она стала и не двигалась с места, глохла от стука собственного сердца. Кобель поглядел на нее — и смолк, отвернулся. И долго оба стояли в нерешительности: он не знал, продолжать ли брехать, она — подходить ли?

— Егорушка! — слабо крикнула она.

Никто не отозвался. Кобель подумал и брехнул еще раз. Потом опустил свои обрубки — и голова его стала круглой, доброй, жалкой. Помахивая толстым, коротким хвостом, он подошел к Анисье, глянул в ее глаз. «Э, да и ты стара! — равнодушно сказал его взгляд.— Ну, нам с тобой делить нечего... А Егора нету...» И, отойдя, кобель рассеянно поднял заднюю ногу на куст мелких ярко-желтых цветов и, не сделав ничего, лег, раскрыл, по привычке, пасть и часто задышал, мотая головой, отбиваясь

от липнущей к уху серо-лимонной мухи. И опять стало скучно, тихо и глухо кругом. Бежал по кустам шелковистый шум и шорох, однообразно и хрустально звенела в них овсянка, жалостно цокали и перелетали с места на место, с былинки на былинку серенькие чекканки, точно ища и все не находя чего-то. Караулка была необыкновенно мала и ветха; вместо крыши рос по ее потолку высокий бледно-серебристый бурьян. Шатаясь, плача, шурша по лопухам, Анисья подошла к дверке, пошарила по притолке,— нет ли ключа. Не нашла — и догадалась: отогнула дужку замка́,— он, конечно, был не заперт,— и потянула за скобку, перешагнула высокий порог...

Есть — об этом даже думать не хотелось. Все плыло вокруг нее, смутно и горячо разговаривало. Через силу она осмотрелась все-таки — и убедилась, что нигде нет ни единой крохи хлеба. Потом, положив пук увядших цветов на кое-как сбитый из старой доски и свежих березовых кольев столик, косо стоявший в углу на ухабистой синей земле, села на лавку возле столика и без движения просидела до самого вечера. Она тупо ждала чего-то — не то сына, не то смерти,— сонно глядела на гнилые стены, на полуразвалившуюся печку. Слабый свет проникал в окошечко над столиком. Дальше, где было другое, без рамы, заткнутое полушубком, клоками грязной овчины, сгущался сумрак. В сумраке прыгали по земле маленькие лягушки.

«Либо мне мерещится?» — подумала Анисья — и пригляделась: нет, не мерещится, самые настоящие лягушки...

Весь потолок прорастал грибками — часто висели они,— тонкие стеблем, как ниточки, вниз бархатистыми шляпками,— черными, траурными, коралловыми,— легкими, как тряпочки, обращавшимися в слизь при малейшем прикосновении. Разве поесть? Нет, помрешь — и растащут тогда соседушки избу в Пажени по бревнышку... А больше есть нечего. Махоточка стояла на подоконнике, прикрытая дощечкой. Она подняла ее: в махоточке загудела большая страшная муха; поднесла дощечку к глазу, стала разглядывать: так и есть, образок. Греховодник Егор, за то-то и не дает ему бог счастья! Она перекрестилась, с трудом подняв руку, поцеловала дощечку и положила ее на столик; подумала, вспомнила, что умирает,—

и еще раз перекрестилась, заставляя себя выразить во вздохе и особенно медленных, истовых движениях руки всю покорность свою богу, все свое благоговение перед славой и силой его, все надежды свои на его милосердие... На загнетке раскрытой печки, на куче золы лежала сковородка с присохшими к ней корочками яичницы: видно, Егор из птичьих яиц делал,— скорлупа-то возле сковородки валялась пестрая. Анисья подумала: чем спасается, батюшка, вроде хорька живет! Все сильнее клонило в сон, в бред, бежала под ноги дорога вместе с тройками и горлинками... Анисья откидывала назад голову — и на минуту приходила в себя, прогоняла видения и ту тревожную зыбкость, в которую все глубже погружалась она. Ветер сонно и глухо шуршал вокруг стен, в крапиве, проносился по бурьяну на потолке. В окошечко виднелись сонно качающиеся верхушки кустов — бледные на меловато-свинцовом фоне туч. Темнело, наступал вечер...

Она понимала, что заходит дождь, шумит ветер, доносит однообразно повышающийся и понижающийся звон кустовой овсянки: ти-ти-ти-ти-ти-и... Где-то томно кричали молодые грачи: тоже к дождю, к вечеру... Но, все понимая, она спала, спала — и умирала, и воображение ее, чуждое ей, неудержимо работало. Ах, да ведь Егор идет на ярмарку,— надо догнать его! И она видела ярмарку. Там гомон, говор, скрип телег, ржание лошадей, народ валит валом — и все пьяный, страшный; бьет, гремит оркестрион на каруселях, кру́гом летят на деревянных конях девки в красных басках и ребята в канареечных рубахах — и от этого тошнит, мутит... Жарко, тяжко, а Мирон, молодой, веселый, со сдвинутой на затылок шапкой, продирается к ней через толпу, несет целый узел гостинцев — рожков, сусликов, жамок — и не дает ей допить бутылку квасу, только что откупоренную квасником, стариком, пахавшим пар; Мирон кричит: «Запрягай скорей, надо Егорку догнать!..» Вот какой ты, Мирон, говорит она ему, никогда-то не жалел ты меня в молодости, а теперь вот и смерть пришла... в поле ветер, тучки, дождь мелкий, девки картошки копают,— нет, Миронушка, видно, надо лечь поскорей... Как лунатик, шатаясь, шепча, поднялась Анисья с лавки, вытянула из окошка полушубок,

свернула, кинула на лавку, в изголовье... В тазу ныло и дрожало, сердце так замирало, что, казалось, поминутно виснет она в воздухе, что нет у нее ног, есть только туловище, как у того страшного солдата, что чернеет на избе в Пажени. Поспешно, стараясь не упасть, легла она и закрыла глаз. Лавка плавно полетела в пропасть...

Она спала, умирая во сне. Лицо ее, лицо мумии, было спокойно, бесстрастно. Прошел дождь, вечернее небо очистилось, в лесу, в полях все смолкло. Вечерний мотылек трепетно-беззвучно поплыл в воздухе. Стали видны в сумраке по земле только белые цветы. Сзади караулки мелким красивым узором черно́ зеленели верхи кустарника — на оранжево-алой мути, переходившей выше в прозрачно-лимонную, легкую пустоту. Против караулки, на бесцветном, пепельном небе стояла полная, ясная, но не яркая луна, еще не дававшая света. И глядела она прямо в окошечко, возле которого лежал не то мертвый, не то еще живой первобытный человек. В другое, без стекла, без рамы, дул теплый ветер...

II

Егор в детстве, в отрочестве был то ленив, то жив, то смешлив, то скучен — и всегда очень лжив, без всякой надобности. Раз он нарочно объелся белены — насилу молоком отпоили. Потом взял манеру болтать, что удавится. Старик-печник Макар, злой, серьезный пьяница, при котором работал он, услыхав однажды эту брехню, дал ему жестокую затрещину, и он опять, как ни в чем не бывало, кинулся месить ногами глину. Но через некоторое время стал болтать о том, что удавится, еще хвастливее. Ничуть не веря тому, что он давится, он однажды таки выполнил свое намерение: работали они в пустом барском доме, и вот, оставшись один в гулком большом зале с залитыми известкой полом и зеркалами, воровски оглянулся он, в одну минуту захлестнул ремень на отдушнике — и, закричав от страха, повесился. Вынули его из петли без чувств, привели в себя и так отмотали голову, что он ревел, захлебывался, как двухлетний. И с тех пор надолго забыл и думать о петле.

Он рос, входил в силу, становился мужиком, хворал, пьянствовал, работал, болтал, шатался по уезду, только изредка вспоминая о заброшенном дворе и о матери, которую почему-то называл своей обузой; жизнь, как ни бестолково мотал он ее, очень нравилась ему, и если находили на него минуты усталости, разбитости и той душевной мути, когда он говорил: «Белый свет не мил мне!» — то ему и в голову не приходило, что есть тут связь с его мальчишеской болтовней о самоубийстве. И так он дожил до тридцати лет, до той зимы, когда ни с того ни с сего ушел он в Москву, связавшись нечаянно с отправлявшимися туда золотарями.

Из Москвы возвращался он пьяный и возбужденный. Чувствуя всю нелепость своей поездки и как бы приготовляясь к тому отпору, который он даст всякому, кто будет называть его золотарем, он до копейки пропился в дороге, вылезая на каждой станции и нахально проталкиваясь в толпе к буфету. И вот тут-то, сидя в мотающемся, мутном от дыма вагоне, он, чуть ли не впервые после истории в пустом барском доме, стал опять болтать то, что болтал когда-то, стал доказывать соседям по лавке, мужикам-пильщикам, что он должен удавиться. И опять никто не дал веры его словам, и опять, проспавшись, забыл он о своей болтовне.

Дома, в родных местах, после Москвы, после той непривычной жизни, которой жил он там, после пьянства и возбуждения в дороге, все показалось ему так буднично, что у него даже пропала охота отбрехиваться от насмешливых расспросов, зачем это путешествовал он в Москву. Вид своего разрушающегося двора, вид сильно изменившейся, высохшей и странно-тихой, слегка шальной матери, не произвел на него никакого впечатления. Нехотя прожив дома трое суток, пошел он в Гурьево, на барский двор,— проситься в караульщики в Ланское. Был солнечный мартовский день, дорога сперва таяла, потом,— когда солнце склонилось на безоблачном небе к закату и золотой слюдой заблестели под ним снежные поля, а к юго-востоку позеленела легкая и прозрачная даль,— стала дорога подмерзать, приятно хрустеть под лаптями и приятно, покойно, в лад с этим долгим, ясным и покойным днем, чувствовал себя и Егор. Он поднялся на изрезанную

ледяными колеями блестящую гору в селе, вошел на барский двор. Солнце мирно, уже по-весеннему, догорало против него, за рекою; по-весеннему возились и трещали воробьи в золотисто-зелено-серых прутьях, в кустах сирени возле барского дома, четко рисовавшегося белизной стен и бурой железной крышей на зеленоватом небе. На крыльце стояла горничная и вытряхивала самовар. Господ дома нету, сказала она, в город уехали; не то приедут нынче к вечеру, не то нет... И Егор как-то сразу увял, почувствовал тоску; постоял среди розовеющего двора в нерешительности и побрел в людскую. В людской крепко пахло кислыми щами; на лавке возле стола сидел работник Герасим, черный грубый мужик, прикреплял кнут к кнутовищу и бранился с своей женой, Марьей, примостившейся на нарах возле печки, с ребенком на руках. Егор вошел, тряхнул головой и сел. На поклон ему ответили, но браниться не бросили. Ребенок драл ручонками кофту матери, ища грудь; Марья, маленькая, смуглая, не спуская блестящих глаз с мужа и не замечая попыток ребенка, говорила, и Егор скоро понял, что брань началась из-за бритвы, принадлежащей брату Марьи, из-за того, что Герасим кому-то дал эту бритву.

— Свою прежде наживи,— говорила Марья, блестя злыми глазами.— Тогда и давай, когда наживешь. Побирушка, черт!

— Я с тобой никаких делов иметь не хочу и разговаривать не стану,— твердо и размеренно отвечал Герасим, раздувая ноздри.— Скандалу не смей затевать: у людей праздник завтра.

— Рот ты мне не смеешь зажимать,— говорила Марья со смелостью человека, сознающего свою правоту.

— Молчи лучше,— отвечал Герасим, стараясь удержаться на твердом тоне.

— Не форси, авось тебя не боятся!

— Погоди, девка, побоишься! Авось заступников-то немного!

— Что ж, поплачу да спрячу. Пешего сокола и галки дерут. Не новость...

Егор, привыкший шататься по чужим избам и жить чужими жизнями, любивший скандалы, любивший слу-

шать брань, сначала заинтересовался и этой бранью. Но вдруг и от брани стало нудно ему...

— Что-й-то Москва-то скоро прискучила! — сказала Марья, напоминая мужу его поездку в Москву, поездку, столь же нелепую, как и поездка Егора, хотя и не столь позорную, так как Герасим ездил искать места на конке.— Что-й-то скоро заявился! Видно, вас таких-то не мало там околачивается!

— Ты лучше, сука, за своим делом смотри,— ответил Герасим.— Ты вон какой кулеш-то сварнакала к обеду нонче? Свиньям, что ль, месила? Так ведь тут не свиньи обжорные!

— За мной гаять нечего,— отозвалась Марья.— Ты лучше за своей Гашкой, за своими шкурами, любовницами гляди.

Егор хотел солгать, какая редкая и дорогая была у него бритва,— и поленился, промолчал. Он поднялся с места и подумал: «А бесприменно удавлюсь я! Ну их всех... куда подале!..» Он медленно подошел к Герасиму, закуривавшему цигарку, потянулся к нему с трубкой. Не глядя на него, тот подал почти догоревшую спичку. Егор, обжигая пальцы, закурил и стал у двери.

— Гашка-то небось чуточку поболе твоего работает! — говорил Герасим, не зная, что сказать.

— Авось и мне за тобой, за чертом, не сладко,— отвечала Марья.— Десять лет ворóчаю!

— А-а! Ишь актриса какая!

— Одних картох по три чугуна трескаете! Весь живот на чугунах сорвала...

Егор не дослушал и вышел.

Весну и начало лета он провел в Ланском. Определенность положения сперва радовала его. Вечно думать о том, будет ли заработок, вечно шататься, искать этого заработка и, как-никак, гнуть хрип — это уже порядочно надоело. А тут работы никакой, спи сколько угодно, жалованье и отвесное идут да идут... Но и дни шли — и все больше становились похожи друг на друга, делались все длиннее да длиннее; нужно было убивать их, а в лесу, в одиночестве как их убьешь? И, ссылаясь на то, что у него на плечах мать-старуха, больная и голодная, Егор повадился на барский двор выпрашивать жалованье и

отвесное вперед, а выпросив, пропивать и то и другое с приятелем, гурьевским кузнецом. Он чувствовал теперь нечто вроде того, что чувствовала последнее время Анисья: зыбкость во всем теле, неопределенную тревогу и особенную беспорядочность в мыслях. В сумерки он стал плохо видеть, стал бояться приближения сумерек — было жутко в этом молчаливом кустарнике: всюду, где реял вечерний сумрак, представлялся еле видный, неуловимый в очертаниях, но оттого еще более страшный, большой сероватый черт. И черт этот не спускал с Егора глаз, поворачивал за Егором голову, куда бы ни шел Егор. И так как казалось, что это он, черт, заставлял вспоминать о петле, о перемете, о толстых сучьях старой березы в пшенице, то стала страшна и давнишняя, прежде бывшая такой простой, мысль о петле. И Егор совсем забросил лес — стал и дневать и ночевать в Гурьеве. На людях, даже тогда, когда он только что выходил из этих глухих степных мест, буйных хлебов и кустарника на дорогу в село, сразу становилось легче.

Вот и в тот день, когда шла в Ланское Анисья, побрел Егор в Гурьево. От ягод сильно знобило по вечерам, он знал это. Но есть хотелось — и, выйдя из избы, он долго лазил на коленях по кустам, по цветам и травам, долго ел землянику и клубнику, иногда очень спелую, иногда совсем зеленую, твердую... Потом не спеша пошел в село.

«Главная вещь — хлебушка надо разжиться», — думал он, выходя из леса за час до того, как прийти туда Анисье.

Где он будет разживаться, он не знал, да мало и надеялся на разживу. Но ведь надо же было оправдать свой уход из леса. И впрямь, плохи были его дела насчет хлебушка. «Ну, да плохи не плохи, авось не первая волку зима!» — говорил он себе, разлато ступая по дороге лаптями, сося трубку, кашляя и глядя вдаль запухшими, блестящими глазами.

Гурьево село большое, старинное, с просторными выгонами, с двумя мельницами,— водяной и ветрянкой,— стоит на реке, тонет в целых рощах лозняка, осинника, и грачей в этих рощах — несметные тысячи. «Такого села,— говорил Егор,— ни в одной Америке не найдешь!» — Перед вечером, когда он подходил к селу, над селом прошумел

не долгий, но сильный ливень, как видно, не первый за день. Ярко чернели дороги среди зеленой муравы по выгону, на котором слева, возле барской усадьбы, стояла старая церковь, обитая жестью, возле церкви — новое кирпичное училище, посредине — мирской хлебный амбар, гамазей, а справа — тяжкий ветряк и уютный двор мельника. Дул ветер, но крылья ветряка неподвижно простирались в облачном небе. Всегда серые, они были теперь темны, сыры. С крыши гамазея падали капли; мальчишки, что стерегли лошадей по зеленой мураве, сидели под гамазеем в мокрых зипунах.

«Чудеса,— думал Егор, направляясь к ветряку и обсуждая, как всегда, то, что случайно попадет в голову.— Бесперечь тут дождь. Место привольное, для огородов, к примеру сказать,— клад чистый...»

Еще рано было, а уже гнали разбегающееся по выгону пестрое стадо. Предвечернее солнце проглянуло на минуту далеко за селом, за речной долиной, как раз против училища, блеснуло на новой, похожей на цинковую, крыше его, на золоченом кресте церкви, сделало стадо еще пестрее и опять потухло, скрылось в облаках. Церковь в Гурьеве грубая, скучная, какая-то чуждая всему, училище имеет вид волостного правления, ветряк неуклюж, тяжел, работает редко. Буднично шумели, гамели без толку грачи в лозняке по речке. Бежало, ревело и блеяло стадо, перекрикиваясь, гонялись за овцами бабы с накинутыми на голову подолами... Там, в Ланском, в караулке без крыши, среди глухого кустарника, цветов и бурьяна, умирала замотавшаяся до последнего, смиренная мать Егора. А он стоял зачем-то среди выгона в Гурьеве, думал, что попало, ждал зачем-то, пока прогонят стадо. Стадо прогнали — и он долго глядел на двух спутанных мокрых лошадей, щипавших траву и тяжело перепрыгивавших с места на место спутанными передними ногами. Передвигая трубку из угла в угол рта, тяжело дыша, кашляя и сплевывая, он рассеянно водил глазами по выгону, мысленно ругал дураком церковного старосту, обившего старую каменную церковь жестью, глядел на гамазей. Прижавшись к стене гамазея, сидели на большом белом камне мальчишки в мокрых, рваных зипунах. Возле них стоял жеребенок-третьяк. На него капало с крыши: сверху он был темный,

снизу светло-рыжий, сухой... Егор невесело усмехнулся и, скользя, разъезжаясь по грязи лаптями, побрел к избе мельника.

Как всегда, хозяева не обратили на Егора никакого внимания. И, как всегда, это нисколько не смутило его. Он перешагнул порог избы, тряхнул, в знак привета, головой, своим гимназическим картузом, плоско лежавшим на белых кудлах, и сел на нары, стал насыпать трубку едкой махорочной пылью, вывертывая истертый кисет. Старик-мельник гнулся на лавке возле стола, тупо, упершись ладонями в лавку, глядел на руки своей молодой, беременной бабы, Алены, просевавшей над столом муку. Алена слывет в Гурьеве красавицей за свою крепость и белое коровье лицо. А сам мельник мал и лыс, головаст, безобразен. Он богат, а полушубок на нем рваный, засаленный, темный,— резко выделяется новый оранжевый рукав этого полушубка. Нос у него похож на мухомор, большие открытые ноздри стали от нюхательного табаку темно-зелеными и бархатными. Глядя на муку, серой пылью сыплющуюся из-под решета, он равнодушно спросил Егора:

— Что, ай соскучился в лесу-то?

— Что ж мне скучать,— не спеша ответил Егор.— Дело есть в селе...

И, сошмыгнув с нар, подошел к загнетке, открыл заслонку и пó пояс залез в темную жаркую глубь печки.

— Нуждишка есть,— глухо крикнул он оттуда, вытаскивая своими култышками раскаленный уголь из золы и забивая его в трубку.

Алена, подсевая, ловко хлопая решетом в ладони и тряся широким задом, через плечо покосилась на Егора. «Всю печку выстудит, родимец!» — подумала она. Но Егор, хорошо знавший такие думы, принял, выбравшись из печки, самый беззаботный вид. И, затягиваясь, растравляя себе ноздри едким запахом и жаром горящего осинового угля и с мучительным наслаждением кашляя, опять спокойно уселся на нарах. «Ай уйтить? — думал он рассеянно.— Да черт с ними, посижу еще маленько... Жрут, жрут, по два раза на неделю хлебы ставят и все не облопаются»,— рассеянно думал он, глядя то на хлебную дежу возле печки, прикрытую старым армяком, то на желтоватую атласную муку, что длинной горкой, вроде крышки

гроба, росла на столе, то на Алену. Толстые руки ее, засученные по локоть, были запорошены мукою; на пальцах блестели медные и серебряные кольца. Подол шерстяной красной юбки Алена подняла и заткнула за пояс, толстые ноги в мужицких сапогах, черневших под серой рубахой, поставила твердо и, немного отвалясь назад, выставляя свой страшный живот, мерно трясла задом.

— Хлебушка я не наживусь у тебя полкраюшечки? — спросил Егор, сплевывая слюну, постоянно набегавшую на его белесые от голода и трубки губы.

Алена промолчала. Анютка, ее девочка с лихорадкой на губах и веером подстриженными на лбу жесткими волосами, все лезла, наваливаясь на стол, пальчиком проводя в муке полоски. Промолчав на вопрос Егора, Алена вдруг звонко щелкнула девочку в лоб ладонью. Девочка отвалилась, шлепнулась на лавку и заголосила.

— Сказала, ня налягай на муку! — крикнула Алена своим грубым однодворческим голосом.

— А вот я ее ножиком сейчас зарежу,— сказал, входя в избу, Салтык, молодой работник, в овчинной куртке и белом фартуке, только что приехавший с поля, где он подкашивал опушку обитого градом овса.

И стал вешать на стену, на деревянный костыль, вбитый между бревнами, тяжелый новый хомут с белыми гужами и недоуздок, на блестящих удилах которого зеленела наеденная лошадью травяная пена.

Вид у Салтыка, недавно отбывшего солдатчину, был самодовольный, лицо, в полубачках, загорелое, приятное, грудь широкая, солдатский картуз сдвинут на затылок. На груди фартука были крупно вышиты красные буквы. И Егор, которому Салтык только кивнул слегка, подумал:

«Верно, Аленка и вышивала. Да и девчонка, конечно, его. Недаром же болтали, что он ее еще до солдатчины управился обдергать. Дурак мельник! Я бы с ней шкуру спустил да на пяло растянул!»

Он, сипя, носил грудью, показывая в прореху обитого ворота бурую полоску загара на мертвенно-бледном теле. Бледно было и отекшее лицо его. Он был тяжко болен, но чувствовать себя больным давно вошло в привычку, он не обращал на это ни малейшего внимания. Нисколько не обижало его и то, что на него, больного, голодного, даже

и посмотреть внимательно никто не хочет. Не испытывал он и злобы к Алене, когда думал: «Я бы ее шкуру на пяло растянул»,— хотя растянуть мог бы. Но глухое раздражение не только против этого богатого и скучного двора, но и против всех гурьевцев, все-таки сидело в нем, томило и заставляло думать что-то такое, что не поддавалось работе ума, досадно вертелось в голове, как стертая гайка. Он уже давно освоился с тем, что часто шли в нем сразу два ряда чувств и мыслей: один обыденный, простой, а другой — тревожный, болезненный. Спокойно, даже самодовольно думая о том, что попадется на глаза, что случайно взбредет на ум, часто томился он в это же самое время и тщетным желанием обдумать что-то другое. Он завидовал порой собакам, птицам, курам: они небось никогда ничего не думают! Теперь ему и хотелось и не хотелось сидеть у мельника. Да что делать-то, если не сидеть, куда идти? В лес, в кустарник, в сумерки, где всюду мерещится этот серый черт?

Алена зажгла над столом висячую лампочку, загоревшуюся бледно-зеленым огнем: еще светло было за окнами. Салтык не спеша достал из кармана порток плисовый кисет, не спеша свернул и загнул крючок, икнул и, пропустив в стекло лампочки соломину, закурил, сел на лавку.

— Подсевай, подсевай,— кинул он Алене, затягиваясь.— Что-й-то пирожка хочется.

— А рожна ня хочется? — спросила Алена, говоря с Салтыком тем особым, как будто грубым тоном, каким говорят при народе только с любовниками.

— Их, пироги-то, надо уметь с умом печь,— сказал Салтык, далеко сплевывая.— Надо тебе каталог выписать. Когда я в Тифлисе служил, так там хозяйкина дочь завсегда выписывала каталог, по какому все можно приготовить. Вот и ты — пошли в Москву письмо, вложи в него марку семь копеек и напиши: так, мол, и так, вышлите мне всех возможных каталогов.

— И то правда,— отозвался старик.— Ты, известно, все знаешь: где какие жители, где какие города...

Егор покосился и подумал: «Какие города! Много он, дурак, знает, окромя своего Тифлису! Вот я бы ему порассказал...» Ему очень захотелось спора, в котором он вышел бы и умнее, и толковее, и бывалее Салтыка. Но на-

мерение попросить хлеба и еще что-то, чего он не мог определить, связывало его, всегда смелого и болтливого, ставило в тупик — и перед кем же! — перед мужиками, которых он даже и сравнивать никогда не хотел с печниками, плотниками, малярами! Он только независимо откашлялся и, насасывая потухшую трубку, притворяясь рассеянным, стал слушать: что-то еще сбрешет Салтык?

— Как же мне не знать! — сказал Салтык.— Да я не то что, я, как осень, беспременно опять туда! Там сейчас самая колбня идет,— сказал он, мельком взглянув на Алену и усмехнувшись.— Да ей-богу: веселье, гулянье — кажный божий день, с восьми утра до двух ночи. Особливо в курсовых, в Пятигорске, в Кисловодске, в Висинтуках...

— Значит, скучать не имеют права,— вставил старик и достал из кармана полушубка тавлинку.

— Ну, только там с деньгами хорошо,— продолжал Салтык, не слушая старика.— Без денег туда лучше и не показывайся. Там только вино ничего не стóит. Там кажный грузин аграмадный виноградник имеет. Везут на базар в бочках — так и плескается.

— Имеют капитал добывать его, вот и плескается,— сказал Егор.— Авось, и это дело знаем не хуже твоего,— пробормотал он, чувствуя, что его опять начинает ломать, знобить, и неотступно думая о полушубке, которым он совершенно напрасно заткнул окно в караулке вместо того, чтобы надеть его, догадаться, что к вечеру после дождя будет прохладно.

Но Салтык не обратил внимания и на это замечание.

— Там, брат,— говорил он, неизвестно к кому обращаясь,— какие бульвары, сады! Сад князя Чалыкова на три кавадратных версты тянется! Только из одного плохо: там, ночь пришла, без бурки ни шагу: стыдь. А в горах завсегда снег, круглый год не переводится...

«Дурак! — подумал Егор.— Без бурки! А спроси его, какая такая бурка — ни елды, кислая шерсть, не знает...» Бурка, она, брат, медвежья, иде ты мог ее заметить? — неожиданно для самого себя сказал он вслух.

И закрыл глаза. «Скука теперь в моем блиндаже... И напрасно, едрена мать, не взял я полушубка!» — подумал он, глядя на зеленый огонь лампочки, на лиловеющий

воздух за окнами, в которые сек опять набежавший дождь, и вспоминая однообразный звон кустовых овсянок, жалостное цоканье чекканок.

— По горам там везде стёжки проделаны,— говорил Салтык.— Черкес какой-нибудь разнесется... летит, скачет — как только голова цела! А глянешь нá горы издали — как тучи заходят. Опять же из девок не плохо. Там к девкам пойтить — по таксе, за всход тридцать копеек. Ты вот старый человек, а она тебя может кажная раскипятить.

— Нет, теперь не гожусь,— отвечал старик, двигая плечами, почесывая их ерзающим полушубком.— А раньше я, правда, до девок враг был! Мог с ними хорошо обойтиться.

Егор ухмыльнулся и хотел было рассказать, как один печник бобровым стручем опоил, отуманил, обольстил генеральскую дочь,— рассказать и дать понять, что печник этот был не кто иной, как он сам. Но перебила Алена.

— Будя, бряхучий! — крикнула она тем притворно-злым тоном, которым здоровые бабы, имеющие старого мужа, прикрывают свою любовь к щекотливым разговорам.— Будя, бястыжий! Старый человек, а що бреша! Табе вон на кладбишшу поместье давно готова! Двух жен похоронил!

— А я что? — сказал старик.— Я ничего.

— Народ там красивый, не унижённый,— продолжал Салтык.— Есть старики по сту лет живут...

Егор и на это хотел возразить: живут-то живут, а на кой черт, спрашивается? Но опять его перебили.

— Ну, об этом ты оставь! — сказал старик.— Взять хоть к примеру меня такого-то; живу я семьдесят годов, шашнадцать человек своей крови похоронил, а прожил бы дó ста лет, от меня опять пошли бы плоды... Где ж тогда жить? И то народу развелось до гибели, а тогда прямо ели бы друг друга, как рыба в море. Вот приходил ко мне старик с того боку — сто пять, говорит. А уронил шапку — поднять не может.

— Это барский-то? Какой табе! — весело крикнула Алена.— За водой еще сам ездит! Скоропостижнай дед!

— Не хуже моей старухи,— сказал Егор.— Животолюбивая старуха! А я ее корми, журись об ней...

— А вот говорят же умные люди,— сказал старик,— можно, говорят, век прожить, а как умрешь, не будешь причинен ни тлению, ни прению. Только, говорят, не надо разгорячительной пищи есть. Я когда у господ жил, так там барчук был, на доктора учился. Был он мне дорогой приятель и, бывало, часто сказывал, будто кажный человек может свое тело захолодить, и, как помрет, тело тлеть не будет, а будет в воздух улетучиваться.

— Ну, это зря брешут,— возразил Салтык.

— Книги, значит, доказывают.

— Книги! — ухмыльнулся Салтык.— Ни ж можно с холодной хровью жить?

Егор, обиженный равнодушием, каким встречено было его замечание о матери, опять вмешался и на этот раз уже совсем смело.

— А рыба? — спросил он.— Может же она с холодной кровью жить и распложаться?

Салтык повернул к нему голову.

— Та-ак! — сказал он насмешливо.

И вдруг решительно заговорил:

— Рыба! Да ты погляди, как она, рыба-то, ныряет, козлекает в воде! Ухитришься ты так-то? Ты вон мелешь — она с холодной кровью, а выложи ее на́ берег: улетучится она ай нет? Никуды она не может улетучиться!

Егор внезапно разгорячился.

— А я так скажу,— крикнул он,— а я тебе скажу, что нашему брату, рабочему человеку, нельзя без горячей пищи! Ты вон мурло наел, тебе хорошо брехать! А я без пищи захворать могу! Я, может, кабы сыт-то был...

— Ну, и вышли оба дураки! — закричал и старик, поднимаясь.— Терпенья у нас не хватает, вот и не можем захолодить! А вы гляньте, как святые-то, угодники-то, какие богу-то угожали да не ели, не пили, как они-то делали? Как Ларивон-то святой делал? Мог же он три года одной редькой питаться?

— Значит, по-твоему выходит, и моя старуха святая будет? — крикнул и Егор, выхватывая трубку изо рта.— Она вон тоже не ест, не пьет... У нас вон даже и редьки твоей нету...

— Постойте,— сказал Салтык,— погодите лапить-то!

И, обернувшись к старику, неожиданно принял сторону Егора:

— Значит, и мы с тобой могли бы святыми исделаться? Охолодили бы свое тело, налопались редьки, да и вся недолга?

— Да будя вам бряхать-то! — громче всех закричала Алена, бросая решето.— Га́лманы!

— Да и правда! — подхватил старик.— Бога-то попомните! Он, брат, за такия речи не спускает нам, дуракам!

Алена с нахмуренным лицом подошла к нарам и, косясь на утирку, па которой сидел Егор, дернула ее и злобно крикнула:

— Пусти-ка-ся! Уселся на ширинку — и горя мало! Нябось, и домой пора, нечего до ужина досиживать!

— Это не твоя забота,— возразил Егор,— я и сам свою время знаю. Ужин твой мне без надобности, а балакать ты мне не можешь запретить. Вот посижу еще маленько и пойду...

Дождь прошел, вечернее небо очистилось, в селе было тихо, избы темны: до Ильина дня не вздувают огня летом, ужинают перед избами, на камнях, в полусвете зари. Выйдя от мельника, Егор остановился, даже спросил себя: не вернуться ли в Ланское? — и повернул в село, в ту большую улицу, что тянется между дворами по косогору над речкой. В полусвете зари, вокруг камней у порогов сидел народ без шапок, хлебая из деревянных чашек кто тюрю, кто молоко. Но Егор, проходя мимо и косясь, плохо различал лица ужинающих: в глазах рябило, по телу проходил озноб, в мыслях была тревожная беспорядочность. Очень хотелось ему обдумать то, о чем спорили у мельника: все чепуху говорили там, один он мог бы сказать что-нибудь путное, если бы ему не мешали разобраться в мыслях. Очень хотелось решить и еще что-то — неотложное, самое что ни на есть главное... Но что? Голова его усиленно работала. Тифлис мешался в голове с рыбой, Салтык с Анисьей, вопрос о том, можно ли ничего не есть и захолодить свое тело, нельзя было решить потому, что не давала покоя злоба против Алены, ее широкого зада и однодворческого говора. И Егор торопливо шел по улице, боясь, что не застанет кузнеца дома, что кузнец ляжет спать, что опять не удастся ни поговорить всласть,

ни доказать, что у мельника все чепуху говорили... Но кузнец был дома.

Кузнец был горький пьяница и тоже полагал, что умней его во всем селе нет, что и пьет-то он по причине своего ума. Разве ему кузнецом бы быть! Он всю жизнь не мог примириться со своей долей, люто презирал село и холодно-зол бывал в трезвом виде, свиреп становился, если ему удавалось попить дня три-четыре подряд. Он ходил тогда с колесным ключом в руке, затевал скандалы с каждым встречным, гоготал под окном лавочника, певшего по праздникам в церкви, вызывая его на состязание в пении. А не то шел в училище экзаменовать мальчишек по закону божию и грозил учительнице на месте убить ее ключом за единую ошибку. С похмелья он бывал угнетен. В таком положении и застал его Егор.

Он сидел возле кузни, на косогоре над речкой, над плесом, против водяной мельницы. Слабо алел закат за нею, там, где сходился с темной землей прозрачно-зеленоватый небосклон. Еще светло было над плесом, сталью лежавшим по лугу. Но тот берег, где мельница, был уже совсем темен: только по отражениям в плесе можно было догадаться, что там деревья. И, сидя возле кузни, поставив локти на колени, думал кузнец о том, как глупы были наши генералы во время войны с японцами. Вот, например, в такой вечер... что́ стоило японцам вплотную подойти к нашим войскам? Небось генералы-то наши, умники-то эти, глядели в свои подзорные трубы за речку, на берег, в темноту, где ничего не видно, когда надо было глядеть вовсе не туда, а в реку, где отражается каждое дерево и все светлые пролеты между деревьями... Мысль эту кузнец немедля высказал Егору, как только тот подошел и сел на косогор рядом с ним. А Егор, обрадовавшись, что у кузнеца есть табак, что кузнец с похмелья и думает, значит, вовсе не о генералах, поглядывал по сторонам, кашлял и ждал, когда наконец додумает кузнец свою думу. Как и у Егора, мертвенно было тело у кузнеца, рубаху которого все заворачивал сзади ветер, рубаху ситцевую, но очень ветхую, прожженную, в мелких дырочках. Был и кузнец лохмат, но не так, как Егор, а так, как бывают лохматы мастеровые, рабочие. Страшно черны и маслянисты были его волосы, его борода,

смугло и маслянисто лицо, болезненно перекошены брови и блестящи глаза. Дул ветерок, темневшая река рябилась; кузнеца трясло. Но вдруг он встал и, наступая сапогом на сапог, начал быстро разуваться, раздеваться.

— Ай ты очумел? — крикнул Егор, со страхом глядя на тощее меловое тело, забелевшее в полусвете зари, когда кузнец, взъерошив волосы, сдернул с себя рубаху.— Ай ты очумел? Да у тебя сердце зайдется в воде в этакую стыдь!

— Вона! — крикнул кузнец хриплым басом.

И вдруг загоготал, скинув штаны вместе с подштанниками и разбегаясь, чтобы шаркнуть в воду:

— Бла-го-сло-ви, вла-ды-ко-о!

Он хорошо знал, что ледяная вода мгновенно даст ему решительность, находчивость. В воде, и впрямь, зашлось у него сердце, но он не дал ему поблажки: он фыркал, нырял, плавал... Не попадая зуб на зуб, выскочил он на берег, неловко и торопливо натянул штаны на мокрое тело, влез в рубаху и, влезая, твердо сказал Егору, что околевать он не намерен, что его душа дороже колес. А каких колес — этого Егору не надо было пояснять: он мгновенно сообразил, что лежат у кузнеца чьи-то колеса, присланные в починку, и что надо как ни можно скорее захватить передки и бежать к мельнику, тайком торгующему водкой, чтобы заложить их ему. И не прошло и получаса, как уже сидел Егор с кузнецом в кузне, возле маленькой жестяной лампочки, поставленной на горн, рядом с бутылкой и горшочком холодной пшенной каши, за оживленной беседой о том, можно ли, питаясь одной редькой, попасть во святые, можно ли заходить свое тело, чтобы не тлело оно после смерти...

А во втором часу ночи, при заходящем за тускло блестящими хлебами месяце, Егор, шатаясь и размахивая руками, быстро входил в Ланское. Точно упругие волны несли теперь его тело. Роса серебрилась по мокрым, пахучим, густым цветам и травам. Сильней всего пахло любимым растением Егора — полынью. Длинно темнели тени от кустарников, блестевших верхушками под опускающимся к югу месяцем. И пóлосы света и теней среди них создавали что-то сказочное для пьяных глаз, сказочно-светла была далекая даль за кустарниками, за полями,

над которыми уже дрожала в серебристой прозрачности большая розово-золотая звезда. Шурша по росистым лопухам и напевая, смело подошел Егор к двери, дернул за скобку — и остановился на пороге своей крохотной, чуть светлой избы. Мертвое молчание стыло во всем мире в этот предрассветный час. Мертвое молчание наполняло и караулку. И в этом молчании, в сонном полусвете, недвижно чернело что-то на лавке под святыми. И, приглядевшись, Егор вдруг закричал таким страшным сиплым голосом, что с шумом выскочила из лопухов старая черно-седая собака...

III

Гурьев подарил на похороны красную бумажку. Все было справлено честь честью — хоть бы и не Анисье впору.

Медленно, с большими промежутками, зачинаясь звонко, жалобно, но все строже, падали звуки с колокольни. Падение это внезапно, нестройно обрывалось терцией баса и альта. И наступало долгое молчание: слышалось только,— из-за ракит по дороге в Ланское,— протяжное, все приближающееся церковное пение: на дороге встретили поп и дьякон телегу, в которой везли Анисью из Ланского. Со двора усадьбы и по улице над косогором бежали на выгон бабы. С ребенком на руках, спотыкаясь, спешила Марья. Стояли на пороге мельник без шапки и мельничиха. Дул западный ветер, а из-за речки опять заходила, опять тускло синела дождевая туча.

Слегка покатa дорога между ракитами на въезде в Гурьево. И небольшая толпа, предводительствуемая кузнецом в черной тяжелой поддевке, который нес на голове длинную крышку гроба и на ходу мрачно пел, издали казалась высокой, вырисовываясь на облачном небе. Белел коленкор, что накинут был на крышку, и развевался по ветру. Шли с ноги на ногу, но уже можно было различить, что эти темные фигуры со спутанными от ветра волосами тащат на полотенцах длинный ящик, черный, с оранжевым ободком по краям. Внушительно раздавались голоса попа и дьякона. Как всегда, медлили в пути, останавливались, махали кадилом и, пугая самих себя слова-

ми, повторяли одно и то же — то зловеще, то с покорностью. Все делалось так, чтобы выходило торжественно и грозно. А та, для кого это делалось, и теперь была так же смиренна, проста, как и при жизни. Темна и суха была она; маленькой стала ее высохшая головка, покрытая новым черным платочком. На груди ее желтел деревянный образок. Парча покрывала до половины мелкий черный ящик, где она покоилась,— парча, знак царственности. И парча эта была так ветха, так грязна и дырява: боже, скольких уже покрыла она! Дьякон гурьевский, серо-седой человек, тревожно думающий лишь о пасеке своей, всем своим гнутым станом и коротким, но широким лицом похож на зверя. Желтоволосый поп, слабосильный, слабовольный, всегда выпивши, шепелявит. Ризы, епитрахили их так истрепаны, что серебряное шитье, подолы, калоши — все в полном соответствии с грязными или пыльными дорогами, с телегами и мелкой, навозной соломой в телегах.

И на выгоне, где паслось барское стадо, поп не выдержал торжественности: начал спешить, бормотать, поглядывать на барского быка: бык этот брухается, закатал недавно пастушонка. Поглядывал поп и на сторожку у церковной ограды: на крыльце сторожки стояла плетушка, обвязанная скатертью, а в плетушке той были «поповские харчи»: ситные пироги, жареная курица, бутылка водки — то, что полагается причту за похороны, помимо денег. И торопливо провел поп теснившуюся толпу в церковные ворота. Ветер развевал тонкие русые волосы, шеи несущих гроб были красны, натерты полотенцами, лица озабочены. Больше же всех старался казаться озабоченным Егор, шедший с полотенцем через плечо в возглавии гроба.

А в церкви все немного оробели. Притихли — и слышалось только шарканье, топот: осторожно опускали гроб на пол. Высвобождая из-под рясы мягкие, трясущиеся, маленькие руки, роздал поп короткие, тонкие свечи, дробя ярко и золотисто пылающий пук их. И, раздав, громко и привычно возгласил. И замелькали сложенные в щепотки пальцы, кланяющиеся и встряхивающиеся головы. Крепко крестились старухи, воздевая глаза к иконостасу. Блистали рассеянные по толпе огоньки, возносилось, гре-

мело кадило. Кадили, обходя большими шагами гроб, кланялись Анисье, быстро говорили на торжественном языке, давно забытом ее нищей родиной, нестройно и притворно-смиренно пели, выражая умиление, что равна теперь она царям и владыкам, выражая надежду, что упокоится она со духи праведных. Но уже не слыхала Анисья этих утешений. Ни кровинки не было в ее голубоватом лице. Закрылось лиловое веко ее правого глаза, запеклись, слиплись и подсохли тонкие губы. И ледяной лоб ее уже был увенчан венцом высшей славы — золоченой бумажкой. И в сизо-восковой, прозрачной руке ее, в скрюченных пальцах, под ногтями которых точками темнела мертвая кровь, уже торчал Отпуск...

Егор, глядя в гроб, крестился размашисто и часто. Он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Он моргал, будто готовый заплакать, кланялся низко, наклоняя капающую свечку, крепко зажатую в его култышке. Но далеко были его мысли и, как всегда, в два ряда шли они. Смутно думал он о том, что вот жизнь его переломилась — началась какая-то иная, теперь уже совсем свободная. Думал и о том, как будет он обедать на могиле — не спеша и с толком...

Так и сделал он, засыпав мать землею: ел и пил до отвалу. А под вечер, тут же, у могилы, плясал, всем на потеху,— нелепо вывертывал лапти, бросал картуз наземь и хихикал, ломал дурака; напился так жестоко, что чуть не скончался. Пил он и на другой день и на третий... Потом снова наступили в жизни его будни.

Эти будни были уже не те, что прежде. Постарел он и поддался — в один месяц. И много помогло тому чувство какой-то странной свободы и одиночества, вошедшее в него после смерти матери. Пока жива была она, моложе казался он сам себе, чем-то еще связан был, кого-то имел за спиной. Умерла мать — он из сына Анисьи стал просто Егором. И земля — вся земля — как будто опустела. И без слов сказал ему кто-то: ну, так как же, а?

Он не думал об этом вопросе,— только чувствовал его. И ничего особенного не заметили на лице его те мальчишки из Пажени, с которыми ночевал он в ночном под четвертый день августа, верстах в трех от Пажени, у от-

коса железной дороги. Он только внезапно проснулся на рассвете и вдруг сел, побледнев.

— Что ты, дядя Егор? — испуганно крикнул мальчишка, лежавший с ним рядом.

Егор, бледный, слабо улыбнулся.

— Так... что-й-то померещилось,— пробормотал он.

И опять прилег.

Было еще рано. Шел туманный, предосенний дождь над опустевшими полями. Егор лежал, прикрывшись полушубком, курил и, кашляя, медленно рассказывал проснувшимся мальчишкам, как он, не боясь никаких судов, бросил свое место, ушел из Ланского. Рассказывая, он к каждому слову прибавлял матерное слово. А рассказав, стал прислушиваться к приближающемуся шуму товарного поезда. Шум рос и близился все грознее и поспешней. Егор спокойно слушал. И вдруг сорвался с места, вскочил наверх, по откосу, вскинув рваный полушубок на голову, и плечом метнулся под громаду паровоза. Паровоз толкнул его легонько в щеку. И Егор волчком перевернулся, головой полетел на насыпь, а ногами на рельсы. И, когда потрясши землю, оглушая, пронесся поезд, увидали мальчишки, что барахтается, бьется рядом с рельсами что-то ужасающее. В песке билось то, что было за мгновенье перед тем Егором, билось, поливая песок кровью, вскидывая кверху два толстых обрубка — две ноги, ужасающих своей короткостью. Две других ноги, опутанных окровавленными онучами, в лаптях, лежали на шпалах. А по пустому, осеннему полю, в тумане мелкого дождя, уже тревожно кричал пóд ветер, к следующей будке, медный рожок выскочившего из ближней будки сторожа...

Так разно кончили свои дни хозяйка и хозяин «веселого» двора в Пажени.

Капри. XII. 1911

ТЕНЬ ПТИЦЫ

(1907—1911)

ТЕНЬ ПТИЦЫ

I

Второй день в пустынном Черном море.

Начало апреля, с утра свежо и облачно. Воздух прозрачен, краски несколько дики.

Стая краснолапых чаек долго провожала нас вчера, долго плыла на тугих острых крыльях, косясь на длинный малахитовый след за кормою. Низкие, плоские берега Новороссии скрылись вчера еще в полдень. Перед вечером скрылись и чайки...

Quocumque adspicas nihil est nisi pontus et aër...

Сизо-алый закат был холоден и мутен. Огонек, еще при свете заката вспыхнувший на верхушке мачты, был печален, как лампада над могилой. Неприятный ветер, крепко дувший по правому борту, рано согнал всех с палуб, и тяжелая черная труба хрипела, распуская по ветру космы дыма. А ночь с мутно-бледной луной и неясными тенями, едва означавшимися от вант и дыма, была еще холоднее...

Шумно и тревожно было вчера утром. С тревожным и радостным чувством спустился я с одесской горы в этот постоянно волнующий меня мир порта — в этот усеянный мачтами город агентств, контор, складов, рельсовых

путей, каменного угля, товаров. По жидкой весенней грязи, среди сброда босяков и грузчиков-кавказцев с их чалмами из башлыков и орлиными глазами, среди извозчиков, волов, влачащих нагруженные телеги, и жалобно кричащих паровозов, пробрался я к черной громаде нашего переполненного людьми и грузом парохода, вымпела которого, в знак скорого выхода в море, уже трепетали в жидком, бледно-голубом небе. И, как всегда, бесконечно долгими казались часы последних торопливых работ, топот ног по сходням, грохот лебедок, проносящих над головами огромные клади, и яростная команда капитанских помощников. Но затихли лебедки, сошли, как серые лошади, рослые жандармы на сорную пристань — и, с грохотом сдвинув с себя сходни, пароход сразу порвал всякую связь с землею. Все ладно заняло на нем свое определенное место — в наступившей тишине, под стеклянное треньканье телеграфа, начался медленный выход в море. Тяжелая корма дрожит, плавно отделяясь от пристани и выбивая из-под себя клубы кипени, чайки жалобно визжат и дерутся над красной рачьей скорлупой в радужных кухонных помоях. С берега, из затихшей черной толпы, и с лодок машут белыми платками. Берег все отходит, уменьшается. По правому борту уже тянется каменная лента мола. Неожиданно выглянуло солнце — и сзади, за трубами и мачтами, резче обозначился город, а впереди, в зеркальных бликах от зеленой качающейся воды, засияла белая маячная башня. Потом и маяк прошел мимо, озарив своим отблеском, бугшприт медленно и неуклонно стал заворачивать к югу, огромной дугой выгнулись широкий клубящийся след винта и черный хвост дыма над ним, солнечный свет и ветер переменили по бортам места...

Сутки прошли незаметно. Просыпаешься под топот матросов, моющих палубу, с отрадной мыслью, что ночь провел, предавшись воле божьей, возле тонкой железной стенки, за которой всю ночь шумно переливались волны. Одеваешься возле открытого иллюминатора, в который тянет прохладной свежестью, и с радостью вспоминаешь, что Россия уже за триста миль от тебя... В пути со мною Тезкират Саади, «усладительнейшего из писателей предшествовавших и лучшего из последующих, шейха Саади Ширазского, да будет священна память его!». И вот, в

этой свежести утра, весны и моря, я сижу на юте и читаю:

— «Рождение шейха последовало во дни Атабека Саади, сына Зенги...

— Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний, тридцать на странствования и тридцать на размышления, созерцание и творчество...

— И так протекли дни Саади, пока не воспарил феникс чистого духа шейха на небо — в пятницу в месяце Шеввале, когда погрузился он, как водолаз, в пучину милосердия божия...

— Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть Красоту Мира и оставить по себе чекан души своей!

— Много странствовал я в дальних краях земли,— читаю я дальше.

— Я коротал дни с людьми всех народов и срывал по колоску с каждой нивы.

— Ибо лучше ходить босиком, чем в обуви узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома!

— Ибо на каждую новую весну нужно выбирать и новую любовь: друг, прошлогодний календарь не годится для нового года!»

В круглых сиренево-серых облаках все чаще начинает проглядывать живое небо. Иногда появляется и солнце,— тогда кажется, что кто-то радостно и широко раскрывает ласковые глаза. Мгновенно меняются краски далей, мгновенно оживает море в золотистом, теплом свете...

— «Да, да! Да, да!» — твердит машина, мимо которой твердо прохожу я по чистой, крепкой палубе, убегающей и повышающейся к носу.

Я прохожу среди наставленных друг на друга клеток, переполненных мирно переговаривающимися курами, слышу странный в море запах птичника, останавливаюсь у решетки борта: густым сине-лиловым маслом светит сквозь решетку вода, бегущая навстречу, и с каждым часом делается все более тяжелой, непохожей на жидкую, желтоватую воду возле берегов Новороссии... Дальше трап, перекинутый над шахтой трюма от спардека к носу. Из шахты глядят крупы лошадей и дымчатых быков, по-деревенски пахнет стойлом, прелым сеном... Потом я стою на носу и смотрю то на острую железную грудь, гру-

бо режущую воду, то на лежачую мачту бугшприта, медленно, но упорно лезущую в голубой склон неба. Вода стекловидными валами разваливается нá стороны и бежит назад широкими снежными грядами; глубоко внизу краснеет подводная часть носа,— и вдруг из-под него стрелой вырывается острорылая туша дельфина, за ней другая... и долго-долго мелькают в воде их летящие вперегонки спины. Моему телу живо передается это буйное животное веселье, и вся душа моя содрогается от счастья. Через несколько часов я опять увижу святую Софию. Через несколько дней я буду в Греции. Потом на Ниле, близ Сфинкса... И пойду к Баальбеку, к руинам капища, «воздвигнутого самим Каином в гордости и безумии»...

II

Перед вечером над спардеком появился белый китель грузного старика-командира, против солнца блеснули круглые глаза бинокля: уже открываются на горизонте, в золотистом предвечернем свете, дымчатые силуэты Малоазийских и Балканских предгорий. Хохол, едущий на Афон, старик в огромных сапогах, в коротком сером казакине и с очень маленькой головою, вышел на трап над трюмом и крестится, кланяясь им. По трапу бегут на бак босые, с подвернутыми штанами, матросы. Жадно смотрю вперед — и, наконец, различаю, что предгория, расступаясь, медленно открывают устье Босфора.

Пароход легко режет заштилевшее море и как бы уменьшается, приближаясь к четким линиям вырастающих впереди каменистых, серо-зеленых холмов Азии и Европы.

Вот поднялись справа и слева белые маяки — и потянуло теплом берега и знакомым ароматом каких-то турецких цветов,— прелестным сладковатым ароматом, похожим на аромат сухой трухи в дуплистом дереве.

Затихая, замедляя ход, в блеске отражений от зеркальной воды на красноватых скалах, бесшумно входим в Коваки.

Первые турецкие сады, первые черепичные крыши, первый минарет и первый кипарис...

— Отдай! — ясно слышится в тишине, наступившей на пароходе.

И с грохотом летит вниз стопудовый якорь...

Когда-то я купил в этой стране руин и кладбищ, еще до сих пор именуемой на языке старой Турции «Вратами счастия», несколько лубочных картин. На одной был турецкий богатырь в желтом тюрбане, бьющийся с кентавром Полканом возле ярко-зеленого дуба. На другой — святой город, состоящий из одних мечетей, минаретов и надгробных столбиков. На третьей — караван верблюдов, нагруженный гробами.

«Возвести народам о путешествии к дому святому, дабы приходили они туда из дальних стран пешком и на быстрых верблюдах»,— были начертаны над гробами слова Корана.

Да, они были когда-то, эти святые города. Были благочестивые старцы, отказывавшие по смерти своей все имение свое на нищих, калек и стамбульских собак, завещавшие доставить гроб свой через пустыню в Мекку и восклицавшие перед смертью, подобно Абд-эль-Кадеру, молившемуся в ограде Меккского храма:

— Господи, воскреси меня в день общего восстания слепым, дабы не стыдился я пред лицом праведных!

Были шитые золотом одежды, кривые ятаганы бесценной стали, тюрбаны из багдадских шалей... Но давно уже —

Паук заткал паутиной царские входы,
И ночная сова кричит на башне Афразиаба...

Через полчаса пароход снова левиафаном потянулся по извивам Босфора и пошли кругом зеленые холмистые побережья в цветущих садах и могильных кипарисовых рощах, в парках, мраморных дворцах и виллах, в развалинах крепостей и деревянных турецких домишках, тесными уступами нагроможденных среди развалин и зелени... Ветхость, запустение — как странны эти слова для вступающего в Турцию по Босфору! Ветхость — и чудовищные руины Румели-Гисар, ее зубчатых твердынь и допотопной башни, глядящей из Европы в Азию, на красноватые развалины Анатоли-Гисар, от которой когда-то наводил мосты в Европу сам Дарий. Запустение — и рос-

кошь султанских вилл, пороги которых купаются в зелено-голубой воде пролива, эти сплошные сады и селенья, каики из золотой лакированной ясени, устланные бархатными коврами, на которых полулежат щеголи-греки в фесках, турецкие офицеры с меланхолически-прекрасными девичьими глазами или гаремы, закутанные в радужные брусские газы...

Свежеет, и горы и холмы, овеваемые морским воздухом, принимают лиловые тоны. Босфор вьется, холмы впереди смыкаются — кажется, что плывешь по зеркально-опаловым озерам. Но вот эти холмы расступились еще раз,— и медленно принимает нас в свою флотилию великий город. Налево, на холмистых прибрежьях Малоазийских гор, пестрят в сплошных садах несметные кровли и окна Скутари. Направо, в Европе, громоздится по высокой горе тесная Галата с возвышающейся над ней круглой громадой генуэзской башни Христа. А впереди, на закате, единственный в мире силуэт Стамбула, над которым — копья минаретов и полусферы на султанских мечетях... При заходящем солнце, в тесноте судов, бригантин, барок и лодок, при стоголосых криках фесок, тюрбанов и шляп, качающихся на зеленой сорной воде вокруг наших высоких бортов, снова кидаем якорь. Ревут вокруг трубы отходящих пароходов, в терцию кричат колесные пакеботы, гудит от топота копыт деревянный мост Султан-Валидэ на Золотом Роге, хлопают бичи, раздаются крики водоносов в толпе, кипящей на набережной Галаты... Оттуда, из товарных складов, возбуждающе пахнет ванилью и рогожами колониальных товаров; с пароходов — смолой, кокосом и зерновым хлебом, сыплющимся в трюмы, от воды, взбудораженной винтами и веслами — огуречной свежестью... Солнце меж тем скрывается за Стамбулом — и багряным глянцем загораются стекла в Скутари, мрачно краснеет кипарисовый лес его Великого кладбища, в фиолетовые тоны переходит сизый дымный воздух над рейдом, и возносятся в зеленеющее небо печальные, медленно возрастающие и замирающие голоса муэззинов...

В старых святых городах Ислама для этих вечерних славословий еще до сих пор предпочитаются глашатаи-слепые: да не смущает их земная прелесть наступающей

ночи! А те, которых творец не лишил счастья зрения, закрывают в час изана глаза... Закрывают ли глашатаи константинопольские? Голоса их все же звучат великой печалью старины и пустыни. И я вспоминаю пыль и ветхость бревенчатого моста Валидэ, черные деревянные сараи возле него... Вспоминаю сгнившие в труху и почерневшие лачуги Стамбула, его развалины, тихие кофейни и кладбища... Потом гляжу на приземистый купол Софии, в котором есть что-то непередаваемо-древнее, как в куполе синагоги... Вижу, среди запущенного сераль ского сада, на берегу стамбульского мыса, остатки древних стен Византии и дворца Константина...

— Возвышается София над городом, как корабль на якоре! — говорили когда-то.

Теперь она осела, затерялась среди новых мечетей. Издалека она кажется даже небольшою. Не велик и дворец. Он из серого камня, прост, груб, как крепостная тюрьма, крыша на нем без выступа, окошечки узкие, высоко пробитые... И как чужд он всему — он и София — даже здесь, в старом Стамбуле!

Солнце закатилось, на турецких часах двенадцать — и меня постигает участь, подобная участи турецких женщин: женщинам нельзя после заката выходить из дому, путешественникам — вступать в город. Но, стоя возле борта и глядя вниз, на лодку афонских монахов, высматривающих, нет ли паломников, которым они дают приют на своих подворьях в Галате, я вдруг замечаю среди них знакомого, проводника-грека Герасима, и радостно кричу ему по-русски, по-гречески и по-арабски:

— Герасиме! Добрый вечер! Калиспера! Меса бель хайр!

Герасим поднимает кверху очки, ищет меня в толпе и не спеша — ему уже за сорок — улучает среди качки удобный момент, чтобы ухватиться за перила трапа.

Проводник мне не нужен, но не проберешься один после семи часов в город. И Герасим немедленно вступает в свои обязанности.

Бережно несет он под мышкой тяжелый черный зонт, с которым никогда не разлучается, бережно снимает черную шляпу и вытирает ситцевым платком свою большую,

коротко стриженную, серебристо-сизую голову... Жарко под черной шляпой! Но Герасим является на пароход всегда в шляпе, в бумажных отложенных воротничках и ветхом черном галстухе в виде летучей мыши...

III

Возле какой-нибудь маленькой, полуразвалившейся мечети в Скутари,— в этом старинном хане всех караванов Азии,— на каком-нибудь пыльном базаре, окруженном кофейнями, из которых несет чадом жаровен, облитых кипящим бараньим салом, и пестреют халаты толстых хозяев в больших тюрбанах, не редкость видеть грязно-грифельную груду верблюда и погонщика в еще большем тюрбане и овчинной куртке. На главной скутарийской улице есть кофейни почище, где так сладко мечтать за чашечкой кофе на длинных диванах в пестром ситце, тихо поглаживая спину кошки и опустив одну ногу в туфле, на пол, а другую, в чулке, поставив на сиденье. В переулках Скутари, среди пекарен, шорных мастерских и лавочек, заваленных медными болванами для глажения фесок, среди облезлых собак, скитающихся по пыли и ослиному помету, в жаркие и нежные дни ранней приморской весны цветут розовыми восковыми свечечками темно-зеленые платаны, из-за древних садовых стен снегом белеют цветущие плодовые деревья, глядит осыпанное кроваво-лиловым цветом голое иудино дерево...

— Селям! — ласково и сдержанно говорят сидящие под деревьями возле кофеен крупные старики в белых и зеленых чалмах, в меховых безрукавках и халатах, отороченных мехом.— Селям! — говорят они подходящим, легко и красиво касаясь груди и лба, и опять замолкают, отдаваясь дыму нергиле и спокойному созерцанию собак, туристов, ковыляющих женщин, закутанных в розовые и черные фередже, и медленно, важно качающихся на ходу горбунов-верблюдов.

И мне никогда не забыть сладкой, деревенской тишины Скутари, его стен, кладбищ, густых садов, запутанных переулков, где двухэтажные деревянные домики выступают над пешеходными тропинками серыми решетча-

тыми окнами. Сколько в этой сплошной садовой глуши, называемой Скутари, старых мраморных фонтанов, в хрустальной воде которых моют загорелые ноги странники, благословящие именем бога и эту воду, и легкую весеннюю тень развесистого дерева над фонтаном, и дремотное жужжание пчел на цветущих абрикосах! Сколько там, в этой глуши, мечетей, на куполах которых растет трава, а внутри воркуют голуби! Сколько кладбищ, затерявшихся между садами, мечетями и стенами, сколько кипарисов с голыми стволами телесного цвета и могильных белых столбиков в чалмах и золотых надписях, где так мирно, ласково и с такой трогательной верой говорится о весенних радостях жизни, о холодных ветрах рока, о соловьях и розах в стране Блаженной!

Не то Галата. Не даром Галату называют помойной ямой Европы, сравнивают с Вавилоном, Содомом.

Среди несметных каиков, стоящих возле потемневших от воды и времени деревянных свай, я выхожу вслед за Герасимом на Галатскую набережную, отдаю паспорт турецкому чиновнику, сидящему в сарае таможни, и вступаю в Галату в тот час, когда замирают призывы муэззинов, день по закону Ислама кончается и лавки должны запираться.

Но какое дело до изана Галате!

По пыльной и ухабистой набережной, заставленной с одной стороны железными боками гигантов с разноцветными знаками на трубах, а с другой — сплошными кофейнями, шумными и уже ярко освещенными, непрерывно текут навстречу друг другу потоки разноязычного народа. Зеленоватое небо еще светло над темным и четким восточным силуэтом Стамбула, над сиренево-стальной водой и над шестами мачт в Золотом Роге. Но над набережной и над рейдом уже висит опускающийся книзу дым, пыль и сумрак. Между носами и кормами пароходов я вижу темную Скутарийскую гору, засыпанную роями огненно-золотых пчел. Тысячи самоцветных камней — крупных изумрудов, брильянтов и рубинов — рассеяны по кораблям темнеющего рейда. Бледные топовые огни, как лампадки, высоко висят на всех мачтах возле набережной. Но это уже огни ночного отдыха. Совсем другими огнями горят раскрытые настежь окна и двери в галатских домах,

в кофейнях, в табачных и фруктовых лавочках, в парикмахерских. Сколько тут этих огней, сколько народа, играющего в кости, в шашки, пьющего виски, мастику, кофе и воду и занявшего своими табуретами, кальянами и столиками половину набережной! От тесноты, от запаха цветов, пыли, сигар и жаровен, на которых уличные повара подшкваривают кофейные зерна, кебаб и лепешки, воздух зноен и душен. Из вторых этажей домов, из освещенных окон несутся звуки граммофонов, дешевых пианино. В толпе, текущей по набережной, раздаются бешено-сиплые басы водоносов, звонкие альты чистильщиков сапог и продавцов газет, сладкие тенора греческих кондитеров, хлопают бичами худые черномазые извозчики в фесках и пыльных пиджаках. И по всем лицам и разноцветным одеждам то и дело легкими гигантскими взмахами проходят светлые столпы прожекторов: один за другим бегут шумные колесные пакеботы, переполненные народом, с загородных гуляний...

IV

Ночь я провожу в одном из афонских подворий, близ набережной Галаты.

Поздним вечером покидаю я набережную и вхожу в узкие проходы между высокими домами.

Окна верхних этажей еще светят, но лавки и склады нижних давно заперты, и в проходах мрак: только бродят кое-где, низко над мостовою, фонарики нищих, выбирающих из уличного сора корки хлеба, окурки, жестянки, бутылки из-под оливкового масла. Поминутно натыкаюсь на спящих собак, на сторожей, звонко бьющих на ходу железными дубинками в мостовую, на огоньки сигар, на разговоры мелькающих мимо матросов и других ночных гуляк. Из освещенных окон тоже слышится говор и смех или прыгающие звуки шарманок с позвонками... Но дом подворья тих и темен.

Привратник, спящий в прохладных сенях, за тяжелыми полукруглыми дверями, не спеша отворяет — и, вместе с темнотою, меня охватывает запах плесени, сырости.

Тот же запах и в гулких каменных коридорах, по

которым, со свечой в руке, бежит впереди меня молодой монах в мужицких сапогах, в черном подряснике и черной вязаной шапке, рябой, с бирюзовыми живыми глазами, с торопливо-услужливыми движениями.

В высоком номере, крашенном масляной краской, очень чисто, кровать покрыта грубым, но свежим бельем. Быстро раздеваюсь, тушу свечу и засыпаю среди криков, несущихся с улицы, стука сторожей, говора проходящих под окнами и нескладной, страстно-радостной и в то же время страстно-скорбной восточной музыки, прыгающей в лад с позвонками.

Утром вскакиваю очень рано от свежести, плывущей в окно с моря, от звона колокола в верхнем этаже подворья. И, одеваясь, вижу в окно вымпелá за домами, а внизу — узкую улицу, еще влажную, в прохладной тени, но уже полную деревенскими бараньими шапками погонщиков и целыми стадами ослов, на которых качаются корзины дров, овощей и сыра... Слава богу, день солнечный — я опять увижу Ая-Софию в солнечное весеннее утро!

Герасим стоит возле подворья и рассеянно болтает с монахами, поминутно пожимая, по южному обычаю, плечом. Сегодня он в старом картузике с пуговкой, но зонт, который никогда не раскрывается, опять с ним.

Обмениваемся улыбками и пускаемся в путь.

Из окон тянет вонью оливкового масла, в котором шкварят рыбу, летят на улицу помои и слышится бранчивая скороговорка гречанок. Дурачок в лохмотьях и в двух рваных шляпах, криво надетых одна на другую, со всех ног бросается мимо меня в стаю соловых шелудивых собак и, отбив у них тухлое яйцо, с жадностью выпивает его, дико косясь на проходящих бельмом красного глаза. Сплошная волнующаяся масса черных баранов, мелко перебирающих копытцами, теснится под азартные крики чабана, а среди них, на худенькой лошадке, на деревянном седле, опутанном веревками, пробирается старик-турок, лопоухий, лилово-бурый от загара, в тюрбане и бараньей куртке, с седыми курчавыми волосами на раскрытой груди. За ним бежит и на бегу орет диким голосом босоногий водонос с мокрым сизым бурдюком на спине. Дальше идут длинноухие, задумчивые ослики под корзинами с мусором и кирпичами, тяжело и быстро

семенит носильщик-армянин, согнувшийся в три погибели под огромным зеркальным шкапом, от которого по домам мелькают веселые блики солнца. Ковыляют на французских каблучках две толстеньких турчанки, с головой закутанные в фередже цвета засушенной розы.

«Лица их,— думаю я словами Корана,— похожи на яйца страуса, сохраненные в песке».

Но приподнялось как будто случайно покрывало — и я убеждаюсь, что прав Саади:

«Не всякая раковина беременна жемчугом».

Зато сколько красивых, умных и энергичных мужских лиц, особенно среди турок из простонародья, из провинций, с берегов моря! Сколько гордых и приветливых глаз!

Переулки между этими высокими домами возле набережной похожи на переулки в порту Генуи, Марселя. «Сюда, сюда!» — говорит Герасим, в десятый раз поворачивая за угол. И вот опять пахнуло ванилью, рогожами, арбузной свежестью зелено-голубой воды,— и в глаза глянули ослепительное солнце, голубой простор рейда, крылья белых рыбалок, мачты барок, черные с разноцветными полосами трубы, белая башня Леандра у берегов Скутари... Опять хлопают бичами извозчики, опять в быстро текущей толпе кричат газетчики, водоносы с кувшинами розовых напитков, продавцы бубликов и приторно-сладких греческих печений, насквозь пропитанных ореховым маслом... И не успеваю я сесть на крохотный табуретик возле кофейни, жарко нагретый солнцем, как лиловый арабчонок в одной синей женской рубахе уже тянет мой сапог на скамеечку, расцвеченную фольгой, жестью, медными гвоздиками.

— Рух! — говорю я сердито.

Но в это время надо мной раздается оглушительный бас:

— Газо-ос! — орет он, удаляясь.

И мой сосед справа, миловидный турецкий офицер в малиновой феске, в синем мундире с иголочки и с блестящим медным полумесяцем на груди, скромно улыбается, а сосед слева, черный старик в белом халате и белой чалме, в больших желто-зеленых очках, без носа, с голой верхней губой в лиловых швах, важно поднимает свою мертвую голову, булькая кальяном.

И я покоряюсь арабчонку.

В это жаркое солнечное утро все хорошо: и блеск сапога, и новенький мундир офицера, и стакан воды с розой, который быстро ставит передо мною молодой кафеджи.

Потом мы покупаем каких-то желтых сладко-пахучих цветов у ласкового турка, сидящего на корточках возле своей корзины, поставленной прямо на мостовую, и по дрожащим от топота копыт бревнам моста Валидэ спешим в густой толпе в Стамбул.

Уже становится жарко, запылились наши расчищенные сапоги, яркой бирюзой сквозит вода в щели моста, ярко и нежно зеленеют на горе Стамбула сады, с горячим шумом отходят от моста пакеботы, обдавая бегущую толпу теплым белым дымом... Опять маскарад, но еще более пестрый и праздничный, чем вчера! И дружно мешает этот маскарад венские сюртуки с рыжими верблюжьими куртками, панамы с бараньими папахами, светлоглазого англичанина с сизыми бедуинами, гиганта-черногорца в белом шерстяном наряде, шитом золотом и обремененном оружием, с худосочным польским евреем, коричневую рясу францисканца с негром, сестру-кармелитку с китайцем с неподвижной головой, с черной косой до пят и в лиловой кофте... Все это льется от Султан-Валидэ к самому людному месту Галаты — к углу набережной, к бирже и столикам уличных менял, и от биржи — к Султан-Валидэ, где останавливаются вагоны конки, где вечная теснота фиакров, разносчиков, цветочников, нищих, полуголых прокаженных, сидящих на мостовой, и теснота базаров, заваленных коврами, оружием, медной посудой, сырами, зеленью, шафраном, сбруей, фруктами и туфлями — сотнями связок лиловых, канареечных, черных и оливковых туфель, висящих на стенах подобно сушеной рыбе на шнурках.

Здесь, на маленькой площади, всегда тень и влажная прохлада под стенами мечети, где, у фонтана возле портала, проходящие, сидя на корточках, торопливо и таинственно совершают омовения среди солово-грязных короткошерстых собак. Дальше, возле кофеен и за старыми стенами, ярко зеленеют деревья. Чем дальше мы поднимаемся по улице, идущей слегка в гору, влево, тем все

тише и безлюднее становится вокруг. И уже совершенное безлюдье царит у высоких ворот Старого Сераля, при входе в его запущенные сады и широкие дворы, заросшие травою и белеющие обломками греческих колонн, статуй и надгробных плит.

Герасим косится и мистически шепчет:

— Смотри, смотри, с крестом!

За внутренними стенами Сераля, охраняющими покои, недоступные для европейца, расцветают под надзором евнухов те редкие цветы девичьей красоты, которые ежегодно дарит, по древнему обычаю, Турция своему повелителю. И весенней прелестью веет незримое присутствие этих юных затворниц в садах Сераля, где зеленая трава пробивается из древней земли, красный мак светит среди обломков мрамора и белым и розовым цветом цветут чащи деревьев в оврагах возле Старого Музея, облицованного лазурными фаянсами, пригретого жарким солнцем под бальзамически благоухающими кипарисами. В мире, в котором я существую, нынче весеннее утро, здесь — тишина, узорчатые тени, пение птиц и незримое присутствие девушек за стенами мертвых дворцов. Я заглядываю в их ворота, в аллею платанов за воротами, выходя на горячий солнечный свет, на зеленый Двор Янычар. Древний дуплистый Платан Янычар дремлет на припеке возле тысячелетней св. Ирины, давно обветшалой и обращенной в склады старого оружия. Но когда мы выходим мимо Ирины в другие ворота Сераля, к обрыву мыса, нас охватывает свежесть моря — и снега: в блеске солнца, в золотисто-голубой дымке тонет зыбкий простор Пропонтиды, миражем означаются силуэты Принцевых островов и заступивших горизонт Малоазийских гор — там смутно рисуется в небе что-то мертвенное, некое подобие неподвижного облака.

— Олимп! — говорит Герасим.

Я навожу морской бинокль — и различаю блестящие пустыни снежных полей Олимпа, его теснины, полные утренних фиолетовых теней, и мне кажется, что на меня тянет оттуда зимним холодом.

А когда я оборачиваюсь, я вижу на яркой густой синеве бледно-желтую с красными полосами громаду Ая-Софии: громаду неуклюжую, выходящую из циклопиче-

ских каменных подпорок и пристроек, над которыми, в каменном кольце окон, царит одно из чудес земли — древне-приземистый, первобытно-простой, огромный и единственный на земле по легкости полушар-купол. И четыре стража этой грубой громады, скрывающей в недрах своих сокровища искусства и роскоши, четыре белых минарета исполинскими копьями возносятся по углам ее в синюю глубину неба.

— Где вход? — говорю я.

Я опять не сразу нашел бы его, но Герасим уже идет в какой-то узенький переулок, где на солнце пахнет сухими нечистотами, потом поворачивает в другой и по отлогому спуску, мощенному камнем, мы подходим к боковому порталу, завешенному тяжкой завесой из буйволовых кож. Дико это, первобытно, но как хорошо! Нравится мне и обычай надевать, входя, туфли: так когда-то у входа в святилище оставляли пыльные сандалии...

Сумрак, холод и величавая громадность капища охватывают меня в тройном портале. А когда я вступаю в храм, пигмеями кажутся среди его необъятного простора и необъятной высоты фигурки молящихся — сидящих на огромной площади ухабистого от землетрясений мраморного пола, сплошь покрытого золотистыми скользкими циновками из тростника. Шестьдесят окон пробили купол, и никогда мне не забыть радостного солнечного света, который столпами озаряет из этой опрокинутой чаши всю середину храма! И светлая, безмятежная тишина, чуждая всему миру, царит кругом, тишина, нарушаемая только плеском и свистом голубиных крыльев в куполе, да певучими, печально-задумчивыми возгласами молящихся, гулко и музыкально замирающими среди высоты и простора, среди древних стен, в которых немало скрыто пустых амфор-голосников. Первобытны эти милые голуби, их известковый помет, падающий с высоты на циновки. Первобытно-просты огромные железные люстры, низко висящие над циновками на железных цепях. Величава и сумрачна окраска исполинских стен, шершаво полинявшее золото сводов. Капищем веет от колонн, мутно-красных, мутно-малахитовых и голубовато-желтых. Таинственностью капища исполнены и призраки мертвых византийских мозаик, просвечивающих сквозь белила, которыми покрыли

их турки. Жутки чуть видные лики апокалиптических шестикрылых серафимов в углах боковых сводов. Строги фигуры святых в выгибах алтарной стены. И почти страшен возвышающийся среди них образ спасителя, этот тысячелетний хозяин храма, по преданию, ежегодно проступающий сквозь ежегодную закраску...

Чувствуя и себя пигмеем, тихо брожу я среди этой высоты и простора. Надо мной — светоносный купол, горячее солнце золотистым потоком льется на меня сверху. А налево и направо — два яруса хор. По отлогим каменным всходам туда могли въезжать из пропилей две колесницы. Две колесницы могли разъехаться и на тяжких хорах, мраморные плиты которых покосились от землетрясений. И как легко держат эту тяжесть два яруса аркад и колонн!

Не знаю путешественника, не укорившего турок за то, что они оголили храм, лишили его изваяний, картин, мозаик. Но турецкая простота, нагота Софии возвращает меня к началу Ислама, рожденного в пустыне. И с первобытной простотой, босыми входят сюда молящиеся,— входят когда кому вздумается, ибо всегда и для всех открыты двери мечети. С древней доверчивостью, с поднятым к небу лицом и с поднятыми открытыми ладонями обращают они свои мольбы к богу в этом светоносном и тихом храме:

Во имя бога, милосердого и милостивого!
Хвала ему, властителю вселенной!
Владыке Дня Суда и Воздаяния!

Но велик и непостижим владыка — и вот покорно падают руки вдоль тела, а голова на грудь. И еще покорнее отдаются эти руки в узы его, соединясь после падения под грудью, и быстро и бесшумно начинает вслед за этим падать человек на колени и касаться челом праха. И тайные мольбы и славословия падающего ниц человека со всех концов мира несутся всегда к единому месту: к святому городу, к ветхозаветному камню в пустыне Измаила и Агари...

Медленно подвигаемся мы в боковых проходах за колоннами, шмыгая туфлями по скользким циновкам. Потом шмыгаем по еще более скользкому мрамору пропилей,

где девять огромных и тяжких бронзовых дверей — все в один ряд — еще хранят рельефы византийских крестов. Потом поднимаемся по широким отлогим всходам на хоры, и с высоты я еще раз наслаждаюсь головокружительной бездной этого капища и маленькими фигурками сидящих глубоко подо мною, на полу, в широком столпе света, падающего из купола. А из древней амбразуры открытого окна снова тянет на меня теплом солнечного света и свежестью снега. Я подхожу — и ласковый ветер ударяет мне в лицо, розовая голубка срывается с подоконника в простор весеннего воздуха... И опять развертывается предо мною зыбкая синева Мраморного моря, блеск солнца, лилово-пепельные силуэты горных вершин и мертвенно-белое облако Малоазийского Олимпа...

V

На мраморной паперти Софии, когда мы покидаем ее, лежит деревенский нищий в лохмотьях овчины, темный, как мумия, с большими оттопыренными ушами и потухшими глазами.

— Бакшиш! — жалобно говорит он старческим отдаленным голосом, и правая рука его несмело касается сердца, губ и лба.

Но в его левой руке деревянная мисочка с вареным рисом — и просьба о милостыне звучит безжизненно: бог уже послал ему дневное пропитание, в остальном он не нуждается.

Со двора выходим на Атмейдан, славный когда-то по всему миру Ипподром Византии. Слева Атмейдан замыкается одной из великолепнейших султанских мечетей — колоссальной белой мечетью Ахмедиэ, окруженной платанами и шестью исполинскими минаретами. Но, боже, чем замыкается площадь с других сторон! Ветхие бревенчатые хибарки под черепицей, старозаветные кофейни, полузасохшие акации. Ипподром теперь пуст и пылен, и печально стоят на нем в ямах, обнесенных решетками, три памятника великой древности: обелиск розового гранита, когда-то стороживший вход в храм Солнца в Гелиополе, грубая каменная колонна Константина Багрянородного и

бронзовая, позеленевшая Змеиная колонна — три перевившихся и вставших на хвосты змеи: «слава Дельфийского капища».

Большая улица Стамбула, по которой мы возвращаемся в Галату, вид имеет милый, южный: много солнца, акаций, турецких таверн, где всегда так весело от чистоты мраморных столиков, цветов на них и приветливости хозяина в белом фартуке и феске... Весел даже надгробный павильон султана Махмута — большой киоск под вековыми деревьями, за высокой решеткой, отделяющей его от тротуара.

— Султану везде хорошо! — улыбается и вздыхает Герасим.

Густая толпа в перепутанных вонючих переулочках, в которые мы вступаем затем, кажется еще пестрее и крикливей от зноя и духоты. Хорошо еще, что на пути Голубиная мечеть Баязета и крытые ряды Чарши, Большого базара!

Двор мечети пленителен своей патриархальностью. Ограждает его сквозная мавританская аркада, посреди его — фонтан, платаны, отдыхающие странники, нищие, тысячи голубей, а кругом — целый базар четок, которыми, сидя на коврах, торгуют старые-престарые обезьяны в тюрбанах. Прохожие покупают тут и пшено, кидают его в воздух — и тогда весь двор превращается на минуту в живой, свистящий, дрожащий несметными крыльями, дети начинают прыгать и на все лады вопить:

— Бакшиш! Бакшиш!

В полутемном крытом лабиринте Чарши тоже вопят — по-турецки, по-армянски, по-гречески, по-французски — и хватают за руки, завлекая в лавки; но отрадная прохлада спокон веку царит в этих сводчатых коридорах, пряно пахучих и вместивших в себя, кажется, все, что есть на базарах Востока.

Все же шумней и пестрей Галаты нет ничего на свете!

Улица, ведущая в гору, к Пере, полита, но политая и уже согревшаяся пыль только увеличивает духоту. Ярки белые маркизы над окнами магазинов, ярки красные лоскуты — вывески с полумесяцем и арабскими письменами... И ослепительно ярка синяя лента неба над толпой и коридором домов... Во имя бога милостивого, хоть бы

здесь-то, по улице, ведущей в европейскую Перу, не пускали верблюдов! Но нет, араб-полицейский, в коротком синем мундире и в феске, совершенно равнодушно смотрит на эту горбатую груду, шагающую среди толпы за босоногим проводником.

Зато как прохладно в жерле башни Христа!

Сладок среди вони и плесени базарных улиц, среди чада простонародных таверн и пекарен, свежий запах овощей и лимонов, но еще слаще после галатской духоты чистый морской воздух. Медленно поднимаемся мы по темным лестницам возле стен башни, достигаем ее круглой вышки — и выходим на каменный покатый балкон, кольцом охватывающий вышку и огражденный железными перилами. Легкое головокружение туманит меня при взгляде в бездну подо мною, раскрывается в ней целая необозримая страна, занятая городами, морями и таинственными хребтами Малоазийских гор — страна, на которую пала «тень Птицы Хумай».

Кто знает, что такое птица Хумай? О ней говорит Саади:

«Нет жаждущих приюта под тенью совы, хотя бы птица Хумай и не существовала на свете!»

И комментаторы Саади поясняют, что это — легендарная птица и что тень ее приносит всему, на что она падает, царственность и бессмертие.

Песнью Песней, чудом чудес, столицей земли называли город Константина греческие летописцы. Молва всего мира объясняла его происхождение божественным вмешательством. Одна легенда говорит, что на месте Византии орел Зевса уронил сердце жертвенного быка. Другая — что основателю ее было повелено основать город знамением креста, явившимся в облаках над скутарийскими холмами, «при слиянии водных путей и путей караванных». Но восточный поэт сказал не хуже: «Здесь пала тень Птицы Хумай».

В двух шагах от меня, возле этой башни, еще и доныне совершаются мучительно-сладостные мистерии Кружащихся Дервишей.

Их монастырь затерялся теперь среди высоких европейских домов. Несколько лет тому назад, в один из таких же жарких весенних дней, Герасим привел меня к

его старой каменной ограде, и мы вошли, вместе с другими «франками», в небольшой каменный двор.

Помню фонтан и старое зеленое дерево посреди его, направо — гробницы шейхов-настоятелей, налево — кельи в ветхом деревянном доме под черепицей, а против входа — деревянную мечеть.

Мы отдали несколько мелких монет, и нас впустили в восьмигранный высокий зал, обведенный с трех сторон хорами и украшенный только сурами Корана.

На хорах, над входом, поместились музыканты с длинными флейтами и барабанами, по бокам — зрители.

Когда наступила тишина, вошел шейх-настоятель, а за ним десятка два дервишей — все босые, в коричневых мантиях, в войлочных черепенниках, с опущенными ресницами, с руками, смирно сложенными на груди.

Шейх сел у стены против входа, разделившиеся дервиши — по сторонам, друг против друга.

Шейх, медленно повышая жалобный, строгий и печальный голос, начал молитву, флейты внезапно подхватили ее на верхней страстной ноте — и в тот же миг, столь же внезапно и страстно, дервиши ударили ладонями в пол с криком во славу бога, откинулись назад — и снова ударили.

И вдруг все замерли, встали — и, сложив на груди руки, двинулись гуськом за шейхом вокруг зала, обертываясь и низко кланяясь друг другу возле его места.

Кончив же поклоны, быстро скинули мантии, остались в белых юбках и белых кофтах с длинными широкими рукавами — и закружились в танце: взвизгнула флейта, бухнул барабан — и дервиши стали подбегать с поклоном к шейху, как мяч, отпрядывать от него и, раскинув руки, волчком пускаться по залу.

И скоро весь зал наполнился белыми вихрями с раскинутыми руками и раздувшимися в колокол юбками.

И по мере того как все выше и выше поднимались голоса флейт, жалобная печаль которых уже перешла в упоение этой печалью, все быстрее неслись по залу белые кресты-вихри, все бледнее становились лица, склонявшиеся набок, все туже надувались юбки и все крепче топал ногою шейх: приближалось страшное и сладчайшее «исчезновение в боге и вечности»...

Теперь, на башне Христа, я переживаю нечто подобное тому, что пережил у дервишей. Теплый, сильный ветер гудит за мною в вышке, пространство точно плывет подо мною, туманно-голубая даль тянет в бесконечность... Этот вихрь вкруг шейха зародился там, в этой дали: в мистериях индусов, в таинствах огнепоклонников, в «расплавке» и «опьянении» суфийства с его мистическим языком, в котором под вином и хмелем разумелось упоение божеством. И опять мне вспоминаются слова Саади, «употребившего жизнь свою на то, чтобы обозреть Красоту Мира»:

«Ты, который некогда пройдешь по могиле поэта, вспомяни поэта добрым словом!

— Он отдал сердце земле, хотя и кружился по свету, как ветер, который, после смерти поэта, разнес по вселенной благоухание цветника его сердца.

— Ибо он всходил на башни Маана, Созерцания, и слышал Симаа, Музыку Мира, влекшую в халет, веселие.

— Целый мир полон этим веселием, танцем — ужели одни мы не чувствуем его вина?

— Хмельной верблюд легче несет свой вьюк. Он, при звуках арабской песни, приходит в восторг. Как же назвать человека, не чувствующего этого восторга?

— Он осел, сухое полено».

1907

МОРЕ БОГОВ

I

Когда подняли якорь, в толпу на спардеке вошли молодые, французы. И, заглядевшись на них, я не заметил, как поплыли кровли и купола Стамбула.

По глянцевитой мраморно-голубой воде черными кругами, показывая перо, шли дельфины. Утренние пары таяли в тепле и свете, но даль еще терялась в матовом тумане.

За мысом дорогу перерезал колесный пакебот, переполненный фесками, и, мелькнув, обдал теплым дымом. Старые стены дворца Константина и цветущие сады Сераля дремали, пригретые солнцем. В оврагах алело искривленное иудино дерево. Бледно-розовые минареты Софии уносились в небо...

Извиваясь, протянулись, вслед за Сералем, стены Феодосия, полчища кипарисов в Полях Мертвых... Стены кончились руиной Семибашенного замка... И сиреневосерый очерк Стамбула стал уменьшаться и таять. Справа шли обрывы плоского прибрежья, цвета пемзы. А налево, до нежно-туманной сини Принцевых островов, и впереди, до еще более туманных гор Азии, все шире разбегались сияющие среди утреннего пара заливы. Над их необозримой гладью кое-где висели дымки невидных пароходов...

Нижние палубы, заваленные грузом в Пирей и Александрию, наполняли фески и верблюжьи куртки, ласково-застенчивые улыбки и блестящие зубы, карие глаза и гортанный говор. Белыми коконами сидели на коврах закутанные женщины. Мечтательно играли четками хаджи в чалмах и халатах. Пели, пили мастику, страстно спорили и бились в кости греки, похожие на плохеньких итальянцев. Седобородый еврей в люстриновом пальто, в черной непримятой шляпе на затылок, с пейсами и поднятыми бровями, ел, уединенно сидя на крышке трюма, маслины с белым хлебом и обсасывал пальцы. В проходах несло кухонным чадом, теплом из стальной утробы мерно работающей машины, бегали белые повара с помоями. Наверху было чисто, просторно и солнечно.

Надо было надвигать на глаза фуражку, глядя на ослепительный блеск под левым бортом. За этим блеском расстилались и как будто наклонно скользили вдаль, в чуть видной Азии, зеркала Кианского залива. В миле, в полумиле от нас проходили итальянские и греческие грузовики с низкими бортами и голыми мачтами. Медленно, стройно и плавно тянулись в Стамбул, раскинувшись по всему морю, парусные барки. Одна бригантина прошла так близко, что вся закачалась и закланялась, попав в волну от парохода, и ярко озарила нас парусами. Под их серебристой тенью бежал загорелый человек в полосатой фуфайке. А зеленый хрусталь под бригантиной был так прозрачен, что видно было все дно ее.

Ют загромождали тюки прессованного сена. Матросы натягивали над ними тент. Близился полдень, и в проходах между сеном уже стоял жаркий сладковатый запах степи.

За завтраком в кают-компании открыли все иллюминаторы. По белому низкому потолку переливались зеркальные змеи, отраженные из-под левого борта водою и солнцем.

Часа в два слева заголубели каменистые прибережья древней Фригии. Близко прошла дикая горбина острова Марморы, и было весело смотреть на его блиставшие над водой обрывы, на сероватую зелень, покрывавшую его ребра и скаты, на белые точки какого-то селенья, рассыпанного в одной из его впадин.

Очень близко прошел перед вечером и Галлиполи, желтевший на пустынных обрывах справа.

В темноте, усеянной зоркими огнями, осторожно пропустила нас теснина Дарданелл.

II

Троя, Скамандр, Холмы Ахиллеса — сколько прелести в этих звуках! Равнина Скамандра серебрилась в эту ночь легким туманом и печальным лунным светом. Я видел ее смутно... Но это была уже Греция.

Шерстяная вишневая занавеска на открытом иллюминаторе в моей каюте стала утром, против солнца, прозрачно-красной. Сладкий ветер ходил по каюте. Быстро одевшись, я выбежал на недавно вымытую, еще темную палубу.

Был опять тонкий пар, полный блеска, легкий, влажный воздух. Но море было уже не то. Это было густое сине-лиловое масло. И впереди и влево по его равнине таяли в светлой дымке фиолетовые силуэты Архипелага. А направо тянулись зелено-сиреневые горы: Эвбея.

И все утро выгибалась мимо нас эта каменистая страна, вся в складках, как кожа бегемота. А позднее, когда солнце уже жгло плечи и я с изумлением глядел на это горящее масло, лизавшее пароход и порою плескавшее языками бирюзового пламени, открылись, наконец, «пустынные горы» Гимета.

По мертвенно-белым волооким статуям, по тысячелетним толкам о вакханках и дриадах, о богах и празднествах с цветами и хорами,— как будто в древней Греции только и делали, что праздновали,— тысячи тысяч людей рисуют себе какой-то пошлый элизиум вместо этой каменистой, сухой страны. Каков-то Акрополь? Все бинокли искали его, греки с юта с азартом тыкали пальцами вдаль. И вот нашел, наконец, я нечто смутно-желтевшее на каменистом холме, одиноко стоящем за морем крыш в долине,— нечто вроде небольшой дикой крепости. И, взглянув на этот голый холм пелазгов, впервые в жизни всем существом своим ощутил я *древность*.

В Пирее, где в жаркий полдень мы бросили якорь,

нас окружили гиды, комиссионеры отелей... Маленький быстрый поезд в полчаса доставил нас в Афины. По ослепительно-белым улицам еду я, выйдя из вагона. Высоко сидит на козлах кучер в соломенной шляпе, хлопая бичом над парой резвых кляч в дышле. Яркая лента неба льется над коридором улицы с белой мостовой и запыленными кипарисами, вытянувшимися между домами. Даже и в тени чувствуешь и видишь, как прозрачен сухой жаркий воздух. Спущены зеленые жалюзи на окнах, спущены маркизы над витринами. Быстро выезжаем, миновав площадь, королевский дворец и предместье, на меловое шоссе,— и этот холм пелазгов с руинами храмов поражает меня своей золотистой желтизной и наготой. Громадная подкова гор, громадная долина, а среди долины одиноко высится желто-каменный пик холма, воедино слитый двадцатипятивековой древностью с голым остовом Акрополя,— останками стен, колоннад и порталов. Зной и ветер давно обожгли кости этой чуждой и уже непонятной нам жизни. Медленно тянут лошади по мелу, хрустит щебень шоссе, кольцом охватившего холм и поднимающегося все в гору,— со всех сторон оглядываю я загорелый камень стен Акрополя и его желобчатых колонн... Наконец, коляска останавливается как раз против входа в гранитной стене, за которым широкая лестница из лоснящегося мрамора поднимается к Пропилеям и Парфенону... И на мгновенье я теряюсь... Боже, как все это просто, старо и прекрасно!

Налево, в сквозной тени маслин, стоит другая коляска. Высокий, очень прямой человек с биноклем через плечо, в сером костюме и тропическом шлеме, и высокая худая женщина, тоже в сером шлеме, в фильдекосовых перчатках, с длинной тонкой палочкой в одной руке и с книжкой в другой, направляются ко входу. Но даже и эти спокойнейшие люди изумленно смотрят круглыми глазами на то, что блещет перед нами золотыми руинами в жарком синем небе, на то, что так божественно-легко и стройно громоздится на гранитных укреплениях, вросших в темя этого «Алтаря Солнца». Они входят, поднимаются по лестнице, делаются маленькими среди колонн, уцелевших от Пропилей... Я тоже иду и смотрю... Но я уже все видел!

Я иду, но души древности, создавшей все это, я коснулся еще с парохода. А божественное совершенство Акрополя раскрывает один взгляд на него.

Вот я поднялся по скользким плитам к Пропилеям и храму Победы. Я теряюсь в беспредельном пространстве Эгейского моря и вижу отсюда и маленький порт в Пирее, и бесконечно-далекие силуэты каких-то голубых островов, и Саламин, и Эгину. А когда я оборачиваюсь, меня озаряет сине-лиловый пламень неба, налитого между руинами храмов, между золотисто-обожженным мрамором колоннад и капителей, между желобчатыми столпами такой красоты, мощи и стройности, пред которыми слово бессильно. Я вступаю в громаду раскрытого Парфенона, вижу скользкие мраморные плиты, легкий мак в их расселинах... Что иное, кроме неба и солнца, могло создать все это? Какой воздух, кроме воздуха Архипелага, мог сохранить в такой чистоте этот мрамор? Глыбам гранита и мрамора, кряжам каменистых гор, накаленных зноем, поклонялись древнейшие греческие племена. «Амфион, древнейший из поэтов, извлекал из лиры столь сладкие звуки, что вечный мрамор, в котором заключена высшая чистота земли, сам стал складываться в колоннады, стены и ступени». А Гомер изваял образы богов-людей: ведь Эллада «только устами поэтов и философов» созидала пантеоны и культы. И «уста поэтов» высшей религией признали красоту, высшим загробным блаженством — Элизиум, «от века не знавший тьмы и холода», высшей загробной мукой — лишение света...

«Бог — жизнь, свет и красота»,— сказал народ, населивший землю в этом «прелестнейшем из морей».— «Бог — это мое тело»,— сказал он, возмужав и забыв, что земля его, как и всюду, щедро насыщается кровью и что смерть, как и всюду, разрушает на его земле плотскую радость. «Я завоевал высшую мудрость»,— сказал он — и отлил свои завоеванья в мрамор — воздвиг «Алтарь Возврата», как Александр на границах Индии. И чтобы не слышать о новых завоеваниях, умертвил Сократа. Но дух искал и жаждал. Александр, снедаемый этой жаждой, раздвинул пределы земли, смешал народы и, возвратясь, сказал: «Мир бесконечен, и бог тысячелик. Я поклонялся всем ликам; но истинный — неведом. Иудея говорит, что

лик его — мощь и пламя гнева; Египет, что лик его — Солнце в лике Сфинкса и Ястреба. Но Иудея — это горючее Мертвое море, Египет — могила в пустыне: он тоже свершил свой путь — от поклонения вечно возрождающемуся «сыну Солнца», Гору, до своего Алтаря Возврата — до Великой пирамиды. И храмы Солнца ныне пусты и безмолвны». Тогда Греция снова послала поэтов и философов искать бога. И они пошли в Сирию и Александрию — и среди смешавшегося человечества зачалось смутное и радостное предчувствие нового рассвета. Впервые случилось, что завоеватель мира не дерзнул покорить мир богу своей нации. И всемирная монархия, смешав человечество, распалась. Человечество пресытилось кровью, землею и смертью — и возжаждало братства, неба, бессмертия. И когда, наконец, снова взошло Солнце, «Радуйся! — сказал миру ясный голос.— Нет более ни рабов, ни царей, ни жрецов, ни богов, ни отечества, ни смерти. Я — египтянин, иудей и эллин, я сын земли и духа. Дух животворит и роднит все сущее: и лилии полевые, и птицы небесные, и Соломона в славе его, и раба Соломона. Сила и жизнь его так велики во мне, что вот я полагаю руку мою на голову умирающего — и слышу, как трепетно исходит из меня любовь и жизнь. На Фаворе, в росистое солнечное утро, мир, в блеске и голубых туманах лежащий подо мною, наполняет мою душу таким восторгом, светом отца моего, что лицо мое повергает на землю братьев моих...»

III

На предвечернее солнце было больно смотреть, когда я возвращался на рейд. Зеркальные отражения струились, переливались по нагретому за день борту. Медные ободки открытых иллюминаторов искрились. Лебедки уже затихли, трюмы были нагружены и закрыты... Потом заревела, сотрясая все палубы, труба и забурлил винт...

В несказанной пышности и нежности червонной пыли и воздушно-фиолетовых вулканов пламенело солнце за беспредельным Эгинским заливом, из которого мы уходили от Акрополя к югу. Потом оно сразу потеряло весь свой блеск, стало огромным малиновым диском, стало

меркнуть — и скрылось. Тогда в золотисто-бирюзовую глубину небосклона высоко поднялись дымчато-аметистовые радиусы. Но на острова и на горы за заливом уже пал вечерний пепел, а все необозримое пространство заштилевшего моря внезапно покрыла мертвенная, малахитовая бледность. Я стоял на юте, облокотясь на решетку борта, и смотрел то на этот малахит, то на запад. Вдруг по кораблю там и сям тепло и весело вспыхнуло электричество. На минуту оно отвлекло меня, а когда я снова взглянул на запад, его уже настигла тьма южной ночи.

Скоро в ней потонули и море и небо. Но вот за бортом стал реять слабый таинственный свет — темно-лиловый полукруг моря явственно отделившийся от более легкого неба, как бы задымился водным светом.

— Миль десять идем? — спросил я забелевшего в сумраке матроса, по шороху за бортом угадывая ровный полный ход.

— Миль тринадцать идем...

И по тому, как мелькали навстречу мне, когда я пошел на бак, горбы волн, полных дымившегося фосфора, видно было, что правда.

Черный и в темноте особенно упорный бугшприт неуклонно вел в звездный склон неба. На северо-востоке широко раскидывалась Большая Медведица, «любимое созвездие Гомера». На юго-западе низко, но ярче и великолепнее всех сверкала розово-серебристая Венера. Темно-синяя глубь была переполнена повисшими в Млечном Пути алмазами. И отовсюду лились в море нити тонкого, дивного света. Но свет моря был еще прекраснее.

— Эй, не курить на баке! — раздался молодой звучный голос.

И опять наступила глубокая тишина, полная шороха волн и дыханий машины.

Спотыкаясь на цепи и паруса, я добрался до бугшприта. Острая железная грудь резала кипевшую бледно-синим пламенем воду — и все пространство моря, озаренного и полного таинственным светом, быстро бежало навстречу. Звезды дрожали от едва уловимого теплого воздушного тока... Да, «свет и во тьме светит». Вот закатилось солнце, но и во тьме только солнцем живет и дышит все сущее. Это оно вращает винт парохода, оно несет

навстречу мне море; оно, неиссякаемый родник всех сил, льющихся на землю, правит и непостижимым для моего разума стремлением своего необъятного царства в бесконечность — к Веге, и безумной радостью этого стрелой летящего подо мною дельфина — как бы сплошной массы дымно-синего фосфора. И только к свету стремится все в мире. Мириады едва зримых семян жизни, лишенных солнца тьмою ночи и глубинами вод. все же светят сами себе — теми атомами его, которыми рождена в них жизнь. И над всем этим морем, видевшим на берегах своих все служения богу, всегда имевшие в основе своей служение только Солнцу, стоит как бы голубой дым: дым каждения ему.

1907

ДЕЛЬТА

Солнце потонуло в бледно-сизой мути. Волны, мелькавшие за бортом, стали кубовыми. Вспыхнуло электричество и сразу отделило пароход от ночи.

Внутри, в кают-компаниях и рубках, было ярко, светло, за бортами была тьма, теплый ветер и шорох волн, бежавших качающимися холмами. Маслянисто-золотые полосы падали на них из иллюминаторов и змеевидно извивались. Ветер усиливался,— и вдруг одна из этих полос провалилась в черную пропасть, а вся глыба парохода зыбко приподнялась с носа и еще более зыбко и плавно опустилась среди закипевшей почти до бортов голубовато-дымной воды. Какая-то женщина, показавшаяся в это время в светлом пространстве входа в рубку, ухватилась было за притолоку, но в ту же минуту оторвалась и со смехом, с протянутыми руками побежала по наклонной палубе. А немного погодя из той же двери вышел мужчина, оглянулся и, увидев меня, неестественно запел и твердыми шагами пошел по опускающейся и поднимающейся палубе следом за ней...

Около полуночи над темно-лиловой равниной моря взошел оранжевый печальный полумесяц. Сея на горизонте шафранный свет, он наклонно висел над бегущей на нас и качающейся зыбью, и от него несло теплым, теплым ветром...

Утром открылся берег Африки.

Сильно припекало. Небо было знойно и белесо, море тускло блестело оловом. Вода под кормой бурлила жидкая, зелено-голубая.

Командир, весь в белом, стоял на мостике, не отводя от глаз бинокля. Медленней вздыхала машина: шли уже средним ходом, ждали араба-лоцмана, ибо взморье перед Александрией густо усеяно подводными камнями. Промелькнула первая чайка... Прошел навстречу тупоносый и весь черный пароход, и я увидел на нем белые буквы: «Дельта»... А из мути на горизонте уже выделялась башня, преемница того знаменитого маяка, что был когда-то «символом света александрийской мудрости» и одним из чудес мира, ибо «вел к городу полубога, дошедшего от столпов Геркулеса до индийских деревьев, вершин которых не достигают стрелы», был посвящен «богам, спасающим плавающих», блистал зеркалом — «Талисманом Александрии, отражавшим землю, небо и все паруса Средиземного моря», и так возвышался, что «камень, брошенный с него на закате, падал в воду только в полночь...» Потом слабо обозначилась белая полоска города, бесчисленные палочки,— мачты порта,— и крестики — крылья ветряных мельниц, вправо же от них — бледно-желтая линия пустыни, терявшаяся на западе, линия безграничной плоскости, соседней с Дельтой, и там, в этой стекловидной дали — призраки тех единственных по своим очертаниям деревьев, вид которых всегда волнует: финиковые пальмы.

Мы идем медленно, но он все растет и приближается, этот песчаный берег с пальмами, все выше растут эти бесчисленные мачты, видны каменные ленты волнорезов и сияющий белизной маяк. И зной африканского утра все увеличивается по мере того, как мы все тише и глубже входим в тесноту Старого Порта, переполненного судами и разноцветными лодками с разноцветными флагами отелей и загорелым людом в фесках, обмотанных платками, и в длинных синих рубахах. Все это тянется среди пароходов за нами, а справа надвигаются серо-песчаные обрывы, на которых среди однообразных палевых кубиков-домов стоят шероховатые стволы в перистых султанах. Долгий морской путь кончен,— взглянув назад, на белый волнорез, я не вижу больше моря: вижу только мачты да

синюю ленту над волнорезом. Кругом пестрота людей и лодок, эти палевые кубики и пальмы,— и все залито сухим, ослепительным светом... Африка!

Въезжая в Александрию, я все клонил голову: солнце стояло как раз над головою. Встретилась медленная вереница соловых дромадеров, навьюченных сахарным тростником и предводительствуемых босоногим погонщиком в красной ермолке и коротком белом кунбазе. Потом проехали английские солдаты в тропической форме, верхом на великолепных гнедых лошадях, лоснившихся на солнце, и, прижимаясь от них к глиняной ограде, мелко перебирая по пыли маленькими ножками, прошла молоденькая феллашка в голубой полинявшей рубахе, круглолицая, с полными губками и расширенными ноздрями. Она подняла ресницы над темными глазами — и опустила их. На ее пепельно-смуглом лице, татуированном синеватыми полосками по бокам подбородка и звездочками на висках, покрывала не было. Не было и библейского кувшина на ее голове, прикрытой легким платком из черно-синей шерсти: на голове она несла то, что теперь так ходко сменяет на Востоке библейский кувшин,— большую жестянку из-под керосина. А за феллашкой показался ослик-иноходец, быстро и тупо семенивший копытцами, под красным бархатным седлом, на котором, почти задевая землю ботинками, сидел большой араб в пиджаке сверх длинного халата-подрясника, в плоской феске, обмотанной золотисто-пестрым платком...

В отеле близ Площади Консулов мне отвели просторную комнату с каменным полом, покрытым тонкими коврами. В ней стояла постель под кисейным балдахином, было полутемно и прохладно. Ставни балкона были закрыты. За ними стоял оглушительный гам Востока, говор и стук копыт, гул и рожки трамвая, вопли продавцов воды... А когда я раскрыл ставни, в комнату, вместе со всеми этими звуками, так и хлынул свет, жар африканского полдня...

В каком-то маленьком греческом ресторане я ел какую-то розовую морскую рыбу, щедро облитую лимонным соком, и пил какое-то густое вино. Потом побрел к морю, глядя на мелкую зыбь его сиреневого простора, на раковины облаков, таявших над ним в бездонном шелковистом

небе, на кубики палевых домов, терявшихся вдоль широкого изгиба песчаного побережья... И вихры отдаленных пальм опять сладко напомнили: Африка!

На Площади Консулов, вокруг сквера, в жидкой и легкой тени подсыхающих деревьев, стояли коляски, дремали лошади. Смуглые, в белом, извозчики, вместе с прочей арабской толпой, занимавшей несметные столики сквера, пили воды, курили, болтали... Сидели два негра из Судана. Их черные скуластые лица и черные палки ног в огромных пыльных туфлях казались еще чернее и страшнее от белых кидар; сверх рубашек на них были короткие халаты цвета полосатых гиен. С раздувающимися ноздрями раздавленных носов, с блестящими глазами, с нагло вывороченными губами негры радостно и удивленно осматривали проходящих женщин. А у женщин, закутанных в черный шелк, только и видно было что глаза, странно разделенные металлическим цилиндром, соединяющим чадры с покрывалами.

Часам к четырем город снова ожил. Поливали мостовые, и косой блеск с запада ярко золотил и площадь, снова наполнившуюся народом, и всю улицу Шериф-Паша, по которой я поехал к каналу и которая казалась бы совсем европейской, если бы не ослики, не этот босоногий черноликий люд и шарабаны с детьми и женщинами, очень нарядными, но уж чересчур смуглыми. Канал соединяет море с Нилом. Виллы и сады тянулись вдоль его правого берега, на зеркальной воде его мирно дремали в низком блеске еще жаркого солнца грубые косые паруса барок, и по-африкански желтели среди пальмовых рощ глиняные хижины на левом берегу...

По-африкански бедно было и в кварталах, прилегающих к Старому Порту, к тому голому холмистому пространству, где когда-то были дворцы и храмы Птоломеев и где теперь, на месте Серапеума, стоит так называемая колонна Помпея. По-африкански горели против опускавшегося солнца стекла в желтых домах разноплеменной александрийской бедноты. Женщины в туфлях и халатиках, похожие на евреек наших южных городов, с раскрытыми тощими грудями, почерневшими от зноя, лениво сидели у порогов и держали на коленях полуголых детишек, лица которых сплошь облепляли мухи. Тут же шатались

шелудивые бездомные собаки. Ни кустика не было среди глиняных рогатых памятников арабского кладбища, уже давно смешавшего свои кости с несметными костями древних кладбищ и с мусором тысячелетних останков стократ погибавшей и вновь возрождавшейся Александрии. И надо всеми этими братскими могилами высилась колонна розового ассуанского мрамора. Меланхолически-прекрасен вид от колонны: на западе — вечернее солнце, опускающееся к золотой полосе Средиземного моря, на востоке — рощи пальм, синяя пустынная равнина Мареотиса и пески, пески...

А на пути в Каир сперва мелькали стены Александрии. Потом вагоны озарились золотистыми песчаными выемками, белыми виллами и яркой синью утреннего неба.

Скоро их сменил Мареотис: водная сияющая гладь, острова камышей, необозримая зеркальность, на отмелях которой розовыми лилиями блистали тысячи длинноногих фламинго, ибисов и цапель. А за лагунами и поймами начали развертываться топи и равнины, возделанные, как огороды, изрезанные каналами и плотинами, и стекловидные дали с чуть видными оазами селений...

Поезд уносил меня к югу, и все живее чувствовал я, что нигде так быстро не падаешь в глубь времен, как здесь. Как древен этот смуглый люд, орошающий поля, едущий по плотинам на осликах, отдыхающий вместе с буйволами под жидкой тенью смоковниц!

Вагон был переполнен женщинами, до глаз закутанными в черное и белое, фесками, шляпами, халатами, табачным дымом, пылью и светом. Воздух, веющий в окна с нив и каналов, становился все жарче и суше,— и вот начали хлопать поднимаемые рамы, а за ними — решетчатые ставни. Воцарился полумрак, изрезанный полосами света и дыма, но духота стала уже дурманить. Я вышел на площадку — и ослеп от белого блеска. Обдает пламенем, точно стоишь возле огромного костра, удушает желтой пылью... Вижу сквозь пыль, что под колесами с грохотом мелькает сквозной мост и горячим стеклом блещет внизу река в илистых берегах. Это уже Нил. Мимо поезда начинают мелькать белые яркие стены и высокие пальмы: Танта. С разлета стал поезд, и хлынувшая из вагонов толпа мгновенно смешалась с цветистой толпой на раска-

ленной платформе. Но едва успел я схватить в буфете апельсин и пачку папирос, как дверцы вагонов уже опять захлопали. И опять — равнины зреющего хлеба, каналы и черные деревушки феллахов — полузвериные хижины из ила, крытые дурровой соломой... И опять против меня — копт и феллах. Копт — толстый, в черном халате, в черной туго завернутой чалме, с темно-оливковым круглым лицом, карими глазами и раздувающимися ноздрями. Феллах — в белой чалме и грубом балахоне, расстегнутом на груди. Это совершенный бык, по своему нечеловеческому сложению, с бронзовой шеей изумительной мощи. И сидит он так, как и подобает ему, прямому потомку древнего египетского человека: прямо, нечеловечески спокойно, с поднятыми плечами, ровно положивши ладони на колени...

1907

СВЕТ ЗОДИАКА

I

Каир шумен, богат, многолюден.

К вечеру улицы политы. Нежно и свежо пахнет цветами, тепло и пряно — влажной пылью и нагретыми за день мостовыми. Оживленнее гудят трамваи, реками текут шарабаны, коляски, кареты и верховые к мосту через Нил, на катанье, гремят в садах оркестры... Но вот по людным широким тротуарам, никого и ничего не замечая, идут бедуины — худые, огнеглазые, высокие,— и на их чугунных лицах — алый отблеск жаркого заката. Их тонкие, сухие, почти черные ноги голы от колен до больших жестких башмаков. Лица грозны, головы женственны: на головы накинуты и висят по плечам кэфии — большие платки из черно-синей шерсти, а сверх платков лежит двойной обруч, два черных шерстяных жгута. На теле рубаха до колен, подпоясанная шалью, на рубахе — теплая безрукавка, а сверх всего — абая, шерстяная пегая хламида, грубая, тяжелая с короткими рукавами, но такая широкоплечая, такая свободная, что рукава, спускаясь, достигают до кистей маленьких лиловых рук. И царственно-гордо выгнуты тонкие шеи, обмотанные шелковыми платками, и небрежно опирается левая рука с серебряным

перстнем на мизинце на рукоятку огромного ятагана, засунутого за пояс...

Старый Каир, сарацинский, окружает Каир новый, европейский, со стороны желтого Мокатамского кряжа. Ему уже тысяча триста лет. Он основан «милостью и велением бога». Фостат — его первое имя — значит палатка. У подошвы Мокатама был Новый Вавилон, основанный еще при фараонах выходцами из Вавилона Халдейского. Настало время, когда над миром восторжествовала грозная и дикая мощь Ислама. Амру, полководец Омара, пришел к Нилу и взял Вавилон. В его палатке свила гнездо голубка. Уходя, Амру оставил палатку, дабы не трогать гнезда. И на этом месте зачался «Победоносный», Великий Каир.

Его узкие, длинные и кривые улицы переполнены лавками, цирюльнями, кофейнями, столиками, табуретами, людьми, ослами, собаками и верблюдами. Его сказочники и певцы, повествующие о подвигах Али, зятя пророка, известны всему миру. Его шахматисты и курильщики молчаливы и мудры. Его базары равны шумом и богатством базарам Стамбула и Дамаска. В нем полтысячи мечетей, а вокруг него, в пустыне, — сотни тысяч могил. Мечети и минареты царят надо всем. Мечети плечисты, полосаты, как абаи, все в огромных и пестрых куполах-тюрбанах. Минареты высоки, узорны и тонки, как пики. Это ли не старина? Стары и погосты его, стары и голы. Там, среди усыпальниц халифов, среди усыпальниц мамелюков и вокруг полуразрушенной мечети Амру, похожей на громадную палатку,— вечное безмолвие песков и несметных рогатых бугорков из глины, усыпляемое жалобною песнью пустынного жаворонка или пестрокрылых чекканок. Но вот проходит и звонко и страстно кричит по узким и шумным коридорам базаров и улиц сожженная нуждою и зноем женщина, со спутанными черными волосами, босая, в одной полинявшей кубовой рубахе. Все достояние ее в козе, которую она ведет за собою,— в старой козе с длинной шелковисто-черной шерстью, с длинными колокольцами-ушами и горбатым носом. Женщина кричит, предлагая подоить эту козу и за грош напоить «сладким молоком» всякого желающего. И вся старина сарацинского Каира тонет в аравийской древности этого крика. А когда смот-

ришь на мечети Каира и на его погосты, то думаешь о том, что мечети его сложены из порфира мемфисских храмов и гранита разрушенных пирамид, что дорога мимо погостов ведет по пустыне к обелиску Гелиополя-Она. И тогда и от европейского Каира и от Каира мусульманского мысль уносится к древнему царству фараонов, видя вдали каменные мощи этого царства — пирамиды Гизе и Саккара...

II

Солнце склонялось к Ливийской пустыне. Я смотрел со стен цитадели Каира, утвержденной на выступе скал Мокатама, на запад, на восток и на север,— на город, занявший необозримую долину под цитаделью. Подошел и предложил свои услуги какой-то милый и тихий человек в темном балахоне и белой чалме. Он прежде всего показал мне колодец халифа Юсуфа. Но что же это за старина? Колодец глубок, как преисподняя, и только. Камни цитадели постарше — они из малых пирамид Гизе!

Я все глядел в пыль над долиною Нила и за Нил, где, в сухо-туманной пустыне, рисовались фиолетовые конусы самых старых пирамид и среди них — ступенчатая пирамида Аписов: Ко-Комех — «пирамида черного быка». Внутри она уже разрушается, а снаружи полузасыпана песками. Она даже не из камня, а из кирпичей нильского ила. Она на тысячу лет древнее великой пирамиды Хуфу. А близ нее — Серапеум, бесконечные черностенные катакомбы, высеченные в скалах. И, взглянув в сторону Серапеума, я забыл на минуту все окружающее. Ах, как пышно-прекрасны были эти «земные воплощения бога Нила», эти мощные траурные быки — черные, с белым ястребом на спине, с белым треугольником на лбу! Как мрачно-торжественны были их погребальные галереи и гигантские саркофаги из гранита!

— Эль-Азхар, Гассан,— бормотал араб, перечисляя каирские мечети и, бесшумно перебирая легкими босыми ногами, привел меня к северной стене, к другому обрыву, и опять стал указывать на море серого огромного города, теряющегося в пыли под нами.

Воздух был тепел и душен. Далеко на западе склонялось к слоистым пескам горячее мутное солнце. Пирамиды Гизе были ближе и левей его: они мягко и четко выделялись среди этих пепельных дюн фиолетовыми конусами. Необъятное пространство между небом, пустыней и долиной Каира было все в пыльно-золотистом блеске. Солнце опускалось все ниже, белый шлем, который я держал в руках, стал алеть. С минаретов понеслись к бледному бездонному небу древне-печальные прославления бога. Летучие мыши дрожащими зигзагами зареяли вокруг: они любят теплые вечера, катакомбы, пустынные скалы...

В пустыне, сзади цитадели, раскинуты среди песков мечети-гробницы халифов. Они всеми забыты, приходят в ветхость. Там в усыпальнице Каид-Бея окна горят такой цветной мозаикой, равной которой нет на земле. Там есть два камня из Мекки — один сиреневый, другой розовый — и на них следы Магомета. Но что Каид-Бей и Магомет! За могилами халифов, среди песков, уходящих до Красного моря, на самой окраине холмов Иудейских, есть оаз, где, по слову Осии, «терпии и волчцы выросли на жертвенниках Израиля», где с землею сровнялись следы города, более славного и древнего, чем самый Мемфис,— следы Она-Гелиополя, Бет-Шемеса, по-еврейски,— «Дома Солнца». Это было средоточие культа Гора и высшей жреческой мудрости. Усиртесен Первый пять тысяч лет тому назад воздвиг перед онийским храмом Солнца, самым чтимым в древнем мире, свои обелиски из розовых гранитов и украсил их золотыми наконечниками. В дни патриархов Иосиф, сын Иакова, женился в Оне на дочери первосвященника Потифера — «посвященного Солнцу»; Моисей, воспитавшийся там, основал на служении Изиде служение Иегове; Солон слушал первый рассказ о потопе; Геродот — первые главы истории, Пифагор — математику и астрономию; Платон, проведший в академии Она тринадцать лет,— презрительно-грустные слова: «Вы, эллины,— дети»; в Оне жила сама богоматерь с младенцем...

Солнце тонет в сухой сизой мути, и шафранный свет запада быстро меркнет. Мириады веселых огней рассыпаются по темнеющей долине Каира. Со всех сторон обступает Каир африканская душная ночь. Из тьмы неве-

домых горячих стран пролагает свой путь священная река, источники которой знали лишь жрецы Саиса. Неведомые экваториальные созвездия поднимаются оттуда,— и звездное небо принимает «вид лучистых алмазов на черно-бархатном покрове гроба». Черное! Сколько тут черного! Черны были палатки таинственных азиатских кочевников, «царей-пастухов», несметной ратью охватившие некогда Египет на целых пятьсот лет. Черны были Аписы Мемфиса. Черным гранитом лоснились скаты пирамиды Хуфу. «Семусином» — черно-пламенным ураганом песков — прошел по Египту Камбиз, до основания разрушив и Он и Мемфис, и это в его полчищах семусин пожрал в один день полтораста тысяч жизней на пути к черной Нубии! И вот тогда-то и дохнуло на Египет дыхание смерти, и «помутилось солнце его от пыли сражений и от курений жрецов, и прибег он к идолам и чародеям и к вызывающим мертвых»...

На месте Она, ныне покрытом хлебами, пальмами и хижинами арабской деревушки Матариэ, среди оаза, что питается родником Айн-Шемес — «Солнечным источником»,— одиноко стоит десятисаженный обелиск, на треть утонувший в земле, изъеденный иероглифами и облепленный гнездами ос. А в Ливийской пустыне сонные змеи песков бегут и бегут во входы пирамид, уже давно пустующих. Мумии из гробниц и пирамид Саккара выкинул еще Камбиз. Пустой саркофаг из базальта, найденный в пирамиде Менкери, потонул вместе с кораблем в океане, на пути в Британию. Пустой огромный саркофаг стоит и в Великой пирамиде. Кто тот, что покоился в ней? Хуфу? Копты говорят: нет, Саурид, живший за три века до потопа и от потопа сохранивший в ней и свой труп, и все сокровища египетской мудрости... В те долгие века, когда умерший Египет пребывал в тишине и забвении, пришли в его пустыни новые завоеватели, арабы, пробили, после долгих исканий, уже ободранную Великую пирамиду и в гробовой тьме, по узким проходам, ведущим в сердце пирамиды, проникли, в надежде на клады, в покой человека, умершего в начале мира. Но, озарив факелами заблестевшие, как черный лед, шлифованно-гранитные стены этого покоя, в ужасе отступили: посреди него стоял прямоугольный и тоже весь черный саркофаг. В нем лежала

мумия в золотой броне, осыпанной драгоценными камнями, и с золотым мечом у бедра. На лбу же мумии красным огнем горел громадный карбункул, весь в письменах, непонятных ни единому смертному...

III

Я кончил этот вечер в театре, на площади, сплошь занятой табуретами и столиками, шумной и людной, как ярмарка.

Двери театра были открыты настежь, но в партере, усеянном фесками, стояла одуряющая духота. Что же было в решетчатых ложах, где помещаются гаремы? Подняли под музыку занавес — и в глубине сцены открылся плакат: лиловая ночь и пребольшая луна над лиловым силуэтом города, состоящего из одних пальм и мечетей и четко отраженного в бледно-лиловой реке. На полу среди сцены стояло ярко-зеленое дерево, а под деревом — араб в пышной старинной одежде и громадном тюрбане. Страстно завыл и загудел оркестр, и араб, приложив одну руку к сердцу, а другую, дрожащую, вытянув, разразился такими гнусавыми воплями, что весь партер затрепетал от рукоплесканий. Араб жаловался на несчастную любовь и прозакладывал кому-то душу, лишь бы увидеть свою милую. Затем он смолк, закрыл лицо руками и затрясся от беззвучных рыданий. А наплакавшись, глубоко вздохнул, снял темный широчайший халат, положил его подушкой под деревом и, оставшись в другом, бледно-розовом, лег спать. Музыка под сурдинку запиликала что-то осторожное, хитрое. И тогда из-за кулис бесшумно выпорхнули черти в красных балахонах, с белыми изображениями черепов на груди. Радостно подвывая и взвизгивая, они закружились над своей добычей. И вдруг ухнул барабан — и, подхватив спящего, черти бросились за кулисы...

Домой я вернулся за полночь. Каир затихал. Съедаемый москитами, я без сна лежал на широкой постели в жарком номере. Перед рассветом взошел месяц, озарил теплым золотистым светом верхушки пальм во дворе отеля и противоположные балконы, и в окна потянуло све-

жестью. Я стал забываться. Но тут воздух внезапно дрогнул от мощного трубного рева. Рев загремел победно, оглушающе — и, внезапно сорвавшись, разразился страшным, захлебывающимся скрипом. Рыдал в соседнем дворе осел — и рыдал бесконечно долго!

Утро в Каире восхитительно. Чистые широкие проспекты еще в тени и пусты. Снова полита зелень в цветниках, палисадниках и скверах, нежно и свежо пахнущих. Верхушки пальм розовеют, небо легко и жемчужно-бирюзово. Экипаж быстро катится по гладким мостовым. Едем к пирамидам. Вот мост с бронзовыми львами через Нил. Свет утреннего солнца ослепительно блещет над розово-голубым морем пара, в котором тонут и острова, и вся долина Нила. «Привет тебе, Амон-Ра-Гормахис, сам себя производящий! Привет тебе, священный ястреб со сверкающими крыльями, многоцветный феникс! Привет тебе, дитя, ежедневно рождающееся, старец, проплывающий вечность!»

Нил под мостом дымится, и в дыму медленно идут серые паруса барок. Вереницы ослов и верблюдов, нагруженных овощами, зеленью, молоком, птицей, тянутся на базары и несут в город простоту деревни, здоровье полей. Переезжаем остров, потом рукав Нила, едем мимо зоологического парка,— и впереди открывается низменность, равнина зреющих ячменей и пшеницы: стоит время Шаму, как называли египтяне жатву. И прямая, как стрела, аллея акаций до самой пустыни прорезывает эту равнину. Там, в самом конце аллеи, как деревенские риги, стоят на обрыве скалисто-песчаного плоскогорья три каменных треугольника цвета старой соломы.

Когда мы подъезжаем к этому обрыву, резко желтеет его песок и мягко и четко возносятся над ним в прозрачный воздух зубчатые грани каменной громады ржаво-соломенного цвета: Великая пирамида Хуфу!

От нее — один из самых дивных видов в мире. Целая страна, чуть не вся низменность Дельты, теряется на севере, радуя вечной молодостью природы: молоды кажутся отсюда, из пустыни, с древнейшего на земле кладбища, эти нивы, пальмы, селения! На юге тонет в солнечном тумане долина Нила. Впереди чуть виден мутно-аспидный Каир и призраки Аравийских гор. А сама пирамида, стоя-

щая сзади меня, восходит до ярких небес великой ребристой горой.

Обойдя ее, я вижу, что северный бок ее высоко занесен песком. Вдали, в сторону Ливийской пустыни,— второй треугольник, пирамида Хафри. Ее громада, почти равная первой и тоже утонувшая в слоистых песках, снизу ободрана, доисторически груба и проста, как и Хуфу, но вверху блестит розовым гранитом. В чистом воздухе она кажется необыкновенно близкой. Но еще более четки на сини небосклона грани третьей — «красной» пирамиды Менкери, еще сплошь покрытой сиенитом. Она гораздо меньше и острее двух первых. А к горизонту, там, где пустыня, поднимаясь волнистыми буграми, ярко подчеркивает сине-лиловое небо, теряется за песками еще несколько маленьких конусов... Вот она, ясность красок, нагота и радость пустыни!

Вход в Великую пирамиду передо мною. Пески засыпали ее скат как раз до того места, где нашли когда-то отверстие в «самое таинственное святилище мира». Я знаю, что это отверстие падает вниз по скользкому склону в триста футов, в удушающий мрак, в тесноту. Там теперь нет ничего, кроме тьмы, летучих мышей и огромной гробницы без крышки... Где же кости того, кто вот уже шесть тысяч лет изумляет землю? Они, говорят, покоились на дне шахты,— под пирамидой, а не в ней. Шахта будто бы соединялась подземным ходом с Нилом... с подземным капищем Изиды, которой посвящена пирамида... с ходом под Сфинкс... Но не все ли равно? Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди! С тех пор, как их клали в такое же знойное утро, как и нынче, тысячи раз изменялось лицо земли. Только через двадцать веков после этого утра родился Моисей. Через сорок — пришел на берег Тивериадского моря Иисус... Но исчезают века, тысячелетия,— и вот, братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни...

К Сфинксу иду по указаниям самого Хуфу:

«Гор живой, царь Египта Хуфу, нашел храм Изиды, покровительницы пирамиды, рядом с храмом Сфинкса, к северо-западу от храма Озириса, господина гробницы, и построил себе пирамиду рядом с храмом этой богини...

Место Сфинкса — к югу от храма Изиды, покровительницы пирамиды, и к северу от храма Озириса...»

По песчаным шелковистым буграм цвета львиной шкуры я спускаюсь от пирамиды в котловину, где лежит каменное стоаршинное чудовище, каменная гряда с тринадцатиаршинной головой. И вступаю в святая святых Египта. Это уже последняя ступень истории!

Вокруг меня мертвое, жаркое море дюн и долин, полузасыпанных песками скал и могильников. Все блестит, как атлас, отделяясь от шелковистой лазури. Всюду гробовая тишина и бездна пламенного света. Вот страшная извилистая полоса на песке,— здесь протащила свой жгут змея, может быть, сама Фи, знаменитая в священных писаниях Египта, вся желто-бурая, вся в бурых поперечных лентах, с маленькими вертикальными глазками, от всех гадов отличная рожками. Ноги мои вязнут, солнце жжет тело сквозь тонкую белую одежду. Пробковый шлем внутри весь мокрый. Но я иду и не свожу глаз со Сфинкса.

Туловище его высечено из гранита целиком,— приставлены только голова и плечи. Грудь обита, плоска, слоиста. Лапы обезображены. И весь он, грубый, дикий, сказочно-громадный, носит следы жуткой древности и той борьбы, что с незапамятных времен суждена ему, как защитнику «Страны Солнца», Страны Жизни, от Сета, бога Смерти. Он весь в трещинах и кажется покосившимся от песков наискось засыпающих его. Но как спокойно, спокойно глядит он куда-то на восток, на далекую солнечно-мглистую долину Нила! Его женственная голова, его пятиаршинное безносое лицо вызывают в моем сердце почти такое же благоговение, какое было в сердцах подданых Хуфу:

«Честь тебе, старец, многоликий владыка, испускающий лучи, разгоняющий мрак!»

И, спустившись к лапам Сфинкса, я заглядываю в полузасыпанную шахту между ними и несмело поднимаю глаза на красноватый исполинский лик его...

Есть «Свет Зодиака». Он встает серебристым пирамидальным сиянием на темном небе жарких стран долго спустя по закате. Он еще не разгадан. Но божественная наука о небе называет его свечением первобытного свето-

носного вещества, из которого склубилось солнце. Я еще помню отблеск закатившегося Солнца Греции. Теперь, возле Сфинкса, в катакомбах мира, зодиакальный свет первобытной веры встает передо мною во всем своем страшном величии.

IV

От света, от блеска песков и неба я был пьян всю дорогу до Каира. Жаркая сквозная тень бесконечной аллеи кружевом бежала по лошадям, по спине извозчика, по моим коленям. Разливы спелых хлебов дремали полуденной дремотой. Полуденным сном и солнцем был отягчен зоологический парк. Жутко и пышно было в нем в этот час! Я остановил коляску и вошел.

До земли висели ветви мимоз. Высоко возносились в пламенный воздух, в пыльно-серебристое небо пальмы. Накалялись цветники. На горячих дорожках млели, цепенели огромные, сказочно разноцветные бабочки сказочно богатых рисунков. В загоне под какими-то высокими зонтичными деревьями стоял покатый жираф, древнеегипетские изображения которого считались когда-то баснословной смесью всех животных, и, поводя змеиной шеей, тянулся рогатой головкой к листьям макушек; и нельзя было понять, льются ли это узоры светотени или блестит и переливается его песочно-пантеровая шкура. В других загонах, закрыв ясные девичьи глазки, истомленные душной тенью, лежали па́левые газели и антилопы. Дальше снова шли открытые солнцу пруды и поляны. Неподвижно, на одной ноге, как на блестящей трости, стояли в теплой грязной воде прудов розовые фламинго, надутые пеликаны, хохлатые тонкие цапли. Неподвижно, бронзово-зелеными маслянистыми бревнами, лежали среди плавучих островов допотопные хампсы Египта — свиноглазые крокодилы, до половины высунувшись на горячую илистую отмель. И бессильно, плоско растягивались на песке и пестрых камнях, за частой сеткой клеток, плетевидные гады, большеротые, остроглазые, с самоцветными головками. Иные сверкали всем великолепием палитры в свежих красках, иные — иероглифами точек, решеток, полос. Медленно ползла серая, в черных чешуйках, «кошачья

змея» и, как всякий ползущий гад, казалась длинной-длинной. «Ночные» змеи дремали. Они так втирались в песок и так сливались с ним, что лишь случайно наталкивался я на их неподвижно-стеклянные глаза с вертикально-хищными зрачками. Самоцветными камнями сверкали, скользя, ящерицы. Искрились тысячи золотисто-купоросных мух. Пряно пахли нагретые травы. Животной теплой вонью несло из загона, где бродили голенастые страусы, нося на своих лошадиных ногах кургузые туловища в атласно-белоснежных курчавых перьях и с глупым удивлением вытягивая лысые головки на голых шеях. Хищно, восторженно и неожиданно вскрикивали в мертвой тишине крепкоклювые, горбоносые попугаи,— радужные, рубиново-синие, золотые и зеленые. И тогда сад казался Эдемом, заповедным приютом блаженства и «незнания». Но, снедаемый жаждой знания, жаждой запретного, я ходил от решетки к решетке змеиных клеток. Ужас и отвращение вселяла ленивая, широколобая, пучеглазая «капская гадюка», лежащая толстым ярко-соломенным жгутом в темных подковках. Свившись в палевую спираль, отливавшую голубым пеплом, неподвижно смотрела в пространство круглоглазая, с яйцевидной головкой Гайя, неотразимо-смертоносная покровительница всего древнего Египта,— символ величия и власти, уреус на царских митрах, жгут, обвивающий крылатую эмблему Гора, «ара», стократ изображенная над входами храмов...

А Каир встретил меня закрытыми ставнями, сохнущими от зноя деревьями, белыми пустыми улицами. Небо было тускло, дул жгучий пыльный ветер. То был вестник самого бога Сета. И дышал он, пламенный, над страною могил от первородных чад ее с таинственного и грозного Юга,— оттуда, «где бог в своем лучезарном течении покрывает кожу людей мрачным блеском сажи и, иссушая, курчавит их волосы».

1907

ИУДЕЯ

> И господь поставил меня среди поля, и оно было полно костей.
>
> *Иезекииль.*

I

Штиль, зной, утро. Кинули якорь на рейде перед Яффой.

На палубе гам, давка. Босые лодочники в полосатых фуфайках и шароварах юбкой, с буро-сизыми, облитыми потом лицами, с выкаченными кровавыми белками, в фесках на затылок орут и мечут в барки все, что попадает под руку. Градом летят туда чемоданы, срываются с трапов люди. Срываюсь и я. Барка полным-полна кричащими арабами, евреями и русскими.

Пароход, чернея среди зеркального взморья, отдаляется, кажется маленьким. Мала и Яффа. До нее еще далеко, но воздух так чист, а восточные контуры ее кубических домиков, среди которых то там, то тут метелкой торчит пальма, так четки и просты. Уступами громоздится этот каменный, цвета банана, городок на обрывистом прибрежье. От рейда его отделяет длинная гряда рифов. За ними, у береговых отмелей, шелком сияют обвисшие паруса на высоких, тонких мачтах лодок. Их больше всего

возле северной отмели, где когда-то был Водоем Луны, финикийская гавань. С севера к Яффе подступает золотисто-синяя от воздуха и солнца Саронская долина. С юга — желто-серые филистимские пески. На востоке — знойно-голубой мираж Иудеи. Там, за горами,— Иерусалим.

В штиль рифы обнажаются — барка спокойно проскальзывает между их ржавыми, мокрыми и нестерпимо блестящими на солнце глыбами. На пристани сараи — таможни. По гладким каменным уступам, в тени звонких переулочков поднимаемся к базару. О Стамбуле напоминает в первую минуту запах гниющих апельсинов и укропа, смешанный с чадом восточной кухни. Но нет, даже в самых глухих закоулках Стамбула нет плит, столь выбитых и отшлифованных копытами и туфлями, и такой толпы — таких грубых одежд, такого жесткого загара и таких гортанных криков! Вот базар с мокрым фонтаном, с водоносами под бурдюками и кувшинами, с верблюдами и собаками, с грудами фруктов и зелени, с кофейнями и лавчонками в крытых полутемных рядах... Да, тут все старее, восточнее. И небо над базаром ярче, и зной не тот. А какие дряхлые хананеи с красными кроличьими глазами меняют в сумраке рядов бешлыки на лепты и пиастры!

В садах вокруг Яффы — пальмы, магнолии, олеандры, чащи померанцев, усеянных огненной россыпью плодов. Запыленные ограды из кактусов в желтом цвету делят эти сады. Между оградами, по песчано-каменистым тропинкам, медленно струится меланхолический звон бубенчиков — тянется караван верблюдов. Где-то журчит по канальчикам вода — под однотонный скрип колес, качающих ее из цистерн. Этот ветхозаветный скрип волнует. Но еще больше волнует сама Яффа. Эти темные лавчонки, где тысячу лет торгуют все одним и тем же — хлебом, жареной рыбой, уздечками, серебряными кольцами, связками чесноку, шафраном, бобами; эти черные, курчаво-седые старики-семиты с обнаженными бурыми грудями, в своих пегих хламидах и бедуинских платках; эти измаилитянки в черно-синих рубахах, идущие гордой и легкой походкой с огромными кувшинами на плечах; эти нищие, хромые, слепые и увечные на каждом шагу — вот она,

подлинная Палестина древних варваров, земных дней Христа!

На другой день покидаем Яффу, направляясь по Саронской долине к Иерусалиму. Пустынный путь! Нарциссы долины, из-за легендарного плодородия которой было пролито столько крови, теперь начинают выпахивать. Иудея опять понемногу заселяется своими прежними хозяевами, страстно мечтающими о возврате дней Давида. Но цветов еще много, слишком много. Всюду мак, мак и мак: щедро усеял он эти пашни и нивы своими огненными лепестками.

Очаровательный ветер весеннего дня и приморской степи, солнечное тепло, сладкий аромат цветущих олив, хлебов и горячей земли веет в окна коротенького поезда, раз в сутки пробегающего по долине и горам к Иерусалиму. Он идет по волнистым полям, среди ржавых пашней и зеленых посевов, то и дело встречает вереницы верблюдов, стада черных коз и серых овец, кучками толпящихся то там, то здесь под охраной полудиких пастухов и собак, похожих на шакалов.

— Но, боже, сколько маку! — говорит мой спутник, русский еврей, старик с большой серо-сизой бородой.

А за Лиддой и Рамлэ,— каменными кубами арабских городков, ярко белеющих под ярко-синим небом среди финиковых пальм и кипарисов,— почва становится еще суше, еще кремнистее и волнистей, а хлеба еще слабее и жиже. Начинается подъем,— до самого Иерусалима. Уже виден впереди серый камень, синь впадин и ущелий. Поезд медленно выбивает такт короткими вздохами, свистки его делаются гулки и звонки, путь извилистей; мы глядим на небо уже из какой-то голой, каменистой котловины. И вот котловины начинают сменяться котловинами, ущелья ущельями... Иногда они оживляются сожженной зноем зеленью деревьев, растущих на их кремнистых ложах, или пелазгическими останками хананейских укреплений на куполообразных вершинах; иногда овцами, рассыпанными по сухим обрывам, среди голышей в лишаях и колючках; или рядами каменных оградок,— следами террас, на которых спокон веку разводили здесь сады и виноградники... Только где же те «бездны», которыми будто бы поражают Иудейские горы? Где высоты,

что будто бы «еще дышат величием Иеговы и ужасами смерти»?

Солнце скрылось, в горах тень. Мы уже в самой сердцевине их. Все поднимаясь и поднимаясь, проползаем кремнистые долины, извивающейся гусеницей огибает поезд серо-желтые каменные ковриги, густо усыпанные круглыми голышами... Это именно здесь, в одной из этих котловин, «взял посох свой в руку свою Давид и выбрал пять гладких камней из ручья и поразил Голиафа...»

Перед вечером поезд выползает, наконец, на темя гор — и вдали, среди нагих перевалов и впадин, изрезанных белыми лентами дорог, показываются черепичные кровли нового Иерусалима, окружившего с запада зубчатую сарацинскую стену старого, лежащего на скрытом от нас скате к востоку. Тут мой спутник поднимается с места, становится лицом к окну, закрывает глаза и быстро-быстро начинает бормотать молитвы. Мы уже на большой высоте, солнце стоит низко, поднялся ветер — и дрожь пробегает по телу при выходе из жаркого вагона. Не дрожь ли горького разочарования? Новый, но какой-то захолустный вокзал из серого камня. Перед вокзалом галдят оборванные извозчики — евреи и арабы. Дряхлый, гремящий всеми винтами и гайками фаэтон, пара кляч в дышле... И в то время как сизый носильщик швыряет в фаэтон наши чемоданы, спутник мой по-детски, ладонью наружу, закрывает глаза и тихо плачет, покачивая шляпой.

II

Вчера весь день я бродил по Иерусалиму, нынче объехал верхом вокруг его стен и на закате возвратился к Западным воротам.

Как груба и стара громада ворот! Зубчатая сарацинская башня, в упор освещенная низким солнцем, вся как будто из потемневшего от времени железа. Небольшая площадь за воротами почти вся в тени, падающей и от них, и от тяжкой цитадели Давида с ее рвами и бойницами. Направо — несколько европейских домов, магазинов. Напротив — улица Давида: узкий, темный, крытый холстами и сводами ход между старыми-старыми мастер-

скими и лавками. Из него выныривают навьюченные ослы, фески, женщины, с головой завернутые в покрывала, постукивающие деревянными скамеечками, заменяющими здесь туфли... Вечерний свет, падающий из ворот на жерло этого входа, делает его совсем черным. Как раз возле него — высокий, узкий дом, наш отель. Спрыгнув с лошади, я иду туда, где провожу все вечера,— на крышу. Иду по внутренним и наружным лестницам, на одном повороте останавливаюсь: за окном подо мной — громадный «водоем пророка Иезекии», темно-зеленая вода которого стоит прямо среди домовых стен с решетчатыми окошечками, пробитыми как попало — и очень высоко, и очень низко. Медленно спускается из одного такого окошечка кожаное ведро на веревке...

Солнце на закате. Я выхожу на крышу, снимаю пробковый шлем, и по голове моей дует с запада сильный и прохладный ветер. Небо глубокое, бледно-синее, без единого облачка. Я на темени Иудеи, среди волнистого плоскогорья, лишь кое-где покрытого скудной зеленью. Все мягкого, но очень определенного серо-фиолетового тона. Застывшие перевалы, глубокие долины, куполообразные холмы... За мной, в закате — оливковые рощи и раскиданные по холмам здания: католические приюты, школы, госпитали, виллы. На севере, на горизонте,—четкий известковый конус, гора Самуила. На востоке, за Кедроном и горой Елеонской,— Иудейская пустыня, долина Иордана и стеной нежно-фиолетового дыма заступивший полнеба, ровный и высокий хребет от века таинственных Моавитских гор. Прямо же подо мною плоской, голой кровлей желто-розового цвета лежит каменная масса небольшого аравийского города, со всех сторон окруженного глубокими долинами и оврагами.

«Иерусалим, устроенный, как одно здание!» — вспоминаю я восклицание Давида. И правда: как одно здание лежит он подо мною, весь в каменных купольчиках, опрокинутыми чашами раскиданных по уступам его сплошной кровли, озаренной низким солнцем. Первобытно-простой по цвету, первобытно-грубый по кладке, без единого деревца,— только одна старая высокая пальма на южной стороне,— он весь заключен в зубчатую толщу стен и кажется несокрушимым. Он, воспетый Давидом и Соломо-

ном, некогда блиставший золотом и мрамором, окруженный садами Песни Песней, ныне возвратился к аравийской патриархальной нищете. Уступами сходящий к кремнистой ложбине Кедрона, к переполненной несметными могилами Иосафатовой долине, окруженный пустырями и оврагами, он кажется тяжким и грубым вретищем, одевшим славный прах былого.

Над ним высятся редкие минареты, католические колокольни и рубчатый черно-синий купол приземистой мечети Омара, занявшей место храма Соломона. За стеной домов, над водоемом, лежащим подо мною, два тоже рубчатых черно-синих купола. Это главы тяжких, вросших в землю храмов над Гробом и Голгофой. В чистом воздухе необыкновенно близка кажется мечеть. А до купола Гроба просто хочется дотронуться. Тысячи черных стрижей вережат и носятся над этой каменной стариною. Солнце опускается, в темных норах и переходах, скрытых кровлею города, в грязных базарных рядах замирает шум и говор торга... Боже, неужели это правда, что вот именно здесь был распят Иисус? И неужели это над его гробом блещет теперь в полумраке византийских сводов и подземелий жуткое великолепие несметных лампад, огромных погребальных свечей, золота и драгоценных камней, стоит бальзамический дым ладана, запах воска, кипариса, розовой воды!

Вот с какой-то католической башни одинокий звонкий колокол бьет семь. Когда замирает его последний звук, издалека раздается грустный сильный альт, призывающий к смиренному прославлению Аллы за мирно угасший день. Ветер с запада, холодный. Солнце скрылось. На город и на всю Иудею пала легкая пепельная тень. Моавитские горы — как южное море в тумане. Блекнет серо-сиреневая пустыня Иордана. Пепел, павший на город, становится розово-сизым. Ветер колеблет перья одинокой пальмы, возвышающейся над ним...

Я оборачиваюсь: мутно-лиловые облака плывут по бледно-алому закату. Выше заката неба точно нет: что-то бездонное, зеленоватое, прозрачное. Потом я снова гляжу на восток, и меня уже слепит печальная тьма быстро набегающей ночи. Внизу стучат, поспешно закрывая лавки. Жизнь замирает, прячется в свои норы. Сумрачны стали

купола Мечети и Гроба. Темным ветхозаветным богом веет в оврагах и провалах вокруг нищих останков великого города. Или нет,— даже и ветхозаветного бога здесь нет: только веянье Смерти над пустырями и царскими гробницами, подземными тайниками, рвами и оврагами, полными пещер да костей всех племен и народов. Место могилы Иисуса задавлено чернокупольными храмами. Мечеть Омара похожа на черный шатер какого-то тысячелетия тому назад исчезнувшего с лица земли завоевателя. И мрачно высятся возле нее несколько смоляных исполинских кипарисов...

«Се оставляется вам дом сей пуст...»

III

На Сионе за гробницей Давида видел я провалившуюся могилу, густо заросшую маком. Вся Иудея — как эта могила.

Я был в Вифлееме и Хевроне. Путь до Вифлеема самый живой из всех Иудейских путей. Я ехал утром, и в жарком блеске утреннего солнца и золотисто-синего воздуха тонули горы и долины на востоке, горячо и ярко белело шоссе передо мною, весело зеленели посевы по красноватым перевалам вокруг, в садах миссий ворковали дикие голуби. И вспоминались сады и виноградники Соломона:

— Цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышится в стране нашей... Встань, возлюбленная моя! Выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградные лозы...

Как голос Жениха-Христа, обращенный к Невесте-Церкви, понимала древняя церковь этот сладкий весенний зов: «Встань, возлюбленная моя!» Но не ко всей ли земле был обращен этот зов?

По пути в Вифлеем зеленели когда-то сплошные сады, где «деревья опускали цветы долу, воды цистерн выходили из краев и на всех ветвях пели птицы, приветствуя проходящую с младенцем на руках Марию...»

Вифлеем — жизнь, воздух, солнце, плодородие; его тесно насыпанные по холмам палевые кубы смотрят на восток, на солнечно-мглистые дали Моавитских гор, от которых некогда пришла кроткая праматерь Давида Руфь.

Но за Вифлеемом — пустыня. Целый день только глинистые ковриги гор, усеянные круглыми голышами, да кремнистые долины. А ведь эта ржавая земля, перемешанная со щебнем, ведь это и есть Страна Обетованная, страна, что родит теперь больше всего дикого маку. Точно фиолетово-красные озера стоят в долинах среди гор, усыпанных голышами. Точно сперва кровавый, а потом каменный ливень прошел по этой стране...

Водоемы Соломона! Я ждал их с волнением — и вот увидел наконец. Влево от дороги стоят руины зубчатой сарацинской крепости. За ней вход в новую глухую, мертвую долину. И уступами лежат в этой долине три гигантских цистерны. Первая суха, пуста. Во второй половина покатого дна чуть прикрыта бирюзовой водой. В третьей покрыто все дно. Густые зеленые кудри дикого плюща виснут со стен. Сквозь них шелковисто и дремотно шумят в тишине серебристые каскады. И заунывно-равнодушно наигрывает на плакучей свирели мимо проходящий пастух, зорко поглядывая на черных коз, рассыпанных среди голышей по окрестным обрывам. Маленькое, совсем черное лицо, женственно обрамленное шерстяным платком под двойным шерстяным обручем. Маленькая вьющаяся бородка, огненные глаза. Грубые бедуинские башмаки. На худое тело надета белая рубаха до колен, подпоясанная платком. На плечи накинута траурная шерстяная хламида, белая в черных полосах. За плечами — кремневое ружье... Совсем не о Соломоне напоминает этот потомок Измаила и Агари! Жизнь совершила огромный круг, создала на этой земле великие царства и, разрушив, истребив их, вернулась к первобытной нищете и простоте...

Перед вечером видел я еще один след Иудеи. Ехали мы опять по долине, и проводник указал мне на пещеру у подошвы холма — на «пещеру Иеремии». Я свернул к ней. Вечер был мирный, с нежно синеющими далями,— летний вечер на юге России. Возле пещеры цвел куст

дикого шиповника. Стрелой вылетел из нее шакал, мелькнул лисьим хвостом и, вскочив на пригорок, сел и навострил уши. На земле, при входе в пещеру, закопченной дымом, валялись пестренькие крылышки съеденной совки...

Под Хевроном холмы живописней. Все они опоясаны рядами террас, на которых зеленеют старые дубы, сереют старые сливы, лежат толстые лозы ханаанского винограда. Но чувствуется одно: приближаясь к первой столице Иудейского царства, все более углубляешься в страну ветхозаветных кочевников. Повстречался караван. Медленно двигались высокие верблюды, важно выгнув свои тонкие шеи, откинув маленькие головки с темными умными глазами и показывая большие продольные ноздри. Несколько черных оборванных разбойников шло сзади...

А Хеврон — это дикое мусульманское гнездо, серый каменный поселок в узкой Долине Возлюбленного. Базарная уличка его стара и грязна несказанно. Пройдя ее, поднимешься на взгорье. Там одиноко стоит нечто вроде маленькой крепости, где почиют Авраам и Сарра — прах равно священный христианам, мусульманам и иудеям. Но мальчишки все-таки швыряют камнями в подходящих к нему поклонников немусульман, травят их собаками...

В Греции, Риме, Египте историческая жизнь почти не прерывалась. Гибли и они в свой срок. «И зарастали дворцы их колючими растениями, крапивой и репейником — твердыни их; и были они жилищем шакалов, пристанищем страусов; и звери пустыни встречались в них с дикими кошками, и демоны перекликались друг с другом». Но мешало ли это возникновению среди развалин новых царств?

Не то было в Иудее.

В мире нет страны с более сложным и кровавым прошлым. В списках древних царств нет, кажется, царства, не предавшего Иудею легендарным бедствиям. Но в Ветхом завете Иудея все же была частью исторического мира. В Новом она стала такою пустошью, засеянной костями, что могла сравниться лишь с Полем Мертвых в страшном сне Иезекииля. Ее необозримые развалины ужаснули самого Адриана. Что Навуходоносор перед Титом или Адрианом! Навуходоносор «пахал Сион». Тит «выше стен» загромоздил его трупами. Приближение его было прибли-

жением воинства Сатанаила. Тучи сгустились, спустились над храмом Соломона, и, в гробовом молчании, сами собой распахнулись бронзовые двери его, выпуская воинство Иеговы. «Мы уходим!» — сказал Иудее неведомый голос. А при Адриане внезапно распалась гробница Давида, и «волки и гиены с воем появились на улицах пустынного Иерусалима». То был знак близкого возмездия за последнее отчаянное восстание иудеев, перебивших на Кипре около трехсот тысяч язычников, в ветхозаветной ярости пожиравших мясо убитых, сдиравших с них кожу на одежды... И чудовищно было это возмездие!

Оно было исполнением пророчеств. Да замрет в Иудее «голос торжества и голос веселия, голос жениха и голос невесты». Да не останется камня на камне от великого, стократ погибавшего в крови и пламени Города Мира. Ибо на долгий, долгий срок земля его, вся пропитанная кровью, должна была стать «терном и волчцами».

Жить обычной жизнью после всего того страшного, что совершилось над ней, Иудея не могла. Долгий отдых нужен был ей. Пусть исчезнет с лица ее всякая память о прошлом. Пусть истлеют несметные кости, покроются маком могилы. Пусть почиет она в тысячелетнем забвении, возвратится ко дням патриархов...

И она возвратилась.

1908

КАМЕНЬ

I

Открыв глаза, почему-то с особенной радостью увидал я нынче открытое окно своей холодной каменной комнаты. На аршин от окна — высокая желтоватая стена соседнего дома. Ранний солнечный свет золотит ее, заглядывает и ко мне. Где-то внизу по-деревенски блеет коза, где-то вверху раздаются звонкие голоса детей, собирающихся в школу. Вдали, на базарах, восторженно рыдает осел.

Холодно и на крыше, но ослепительное солнце, только что поднявшееся из-за Моавитских гор, над долинами, затопленными светлым паром, уже пригревает одежду, руки. Прян утренний запах тлеющего на очагах кизяка, его горячего дыма, выходящего из труб прозрачным, дрожащим. В тишине слышен плеск бурдюков, опускаемых из окон в зеленую воду водоема, еще полного густой тени; слышен зычный крик водоносов, бегущих по крытым уличкам базаров, говор и дробный стук копыт на площади возле цитадели. Весело верезжат и носятся несметные стрижи над розово-желтой кровлей города, над ее опрокинутыми каменными и глиняными чашами, и вокруг черного купола Гроба. Жарко блещет полумесяц на великолепной мечети

Омара, такой одинокий среди окрестной старины и бедности.

Стук копыт — это приводят лошадей для туристов и паломников европейцев. Европейцы живут по отелям, католическим и протестантским миссиям, осматривают святыни почтительно и спокойно. А говор — это говор русских мужиков и польских евреев, идущих плакать. Одни будут лить слезы у Гроба, другие — у Стены Плача, уцелевшей от храма Иеговы. Русские живут в скучных казенных корпусах Православного Общества за Западными воротами. А евреи ютятся в трущобах южного квартала и плачут у останков древнего Сиона, нарядившись в бархатные халаты и польские шапки из остистого меха, под которыми видны на затылках ермолки, а на висках огромные завитки.

Все те, что спешат к мечети Омара, Стене Плача или просто на базары, неминуемо должны пройти по улице Давида. В этом длинном каменном коридоре, уступами спускающемся под уклон, в этих тесных и пахучих рядах старого Востока течет непрерывная река — ослов, патеров, имамов, верблюдов, женщин, турецких солдат, бедуинов и паломников всех исповеданий. Своды, холсты и циновки делают его тенистым, но кое-где между ними видно яркое небо, пыльно-золотистыми столпами прорезывается солнце, и даже в тени чувствуешь, как быстро приближается жаркое палестинское утро. Вот серебром блеснули в этой живой солнечной полосе две белые женские фигуры, вот, напомнив Яффу, промелькнул в ней старик, курчаво-седой, черно-сизый, с толстыми губами, тонкими берцами и раскрытой грудью, под черным платком и в пастушеской пегой хламиде; вот ярко озаренный угол какого-то вросшего в землю дома, сложенного из обломков дикого камня и древнееврейского мрамора, с травой на карнизе — над входом в мясную лавку... Все сильнее и радостнее чувствуется близость к какому-то далекому радостному утру дней Иисуса...

Один из переулков налево весь состоит из лавок с крестиками и образками. Дальше калитка в каменной ограде, а за ней каменный двор, полный жаркого солнца, стиснутый стенами греческих и латинских подворий и самого храма. Мраморная паперть его занята торговцами,

разложившими на ней все те же кипарисные и перламутровые крестики, четки и раковинки. И этот двор, храм — это-то и есть «Юдоль Мертвых». Некогда она лежала вне городских стен, была пустошью, служила для свалки нечистот и крестной казни. Потом стала величайшей святыней мира. И владели ею то Рим, поставивший над могилой распятого храм Венеры, то Византия, то Хозрой, то Омар, то Готфрид, то султаны Стамбула...

Фасад храма сер и тяжел. Входы его в больших глубоких сводах, украшенных обветшалыми барельефами. Один грубо заложен камнями. Другой широко зияет темнотой, усеянной цветными огоньками лампад. Два старинных решетчатых окна во втором ярусе слишком малы, незаметны по сравнению с фасадом. И фасад кажется частью слепой крепостной стены. Толпой выходят русские мужики и бабы, оборачиваются, кланяются до земли и, встряхнув волосами, вздыхая и вытирая полами заплаканные глаза, идут бродить по базарам... Злорадно верезжат и черными стрелами носятся вокруг горячо нагретых стен стрижи... Снисходительно-ласково, притворно-сердито воркуют голуби на выступе карниза...

В портале, на широких нарах, курят, пристально глядя на шахматы, турецкие солдаты. Дальше — сумрак первого притвора, и среди исполинских погребальных свечей, на низком помосте, под балдахином, увешанным дорогими разноцветными лампадами,— желто-розовая плита: Камень Помазания. Налево — ротонда под колоссальным несведенным куполом, детски расписанным облаками, лазурью, ангелами. Посреди — часовня песочного мрамора, вся в блестящих окладах и горящих лампадах. У входа ее горят разноцветные свечи, перевитые сусальным золотом, выше роста человеческого... Вот он, этот жуткий погребальный Вертеп, такой тесный, что в нем трудно повернуться, и настолько залитый светом, что в нем слепнешь и не сразу разглядишь у стены направо низкую лежаночку из мрамора! А к ней-то и текут со всего мира, ее-то и кропят ежечасно розовой водой, над нею-то и пылают пятьдесят лампад и целые костры восковых свечей...

После жара и блеска Вертепа, сумрачно кажется в Ротонде. Тут с утра до вечера — сплошной крестный ход,

давка, слезы, рыдания, служба на всех языках. Служат и в греческом соборе, рядом, и в католических приделах, и на Голгофе — маленьком темном алтаре, куда поднимаются из преддверия Ротонды по мраморной лестнице. Служат и в дальних подземных храмах, где стоит вечная ночь, мрак, озаренный лампадами, и холод могилы... И всюду золото, иконостасы, драгоценные камни, образа всех времен и всяческого письма, ладан, распятия, статуи мадонны...

«На горе сей пьют радость, пьют вино!»

II

Но еще более горькая радость — у Стены Плача, у останков святилища Иеговы.

Если не свернешь с улицы Давида к Гробу и пройдешь немного ниже, то необходимо свернешь вправо, в узенькие и жаркие трущобные ходы, что уступами приводят в глухой длинный закоулок. С трех сторон замыкают его стены каменных домишек. С четвертой,— если стать лицом к востоку,— громадная крепостная стена: Стена Плача, остаток укреплений вокруг храма Соломона, а теперь часть стен вокруг мечети Омара.

По утрам здесь тень. Зелень нескольких акаций радует глаза, отвыкшие в Иерусалиме от зелени. Радостными синими глазами глядит сверху небо. Но под стеной, под ее золотистыми камнями, отшлифованными мириадами уст, стоит немолчный стон, дрожащий гнусавый вой, жалобный ропот и говор. Он то замирает, то возрастает; то сливается в нестройный хор, то делится на выкрики. Женщины, накрытые шелковыми шалями, прислоняют к стене головы и бормочут ей свои жалобы покорно и несмело. Мужчины, прижавшись к ней левым плечом, держат в левой руке старинные молитвенники, а правую простирают к верхним камням. Они быстро-быстро читают, выкрикивают какие-то заклинания и страстно молят, ищут кого-то в ясном небе. Они в отчаянии опускают веки, поднимают брови и, стеная, раскачиваются... И вдруг опять оживают, раскрывают заблестевшие глаза... И в

то время, как одни хватаются за головы, топают ногами и рыдают, другие жадно покрывают поцелуями стену, с восторженными воплями подскакивают и бьют в ладоши...

Сколько здесь круглоликих, огнеглазых юношей с черно-синими пейсами, в одеждах испанских евреев, и тонконогих, худосочных старцев, точно сбежавших из Долины Иосафата! Лица их бледны как смерть, головы закинуты, большие выпуклые веки сомкнуты, крутые серые пейсы и белые длинные бороды трясутся. Страшно то, что эти библейские покойники наряжены — в новые меховые шапки сверх ермолок и в алые бархатные халаты, которые открывают жидкие ноги в белых чулках и погребальных туфлях. Но еще страшнее, когда они, на вечерних литаниях в пятницу, соединяют свои дрожащие голоса в один мучительный вопль, отвечая предстоящему.

— Ради чертогов покинутых! — скорбным тенором восклицает предстоящий.

— Одинокие, сидим мы и плачем! — жалобно, фальцетами вскрикивают старцы.

— Ради чертогов разрушенных...

— Одинокие, сидим мы и плачем!

— Ради стен ниспровергнутых...

— Одинокие, сидим мы и плачем!

— Молим тебя, умилосердись над Сионом,— запевает предстоящий.

— Собери чад Иерусалима! — подхватывают старцы.

— Поспеши, поспеши, искупитель!

— Да воцарится на Сионе мир и радость!

— И опять расцветает жезл Иесея!

Но уже никогда, никогда не расцвести ему снова ветхозаветными цветами! Разве может забыть земля о том незабвенном утре две тысячи лет тому назад, когда вошел отрок в Назаретскую синагогу?

«Ему подали книгу пророка Исаии; и он, раскрыв ее, нашел место, где было написано: дух господен на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу...»

III

Мечеть Омара цветет над нищей и нагой Иудеей во всем богатстве и великолепии своих палевых кафель, голубых фаянсов, черно-синего купола, громадного мраморного двора и тысячелетних кипарисов.

Даже из-за Мертвого моря, с первых уступов Моава, видна она. В знойном неоглядном просторе открываются оттуда огнем горящие на юге и теряющиеся в блеске неба и солнца воды, поглотившие Содом и Гоморру; за ними — таинственная светоносная Аравия. На севере, в глубине бесконечных извилистых долин,— Иерихон. Маленьким оазисом темнеет он в пустыне, у слоистого подножья Иудейских гор. Выше, среди их голых желто-серых перевалов и впадин, как модель аравийской крепости, лежит Иерусалим — и тускло блестят над ним купола мечети и Гроба. И от Аравии, из-за Иордана, с морских побережий — отовсюду стекаются к стенам и святыням этой крепости пути поклонников всех стран и народов. Мечеть — первая Кебла Ислама. Сам пророк заповедал молиться, обратясь лицом к Камню Мориа, ныне покрытому сю: Мекка стала Кеблой позднее, уже после его смерти. И «пилигримм, вступивший за священную ограду мечети и поклонившийся Камню, один получает награду, равную награде тысячи мучеников, ибо здесь молитвы его так близки к богу, как если бы он молился на небе».

Черномазый араб-часовой, в феске и синей турецкой форме, с карабином на плече, медленно бродил возле старых крепостных ворот, когда мы, спустясь по улице Давида, несмело остановились возле них. Еще очень недавно великих трудов стоило не только войти, но даже заглянуть во двор Святилища, а сто лет тому назад за это платили жизнью. Теперь часовой только покосил своими голубоватыми белками, только блеснул огненно-черным зрачком.

Близился полдень, странным металлическим светом блистали (в пролеты длинной отдельно стоящей прямо против ворот колоннады) грани этой огромной мечети, вознесенной на мраморный помост среди ослепительно-белого простора каменного двора. Древние кипарисы стражами стояли возле нее. Несколько ветхозаветных олив

раскидывались там и сям своими серебристо-пыльными кущами над плитами двора, проросшего тонкою бледно-зеленой травой. Под одной из олив, прямо, по-женски, вытянув ноги, сидели две благочестивые мусульманки, закутанные в легкие бледно-розовые покрывала. Голуби, трепеща и свистя крыльями, падали порою на горячие ступени помоста. Но казалось, что уже давно-давно не ступала в этом светлом дворе нога человеческая,— что в каком-то заповедном царстве растут эти черные картинные деревья и блистают чистотой эти каменные плиты. Мертвенно-холодно сияли вечно-свежие краски мечети, возвышавшейся в своем азиатском великолепии среди света и зноя, под слегка аспидным аравийским небом.

Она царит надо всем, что вокруг нее, и вся на фоне этого неба. Ее длинный восьмиугольник, весь из золотистых мраморов, и нежно-лазурный барабан, поддерживающий купол, все это немного приземисто по сравнению с величиной темно-синего свинцового полушария, рубчатого сарацинского купола, увенчанного необычно большим золотым серпом луны с соединяющимися острыми концами. По-аравийски сумрачная вверху, по-дамасски блистающая инкрустациями снизу, мечеть резко глядит в пролеты колоннады.

Мы поднялись на помост. И тогда мечеть еще ослепительнее предстала перед нами своей громадой. Почти правильная полусфера купола чуть-чуть заострена на вершине, чуть-чуть вогнута у основания — и кажется легкой. Верхний карниз барабана и пространство между его окнами — все в лазурных и белых майоликах, испещренных золотою вязью куфических надписей. Широкая, блистающая полировкою лента белых и лазурных изразцов, тоже вся в золотой вязи, идет и над большими полукруглыми окнами по стене самого восьмиугольника.

Худой, живоглазый мулла быстро распахнул дверь, и, разутые, скользя по желтым камышовым циновкам, вступили мы в прохладу и сумрак, слабо озаренный голубым и розовым светом драгоценных разноцветных стекол. «Что это кажется странным в этой мечети?» — думал я, пока глаза мои привыкли к ее полусвету. И, наконец, понял: ах, то, что нет в ней обычного простора!

Простора нет потому, что стоит в ней восьмиугольная колоннада: восемь широких столпов и шестнадцать колонн, соединенных архитравом. Пролеты между ними — арками. Как старинная парча, покрывает эти столпы и архитрав блеклая зелень, матовое серебро и золото мозаики, переносящей мысль к Византии. Византийскими капителями увенчаны и колонны.

Но мало того: за этой аркадой высится вторая — круг из четырех столпов и двенадцати колонн, поддерживающий барабан с куполом, круг колонн яшмовых и порфировых — наследие Соломона и Адриана. И уже совсем необычно то, что с великим изумлением видишь в этом круге, за этими колоннами, за соединяющей их невысокой бронзовой решеткой: под зеленым шелковым балдахином, нарушая всякое представление о всяческой человеческой постройке, тяжко и грубо чернеет дикая морщинистая глыба гигантского камня! Купол выстлан внутри той же матовой зелено-золотой парчой мозаики. Сказочно-разноцветное сияние льют рубиновые, сапфировые, топазовые стекла. Неясно блистает весь храм мраморами и загорающимися гранями хрусталя на несметных люстрах. Тонким ароматом кипариса и розовой воды напоен прохладный сумрак... Зачем же так первобытно вторглась в этот божественный молитвенный чертог сама природа?

Талмуд говорит:

«Камень Мориа, скала, на которой первый человек принес первую жертву богу, есть средоточие мира. Скалу Мориа, что была покрыта некогда храмом Соломона, а ныне хранима мечетью Омара, положил в основание вселенной сам бог».

Древние книги и легенды Иудеи и Аравии говорят:

«В Иерусалиме бог сказал Скале: ты — основание, от коего начал я создание мира... От тебя воскреснут сыны человеческие из мертвых».

«Сойдя в пещеру под Скалой, Медшир-ед-Дан видел чудо чудес: колеблющаяся глыба Скалы, ничем и никем не поддерживаемая, висела в высоте, подобно парящему орлу».

Магомет — в ночь своего путешествия из Медины в Иерусалим на верблюдице Молнии — «стал своей священ-

ной стопою на Скалу Мориа, раскачивающуюся между небом и землею». Был взмах, почти достигший врат рая,— и Скала издала крик радости. Но пророк повелел ей молчать — и вошел во врата рая. А Скала вновь пала к земле — и вновь вознеслась — и в движении своем пребывает и доныне: «не мешаясь с прахом и не смея преступить неба».

Кабалистические книги говорят:

«Адонаи-господь воздвиг в Бездне Камень и начертал на Камне имя святое. Когда поднимаются воды Бездны до Камня, они отбегают вспять в ужасе. Когда произносится ложное слово, Камень погружается в воды — и смываются буквы святого имени. Но ангел Азариэла, имеющий 17 ключей к таинству святого имени, снова пишет его на Камне, и оно снова гонит прочь воды».

«В дни пророков Камень был внутри святилища храма Соломона, и первосвященник ставил на нем курящуюся кадильницу. На нем же стоял и Ковчег Завета, урна с манной и лежал вечно цветущий жезл Аарона. Ныне Ковчег Завета скрыт в тайниках под Камнем, где сохранял его от врагов сам Соломон, которому Камень давал неземную силу: с него видел царь весь мир от края и до края — и понимал язык птиц и зверей».

Но вот в день падения храма, в девятое число месяца Аба, Камень Жизни останавливается. Сила его иссякает. Тайну Тайн, неизреченные письмена, означающие святое имя, прочел Иисус. И к нему же перешла и сила Камня. «Иисус, воспринявший силу его, творил чудеса этой силой». Где же теперь силы Камня?

После Иисуса, говорит Ислам, сила Камня перешла к пророку. И прав Ислам: пророк дал «движение» Камню. «Но недолго сияло солнце Ислама во всей славе своей». Что же готовит миру будущее?

1908

ШЕОЛ

В сумерки, проходя по базару в Яффе, я нечаянно поднял глаза и увидел тонкий серп луны. Закрывались в полумраке рядов лавочки, проносили от фонтана последние кувшины. Собаки, горбясь и сливаясь с темнотой внизу, подбирали остатки торга. Неожиданно дошла откуда-то нежная сладость цветущего дерева. Я поднял глаза и увидел в легком и прозрачном небе вихор пальмы, а над ним — острый, чистый, тонкий «лук Астарты».

На берегу, под городской стеной, тянуло теплым ветром с неоглядной мелкой зыби взморья. Чуть видные, мягко и красиво намазанные сизой мутью облака терялись на закате... «Сумерки, море, угол ханаанско-аравийских берегов...» — подумал я. Над стеной, в старом каменном домишке, зияет черная оконная дыра без стекол. Слышно, как там, в каморке без огня, укладываются спать и, плача, ссорятся дети. На западе, над лиловатой тьмой моря, склоняется покрасневший, меркнущий и теряющийся в небе полумесяц. И так пустынны сумерки над гаванью бесследно исчезнувшего с лица земли Ханаана, так все просто и бедно вокруг, точно я один в мире, у его безлюдного начала...

На другой день я покинул Яффу. Убирали трапы, вечерело. Жаркое солнце склонялось к золотому морю. Рейд

стоял как зеркало, рифы обнажились, отдыхали, белые чайки, плававшие над кормой, казались огромными. В упор освещенная Яффа, громоздясь на холме перед нами, переливалась зеркальным отражением воды и вся была цвета банана. Задрожала, поворачиваясь, корма, забурлил винт — и Яффа тронулась. Но я не спускал с нее глаз до тех пор, пока она, все отдаляясь, не слилась, наконец, с песками на юге, фиолетовыми от голубой дымки воздуха и опускающегося солнца.

А потом я смотрел на Саронскую долину, вдоль которой мы шли на север. Все смутней и печальней становилась долина. Солнце погасло, и вода у берегов стала тяжелой, кубовой. Одиноким, затерянным казалось какое-то селеньице, далеко-далеко белевшее в сини равнины. Я смотрел и дивился безлюдности этого побережья. Вон где-то там, в устьях мелких рек, бегущих от Кармила, лежала Кесария. Некогда это был славный порт и город Ирода; теперь только пески, камни и колючий кустарник... И так — по всему побережью.

С вечера было тепло и ясно. Палуба, испещренная легкими тенями снастей, блестела. В вышине, сквозь снасти, тепло сиял полумесяц. Но близился Ливан. На ночь я открыл в каюте иллюминатор — и после полуночи проснулся: стало прохладно, по темной каюте ходил сильный влажный ветер. Я заглянул в иллюминатор: и там была серая темь. Пахло морем. Ливан дышал мглою. Во мгле, как на краю земли, висели два мутных маячных огня. Дальний был красноватый. Я подумал: это Тир или Сидон. И мне стало жутко.

За Кесарией — следы Египта и Финикии. Во времена служения Астарте на месте Кесарии был какой-то большой ханаанский город, упоминаемый в надгробном заклятии царя Эзмунацара. Ранее, во времена поклонения «богу всепожирающего времени», крокодилу, был египетский Крокодилопос. И в песках, затянувших останки этих городов, и теперь еще находят разбитые сиениты, погребальные колодцы крокодилов...

В полночь мы прошли Кармил, горный мыс Ваала Громовержца. С Кармила иудейские пророки метали самые ярые проклятия язычеству. На Кармиле, в одной из пещер троглодитов, жил Илия, лютейший враг Ваала. Но

жизнь на Кармиле, бывшем ипостасью Ваала, не прошла для Илии даром. Тысячи преданий слили его образ с образом солнечного бога: Илия был питаем вранами, повелевал громами и бурями, низводил огнь и дождь с неба, превращал в камни растения, заживо, как истый сын Солнца, вознесся к нему на пламенной колеснице. И все это сделал Кармил, на котором не было даже капищ,— только каменные жертвенники,— Кармил, у подошвы которого Лемех убил одичавшего Каина, приняв его за зверя. Необозримое море, с трех сторон лежащее под Кармилом, бушует круглый год. И богослужения в монастыре кармелитов, стоящем теперь на Кармиле, принимают порой жуткое величие древних языческих богослужений. «Море заглушало голоса поющих и орган,— говорит один паломник.— Над горою стоял непрерывающийся гул — глас божий, потрясающий пустыню и приводящий в содрогание горы...»

Качало у Кармила и нынче. Засыпая, я чувствовал, как темная каюта опускается и поднимается, слышал скрип переборок. Теперь было тихо. Кармил был уже далеко. Ровно, с однообразным плеском бежала вода вдоль борта погруженного в сон и тьму парохода. Мы шли уже мимо «блудилищных гротов Астарты» и погребальных спэосов, мимо каменисто-песчаной полосы под волнистыми отрогами и скатами Ливана,— мимо самого Шеола, этого сплошного некрополя между Тиром и Сидоном. Когда-то от Тира до Сидона «можно было пройти под землею — по гробовым пещерам и колодцам». И как дерзко мешались когда-то с ними «гроты» Астарты! Ее поклонники и поклонницы чертили мистический знак треугольника даже на стенах спэосов. А Тир? Разве думал он о смерти,— он, «Сын Солнца и Моря, рожденный в веках баснословных, превзошедший все народы жаждой жизни, алкавший земель всего мира»?

И все же победила — смерть. «Тир, умолкший среди моря! Кую мзду приобрел ты от него? Сия глаголет Адонаи-господь: се аз на тя, Сур, и приведу на тя языки многи, яко же восходит море волнами своими...» Ужасные слова! Но есть еще ужаснее: «Вот я приведу на тебя, Тир, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей... Сделаю тебя городом опустелым,

подобно городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину... Низведу тебя с отходящими в могилу, к народу, давно бывшему, и помещу тебя в преисподних земли... Ибо вознеслось сердце твое и сказало: аз есмь бог!»

«Аз есмь бог...» Библейские пророки до потрясающей высоты вознесли проклятия слишком «вознесшейся» жизни. И по слову их и вышло: тиро-сидонский берег, столь щедро оплодотворяемый Богиней Жизни, дал начало образу Шеола — преисподней. Его погребальные камеры и колодцы, перемешанные с гротами страсти, получили страшные названия «сетей смерти», «колодцев гибели». И «простерся страх смертный над радостной страной Ваала-Солнца». Это ведь он, этот страх, внушил царю Эзмунацару мольбу его скорби и беззащитности:

«В месяц дождей, в год четырнадцатый царствования... Поражен, пленен я, наследник дней героев, сошел в ад, сын бога смерти... Заклятие мое перед всем царством и всем человечеством: да не вскрывает никто входа моего, не сдвигает гробницы моей, не оскорбляет меня внесением другого гроба!»

Бог ли человек? Или «сын бога смерти»?

На это ответил сын божий.

1909

ПУСТЫНЯ ДЬЯВОЛА

I

«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь господу, прямыми сделайте стези ему...»

Глядя с крыш Иерусалима на каменистые окрестности — чаще всего на восток, на пустыню Иудейскую,— каждый раз вспоминаю я эти слова,— пролог величайшей из земных трагедий.

Дьявол, Азазел, имя и образ которого так и остались тайной, был издревле владыкой пустыни. Это он обитал в ее знойном серо-каменном море, некогда взбудораженном подземными силами и навсегда застывшем. Это ему каждый год — в десятый день седьмого месяца — посылали левиты и первосвященники Козла Отпущения — от лица всего Израиля, за все грехи его. И не странно ли, что именно оттуда прозвучали первые глаголы предтечи!

После бури и молний бог пришел в пещеру Илии в сладостном веянье ветра. Сладостным ветром было и пришествие в мир Иисуса. Но лежала «секира при корне дерева». Жуткими пророчествами возвестил предтеча о грядущем за ним.

Не было тогда города, равного богатством и красой Иерусалиму. Из Яффы были видны его здания, блистав-

шие золотом и мрамором: «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих».

В тишине зеленых долин, в мирных людных селениях протекла молодость Иисуса. Но в первые же дни служения своего должен был он отдать дань пустыне. Он крестится — и уже готов раскрыть уста, дабы благовествовать миру величайшую радость. Но — «Дух ведет его в пустыню», в царство Азазела, тех ветхозаветных, богом проклятых мест, где «скрылся Каин, жаждущий крови брата своего». «И был Иисус там сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями».

Пустыня видна с крыш Иерусалима. Пустыней называется только тот скат, та дикая и от века бесплодная вулканическая страна, что за Элеоном, эти растрескавшиеся от жгучего солнца бугры и перевалы, усеянные колючками и голышами, волны и впадины былых землетрясений. Но разве власть Азазела не простирается и на тропически-знойный дол Иордана,— эту глубочайшую в мире низменность, с ее смертоносными лихорадками и воистину мертвыми водами, одно дыхание которых убивает все живое?

Небо нынче нежное, бледно-голубое. Небо и солнце затуманены дыханием полдня, сухого, горячего, душного. Жаром веет от старого каменного города, его узких и грязных базарных ходов под сплошною кровлей сизо-песочного цвета. Одинокая пальма, возвышающаяся на южной окраине, опустила свое неподвижное опахало. Тускло темнеют куполы Гроба господня и мечети Омара. Тысячи черных стрижей кружат, сверлят полдневную тишину скрипучим верезжанием. И море пепельно-сиреневых холмов, простирающееся окрест, дремлет, теряется в мглистой суши...

Побледнела даже сказочно яркая бирюза у подошвы Моава.

II

После полдня тянет легкий ветер, небо, воздух, солнце — все становится ярче, яснее.

За иссохшим руслом Кедрона дорога поднимается — мимо погребальной пещеры богоматери, Гефсиманского

сада и гробниц Авесалома и Иосафата, по каменистым склонам Элеона, среди несметных плит еврейского некрополя, стоящих как раскрытые книги, испещренные крупными письменами.

Есть ли в мире другая земля, где бы сочеталось столько дорогих для человеческого сердца воспоминаний?

Гроб Мариам! У стен сада, столь любимого сыном, в ложе кремнистой долины, под сводами древнего полуподземного храма, во тьме которого блещут огни, оклады и самоцветы почила она, простая женщина из Назарета, венчанная высшею славой — земной и небесной.

А русло Кедрона? Это дол Иосафата, место грядущего Страшного суда, великая житница Смерти. Нет правоверного иудея и мусульманина, который не полагал бы несказанной радостью быть погребенным в этой юдоли и не верил бы, что и всех лишенных этой радости созовет в нее господь в день суда своего. Он ведь сказал устами Иоиля: «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафатову».

Солнце уже клонится к западу, за Иерусалим. От его восточной стены пала тень. Но ослепительно-золотисты скаты Элеона, дорога, извилисто прорезанная по ним, плиты и гробницы. Золотиста лазурь над Кедроном и горой, золотисто-песочного цвета ястреба, реющие над нами, трепещущие своими острыми, в черных ободках крыльями: любят они эти скаты, любят сушь пустыни, в которую медленно вступаем мы, огибая среди запыленных олив Элеон.

За Элеоном — Вифания. Это уже преддверие пустыни. Несколько старых верблюдов в грязно-рыжей сухой шерсти загораживают дорогу на повороте, грубым видом своим говоря о патриархальных скитаньях в камнях и песках. Но кругом еще мирно и весело. Чист и силен предвечерний свет, дали ясны, небо бездонно, склоны и холмы в садах и виноградниках. Даже тощие посевы зреют кое-где на глинистой почве между ними. И Абудис, что направо, и Вифания, что налево,— несколько кубов из серого булыжника, окруженных смоковницами, огромными кактусами, запыленными терновниками; в крутых, кривых и узких проходах между ними всюду сор и

тряпки, полуголые черные дети, слепцы и убогие. Но как все-таки должны были радовать после пустыни их сады и люди!

И живым кажется образ Иисуса. Сколько раз подходил он сюда, похудевший, побледневший за дорогу в пустыне! Здесь жили друзья его. О древности могилы Лазаря говорят те камни времен Ирода, из которых сложен вход в могильную пещеру, куда спускаются узкой холодною шахтой, со свечой в руке. Подлинней же всего древность того пути, что ведет от Вифании в страну Азазела глубокой, извилистой и страшной в своей мертвенности лощиной Эль-Хот. Этот путь неизменен от века. Иных сносных путей в пустыне Иудейской нет, не было, да и не могло быть, ибо только на этом пути есть источник,— источник Апостолов,— без которого немыслимы переходы по ней.

От Вифании начинается спуск, неуклонное падение. И страна, лежащая окрест, сперва поражает своей красотой, волнует радостью, обманывает, как искуситель.

На одном из скатов за Вифанией мы останавливаемся, очарованные. Воздух так прозрачен, точно его совсем нет. И пустыня, каменным волнистым морем падающая к Иордану, кажется так мала! Как серебристо-голубой туман — далекая и неоглядная долина Иордана. Южное устье ее налито сейчас таким густым и ярким аквамарином, который кажется неестественным на земле. А Моавитские горы похожи на великую грозовую тучу против солнца, заступившую весь восток и ни с чем не сравнимую по нежности, воздушности. Но минута — и это видение исчезает надолго, надолго...

Мы теперь в стране, лишенной всякого очарования,— если не считать редких пятен огненного мака, кое-где оживляющего ее. Резкими, крутыми изломами вьется и падает дорога с возвышенности на возвышенность. Быстро замыкается горизонт скалистыми и глинистыми ковригами, разделенными такими же логами... Мы уже давно в глубоком, извилистом ложе потока, иссохшего в незапамятное время, и известковая дорога, пробитая здесь тоже с незапамятного времени, поминутно переходит с одного бока на другой. Ни единого живого существа, кроме яще-

риц, не замечает глаз и не слышит ухо, гробовая тишина стоит над этой страной, столь бесплодной, что даже древнейших кочевников ужасала она, навеки связанная с образом незримо Обитающего в ней. Недаром бедуины еще и до сих пор складывают вдоль Вади-эль-Хот пирамидки из щебня — в знак заклятия темных сил пустыни. Нет никакого сомнения в правоте тех, что называют этот путь именно тем, по которому, до самой таинственной «середины» его, провожали левиты жертву Азазелу. Какой же ужас должен был охватывать проходящих здесь при виде Иоанна, решившегося разделить его обитель, когда внезапно, во весь свой рост, с громовыми глаголами, появлялся он перед ними из-за камней, в одежде из верблюжьего волоса! И что должно было испытать сердце Иисуса, обреченного провести здесь столько ночей — с их призраками, с лихорадочно-знойным ветром от Мертвого моря!

III

В глубокой котловине, из которой видны только жесткие очертания окрестных бугров да вечернее небо, белеет хан,— нечто вроде каменного сарая,— и жарко блестит при низком солнце вода возле него. Это место, где не раз отдыхал Иисус. Это «источник Апостолов», или, по-древнему, источник Солнца, ибо не могли не посвятить древние эту «жизнь пустыни» богу жизни. Три бедуина, без плащей, с черными палками в серебряных обручах, стоят возле худых осликов и поджарых потных лошадей под седлами, с жадностью пьющих. Два сидят на пороге хана и курят, пристально глядя на нас черными византийскими глазами. Эти глаза ровно ничего не выражают, но кто знает, что на уме у этих измаильтян?

Те, что у источника,— народ оборванный и невзрачный. Сидящие на пороге — дело иное. И особенно один из них. Он неподвижным взглядом следит за нами, пока мы поим лошадей. Потом, ни на йоту не изменяя лица, кидает своему спутнику какую-то короткую гортанную фразу, совершенно не шевеля губами и так бесстрастно, точно это не он говорит, а кто-то внутри его. И подни-

мается во весь свой громадный рост. Ноги его, обутые в стоптанные сапоги, очень длинны и слегка кривы, голова мала, откинута назад. Он на редкость худ, одежды на нем без числа. По плечам висят концы белого шерстяного платка, накинутого на голову и резко оттеняющего черноту глаз, сизый загар маленького жесткого лица, блестящую смоль редкой жесткой бородки. Тонкая, цвета мумии, шея обмотана шелковым лиловым платком. На теле — белая рубаха до колен, поверх рубахи бланжевый шерстяной халат в синеватых полосках, поверх халата — кубовая кофта на вате; и все это под широкой и длинной хламидой из черно-синей шерсти. Он идет, поправляя одной рукой заткнутые за широкий пояс из шали кремневые пистолеты и кинжалы, а другой — карабин за плечами.

— Откуда?

— Из Газы.

— А куда?

— В Иерусалим.

Но почему же, севши на свою резвую, злую и поджарую лошаденку, он поворачивает за нами? Мы едем на изволок рысью,— он не отстает. Мы прибавляем рыси, прибавляет и он, расширяя ничего не выражающие глаза и блестя зубами в ответ на наши удивленные взгляды... И вдруг, поравнявшись со мной, сует мне в руки медный латинский образок. Он кричит, что это — золото, и просит за него всего десять франков. Соглашается, впрочем, и на два. А получив их, круто поворачивает и исчезает за холмами и буграми, по которым уже синеют вечерние тени.

Вечернее низкое солнце все реже блещет на перевалах. Временами, из боковых оврагов и ущелий, из-за скал и известковых бугров, дует ветер,— порывистый, как дыхание горячечного. И только топот копыт раздается в гробовой тишине окрест, в скатах вдоль извилистого дна Вади-эль-Хот. «Отсюда начинается дебрь самая дикая,— говорит один старинный паломник.— Эта дорога есть древняя, проложенная самою природою. Иосиф Флавий упоминает о дикости ее. Невступно через два часа от Иерусалима мы поднимались па гору, на вершине кото-

рой видны остатки хана или гостиницы Благого Самаритянина. Это место называлось издревле Адомим, или Кровавое, по причине частых разбоев, здесь происходивших...» И глубокая тоска охватывает душу на этой горе, возле пустого хана, при гаснущем солнце. Вот она, эта «середина» пути, Бет-Гадрур, где бросали на произвол судьбы жертву Азазелу,— известковый перевал, поразивший некогда воображение самого Иисуса и создавший такую трогательную притчу! На этой «середине пути», который считался путем в преисподнюю, плакал сам прародитель, лишенный Эдема...

Чем дальше от Гадрура, тем все круче падает в провалы и ущелья известковая дорога, а с перевалов уже видно, что окрестные бугры изменили свой вид и состав,— стали конусообразными, похожими на потухшие вулканы, однообразного верблюжьего цвета. Уже несколько раз открывалась перед нами и долина Иордана, поражая обманчивой близостью своего пустынного, серо-блестящего от соли пространства, по которому, вдоль узкой реки, вьется темная лента зелени. Пространство за Иорданом, горы, кажущиеся теперь еще более похожими на тучи, и синее устье Мертвого моря ярко озарены низким солнцем. Но уже почти до самой средины долины достигает тень от Иудейской пустыни, обрывающейся над Иерихоном высокими скалистыми стенами. Тень и вокруг нас,— на всех буграх и во всех котловинах.

Многих обгоняем мы теперь, столь же диких и нищих, как в дни доисторические. Вот опять идут верблюды и за ними — идумейцы, в уголь сожженные ветрами и голодом, в одних кубовых линючих балахонах, их полуголые дети, облезлые собаки и с отрочества состарившиеся жены с лениво-скорбными, темными, как древнеаравийские предания, глазами. Вот черный и губастый старик в одной грязной рубахе, раскрытой на груди. Он сидит на ослике, гонит его, волоча по земле свои черные босые лапы. Вот верховой турецкий солдат, с карабином наперевес, зорко оглядывающий окрестные ущелья и овраги... Все спешат в Иерихон — единственное человеческое жилье, единственный оазис во всей Иорданской долине. И как только стемнеет, ни души не останется на этой страшной древней дороге.

IV

Ночи здесь сказочно-прекрасны. Они околдовывают трижды мертвую страну лихорадочными сновидениями, воскрешающими содомскую прелесть ее давно минувшей жизни.

В сумерки, на последнем, самом крутом спуске в долину, влево от дороги, внезапно открылась глубокая каменистая трещина — ущелье Кельта — и проводила нас до самой долины. Смутно белела дорога, шумел поток на дне уже совсем темного ущелья, и печально краснело несколько огоньков в скалистой стене за ним: там древнейшие притоны аскетов, тысячами погребавших себя заживо в криптах, которыми сплошь изрыты скалы Кельта. А когда мы спустились в долину и повернули влево, к Иерихону, черным и тяжким обрывом, уходящим в небо, встал перед нами кряж горы Сорокадневной. И огонек, чуть заметной точкой красневший и на этом обрыве, опять напомнил о той страшной борьбе, которую впервые воздвигли здесь люди против искусителя.

Вся иорданская низменность, страна, что некогда «орошалась, как сад господень» и на весь мир славилась легендарным плодородием, красой и греховностью Пятиградия, дворцами и твердынями трижды возрождавшегося из развалин Иерихона, поражает теперь тем запустением, «где лишь жупел и соль, где злак не прозябает, где ни голос человеческий, ни бег животного не нарушает безмолвия». Сады Иерихона дышали в дни его славы благовониями бальзамических растений, индийских цветов и трав. «Пальмы и мимозы, сахарный тростник и рис, индиго и хлопок произрастали в долине Иордана». Об этом свидетельствует даже и тот оазис, что уцелел на местах исчезнувшего с лица земли иорданского рая, даже имя того селенья, что наследовало Иерихону: Риха — благовоние. Но оазис этот, тропически зеленеющий у подножия горы Сорокадневной, близ источника пророка Елисея, так мал в окрестной пустыне, а селенье все состоит из двух-трех каменных домов, нескольких глиняных арабских хижин и бедуинских шатров.

В сумерки долина была молчалива, задумчива. Я сидел за Рихой, на одном из жестких аспидных холмов, что

волнами идут к горе,— на могилах Иерихона, кое-где покрытых колючей травкой, до черноты сожженной. Далекие Моавитские горы,— край таинственной могилы Моисея,— были предо мною, а запад заступали черные обрывы гор Иудеи, возносивших в бледно-прозрачное небо заката свой высший гребень, место Искушения. Оттуда тянуло теплым сладостным ветром. В небе таяло и бледнело легкое мутно-фиолетовое облако. И того же тона были и горы за пепельно-туманной долиной, за ее меланхолическим простором. И туманной бирюзою мерцало на юге устье Моря, что терялось среди смыкавшихся там гор...

Но вот наступила и длится ночь. Она коротка, но кажется бесконечной. Еще в сумерки зачался таинственно-звенящий, горячечный шепот насекомых, незримыми мириадами наполняющих душную чашу оазиса, и приторно-сладко запахли его эвкалипты и мимозы, загоревшиеся мириадами светящих мух. Теперь этот звонкий шепот стоит сплошным хрустальным бредом, сливаясь с отдаленно-смутным гулом, с дрожащим стоном всей долины, с сладострастно сомнамбулическим ропотом жаб. Стены отеля, его каменный двор — все мертвенно-бледно и необыкновенно четко в серебристом свете этих тропических звезд, огромными самоцветами повисших в необъятном пространстве неба. Оно необъятно от необыкновенной прозрачности воздуха — звезды именно висят в нем, а на земле далеко-далеко виден каждый куст, каждый камень. И мне странно глядеть на мою белую одежду, как бы фосфорящуюся от звездного блеска. Я сам себе кажусь призраком, ибо я весь в этом знойном, хрустально-звенящем полусне, который наводит на меня дьявол Содома и Гоморры.

Я лунатиком брожу по саду и по двору отеля, но, кажется, никогда еще не было столь обострено мое зрение, слух. Все сливается в блеск и тишину. Но вместе с тем я вижу каждую отдельную искру, слышу каждый отдельный звук. Я вынимаю часы. Понимаю, что уже два, что самоцветы, плывущие в бездонном пространстве с востока, становятся все крупнее и лучистее, что мои ноги подламываются от смертельной усталости. Но разве у меня есть власть над собой?

Сад кружится в беззвучном кружении зелено-лиловых

мух, их скользящих огненных вихрей. Как райское дерево, трепещет и переливается искрами сикомор во дворе. Сверху донизу горят и блещут ими кустарники, сахарный тростник...

Много раз я пытался заснуть, входил в дом, в свою темную, горячую комнату, ложился под душный кисейный балдахин, но и здесь эти ароматы, эти скользящие искры, этот дрожащий хрустальный бред, которым околдован весь мир. Сердце тоже дрожит, тело, поминутно палимое жалами москитов, покрывается горячечным потом. И так звонко кричит жаба в бассейне среди двора, и так отдается ее однообразно вибрирующий призыв в этом каменном доме с раскрытыми окнами и настежь распахнутыми дверями, что я опять спешу покинуть его — и с болезненной жадностью и радостью ловлю глоток воздуха на пороге крыльца...

Крыльцо белеет все ярче, фигура спящего на нем слуги-араба стала еще чернее. Раздвоившийся Млечный Путь, густым, но прозрачно-фосфорическим дымом протянувшийся с севера на юг, совершенно отделился от неба, повис на самой середине пространства между ним и землею. Кажется, близок рассвет! Кажется, стихает, замирает бред и ропот вокруг. Сперва по камням, а потом по теплому песку я спешу за селение — взглянуть на долину, на Моав, на восток. Но на востоке все еще только поздние крупные звезды. Бледный серебристый свет их стоит над далеким мертвенно-бледным Морем. Бледные пески долины мерцают как бы манной. Бледные полосы тумана тянутся по извивам Иордана,— и уже смертоносная влажность чувствуется в воздухе. И бледным дымом спустилось и легло облако у подножия горы Сорокадневной, чернеющей среди звезд своей вершиной...

«Отойди от меня, Сатана».

1909

СТРАНА СОДОМСКАЯ

Только на рассвете тянет в окна легкая прохлада вместе с ароматом эвкалипта.

Ночью, при звездах, старые деревья во дворе отеля казались сказочно-высоки и ветвисты. Теперь они принимают обычные очертания. Смолкли жабы, замер звон насекомых в кустарниках, погасли огненные мухи. Мы выходим за ворота, садимся на лошадей; все молчит и в тех немногих хижинах, что зовутся Иерихоном или Рихой; всюду сон, один сверчок трюкает в каменной верее, от которой еще дышит тепло ночи. Но за мечетью уже слышен говор.

Ее белый невысокий минарет стоит при дороге, на самой окраине Рихи. Под ним часто ночуют бедуины. Ночевал небольшой караван и нынче. Мы проезжаем мимо него; понукаемые вожаками, глухо урчат верблюды, поднимаясь с теплого песка. Над мечетью, в светлеющей вышине крупной слезой висит Венера. На востоке, над синеватым Моавитским кряжем, небо шафранное. Но еще поночному тлеет костер табора, летучие мыши реют вкруг мечети.

За садами Рихи, на западе,— обрывы Иудеи. Отчетливо слоятся серо-фиолетовые уступы горы Искушения. Но внизу еще тень, и, верно, мыши принимают ее за су-

мерки, когда и создал их Христос. Он сорок дней и ночей провел в пещере над Иерихоном, на обрыве, закрывающем запад,— он не знал, когда садится солнце и когда надлежит совершать молитву. И вот однажды поднялся он на вершину и, как только скрылось солнце, начертал на пыли то легкое, таинственное создание, что так любит сумрак. Он вдохнул в него жизнь и сказал: «Каждый вечер на закате солнца вылетай из расселин горы, где отныне будет твое жилище, дабы знал я час молитвы...» Я поднимаю голову, вспомнив эту дамасскую легенду, и не узнаю окрестности: мы проехали версту, не больше, а уже день, совсем день.

Глухой котловиной, бесплодным и безлюдным долом тянется с севера на юг, от самого моря Тивериадского, известково-песчаная пустыня, которую почти напрямик пересекает путь от Рихи к Иордану. Те, что пытались исследовать ее, видели по реке всего два-три селения,— даже каменистый Моав, дочерна спаленный солнцем, люднее иорданских берегов. То же и здесь: на всем огромном пространстве, окружающем нас, лишь одно живое место — оазис Рихи. Оглядываясь, видишь белые пятна хижин среди темной зелени, приютившейся под горным обрывом. Там, в садах, еще растет деревцо небд, приносящее акриды, растет бальзамический цаккум, сизый терн, из которого сплели венец Иисусу, а весной цветет много диких индийских цветов. Но как поверить, что это там был и неприступный Иерихон ханаанский, и «божественный город садов» Ирода, что вот этой долиной искушал Иисуса дьявол?

Впереди все то же: пепельно-серые дюны, кое-где жесткий, осыпанный солью кустарник. Небо просторно, огромно. Чуть не в самом зените тает алая звезда Венеры. Но и до нее уже достигает восходящий из-за гор Моава, охвативший полвселенной сухой, золотисто-шафранный свет. Одно Мертвое море прячется от света. Вот оно — у самого подножия ее, за тем голым побережьем, что белеет вдали, вправо. Ясно виден и обманчиво близок кажется северный залив. Но синеет он тускло, керосинно...

«Символ страшной страны сей — море Асфальтическое», говорили когда-то. Страх внушает она пилигримам и доныне, трижды проклятая и трижды благословенная.

Мало совершивших путь по всей извилистой стремнине Иордана с его зноем и лихорадками. Но еще меньше тех, что пускались в заповедные асфальтические воды. Легче, говорили они, пройти все океаны земные, чем это крохотное море, черные прибрежные утесы которого неприступно круты, пугают глаз человекоподобными очертаниями и так смолисты, что могут быть зажжены, как факелы,— море, дно которого столько раз трескалось от землетрясений и выкидывало на поверхность те таинственные вещества, что служили египтянам для сохранения мертвых от тлена, море, жгуче-соленые, горькие волны которого тяжки, как чугун, и в бурю, «покрытые кипящим рассолом», потрясают берега своим гулом, между тем как пламенный ветер до самого Иерусалима мчит столбы песку и соли... Длится и все светлее становится золотисто-шафранное аравийское утро. Толкут и толкут копыта наших лошадей твердую, растрескавшуюся дорогу. Но ни единая птица не взвивалась еще с радостной утренней песней над долиной. И, верно, ни единой живой души и не встретим мы, кроме разве жадно-трусливой души кочевника или гиены. Впереди, среди пустыни цвета пемзы,— лента прииорданской зелени, чащи ив, тамарисков, камышей...

Так богата и прекрасна была некогда эта долина, что дьявол издревле избрал ее местом греха, искушений. Это он опьянил сладостью страсти и порока Пятиградие, переполнившее чашу терпения предвечного. Это он внушил дочерям Лота жажду кровосмешения, дабы от родного отца зачала старшая из них Моава: «И дождем пролил господь огнь и серу, ниспроверг города сии, и всю окрестность их, и всех жителей, и все произрастания земли...» Но легендой патриархов стали дни гнева, и снова зацвел «сад предвечного», снова возродился столь прекрасным, что заповедан был любимейшему из чад божиих.— Солнце встало над Моавом, затопило его блеском и уже палит долину. Какие-то большие металлически-серые мухи липнут к жарким гривам лошадей, скорпион шуршит, бежит укрыться в легкой голубой тени под застывшей песчаной волной. Больно смотреть из-под шлема на дорогу, но тянет взглянуть в блеск Моава, тянет найти ту вершину, с которой показал господь Моисею всю радость земли обетованной: «Взойди на гору сию, на гору Нево, что в земле Моавит-

ской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему...»

Библия подчеркивает, что *блудница* дала приют первым израильтянам, проникшим в Иерихон. И страшным заклятием заклял Навин Израиля, овладев страною и дотла уничтожив красу Иерихона: «Проклят перед господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон!» Но разве не следы Навина — те гилгалы, что рассеяны в долине Иерихонской, те огромные диски из камня, первобытные кровавые жертвенники Ваала-Солнца, что благоговейно полагал в круги сам народ израильский?

На тропические шлемы мы накидываем бедуинские платки. Лошади пошли шагом, неустанно мотая головами, отбиваясь от мух. Они машут кистями и разноцветными бусами, которыми украшают здесь уздечки. Шеи их стали мокры, темны и тонки. В легкой и все же душной тени платка дышишь как бы жаром раскаленного костра. Близок Иордан,— уже тянет запахом речной воды, запахом горячего ила... Теперь и от великой реки остался только узкий и мутный поток, от первобытно-густых зарослей на берегах ее — кайма ив, камышей и кустарников, опутанных лианами.

Масара́, то место Иордана, где отдыхают пилигримы, предания называют местом крещения Иисуса. «В те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского...» В те дни долина переживала третий и последний расцвет. Тщетно было заклятие Навина,— еще раз вырос новый Иерихон. И вот дьявол искушает прелестью его самого крестившегося сына божия. «Возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, *ибо она предана мне*». Серо-песчаный берег обрывист и крут. Густая желтоватая вода, крутясь, бежит под ветвями ив, под корнями, покрытыми наносною травою, илом. Лошади тянутся к воде, вязнут по колена и долго, жадно пьют. Мертвая тишина кругом и сквозная горячая тень над головою. Мысли беспорядочны, смутны, но стремятся все к одному — связать то простое, что перед глазами, с страшным прошлым этой пустыни. Хочешь представить себе то, что доступно только богу,— жизнь

тех легендарных ханаанских городов, от которых уцелели лишь названия. Думаешь о знойно-мглистом Моаве и опять слышишь слова Второзакония: «И полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора увидал Моисей... И умер там, в земле Моавитской, по слову господню, и погребен в земле Моавитской, и никто не знает места погребения его даже до сего дня...» Думаешь об иерихонских бальзамах Клеопатры, о термах Ирода — и опять возвращаешься к искушению Иисуса от дьявола... И теряешься в образах времен Рима, Византии, Омаров... Великими крестовыми битвами во имя и славу того, кто отверг здесь славу всего земного, обрывается летопись этой страны. За ними века молчания, никому не ведомых и несчетных подвигов отшельничества, погребения себя заживо в могильниках навеки забвенной Иудеи. В молчании, вдали от жизни всего мира, множатся, как соты ос, крипты в каменистых обрывах Иудейских и Аравийских гор; в прибрежных скалах страшного Асфальтического моря, в огненных ущельях созидаются дикие обители. Но ураганами проносятся набеги от Дамаска, от Багдада, от Геджаса, и вот — пустеют и крипты, переполненные костями избиенных иноков, глохнут разоренные обители... И опять, опять воцаряется он, древний бог пустыни!

Полдень проводим у самого моря. Жутко звучит на его нагом, ослепительно-белом прибрежье это слово — полдень. Прииорданские камыши и кустарники не смеют дойти сюда вместе с Иорданом: далеко вокруг песчано-каменисто и покрыто солью, селитрой то место, где сливается река с маслянистой, жгуче-горькой и тускло-зеленоватой водой асфальтической. На коралловые похожи те как бы окаменевшие ветви, что приносит сюда течение реки и что снова, уже мертвыми, выкидывает море. В знойно-мглистой дали теряется оно на юге. Там — дни Авраама, Агари, Измаила. Там, в капище Эль-Лат, племя Тарик еще доныне поклоняется гилгалу Солнца — полубога, полудьявола.

1909

ХРАМ СОЛНЦА

Так говорит господь: сокрушу затворы Дамаска и истреблю жителей долины Авен.

Кн. прор. Амоса.

I

Рано утром покинули мы Бейрут. Поезд через час был уже под Хадеттом. За Хадеттом он переменил темп на торопливый, горный: стуча, раскачиваясь, он стал извиваться все выше и выше по красноватым предгорьям. Из-за цветущих садов, покрывающих их, из-за гранатов, шелковиц, кипарисов, роз и глициний несколько раз мелькнуло туманно-синее море. Слушая разноязычный говор, гул колес и грохот энергично работающего паровика, я выглянул в окно, дохнул посвежевшим воздухом: в необъятное пространство за нами все ниже и ниже падала далекая бейрутская долина, ставшая маленькой, плоской, кучки белых и оранжевых точек — крыш, темно-зеленые пятна садов, кирпичные отмели бухты — и необозримая синь моря. Скоро все это скрылось — и снова развернулось еще шире... Все мельче, тесней становились точки, все игрушечней — бухта и все величавей — море. Море росло, поднималось синей туманностью к светлому небу. А небо было несказанно огромно.

Под Джамхуром паровик стал на подъеме к котловине, повернувшись к Бейруту, — и за горами направо я вдруг близко увидал серебряную с чернью громаду Саннина. Пахло снегом, но серая каменная стена маленькой станции вся была в цветущей, ярко-пунцовой герани. Потом паровик звонко, по-горному крикнул — и опять застучал коротким дыханием в кручу. И опять открылась головокружительная панорама с далеким Бейрутом на дне. Зыбко зияли глубокие ущелья с одной стороны, торжественно возрастал Саннин с другой... А за Арайей подъем пошел еще круче. Стало просторно и голо, прохладно и облачно. Дымом сползали облака по скатам. Миновавши Алэй, мы опять повернули к востоку. Был туннель. Налево открылась долина Хамана, за ней — горы в сплошных темно-зеленых борах... За Софаром мы опять окунулись в тьму, дым и грохот, а когда выскочили, о, как дико и вольно стало кругом! Из-за голых вершин глянул Джебель-Кенэзэ весь в ярких серебряных лентах, четко, одиноко засиял в этой ясной, прохладной пустыне. Приближался перевал, паровик выбивался из сил, одолевая последний подъем. Из окон вагонов высовывались фески, дым падал и стлался по придорожным скалам... К полудню мы пришли на Бейдар, к перевалу.

Было тихо, свежо. Пять тысяч футов не бог весть какая высота, но волновала мысль, что ты на Ливане. А впереди — долина Солнца, долина Авен, Келесирия. Тронувшись, мы пошли с головокружительной быстротой. С грохотом нырнули опять в длинный-длинный туннель. А когда этот грохот оборвался, ослепли от света и не сразу поняли, что́ это, как море, сияет впереди. Впереди же была — Келесирия.

В глубокой дали раскрылась она, ровная, пустая, котловиной среди гор, смутно видных в солнечном тумане. Против левого окна, над скатами, сияла все та же голая громада в белых лентах. На скатах возле нас лежал тающий снег. А дорога все падала, и все ближе становилась огромная изумрудная долина в фиолетовых пятнах пашен. И еще огромнее был далекий вал гор за нею. Вот сосед трогает меня сизой рукой за рукав и, блеснув зубами, говорит:

— Джебель-Шейх!

И, взглянув, я вдруг вижу за долиной, в солнечном тумане, величаво выделяющуюся из-за валов Антиливана куполообразную гору. Она вся в полосах снега, идущих сверху вниз,— как талес. Гермон, Великий Шейх! Над ним, почти на нем — купы светлых легких облаков...

На Мерейате стало совсем тепло. Летний ветер, белые акации в цвету... Но по горе налево все еще был снег — на изумительно-ярком поле неба. За Мерейатом, после очень крутого спуска, открылась Штора, большая и дикая на вид арабская деревня с плоскими глиняными кровлями. За Шторой, после полудня, мы были уже в долине. Пошли сады, в них — тополя, шелковицы. Сквозь сады мелькали синие и красные одежды сирийцев, пахавших на волах ржавую глину в виноградниках... Близился Райяк, где нужно было покинуть дамасский путь и свернуть на север.

Близились места Эдема, Баальбек.

II

Край баснословных племен, родина Адама, святилище Солнца! Эта низменность,— в ней около полутораста верст,— с незапамятных времен называется Бека, то есть страна, долина. Баальбек есть таким образом «долина Ваала-Солнца». Слово Сирия — санскритское — значит опять-таки — солнце. Но мало того: эта долина, средоточие солнечных служений, связана еще с именем Рая, близость которого к Баальбеку была неоспорима в древности.

Я глядел в окна вагона. Прохладный, сероватый день. Дорога от Райяка ровно и почти незаметно для глаз идет на подъем, все к северу. Кругом — слегка волнистая пустыня, тощие посевы, сквозит красноватая почва,— именно та, из которой и был создан Адам! — и кое-где — дико цветущие кустарники. В открытое окно слева дует свежий степной ветер, за долиной видны холмы предгорий и без конца тянется горбатый вал Ливана — диких тонов, весь в продольных белых лентах. И такая же гряда идет и справа — Антиливан. Я глядел — и вдруг опять вспомнил талес, плат, который накидывают на голову во время молитвы евреи,— подобие древнейшей кочевой одежды. Вот откуда все эти пегие хламиды, раскиданные по Востоку, и даже полосатая чересполосица мраморов в мечетях! Все

отсюда, из исполинского развала этих ни на что не похожих гор.

Они не кажутся высоки,— сама долина на четыре тысячи футов выше моря. Издалека не поражают они и очертаниями. Но что сравнится с этими синеватыми валами и пегими горбами, точно перенесенными с другой, более старой планеты? С другой планеты и все памятники их. Вон чуть сереет на Ливане местечко Керак с высеченной в скалах стофутовой гробницей Ноя. Вон там, на Антиливане, есть селенье Неби-Шит, где чтут могилу Сифа. А впереди — Баальбек, руины храма, «превышающего размерами все сделанное рукою человека». Камни его возили на мастодонтах; в святилищах его сливались в служение единому Солнцу служения Арамеи и Египта, Ассирии и Финикии, Греции и Рима. Баальбеку уступали не только все финикийские, но даже египетские храмы. Там лик Солнца дробился: там были боги, нисходившие до людских распрей, воплощавшиеся в царях и вождях; здесь был единый бог... А за Баальбеком, к северу, долина еще пустыннее. На ней смешались и слились со скалами предгорий камни несметных городов и храмов, самое имя которых исчезло бесследно, навеки. Земля там — одна из самых плодороднейших в мире — запущена, одичала. И высится на ней Гермиль, «памятник Рая» — каменный куб на помосте черного базальта, украшенный барельефными луками, стрелами и фигурами тигра, кабана и слона,— охоты тех дней, когда Ливан, утопавший в исполинских кедровых лесах и великом обилии вод, был еще подлинным раем...

В открытое окно дул сильный ветер. С севера, из-за гор, шла неохватная градовая туча, уже покрывшая и замутившая вершины туманом. Я подумал: там Кедры... Следует ли, говорят некоторые, искать на Ливане отдельных мест, связанных преданием с Эдемом? Не Эдем ли весь Ливан? Ведь, кроме Гермиля, есть и было еще несколько селений, носящих это имя: например, древнесирийское селение на Антиливане — Гедим; потом Эдем близ Дамаска... Более же всего соперничает с Эдемом Гермиля Эдем близ Кедров, на северо-западе. Взбираются к этому Эдему по ужасающим кручам Ливана, чтобы достигнуть подошвы вечноснежных вершин. И видны оттуда целые

страны — кряжи, долины, воды, леса и селения, необозримая пустыня Келесирии, реки и царственные руины Баальбека на ней, мутная синева Антиливана на востоке, бездна Средиземного моря, сливающаяся с горизонтом, на западе... И вот одно из этих-то селений и есть Эдем, а несколько хвойных рощ суть остатки кедров ливанских, тех, которые Библия называла заоблачными, тень их — тенью, покрывшей все земные царства, бальзам — божественным, на тысячи лет сохраняющим трупы от тления, древесину — не боящейся вечности... Одна из пяти рощ, уцелевших близ Эдема, еще и доныне почитается священной.

Я смотрел в окна... Что такое теперь Баальбек? Даже происхождение его никому не известно. Известно только, что упоминается он в египетских и ассирийских надписях; что был он колонией Рима, которому и принадлежит построение — в честь богов солнечных — двух всемирнославных баальбекских храмов: Великого и Малого. Брали и разрушали его и арабы и монголы, а их разрушениям помогло несколько страшных землетрясений, и вот, на месте огромного города, остался бедный городок с пятью тысячами разноплеменного сирийского люда и развалинами акрополя, в котором от Великого храма уцелело всего шесть колонн... Вдруг вагон ярко озарился солнцем. И внезапно увидел я вдали нечто поражающее: густой зеленый оазис садов и тополей, тянувшихся среди долины и окружавших желто-белые руины какой-то крепости, такой огромной, что сады казались под ней кустарниками, а над ними — шесть как бы повисших в воздухе мраморных колоссов.

Солнце из грозовых туч озаряло сады и руины сильно и резко. Темно-сизый фон неба еще более усиливал яркость зелени и допотопных стволов колоннады. И в пролеты ее ветхозаветно глядел пегий горный талес. Белым огнем горели широкие снежные полосы этого талеса. И загорелись еще более, когда мы приблизились к Баальбеку. Но вдруг померкли, воздух потемнел — и буря, докатившись с Ливана, смерчем закрутила пыль над городком, белевшим за руинами, тучей помчала ее над садами и сквозь колонны... Едва успели мы вскочить в холодный и пустой отель на каменистом холме вблизи их, как все смешалось в лютом ливне с градом. Град с треском сек

помутившиеся окна, летел и прыгал по земле. Ваал из-за облачной высоты величаво кидал в мрачно откликавшиеся горы гул и грохот, от которых в страхе метались фиолетовые молнии...

Но когда, через час, вышел я на балкон, золотым блеском ослепила меня дождевая вода на балконе. Буря пронеслась, и на земле воцарились безмятежный мир и ясность, один из тех вечеров, что так любят ласточки. Воздух был чист и тепел, талесы далеких куполообразных вершин четки и близки, мокрые сады против балкона райски свежи, густы и зелены. А над садами и над крепостными руинами, тонувшими в них, стройно и державно возносились шесть желтоватых колоссов Великого храма. С балкона я глядел на предвечернее солнце, на Ливан, на северо-запад. На запад тянулись по долине руины. Тополя и фруктовые деревья шли вдоль южной стены их, подымавшейся над зеленью каменными зубьями, грубыми брешами. И мне виден был весь акрополь, заключающий в себе на восточном краю вход, Пропилеи, на западном — Великий храм, а посредине — Гексагон и Жертвенный двор. Малый храм построен отдельно, вне этой стены. Его циклопический периптер сохранился на диво. Но здесь он терялся: все подавляли колонны Великого храма. Верх одной из них — крайней справа — был уже почти свободен от архитрава. Скоро она рухнет, подумал я, и рухнет ужасно! Ведь в одном фундаменте акрополя пятнадцать аршин высоты, но колонны стоят не на нем: для Великого храма был воздвигнут еще другой фундамент, высотой почти равный первому. А в самих колоннах росту аршин сорок! Некогда перистиль храма — окружавшая его колоннада — состоял из пятидесяти четырех таких колонн. Теперь их только шесть,— третья часть южной части перистиля, удержавшаяся на единственной сохранившейся стене второго фундамента. И как одиноки они! Воздух долины становился голубым, вал Ливана синим. Далеко на северо-западе начинали желтеть ленты одного из высочайших горбов, все яснее выделявшихся на небе. Между небом и землей был несказанный простор. Но величие этих колонн, одиноких «наследников дней героев», было ни с чем не сравнимо.

III

Солнце склонялось; в мокрых зеленых садах, казавшихся еще свежее от шума горной мутно-зеленой речки, в садовой глуши вокруг акрополя, была тень. Маленькими казались тополя, стоявшие вдоль фундамента... Привратник пропустил нас за железную решетку к Пропилеям.

Некогда к ним вела мраморная лестница; сарацины до последней плиты разрушили ее, превращая акрополь в крепость. Некогда Пропилеи были стройным, величавым зданием. Двенадцать сиенитовых колонн, за ними — портал в три пролета, по бокам — павильоны — экзедры, воздвигнутые из огромных камней со всей роскошью и силой древнего зодчества и ваяния, с двумя ярусами ниш для статуй богов. Теперь от колонн остались только пьедесталы, портал являет вид проломов в крепостной стене, проход к нему завален каменными глыбами и разбитыми капителями, полуразрушенные экзедры зияют. Тень была в этих раскрытых развалинах. Глубоко и густо синело над ними вечернее небо. Зеленая верхушка тополя тянулась снизу, заглядывая в брешь. И мертвая тишина стояла вокруг...

За стеной Пропилей — Гексагон, первый двор. Огромный шестиугольник его замкнут шестиугольником стен и сплошных экзедр, опять-таки разрушенных. Мраморный скользкий шестиугольник в три ступени идет вокруг площади двора, на расстоянии шагов двадцати от экзедр. На нем возвышалась шестиугольная колоннада, связанная с экзедрами сводом. В тени этой галереи толпились ожидавшие входа во двор Жертвенный. От колонн не осталось теперь ни единой. Пустой двор окружают громады руин. Сарацины пробили в них бойницы, понаделали много грубых амбразур. Землетрясение и осады почти ничего не оставили и от этой работы. Чувствуешь лишь дикость древней цитадели, следы свирепых древних битв и — тяжесть, величие Рима.

А за Гексагоном — двор Жертвенный, двор, повторяющий первый, но лишь в иной, квадратной форме и чуть не втрое превосходящий его по размерам. Мало оставило время и от второго тройного портала,— проходов из Гексагона на площадь Всесожжения: вместо портала зияет

теперь пустота среди остовов крайних экзедр, что похожи на остовы каких-то допотопных жилищ, на сквозные пещеры. И когда я, оглянув Гексагон, кинул взгляд далее, необозримый каменный хаос, хаос целого города, ниспровергнутого землетрясением, открылся предо мною. Не на Гексагон и Пропилеи, а ведь именно сюда, где последовательно возрастали и размеры и святость храма Солнца, направлены были силы подземные, ужасы осад и варварство византийских императоров. Но великое осталось великим. Чуть не на полверсты тянулся среди этого хаоса отшлифованный мириадами ног, местами зияющий провалами, местами заросший колючками проход. Шесть колоссов, стоящих почти на самом конце его, на остатках фундамента, глядели на юг и сливались в один, занимая полнеба. Их стволы, обожженные зноем и ветром, были вблизи красноваты. Горизонт за ними замыкался зубцами и проломами Стены Циклопов. Небо бледнело, низко опустившееся солнце все слегка золотило... Я сел среди двора на камень.

Было тихо-тихо. Без конца лежали и стояли вокруг меня обломки сиенитовых туловищ, точно какие-то каменные страшные существа. Позади и вправо широко раскрывали свои каменные утробы искаженные и разрушенные экзедры; только две-три из них напоминали о прежнем великолепии раковинообразных ниш, пилястров и горельефов. А налево громоздились камни, шли какие-то рвы и провалы — и тяжело и вместе с тем легко, стройно и громадно высился храм Малый, чудом сохранивший весь свой, как бы литой из желтоватого мрамора, корпус и целых девять колонн как раз на том фланге, который был виден мне. Я глядел на них и долго не мог понять, что это так резко отличает их от *тех* шести колонн. Малый храм, этот редкий образец эллинской красоты и несокрушимой римской мощи, был немного менее Великого. Нет при нем ни Пропилей, ни Гексагона, ни двора Всесожжения, но фундамент его почти равен тому, исчезнувшему фундаменту, на котором стояло святилище Солнца. Почти равны и перистили их... В чем же тогда дело? Только в том, что колонны храма Солнца вверху не суживаются. Но как далеко уносит это в глубину веков!

Можно представить себе красоту Малого храма, Про-

пилей, Гексагона, двора Жертвенного — в те дни, когда только что отлилось в совершенные формы и сочеталось в Баальбеке «самое прекрасное на земле с самым величественным». Этот хаотический простор, ныне подобный страшным картинам Исаии, лоснился тогда мозаичными настилами. Стены и экзедры, где помещалось более трехсот ниш для всех богов Олимпа, стройно замыкали его с трех сторон, на четвертой, западной, шла лестница к высоко вознесенному порталу Великого храма. Квадрат из огромных сиенитовых колонн — темно-розовых, гладко шлифованных египетских монолитов — охватывал средину двора, и галереи между ними и экзедрами всегда были полны света, тени, белых хитонов. Нельзя было найти места, не блиставшего мрамором статуй, пилястрами, фронтонами и причудливой лепкой карнизов, капителей — этих окаменевших листьев, узоров, цветов. Ярко млела синь неба над квадратом двора. Дым непрерывных сожжений и языки пламени поднимались с гигантского жертвенника, с раскаленной медной плиты его — с алтаря возле мраморных ступеней, тремя переходами поднимавшихся к чудовищному периптеру Великого святилища... Но легко сказать: чудовищному! Как представить себе его?

Та часть основного фундамента, на которой стоял фундамент святилища, равна только половине двора Жертвенного. Но древние недаром называли святилище «первобытным»: дело было не в ширине и длине, а в высоте и размерах строительного камня. И уже одно то, что периптер святилища был вознесен еще и на другой громадный фундамент с подземельями внутри, свидетельствует о том, что Рим здесь кончается. Кем был сложен основной фундамент? Какими-то древнеарамейскими племенами — из самых больших монолитов, «какие когда-либо поднимал человек», и в те дни, когда легенды о титанах еще дышали жизнью. Неизвестно, кем построено и самое святилище Солнца: Рим только реставрировал его. Но и реставрировал под несомненным влиянием преданий о великих капищах, о столпотворениях, об уступчатых зиккуратах, этих «башнях до небес», и посвятил его Солнцу-Ваалу, сочетавшему здесь свое имя с именем Юпитера. И святилищем Ваала, прежде всего Ваала, и было и осталось святилище Великого храма, уступами вознесенное к

небу и охваченное колоссами, имевшими и внизу и вверху одну толщину — первобытно. А сказочным монолитам, из которых сложен основной фундамент, его подземелья и Стены Циклопов, Рим мог только дивиться: тайна передвижения и кладки этих монолитов, из которых иные имеют по тридцати аршин в длину, даже для него была непостижима.

Солнце село, и, как всегда на Востоке, стало на минуту особенно светло. И в этом странном свете без солнца, в пространстве, как бы лишенном воздуха, резко обожженные красноватым загаром колонны вдруг приобрели ужасающую выпуклость, тяжесть и высоту. Я пробрался к ним по глыбам камня, по оврагам и возвышенностям, по остаткам мраморных ступеней и тысячелетнему мусору, зашел под фундамент, на котором стоят колонны, и, закинув голову, глянул вверх... Дивно было сочетание бездонного бледно-голубого неба и красноватого тона этих поднебесных стволов! Но они уже меркли. Быстро падал сумрак. Спотыкаясь, я сбежал в ров, в угол, образованный Циклопическими стенами. Их теперь две: западная и северная. Обе искажены проломами. Но искажения только усугубляют их допотопный вид. Из темного оврага выбрался я по каменисто-мусорным холмам, поднимающимся к пролому в углу стен, на свет заката и стал в проломе. Подо мной был обрыв, вдали — темное море долины, а за ним — валы Ливана и далекие, чуть краснеющие в сумраке ленты его горбов. Подо мной была стена, сложенная сынами Солнца,— стена, камни которой останутся здесь недвижными до конца мира.

1909

ГЕННИСАРЕТ

В Вифлеемс, в подземном приделе храма Рождества, блещет среди мраморного пола, неровного от времени, большая серебряная звезда. И вокруг нее — крупные латинские литеры, твердая и краткая надпись:

Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est.

В приделе, как и подобает пещере, бедно. Но огнями, серебром, самоцветами переливаются над звездою неугасимые лампады. Там, наверху — жаркое и веселое солнечное утро, пестрота и крик восточного базара. Здесь — холод, сумрак, благоговейное молчание:

Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est.

Есть древние пергаменты, называемые палимпсестами,— хартии, письмена которых полустерты или покрыты чем-либо, чтобы, на месте их, можно было начертать новые. В Вифлееме чувствуешь, прозреваешь то драгоценное, *первое*, что сохранилось на его священном палимпсесте. В царские одеяния облекли рожденного здесь, царям, путеводимым звездою, повелели принести ему, лежащему в яслях, венцы свои, злато, ливан, смирну, и легендами, прекраснее которых нет на земле, расцветили сладчайшую из земных поэм — поэму его рождения. Но, когда благоговейно склоняешься над нею в Вифлееме, проступает простое, *первое*.

Назарет — детство его. Там протекло оно в тишине, в безвестности. Там огорчали и радовали его игры со сверстниками, там ласковая рука матери чинила его детскую рубашечку... Ветхие пергаменты Назарета остались во всей своей древней простоте. Но скудны и чуть видны письмена, уцелевшие на них! И великую грусть и нежность оставляет в сердце Назарет. Помню темные весенние сумерки, черных коз, бегущих по каменистым уличкам, тот первобытно-грубый каменный водоем, к которому когда-то приходила она, помню ее жилище, маленькое, тесное, пещерное, полное вечерней тьмы, пустующее уже две тысячи лет... Как полевой цветок, мало кому ведомый, выросший из случайно занесенного ветром семени в углу покинутого дома, расцвела и здесь легенда, может быть самая прекрасная, самая трогательная: без огня, по бедности родителей, засыпал божественный младенец; мать сидела у его постельки, тихо заговаривая, убаюкивая его; а чтобы не было скучно и жутко ему в наступающей ночи, светящиеся мушки по очереди прилетали радовать его своим зеленым огоньком.

А страна Геннисаретская, где прошла вся молодость его, все годы благовествования, все те дни, незабвенные до скончания века, для них же и был он в мире,— она совсем не сохранила зримых следов его. Но нет страны прелестнее, и нигде так не чувствуется он!

В ясный вечер, при заходящем солнце, подходим мы к Геннисарету по Иорданской долине. Все дико, голо, просто вокруг: и в долине, и по каменистым предгориям, обступившим ее,— серо-коричневым, в золотисто-рыжих пятнах по склонам, где от солнца выгорели травы. Тропинка ведет нас среди желтого, уже созревшего и подсохшего ячменя. За ним — прибрежная деревушка, глиняная, без единого деревца, кажущаяся необитаемой. Пройдя по серым пескам, на которых стоит она, увидали мы водную равнину чудесного зеленого тона, теряющуюся в горной дали, замкнутой неясной громадой пегого Гермона.

Солнце было за горами. Свет его гаснет здесь быстро, а как только он гаснет, с гор срывается недолгий, но сильный ветер. И темнеющее озеро уже шумело от крупной зыби. Четыре гребца наших поспешили кинуть весла, вздернуть парус и привалиться к бортам, затянув что-то

тоскливо-беззаботное. Ветер ударил в парус, крепко накренил его,— и мы понеслись в сумрак, на дальние огоньки Тивериады, рассыпанные под черной горою, стукая днищем по волнам, черпая воду. Я крикнул, чтобы ослабили парус: эти полуголые, худые, загорелые галилеяне, в своих войлочных круглых колпачках, прикрывающих только макушку, крикнули что-то в ответ. «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось...» Да, да, это было здесь! Он дышал этим мягким, сильным, благовонным ветром! — Через час мы были уже в Тивериаде, маленькой, тесной и грязной, где лишь один сносный приют — старый латинский монастырь на самом берегу.

От Тивериады кесарей ничего не осталось. Француз-настоятель, пригласивший нас ночевать в монастыре, а перед сном выйти на кровлю, с которой далеко видно было успокоенное в лунном свете озеро, жаловался: они изнемогают от скуки и тропического зноя в этом навозном местечке; вокруг них — пустыня; от Магдалы сохранилось только название; от Капернаума — груды камней, где итальянцы-монахи ведут раскопки; в Табхе всего пять человек братии... «Это близ Капернаума, на северном берегу?» — Да, да,— сказал настоятель, глядя на туманные предгория Гадаринские, за озеро. Луна сияла — высоко-высоко. Все озеро было в светлом, тончайшем пару. Знойно звенели внизу ночные цикады — на пыльных кустарниках, на столетних придорожных кактусах. Тивериада спала...

Мне долго не давал уснуть козленок, жалобно плакавший где-то по соседству. В маленькое окошечко, пробитое в каменной стене почти под потолком, белело сквозь железную решетку лунное небо. В полутемной жаркой келье беззвучно плакали москиты. Блохи же Тивериады упоминаются даже в путеводителях... Но я поминутно говорил себе: я в Тивериаде! Эта ночь была одной из счастливейших во всей моей жизни.

Ранним утром мы поплыли в Капернаум. Озеро недолго дышало утренней свежестью. Вот уже растянули белый парусиновый навес над лодкой,— и он озаряет лица. Солнце все ослепительней и жарче. Озеро штилеет. Желто-рыжие верхи предгорий Гадаринских делают водные

зеркала у берегов золотыми. Вода же под лодкой — зеленая, прозрачная, кажется бездонной. Гребцы дружно работают, и от поворачивающихся в воде весел извиваются, уходят в глубину как бы толстые змеи медянки с серебряными брюхами. Пот уже градом льет с красных лиц гребцов. Они — рыбаки, в лодке лежат их сети... «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море...» Разве не мог призвать он и этих? Они еще несколько раз налегают на весла — и поднимают их: лодка, чуть журча, добегает до берега. Мы выходим и оглядываемся. На берегу, среди колючих кустарников и розовых цветов олеандра,— груды белых камней, колонн: это и есть развалины знаменитой синагоги Капернаумской, куда столько раз, в такие же знойные дни, входил он, теснимый народом, искавшим коснуться его. Тишина, солнце, блеск воды. Сухо, жарко, радостно. И вот он, с раскрытой головою, в белой одежде, идет по берегу, мимо таких же рыбаков, как наши гребцы... Симон и Петр, «оставив лодку и отца своего, тотчас последовали за ним»...

Табха между Капернаумом и Магдалой. Мы опять поплыли мимо невысоких холмов в тех же бурых, выгоревших травах. Возле Табхи единственное живое место этой пустыни: в озеро впадает источник, дающий о себе знать несколькими эвкалиптами и посевами в долинке меж холмами. Под эвкалиптами черный мальчик пасет десяток черных вислоухих коз с колокольчиками на шее. Это стадо братии. А приют ее — на холме, рядом: нечто вроде маленькой крепости, два-три здания из дикого камня за высокими стенами. Настоятель здесь старик-немец, чистота и порядок у него немецкие. Встретил он нас, сожженных зноем, сдержанно, но приветливо, комнаты дал в нижнем этаже, самые прохладные, выходящие на большую каменную террасу, в садик по скату холма, усыпанный гравием, испещренный легкой тенью светлой, сквозной зелени перечных деревьев, нежнейших мимоз и нежнейших хвойных пород — серебристо-голубых, легких, как пух. Среди них поднимались две-три пальмы, чернели молоденькие кипарисы, цвели розы, ворковали дикие горлинки, наслаждаясь солнечным затишьем... И, оставшись

один на террасе, я взял с каменного стола лежавшее на нем Евангелие, развернутое как раз на тех страницах, что говорят о море Галилейском. Теперь оно было предо мною. Воздушно-зеленое, во всей тропической мягкости своей, оно тонуло, млело в серебристом полуденном свете, теряясь на юге.

Как сладок, как ласков здесь изредка набегающий, теплый от дыхания затуманенных зноем гор, сильный южный ветер! Как широко, все сгущаясь и темнея, бежит перед ним лиловая зыбь по зеркалам у берегов, где светит золото предгорий! Как долго, как дремотно кланяются после него кипарисы и шелестят вайи пальм, напоминая о Египте, сохранившем его драгоценную жизнь в младенчестве!

1911

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ

ДЕРЕВНЯ

Стр. 16. После слов «Считай во рту зубы»:

И оракула сменил Чугунок.

Дурновский мужик Чугунок,— небольшой, кряжистый, с необыкновенно высокой и плотной грудной клеткой, с живыми коричневыми глазами на широком смуглом лице,— был мужик хороший и хозяйственный, но со странностями: он тенором пел песни, и пел чаще всего с бабами и по-бабьи, был большой балагур и сплетник, лечил заговорами и настоями, мог сбегать обыденкой в город — «не отставал от тройки!» — и вел знакомство с колдунами, которыми спокон веку полна Ба́совка, деревушка верстах в трех от Дурновки. И вот этого-то Чугунка и заставал Тихон Ильич на каких-то таинственных переговорах с Настасьей Петровной, сразу обрывавшихся при его появлении. Заставал — и мгновенно делал вид ничего не заметившего человека, прикидывался, что ничего не знает о бутылочках с наговорной водой, которые то и дело доставлял Чугунок Настасье Петровне. В глубине-то души и он надеялся, что Чугунок поможет.

Но и от Чугунка мало было проку.

Стр. 42. После слов «...желание уюта, теплой чистой комнаты, семьи...»:

Но вдруг чувство это сменилось удивлением: из голого Ульяновского леса вышел и направился к шоссе человек в котелке и одном пиджаке,— и, приглядевшись, Тихон Ильич узнал Жихарева, давно спившегося с круга сына богатого помещика. Сердце неприятно сжалось. «Да все равно уж,— подумал Тихон Ильич с тоской,— лучше поболтать с ним, дать, в крайности, полтинник... Не стоит злить бродягу, злого человека...»

Однако Жихарев подошел на этот раз довольно гордо, ежась, но закинув голову в своем босяцком котелке и играя сжатыми челюстями — жуя мундштук давно потухшей и выкуренной папиросы. Лицо его было сизо от холода, припухло от пьянства, глаза красны, усы взъерошены. Подняв воротник наглухо застегнутого пиджачка и засунув кончики пальцев в карманы, он бодро шлепал по грязи растрепанными желтыми ботинками, торчавшими из-под коротких, с вытянутыми коленками панталон.

— А-а! — протянул он сквозь зубы, жуя окурок.— Кого я вижу! Сам Тихон Фомич обозревает свои владения!

И хрипло засмеялся.

— Здравствуйте-с, Лев Львович,— степенно отозвался Тихон Ильич.— Поезда ждете?

— Да, жду и не дождусь никак! — пожал плечами Жихарев.— Ждал, ждал,— побрел от скуки к леснику. Поболтали, покурили... Но ждать еще, вероятно, целую вечность! Не встретимся на станции? Вы ведь, кажется, любите... за воротник-то заложить?

— Бог миловал,— ответил Тихон Ильич прежним тоном.— Выпить отчего не выпить, да на все время надо знать.

— Толкуйте! — хрипло сказал Жихарев, довольно легко перепрыгнул лужу и гуляющим шагом пошел к станции.

Вид у него был жалкий, и Тихон Ильич долго с брезгливостью смотрел на его панталончики, кульком торчавшие из-под короткого пиджачка.

Стр. 66. После слов «...среди великой дикости и глубочайшего невежества»:

Он видел в детстве грязь и пьянство, лень и скуку... Детство дало только одно поэтическое впечатление: была темная кладбищенская роща да выгон на горе за Слободой, а за ним — простор, жаркое марево степи, дальняя белая хата под тополем. Но даже и к этой хате внушали ему презрение: там жили хохлы, а ведь они так глупы, что на вопрос: «Хохлы, где ваши котлы?» — отвечают: «Не вам ли сказать, что под фурами лежат?» <...>

... И о базарных нравах хотел Кузьма напомнить. На базаре воспринял он много постыдного. Там их с братом научили высмеивать нищету матери, то, что она стала запивать, брошенная подросшими сыновьями. Там они проделали раз такую штуку: мимо дверей лавки каждый день проходил из библиотеки сын портного Витебского, еврей лет шестнадцати, с бледно-голубым лицом, страшно худой, ушастый в очках, и на ходу пристально читал, а они накидали на тротуар щебня — и еврей — «ученый-то этот!» — полетел так удачно, что разбил в кровь колени, локти, зубы...

Стр. 67. После слов «... презрение к чужим колпакам!»:

С болью вспоминал и многое другое... например, Задонск. Однажды нашла на него страстная жажда покаяния, страх, что мать, умершая почти с голоду, горько поведала на небе свою скорбную жизнь, и он пешком отправился к угоднику; а там только и делал, что с злобной радостью читал поклонникам один особенно поразивший его «листок»: как некий сельский писарь вздумал не признавать властей и церкви, а бог так прогневался, что «этот аристократ слег на смертный одр» и что болезнь его была такая: «жрал больше свиньи, а кричал, что все ему мало, и высох до неузнаваемости...» И вся-то молодость Кузьмы прошла в таких историях! Думалось, исповедовалось одно, а говорилось, делалось — другое. Мечтая писать, подводя итоги жизни, Кузьма в тоске качал головой: «Русская-с черта! Сеяли горохом пополам с чертополохом».

Казалось, что был он в молодости весел, добр, нежен, понятлив, любознателен. Но так ли? Конечно, он не Тихон... Но отчего же и он, подобно Тихону, так рано усвоил грубость окружающих? Отчего он, добрый и нежный, так беспощадно забыл мать? Отчего сердцем его, так пылко работавшим над книгой, еще так долго владел базар? Отчего, отчего он — бесплодная смоковница?

Почти весь его заработок забирал в общую копилку Тихон: свое дело решили начать. Отдавал деньги Кузьма с хорошей, сердечной доверчивостью, которой у Тихона никогда не бывало. Но мать-то, мать-то! Ведь он стонал, вспоминая, как она, нищая, благословляла его, дарила ему единственное свое сокровище, память лучших дней, хранимую на дне сундука,— серебряный образок. И то, что он стонал, тоже было хорошо, но ведь деньги-то все-таки шли к Тихону. <...>

...Книги... читал жадно, да и не так, как Тихон. Тихон, когда делать было нечего, тоже любил почитать; мог и год не брать книги в руки, но если уж брал, то читал быстро, до последней строчки, прочитав же, сразу порывал связь с книгой; прочитал однажды за ночь целый том «Современника», не понял многого, очень занятным назвал понятое — и уж навек забыл о «Современнике». Кузьма тоже многого не понимал — даже в Белинском, Гоголе, Пушкине. Но росло его понимание не по дням, а по часам, суть дела умел он схватывать и закреплять в сердце прямо на удивление... Отчего же, схватывая слова Добролюбова, сквернословил он на базаре и говорил «хвакт» вместо «факт»?

(Полное собр. соч., т. 5.)

Стр. 73. После слов «Мысль эта радовала его»:

«Да, это отлично,— думал он с той скорбно-иронической усмешкой, которую еще так недавно усвоил себе,— домой пора!» И правда: нужен был отдых, хотелось новой жизни. Так недавно еще началась эта огромная смута и в нем, и вокруг него. Но она уже сделала свое дело, начало ее уже не было в тумане. Не потому ли, что в пьяном полусне прошла перед ним она? Да, но были и

другие причины: все совершившееся за последние годы было предчувствовано и втайне пережито гораздо ранее. Иначе как объяснить то, что он нисколько не удивился, например, началу войны и бунтов? Почему принял, как должное, и все последующее — и эти тысячи газетных сведений о небывалых, ошеломляющих событиях, и то, что он, толстовец, сразу стал ярым защитником самых свирепых убийств? Вечно полупьяный, дрожащий, с мутью в голове и глазах, он все-таки каждое утро жадно кидался на газету или на кровавые вести из уст окружающих. Теперь никакими усилиями памяти нельзя было уловить того момента, с которого началась напряженная жизнь политикой, только ею. Эта жадность была, конечно, не у одного него и возрастала так же естественно, как бежит вверх ртуть под солнцем. Пошло к закату солнце — пошла и ртуть на убыль; не удивившись началу, не удивился Кузьма и концу: что ж, так и должно быть на святой Руси,— по Сеньке и шапка. Но сам Кузьма стал уже не тот, что был прежде. Совсем посерела его бородка, поредели, приобрели железный цвет его причесанные на прямой ряд, завивавшиеся на концах волосы, потемнело и еще худее стало широкое в скулах лицо. Обострились зрение, наблюдательность, скептический ум. Утончилась, болезненно и скорбно чуткой стала душа, хотя и умел он скрывать это за простым, серьезным и даже порою твердым взглядом своих маленьких глаз под чуть перекошенными бровями. Подтянулся он весь, меньше стал думать о себе, больше — об окружающем... Но хотелось все-таки «домой», отдохнуть; хотелось работы простой, ровной, более, чем маклерство, лавки и конторы, отвечающей душе. И опять пробудились мечты — уже не тревожные, не нудные — приняться за «эпитафию», где нужно было, как он чувствовал теперь, уже не себя на первый план выставить...

(Журн. «Современный мир», СПб. 1910. № 10, октябрь.)

Стр. 89. После слов «... переломилась большая тень»:

Кузьма вспомнил, как был он когда-то на призыве: призывалось пятьсот человек, взять нужно было всего сто двадцать, ему достался четыреста девяносто второй

номер — и все-таки чуть было не пришлось раздеваться: так браковали этих голых подростков, похожих на голых воробьев своими тонкими, как плети, руками и большими, тугими животами. Аким опять торопливо перекрестился и опять с размаху поклонился — и Кузьма уже с ненавистью взглянул на него. Вот Аким молится — и попробуй-ка спросить его, верит ли он в бога! Из орбит выскочат его ястребиные глаза! Ему ведь кажется — никто на свете не верит так, как он. Он до глубины души убежден, что в угоду богу, да чтоб и люди не осудили, надо строго-настрого исполнять даже малейшее из того, что положено по отношению к церкви, постам, праздникам, добрым делам, что для спасения души,— не по доброте же, конечно! — неукоснительно следует творить эти дела, ставить свечи, в пост есть рыбку да маслице, а в праздники праздновать — и ублажать пирогами и курятиной попа... И все твердо верят, что Аким очень верующий человек, хотя за всю свою жизнь ни разу не подумал этот Аким: да что же такое его бог? — как никогда не думал он ни о небе, ни о земле, ни о рождении, ни о смерти... Что ему думать! За него обдумали! У него на все есть ответы — спокойные, тысячу лет тому назад заготовленные. Он ведь знает: на небе — рай, ангелы, праведные, в аду — черти и грешники, на земле — люди, которые пашут, строят, торгуют, наживают денежки, женятся, живут в свое удовольствие... Не все, конечно, далеко не все, да что ж с этим поделаешь? Стремиться-то все-таки люди должны к этому, и уж придет времечко, покажет себя Аким! — подумал Кузьма, как всегда с изумлением и ужасом вспоминая погромы. Ну, а тайна рождения и смерти — это его не касается. По рождении надо быть перекрещенным, да по-нашему, по-русски, а не пособачьи — по-турецки или французски. Умирая — непременно приобщиться,— иначе ада не миновать,— а всего лучше особороваться. Вот и все. Есть еще на земле насекомые, цветы, растения, птицы, животные... Но о цветах и насекомых Аким думать не унизится — просто давит их. Растения он замечает только те, что приносят плоды, ягоды, идут на корм. Птицы летают, поют — и самое любезное дело стрелять на еду тех из них, что годны к тому, а негодных — для забавы. Зверей надо всех, до

единого, истребить, а к животным относиться разно: своих держать в теле, на пользу себе, чужим и старым — выстегивать глаза кнутом, ломать ноги...

«И какое ему дело,— с тоской подумал Кузьма,— какое ему дело, раз он не хозяйствует, что идет неделю дождь, град, гремит гром, сверкают зарницы... что небось они озаряют теперь мертвое синее личико в темной, полной мух избе, где как убитая спит слепая девка...»

Стр. 91. После слов «И лето тянулось бесконечно долго»:

Распустили Думу, но это не нарушило однообразия жарких длинных дней. Ждали великого деревенского бунта, но никто и бровью не повел, когда не произошло ровно ничего великого. Устраивались новые сказочно-свирепые избиения евреев, изо дня в день шли казни, расстрелы, но город даже интересоваться перестал ими. В уезде, по усадьбам, побаивались,— особенно после того знаменитого дня, когда взбунтовались мужики по чьему-то «распоряжению». Но что за дело городу до уезда? Казаков прислали еще сотню; их проклинали в один голос, но терпели. Местную газетку закрывали три раза и, наконец, доконали, продажу столичных запретили. На афишах опять стали печатать: «С дозволения начальства, проездом через здешний город», да и афиши-то опять пошли гнусные: приехали малороссы, завлекавшие на представление «знаменитой исторической драмы «Тарас Бульба, убийца своего родного сына» тем, что «участвует вся труппа», гопаком, «роскошными костюмами» и «бесплатными подарками» — дойной коровой и чайным сервизом, «стоимостью семьдесят пять рублей»; появились скороходы и предсказатели судьбы, какие-то жулики, показывающие человеческое безобразие — близнецов, бородатую женщину, девицу четырнадцати пудов, «чудо 20 века — живое чудовище, пойманное в Красном море» и лежавшее дохлым в жестяной ванне за ситцевой занавеской... Военные подняли голову, ездили пьянствовать почему-то на вокзал и там дебоширили, кричали, что «офицерство — это одна семья», хохотали, читая требования амнистии и отмены смертной казни, и каждый думал, что

говорит нечто очень новое, выпаливая: «Пусть прежде господа революционеры прекратят убийства!» — или доказывая, что социализм — только глуп: «Позвольте,— это что же значит: ваши часы — мои часы, моя жена — ваша жена?»

— Будь проклят день рождения моего в этой трижды проклятой стороне! — говорил иногда Кузьма, швыряя на стол газету, закрывая глаза и стискивая зубы.— На весь мир нужно было бы кричать теперь: ратуйте, кто в бога верует!

— А вот ты докричишься,— спокойно возражал ему кто-нибудь.

И переводил разговор на урожай, засуху. И Кузьма смолкал: события были столь жестоки, что человеческой восприимчивости не хватало.

В уезде изредка перепадали дожди, но в городе с самого мая до августа, день в день стояла адская сушь.

Стр. 92. III часть имела следующее начало:

Поместье при Дурновке было хуторское. Оно прежде так и называлось — хутор. Дурново владели несколькими поместьями и занимали главное, на Зуше. Афанасий Нилыч, затравивший Цыгана, только наезжал в Дурновку — по пути с охоты. Нилу Афанасьевичу, предводительствовавшему дворянством, было не до хуторов: он всю жизнь устраивал обеды да пил херес в клубе, славясь своей полнотой, аппетитом, звонким шепотом,— у него было серебряное горло,— щедростью, остротами и рассеянностью. Редко заглядывал в Дурновку и сын его, улан, носивший имя деда. Улан считался еще крупным помещиком. Выйдя в отставку, он решил нажить миллионы, показать, как надо хозяйствовать. Но в поле бывать улан не любил, да и губила его страсть к покупкам: он покупал чуть не все, на что падал его взгляд. Губили и поездки в Москву, влюбчивость... Сыну его, не кончившему лицея, достались уже только два хутора — Лаухино и Дурновка. И лицеист так разорил их, что в последний год пребывания его в Дурновке караулила усадьбу старая стряпуха, ходившая по ночам с колотушкой и в рыжей енотовой шубе... «Да

что ж,— думал Кузьма, до слез обрадованный предложением Тихона и глубоко затаивший свою радость.— Хутор так хутор! Это-то и хорошо: уж, по крайности, подлинная глушь, татарщина!»

Стр. 99. После слов «Больше всех занимал его Серый»:

В деревне было пусто. Многие уехали на клевера. Трифон умер на Успенье — подавился, разговляясь, куском сырой ветчины. Комар, один из главных бунтовщиков, знаменитый своей силой, умом и смелостью в обращении с господами, поступил в начале сентября на винокуренный завод под Ельцом, заснул пьяный в сушилке и задохся. Не знали, что он там, и задвинули двери засовом. Комар погнул его, стараясь вырваться на воздух, да, уж видно, на роду была написана ему такая смерть. Другой бунтовщик, Ванька Красный, опять закатился на донецкие шахты. Шорник работал по имениям, Родька на чугунке. Дениска пропадал где-то. И все притворно жалели Серого, пользуясь случаем поиздеваться и над сыном, и над отцом. У Якова, когда он заговаривал о Сером, тряслись руки. Да и не могли не трястись. Что делал этот Серый с землею, которую Яков готов был «горстями жрать»! Никто во всей Дурновке и сотой доли не испытал того, что Яков, когда пошли слухи о бунтах, поджогах, отчуждении земель. Он только молчал — от той подколодной скрытности, затаенности, что всосали с молоком матери тысячи его предков. Да и дыхание перехватило бы у него, если б он заговорил. Теперь, когда слухи становились все безнадежнее, он из-за земли даже с сыном Васькой помирился. Сын был рябой, грубый, коренастый малый, в двадцать лет зарос бородой, широкой, кудрявой и такой крепкой, что клещи не выдернули бы из нее ни волоса. Сын, с этой бородой, стриженой головою и в красной рубахе, был похож на арестанта, а жену наряжал мещанкой. Но жадностью он вышел в отца и уже стал тайком поторговывать водочкой, махоркой, мылом, керосином. И Яков помирился, надеясь насытиться землею при помощи сына — забогатеть, и начать снимать ее. Но почему мирился Серый с Дениской, который уже не раз «давал ему в душу»? На что надеялся он, лодырничая, как последний босяк?

Стр. 106. После слов «...ждал каких-то счастливых дней для работы!»:

Неприятное воспоминание осталось от храбрости, от рассказа, от хвастовства захмелевшего Серого. Но обычно и во хмелю не таков бывал Серый: только болтлив, чем-то смущен и несмело-весел. Да и захмелеть-то ему удавалось раз пять в год. Не жаден он был на вино, не то что на табак. Из-за табаку он готов был пойти на какие угодно унижения, готов был по часам сидеть возле курящего, поддакивать ему, льстить и все затем, чтобы, выждав удобную минуту, как бы невзначай сказать: «Дай-ка, сват, на трубочку...» Страстно любил он еще карты, долгие разговоры, вечерние сборища по избам,— по тем избам, где большие семьи, где тепло, где огонь горит, бьют вóлну захожие волнобои, шьют полушубки бродячие портные. Но по избам еще не сбивался народ — Серый сидел дома... И, побывав у него несколько раз, Кузьма почувствовал, что не злобствовать надо, не трунить над Серым. Жил Серый тем, что заработала на летней поденщине жена, смирная, молчаливая, с придурью баба, да еще тем, что удавалось выпросить у Дениски, изредка появлявшегося в Дурновке — с чемоданом, белым хлебом, колбасой, которую он любил безумно — и без стеснения бранившего царя и господ.

(Полное собр. соч., т. 5.)

Стр. 117. После слов «...волнующей весенней сыростью»:

Новая жизнь начиналась для Кузьмы,— он это чувствовал. Но какая? Если бы кто спросил его теперь об «Итогах», он только усмехнулся бы. Прежде, все собираясь писать, он часто думал о своем прошлом. Теперь прошлое казалось ему так незначительно, так чуждо, что совершенно не верилось в него: да нет, это было не с ним, а если с ним, то не имеет даже ни малейшей связи с его душой. Теперь-то только сознал он, как глупо было мечтать о каких-то итогах, проповедях, спорах, кто хорош и кто дурен, кто прав и кто виноват. Уж куда ему!

(Журн. «Современный мир», СПб. 1910, № 11, ноябрь.)

СУХОДОЛ

Стр. 141. После слов «...странно раздавался в пустых черных горницах»:

Велико было наше разочарование! Ведь как долго и жадно слушали мы повествования о Суходоле. Все говорили о нем так, точно был он великокняжеским поместьем. Увидели же мы скудость, убожество, увидели полудикую женщину, образ которой романтизировали. Не по усадьбам Лариных, Лаврецких, этим оазисам, представляли мы себе Суходол. И все же все предания, все поэтические были Суходола померкли для нас в этот вечер, в этой бедной глуши. До правды тогда нам еще далеко было. Но теперь-то мы хорошо знаем ее! Да, ни к разумной любви, ни к разумной ненависти, ни к разумной привязанности, ни к здоровой семейственности, ни к труду, ни к общежитию не были способны в Суходоле. Чуть не поголовно страдали телесными и душевными недугами все Хрущевы из поколения в поколение, равно как и близкие их. Нелепыми и страшными былями полна суходольская летопись. Мы последние в этой летописи, мы порвали последние нити, связывавшие нас с землею. Даже самое имя Хрущевых скоро исчезнет навсегда. Но, право, мысль об этом только радует меня теперь. На прошлом Суходола познали мы душу его. Но ведь этой же душой и создано оно. В нем еще резче и яснее, чем в настоящем, выступали истинно славянские черты ее, гибельно обособленной от души общечеловеческой.

Господином Суходола считался отец наш. А на деле-то и сам он был рабом Суходола. И его загубил Суходол. В суходольском доме изо всех выделялся он. Даже обликом не похож он был на прочих Хрущевых. Но поистине суходольская непригодность к человеческому существованию отличала и его, потомка вырождающегося клана. Последнюю рубашку готов он был снять с себя для другого; да был ли хоть единый случай, когда не пропала бы она даром, а пошла в путные, дельные руки? Добр он был, как ребенок. Бешено вспыльчив, как зверь. Одним стро-

гим окриком можно было порою привести его в страх и смирение. Но порою он мог с голыми руками полезть на толпу с рогатинами. И остротой и живостью ума обладал он от природы. Но как-то так случалось, что из десяти слов его восемь были неразумными. Твердо сказав себе и окружающим: «Вот так-то должен сделать я»,— в ту же минуту делал он как раз обратное. Правильности, последовательности в суждениях он не переносил. Бодрость, пылкие мечты поминутно уступали в его душе место полной безнадежности. Когда дела его запутывались, завязывались крепчайшим узлом, он, сделав несколько внезапных и отчаянных усилий развязать его, неуклонно кончал тем, что отбрасывал его от себя в руки судьбе, случаю. До тридцати лет капли вина, чубука трубочного не брал он в рот. С тридцати стал и пить и курить так, что не знал себе равного в уезде. Сколь мелочно-жаден и подозрителен был Петр Петрович, столь же нелепо-щедр и доверчив был отец. И вся жизнь его, кажется, на то только и была направлена, чтобы не оставить не использованной ни единой возможности приготовить и себе под старость, и нам на молодость нищенскую суму.

Мы застали в молодости начало великой помещичьей бедности. И дивились: как внезапно наступила она! Ужели, думали мы, вся причина ее в разрыве крепостных уз, вязавших господина и холопа? Непонятной казалась та быстрота, с которой исчезали с лица земли старые барские гнезда. Но не преувеличена ли, думаю я теперь, их старость, прочность и — барство? Вольно же называть нас, мужиков, феодалами! Вольно же было верить в устои Суходола, невзирая на первобытность суходольскую! В несколько лет — не веков, а лет — дотла разрушилось то подобие благосостояния, которым так величалась наша старина. В чем же причина тому? Да не в том ли, что не устои там были, а косность? Не в том ли, что гибель вырождающегося суходольца шла как раз навстречу его душе, его жажде гибели, самоуничтожения, разора, страха жизни?

(Полное собр. соч., т. 5.)

Стр. 310. После слов «...из ближней будки сторожа...»:

Через полчаса, когда уже совсем ослабели силы бившегося, задом, грохоча, примчался со станции, синевшей на горизонте, огромный паровоз с одним товарным вагоном. С громом отодвинули дверь вагона фельдшер и кондуктор, соскочили на землю, подхватили ноги, лежавшие в рельсах, подхватили и кровавое туловище, кинули то и другое в вагон, на пол, грязный и загаженный скотом,— и снова, шумно дохнув и загрохотав, понесся паровоз обратно. И тотчас же туловище перестало биться...

Это было четвертого. Шестого, перед вечером, ясным и веселым, когда золотое солнце светило в большое окно вокзала, в так называемый зал первого класса, полный голубого, пахучего — городского — дыма, на мраморном круглом столе возле деревянного дивана стояло пять пустых пивных бутылок. С красными от пива, дыма и солнца лицами встали из-за стола доктор, серо-курчавый старик в синих очках, шляпе и крылатке, и молоденький следователь в фраке, с портфелем. С трудом открыв ноющую блоком дверь на жаркую платформу, они пошли по платформе к элеватору.

Там уже два дня ждал их красно-бурый товарный вагон. Там, в затишье, еще больше грело низкое веселое солнце, буднично и мирно трещали воробьи, усеяв все крыльца, подбирая сор и зерна. Воробьи шумной стаей поднялись от подошедших к ним людей. Два сторожа откатили, отодвинули дверь вагона. Доктор поправил очки, вглядываясь, после яркого солнца, в глубину его. В глубине же этой были сумрак и вонь — вонь гнилого и точно поджаренного мяса. Тяжелое, широкое и короткое туловище лохматого мужика, желтоволосого, самого настоящего русского, плоско лежало вниз животом в углу,— туловище в посконной рубахе, покрытой большими темно-вишневыми пятнами. И точно два толстых полена, торчало из оборванных порток — раздвинутых да так и окаменевших, в лиловой, запекшейся крови, на отъеденных, обло-

манных концах, с пожелтевшими подсохшими остряками костей... Что же тут было смотреть? Хоронить надо, сказал доктор.

И веселый двор в Пажени навсегда опустел.

(Автограф. ЦГАЛИ.)

ТЕНЬ ПТИЦЫ

Стр. 314. После слов «...Россия уже за триста миль от тебя»:

Ах, никогда-то я не чувствовал любви к ней и, верно, так и не пойму, что такое любовь к родине, которая будто бы присуща всякому человеческому сердцу! Я хорошо знаю, что можно любить тот или иной уклад жизни, что можно отдать все силы на созидание его... Но при чем тут родина? Если русская революция волнует меня все-таки более, чем персидская, я могу только сожалеть об этом. И воистину благословенно каждое мгновение, когда мы чувствуем себя гражданами вселенной! И трижды благословенно море, в котором чувствуешь только одну власть — власть Нептуна!

В пути со мною бейрутское издание истории Баальбека — храма Солнца, к которому я совершаю паломничество, да Тезкират Саади, «усладительнейшего из писателей предшествовавших и лучшего из последующих, шейха Саади Ширазского, да будет священна память его!». В утренней свежести я сижу на юте и упиваюсь жизнью поэта, мудреца и путешественника.

— Рождение шейха,— читаю я,— последовало во дни Атабека Саади, сына Зенги.

Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний, тридцать — на странствования и тридцать — на размышления, созерцание и творчество.

Сев на ковре богопочитания, на пути людей божьей дороги, за каждое свое дыхание рассеивал Саади по жемчужине очаровательнейших газелей — и бесплотные на небесах, слушая его, говорили, что один бейт Саади равняется годичному славословию ангелов.

Стр. 315. После слов «...палубе, убегающей и повышающейся к носу»:

На корме, на юте пусто: второй класс занят греками-коммерсантами, все время играющими в кости в дымной рубке, да не выходящими из кают гречанками в неизменных черных платьях. Ют, еще не покрытый тентом, напоминает весеннюю террасу деревенского дома... Пройдешь мимо большого рулевого колеса в сером грубом чехле, среди наставленных друг на друга клеток, переполненных мирно переговаривающимися курами, услышишь странный в море запах птичника и остановишься у решетки борта... На целую версту бежит из-под винта кипящая дорога,— дымчато-малахитовый лед со снегом,— вертится нежнозвенящая бечева лага...

Quocumque adspicas nihil est nisi pontus et aër!

А под навесом спардека, возле рубки первого класса, полулежит в полотняном кресле рослая и величавая англичанка в мужских ботинках со шнурами, в серой тяжелой юбке, в толстых перчатках и меховой накидке. На коленях у нее палевый томик Таухница, в руке — лорнет. И когда я прохожу мимо, этот лорнет жестом императрицы прикладывается к белесым глазам, к породистому красивому носу, и серьезно оглядывает меня с ног до головы.

Красив и брюнет, с которым мы в сотый раз расходимся возле рубки. Широкое пальто, за карман которого прицеплен щегольской костылик, картуз французского фасона, башмаки на толстых подошвах... Очень худ, но сложен отлично, лицо смуглое, строгое, с великолепными черными глазами и блестяще-черной бородой... Откуда он? Решаю, что из Александрии, и прохожу мимо с той же независимостью, с какою проходит и он,— как и полагается незнакомым людям, совершающим один и тот же рейс... И мерными вздохами соглашается машина, обвевая меня теплом и блестя бесшумно ныряющими светло-стальными поршнями.

Солнце между тем опять раскрыло свои милые глаза, опять озарило и море и палубу горячим светом. Густым сине-лиловым маслом светит сквозь решетку борта вода, бегущая навстречу, и с каждым часом делается все более

тяжелой, все более непохожей на жидкую, желтоватую воду возле берегов Новороссии. Она своими красками говорит о близости других берегов. И моряки уже празднуют эту близость белоснежными кителями, чистотой, которой они так любят щеголять в море.

Стриженный под гребенку, до половины лба краснокоричневый от загара старший помощник, плотный хохол с упорно-насмешливыми глазками, сидит в своей каюте под командирским мостиком возле открытой двери. Широкоскулый рябой вестовой стоит невдалеке от этой двери босиком и, когда я прохожу мимо, вполголоса предлагает обменить русские деньги на турецкие.

Дальше подъемный трап, перекинутый над шахтой трюма от спардека к носу. Из шахты глядят крупы лошадей и дымчатых быков, по-деревенски пахнет стойлом, прелым сеном,— и я щурюсь от солнца и удовольствия. Ах, как ласково и нежно стало все! И ветер, и воздух, и мутно-голубое небо, в которое так легко уносится тяжкая, зыбкая мачта. Небо по-весеннему бледно, кротко, как человек, с застенчивой улыбкой вышедший на воздух в первый раз после болезни... Но солнце уже припекает, на глазах превращает мокрые портки и рубахи, лежащие возле бугшприта, на цепи якоря, из серых — в белые. Теплый вольный ветер тянет оттуда — с юга, с неоглядного золотистого моря.

Стр. 317. После слов «...на башне Афразиаба»:

Говорят, что, повторяя персидского поэта, сказал эти слова упоенный победой Магомет Второй, войдя в разграбленное и поруганное жилище Константина вечером 29 мая 1453 года,— в час, когда первый муэззин поднял свой звонкий и печальный вопль над Византией. Но в устах хитрого и свирепого дикаря, украшенного всей премудростью восточной учености и втайне почитавшего даже самого пророка плутом и разбойником, персидское двустишие звучало, верно, совсем не меланхолично. Бренность человеческой славы нисколько не мешала ему созидать собственную славу с ненасытной жаждой. И понятна безграничная власть таких, как он. Но как понять безгра-

ничную власть старичка в венском сюртуке и дамасской феске, ради своей трусливой власти пренебрегающего запустением не византийского дворца, а всей Турции? — Воздается, впрочем, каждому по вере его!

Стр. 318. После слов «...или гаремы, закутанные в радужные брусские газы...»:

А имена этих долин и вилл, идущих справа и слева по ломаным гористым берегам вплоть до Мраморного моря! — Источник Платанов, Долина Роз, Долина Повелителя, Небесный Ручей, Звездный Дворец, Сладкие Воды... И что за гигантская картина развертывается вдали,— картина города, возлежащего среди морей, на трех мысах, в золотистой пыли заходящего солнца, в сизых дымах величайшего в мире рейда! Не сразу и заметишь среди вилл, дворцов и садов подлинную Турцию — эти узкие и высокие деревянные домики с черепично-оранжевыми крышами под зелеными тополями и синими кипарисами, домики, столь потемневшие от времени, столь ветхие.

Стр. 321. После слов «...и розах в стране Блаженной!»:

Но жизнь не терпит покоя. Время разрушает стены, мечети, кладбища; нищета разрушает кварталы Скутари, Стамбула, Галаты, Фанара и превращает их в вертепы и трущобы. Но жизнь творит неустанно, а на земле слишком мало мест, подобных Золотому Рогу и Босфору. Галату, сердце этой лаборатории, часто называют помойной ямой Европы, Галату сравнивают с Содомом. Но Галата не погибнет: сброд, населяющий ее, кипит в работе. Он нищ и бешено жаждет жизни. Сам того не сознавая, он созидает новую вавилонскую башню — и не боится смешения языков: в Галате уже нарождается новый язык — язык труда, нарождается беспримерная терпимость ко всем языкам, ко всем обычаям, ко всем верам.

Грудами пчелиных сотов — уступами многоэтажных узких домов — покрывают Галата и Пера гору, увенчанную круглой громадой Башни Христа. Эти соты сверху донизу набиты семьями армян, евреев, греков, франков,

всю жизнь проводящих в порту или на улицах, в работе и торговле. И только в домах Галаты существует то, чего нет нигде в мире: бывает, что четверть дома принадлежит армянину, четверть — греку, четверть — румыну, четверть — человеку совершенно неизвестного происхождения. В кофейнях, в парикмахерских, в конторах, в магазинах зачастую висят рядом портреты властителей всех стран земли — и ни к одному-то из этих властителей Галата и Пера не чувствуют ни даже малейшего почтения! Можно быть монархистом, анархистом, республиканцем — до этого в Галате нет никому никакого дела... Можно быть язычником, христианином, поклонником дьявола или пророка — это тоже никого не касается... И дружно, чуть не на всех языках и наречиях Европы и Азии, пишет свои вывески Галата! По ее покатым, узким улицам и переулкам, по каменным уступам, отшлифованным мириадами ног, среди ослов, собак, аргамаков и вагонов конки, движется единственный во вселенной маскарад. И никого-то и ничем не удивишь на этом маскараде: ни белой кэфией араба, ни черным атласом цилиндра, ни золотом каски, ни даже наготой негра, которую кто-то так хорошо назвал эбеновой!

Стр. 326. После слов «...под бальзамически благоухающими кипарисами»:

В Старом музее — несколько эллинских изваяний, ассирийских барельефов, египетских мумий цвета умбры и саркофагов, блещущих неувядаемым глянцем политуры и красок. В Новом музее — он стоит напротив Старого — я когда-то был очарован непостижимым изяществом беломраморного саркофага, именуемого саркофагом Александра Великого. Но как передать чувства, которыми волнует мрамор этих фрагментов, пожелтевший от времени и от времени воспринявший какую-то особую трогательность линий? А среди кипарисов и цветущих садов на скате горы — весенняя синева воздуха, розово-палевые краски Галаты, нагроможденной на горе за голубым рейдом, черные и красные полосы на бортах пароходов, которые отсюда кажутся игрушечными...

Стр. 328. После слов «...два яруса аркад и колонн!»:

Бесценно тонкой работой считается кружевная резьба беломраморных капителей, ажурной слоновой костью кажется она, выделяясь на коричневом фоне. Но совокупность древнего изящества с древней примитивностью линий еще более заставляет чувствовать, что ты — в капище, где девятьсот лет совершалось язычески-пышное богослужение Византии.

Не знаю путешественника, не укорившего турок за то, что они оголили храм, лишили его изваяний, картин, мозаик. И особенно грубы в своих укорах путешественники русские.

— Я победил тебя, Соломон! — с восторгом вспоминает один слова тщеславного Юстиниана, этого варвара, загромоздившего дивное создание зодчего золотом и серебром.

— Несть таковые красоты и славы нигде на земле! — повторяет другой слова киевских мужиков — послов Владимира.

И все в один голос клянут турок, осквернивших великую и несравненную святыню христиан.

Но, во имя бога милостивого и милосердого, зачем же приводить тогда слова летописцев, изображавших свирепое нашествие на Софию «христовых воинов» четвертого крестового похода,— воинов, разбивавших раки угодников и гробницы императоров, сдиравших одежды с трупов и мантии с мощей, топтавших в азарте грабежа образа́, разливавших из потиров кровь Христову, вводивших в алтари лошадей и мулов, «кои, пугаясь блестящего пола, падали и оскверняли его калом»! Зачем вспоминать христиан варварски-пышной, содомски-развратной и люто-жестокой в убийствах и вероломстве Византии! ее императоров, подобных идолам, увешанных золотом, парчой и самоцветами,— идолов, которые почитали себя, при всей своей мерзости, воплощениями Христа и требовали, чтобы пред ними свершали богослужения! ее город — «скинию Всевышнего» — вмещавший, по словам тех же летописцев, сброд со всех концов мира и все пороки человеческие!

Благословенны земля и время, скрывающие в недрах своих следы человеческой низости, следы свирепых и

пышных деспотов и кровавой славы завоевателей! Был, говорят священные легенды Востока, некто Карун, превзошедший в богатствах всех людей мира. И земля поглотила его, живого, со всеми его богатствами, и покрыла его могилу простыми полевыми цветами! И сам пророк с восхищением говорил о казни Каруна в своем Коране... Кто знает,— может быть, и Христос сказал бы так же в минуту гнева.

И Христос и Магомет были исполнены страстной и всепокоряющей веры, не нуждавшейся в золоте, парче, брильянтах, капеллах и орга́нах. Первые суры Корана горели такими огненными буквами в юной душе пророка, что поседели волосы его. Старый, больной, покоривший всю Аравию, он жил и умирал в мазанке и со слезами перебирал в сундуке бараньи лопатки, на которых, с его слов, записывали Коран. И в простых, порою свирепых душах его поклонников и доныне живет несравненная в своей простоте и силе вера: ибо что, кроме ислама, владеет в наши дни таким страшным и так пламенно соединяющим в одну душу миллионы душ стягом, как зеленая полуистлевшая тряпочка, сохраняемая с дней пророка!

Турецкая простота Софии возвращает меня к началу ислама, рожденного в пустыне и уже потом изукрашенного мавританской роскошью. Я знаю цену кружевному мавританскому зодчеству, арабескам и письму, узорчатая вязь которого зачастую не только письмо, а и произведение великого мастерства. Но, к счастью, ничего этого нет в Софии. Есть в ней только огромные зеленые щиты с пышными турами калифов. Но они не нарушают общей простоты. Пышно и грозно звучат и гортанные восклицания Шейх-уль-Ислама, читающего с резного михраба Коран с кривой обнаженной саблей в руке. Но даже и в этом есть простота пустыни. Всего же проще обычный турецкий ритуал. Он спокоен и правдиво-трогателен.

Стр. 330. После слов «...слава Дельфийского капища»:

— Магомет Второй...— начинает, не выдержав молчания, Герасим.

Но я уже давно знаю, что и Змеиная колонна не избегла рук доблестных завоевателей, упорно задающих че-

ловечеству работу Сизифа: Константин перетащил колонну на Ипподром, а Магомет сбил палицей головы змеям...— совсем как тот французский генерал, который приказал выпалить из пушки по профилю сфинкса возле Великой пирамиды, или смоленский губернатор, отдавший мраморный саркофаг великого князя Давида на ясли в пожарную команду!

— Бин-бир-дирек... Тысяча и одна колонна...— опять робко напоминает Герасим, когда мы проходим над подземельями византийских водохранилищ, уставленных целыми лесами мраморных баобабов и вмещавших некогда, во время осад, целые озера.

Но меня уже тяготит пребывание среди гробниц Византии, среди останков ее Акрополя, может быть, самого кровавого места на всей земле.

Стр. 333. После слов «...разумелось упоение божеством»:

От древнейших хороводов, знаменовавших сперва вихрь планет вкруг солнца, а потом вихрь миров вокруг творца, идут и вихри дервишей. От экстаза «отрешения» суфи идет экстаз, которому предаются Ревущие и Кружащиеся дервиши и доныне.

В Константинополе большинство из них — плуты и актеры, холодно доводящие себя до головокружения... как современные поэты.

Но когда-то были иные дервиши.

Они по праву носили имена поэтов, святых, созерцателей. И были они вне узаконенных религий, вне государств, вне обществ.

И мне хочется сказать:

Братья дервиши, я не ищу согрешения от видимого мира. Может быть, искажая ваше слово, я говорю, что ищу «опьянения» в созерцании земли, в любви к ней и в свободе, к которой призываю и вас пред лицом этого бессмертного, великого, в будущем — общечеловеческого города. Будем служить людям земли и богу вселенной,— богу, которого я называю Красотою, Разумом, Любовью, Жизнью и который проникает все сущее.

И пребудем в любви к жизни и в веселии.

Стр. 341. После слов «...дым каждения ему»:

В полночь я, счастливый и спокойный, уснул в темной каюте, против открытого иллюминатора, за которым шумно переливались и рассыпались голубым серебром волны,— и вдруг почувствовал невыразимую тоску: откуда-то доносились вопли — страшные, тоскливые, чисто-животные! Я вскочил — и в ту же минуту услыхал низкий и бесконечно скорбный рев трубы, потрясший всю каюту. Вздохи машины падали; волны за смутно белевшим жерлом иллюминатора чуть плескались.

— Туман!

Я быстро и как попало оделся и в темноте нащупал ручку двери. В коридоре было светло. Какая-то высокая девушка, похожая на мулатку, в желтом японском халате, с черными волосами и черными расширенными глазами, неподвижно стояла у своей каюты. Я быстро прошел мимо и из темной кают-компании выбежал на палубу... Но туман уже редел. Над баком стоял бледный полумесяц, и свежая муть, озаренная им, быстро бежала по небу, по снастям и спардеку. Нежно, солено пахло морем. Я прошел на корму, подошел к решетке борта — и моя огромная тень, широко охваченная радужным ореолом, встала на белесой мгле предо мной. И как раз в это же время задрожала корма, заворочались, взрывая шумные клубы кипени, лопасти винта. Обернувшись, я увидел, что бледный профиль луны стал уже ясен. Очищалось и небо. Ярко засверкали поздние звезды, машина стала дышать ровней и глубже...

Вот и Хаос Гезиода, то первобытное и безликое, из чего возник мир! Сколько богов рождалось на берегах этого моря и сколько их поглотил этот Хаос, подобно титану Кроносу, поглощавшему всех чад своих от Реи! Первый бог, почувствованный человеком, был столь страшен, что человек даже в молитве не дерзал произносить его имен,— как это было в Халдее, в Египте, у племен семитических и даже у греческих — в диких горах и лесах Аркадии, где долго поклонялись только Волчьему Зевсу,

требовавшему жертв человеческих... Человеческих жертв требовало и Солнце, воплощавшееся в капищах по берегам этого моря то в Бэла, то в Молоха, то в Илу-Самаса, то в Иегову — «огнь поедающий»... А Время все поглощало и поглощало его образы. Поглотило оно и Озириса и Зевса... Поглотило и Гора и Аполлона, «детей Солнца»... Затмевает своим дыханьем и лик Иисуса... Но Солнце все же существует!

На Крит мы не заходили.

Проснувшись на рассвете, я увидел волнистый силуэт высокого мыса, голубевшего в утреннем паре. Родина Зевса Олимпийского! Пусть Кронос поглотил-таки его — легенда его детства так трогательна! Рея укрылась от Кроноса в гроте, озаряемом золотым отблеском от хрустально-кобальтовой влаги; пчелы кормили его янтарным медом, коза давала ему свои лиловые сосцы. А когда ребенок плакал, воины били копьями в медные щиты,— и ребенок смолкал, тараща на них светлые глазки, и Кронос ничего не слыхал за веселым трезвоном!

К часу Крит остался уже далеко за нами — пепельной чертой, таявшей на горизонте.

Первый класс был пуст. Белая кают-компания вся была озарена солнцем. Матово блестел мрамор стен, жарко горел рытый пунцовый бархат диванов. В раскрытый люк потолка видно было небо. Мулатка в японском халате канареечного цвета сидела за пианино и одной рукой играла кекуок. В другой она держала большой японский веер и, помахивая им, качала головой, отягченной черными без блеска волосами, на которые был накинут светло-оранжевый газ. И от кекуока было смешно и немножко грустно, от канареечного халата — весело.

После завтрака она лежала под навесом спардека, вытянув гибкое тело в камышовом лонгшезе. Мелкие родинки были рассеяны по ее нежному, желтому, немного скуластому лицу. Большие, широко раскрытые и очень блестящие глаза кофейного цвета внимательно и бессмысленно следили за мной. Вдруг они заискрились,— и я услыхал какую-то путаную французскую фразу, сказанную очень вульгарным голосом. Я подошел с вопросительно подня-

тыми бровями. Она, не вставая, вытянула из моего кармана портсигар, взяла папиросу и кивнула, требуя огня. Я зажег турецкий серник. Она закурила, посмотрела на меня и, очевидно, признав во мне человека совершенно неинтересного, с наивной грубостью махнула рукой. И потом уж не замечала меня.

На припеке возле бугшприта крепко спали молодые крестьяне в фесках, в коротких верблюжьих куртках и верблюжьих анатолийских штанах. Загорелый русский матрос, сидя возле них и щурясь от солнца, красил черной, быстро сохнущей краской сундучок, поставленный между широко раскинутыми босыми ногами.

— Дальний? — спросил я, насмотревшись на его работу.

— Отсюда не видать,— ответил он, не поднимая головы.

Потом с нижней палубы вылез на бак какой-то бритый старик в широкополой соломенной шляпе, в очень широких шароварах. Помолчав и поглядев на юг, он обернулся ко мне.

— Mer! — сказал он и, ласково улыбаясь, кивнул на огромное пространство неба и моря.

— Mer, mer,— ответил я.

Старик тихонько потрепал меня по плечу и сел на горячие якорные цепи.

— Cairo? — прибавил он тем снисходительным тоном, каким говорят с детьми.

— Cairo,— подтвердил я.

И мы опять улыбнулись друг другу, стараясь выразить какое-то милое чувство.

Нежно-сиреневый простор моря, искрясь на солнце, плавно бежал навстречу, с шелковистым шорохом неслись мимо и, блестя, переливались валы густого лилового масла... Я взглянул на острую грудь бака, резавшую живой сапфир среди снежной кипени,— и миф о рождении Афродиты показался мне самым жизненным и самым радостным из всех мифов!

Я ушел в тень, под жаркий навес спардека — на потолке его переливался глянец от воды и солнца — и лег в камышовое кресло. Афродиту сменила гордость, что завтра я увижу Африку, Египет...

— Там бог в своем лучезарном течении покрывает кожу людей мрачным блеском сажи и, иссушая, курчавит их волосы...

«Ах, как хорошо это сказано!» — подумал я, закрывая глаза.— Если бы я был арабским поэтом, я прибавил бы:

— Там земля — золото, воздух — опрокинутое пламя, синее сверху. В золоте и пламени пустыни там растет пальма...

Ветер чуть касался лица и ресниц,— и вот я увидел на песке, в сквозной тени твердого, тонкоствольного и чешуйчатого дерева голубого ослика, седого курчавого старика в кунбазе — легкой, до колен рубахе,— с раскрытой и бурой от загара грудью, молодую женщину в кубовом хитоне, с прелестными, скорбно опущенными глазами, черноглазого Ребенка на ее коленях... Ах, как томно и жарко под пальмой! Как запеклись уста от жажды! «О, если бы я уже давно умерла и все меня позабыли! — шепчут они грустные слова, записанные в святом Коране и сохраненные в благочестивых арабских преданиях.— Вот я сожжена пустыней и солнцем, а Дитя мое и муж мой страждут еще более...» И вдруг с неба звучит ясный голос: «Не печалься! Господь посылает к ногам твоим воду и оплодотворяет для тебя дерево...» И между длинными вайями внезапно появляется чешуйчатая почка. Она лопается, и из нее выходит золотая цветочная кисть финика... Растут плоды, окрашиваются в пурпур, наливаются соком и сладостью... Журчит холодный ключ из-под камня... И я вижу, как изумленно поднялись черные ресницы женщины, как засияли глазки Ребенка и преобразилось лицо старика... как ослик, все время сгонявший ударами задней ноги слепней с брюха, повернул к ключу голову, насторожил длинное ухо — и вдруг восторженно, захлебываясь, зарыдал оглушительным скрипом...

Я заснул тем неожиданным сном, каким засыпал только в ранней молодости, в саду, на скользкой сухой траве, под жаркой и прозрачной тенью яблони. А когда открыл глаза, солнце уж глядело под навес, сине-лиловая вода за решеткой борта стала еще ярче. И лакей в белом пиджаке, проходя мимо, настойчиво звонил к чаю...

Греки сидели после чая на юте и долго пели какие-то жалостно-счастливые песни. Солнце склонялось, необозри-

мый круг воды становился все нежнее и задумчивее. Мулатка, сонно и тоскливо полузакрыв ресницы, подпевала низким грудным голосом. Младший механик сидел напротив, и она, слабо улыбаясь, изредка поводила на него глазами.

— Мутно будет на закате,— сказал мне механик рассеянно.

Я не дообедал, не поверив ему, но солнце и правда потонуло в бледно-сизой мути. В небе было еще светло, но море быстро темнело. Волны, мелькавшие за бортом, становились кубовыми. Вспыхнуло электричество — и сразу отделило пароход от ночи.

ДЕЛЬТА

Стр. 343. После слов «...финиковые пальмы»:

Сзади сладко и торопливо говорили по-гречески,— верно, о хлопке, о рисе... Ведь сюда и доныне текут торговые пути Европы и Азии, Нубии и Аравии, Индостана и Австралии. А когда-то стеклись чуть не все древние религии и цивилизации, которые уже свершили свои пути и, воздвигнув им памятники, искали спасения в космополитизме, готовые возвратиться к первобытному братству и к первобытному безыменному богу. Через пятьдесят лет после основания Александрия стала величайшим портом, через сто — городом, блистающим мраморными театрами, храмами, портиками, библиотеками, Серапеумом — «храмом погребенного Солнца»,— и вот в нем сошлись жрецы, философы, грамматики, софисты, поэты и ученые всех стран, дабы Солнце возродилось...

«Ты — путь, соединяющий небо с землею»,— сказали Нилу гимны. Не таковы ли и все пути в чужие земли? Они рождают неутолимую жажду духа и теряются, как море, в небе. Александр, которого увлекла к пределам земли не только слава, но и молодость, проведенная близ Аристотеля, увлек за собою в море исканий и все древнее человечество. Недаром персидские легенды говорят, что Искандер мечтал найти «воду жизни». И походы его изумили, раздвинули грани земли до сказочного, породили

тысячи сказаний, покрыли тысячи свитков рассказами о неведомых прежде богах и странах... Заложив город и гавань в Дельте, в Месопотамии Египта, он как бы снова созвал человечество на равнину Сенаарскую — к построению новой Вавилонской башни. Пусть снова смешаются языки! Даже одна попытка достигнуть неба перерождает мир!

Так была пустынна песчаная отмель Мареотиса, что не сыскали куска мела, чтобы начертать план города: пришлось чертить мукой. Но Герострат недаром сжег последнее из величайших капищ в ночь рождения Александра. Человек, стерший грани почти всех царств земли, совершивший жертвы во всех ее капищах, но поклонявшийся, может быть, только неведомому богу Сократа и Платона, родился для того, чтоб, соединив царства востока и запада, построить первый международный город и заложить первые основания какого-то нового храма, взамен опустевших храмов Греции, Иудеи и Египта. И на его город выпала беспримерная в истории роль — стать центром всех религий и всех знаний древности, стать предшественником Назарета... а потом и «великим полем битвы за имя Христово»,— полем печальным, впрочем... Разве есть место, которого не могли бы осквернить жрецы и схоласты? <...>

На набережной — чалмы, шляпы, обычные портовые здания. Набережная медленно близится, спардек завален чемоданами, сундуками... Вереницей бегут по горячей палубе матросы, таща на корму тяжелый канат. Отступая, оборачиваюсь и вижу мулатку. Она в белых ботинках, в легком ярко-розовом платье с прошивками на груди, в большой розовой шляпке и под розовым зонтом с кружевами. На пальцах — перстни, в ушах — большие золотые кольца. Глаза изумленно блестят, на пухлые губы и большие ноздри падает от зонтика теплый розовый отблеск. Она жадно высматривает кого-то в толпе на набережной, куда вдруг змеей летит «конец» с нашей кормы...

Стр. 347. После слов «...положивши ладони на колени...»:

Солнце безжалостно на пути к Мемфису. Пламенный бог родит лишь пески, если рядом с ним не царит его

«вторая жизнь» — бог-море. Море создало Грецию. Нил, уведший за собой обитателей Дельты в пустыни, создал светозарный и строгий Египет. Гор не только зверь. Он то человек с головою ястреба, то лев с головой человека. Но он древнее пирамид. Он зачат, может быть, еще в Дельте. Он был символом человеческой мудрости и львиной мощи. Утвердившись же в Мемфисе, стиснутый пустыней, Египет замкнулся от мира. Возвеличенный и изнуренный войнами, нищетою и рабством, он стал созидать культ смерти...

Ах, как строг и красив был этот культ! Таинственными драгоценными бальзамами и травами охранялось священное человеческое тело от тленья. Эмблемы Пта-Ра, бога-производителя,— золотые скарабеи с лазурными крыльями и золотые крестики, символ воскресения,— вешали на тело мумий. Книга Мертвых — дивные гимны к Озирису-Радости, Солнцу, Добру и Судье за гробом — полагалась на груди их. Золотым лаком покрывали сикоморовые гробы-футляры и с изумительным искусством писали на футлярах киноварью диск крылатого солнца. И все это скрывалось в тяжких саркофагах из гранита или базальта, заключенных в недра пирамид... Но душа величайшей из всех древних религий, вера, породившая столь мудрый и красивый ритуал,— где была она в Египте, ограблявшем с голоду даже гробницы и храмы? Она лишь слабо тлела в памяти этого «бронзового, худого и молчаливого народа». Жизнь его текла во тьме и рабстве, стала подобна «палке, изъеденной червями»... А был ли на земле народ более славный? В темные и жестокие времена варварства он первый восстал среди народов в беспримерной цельности и законченности своего облика — и на первобытной земле, каждая пядь которой оплачивалась кровью, сумел сохранить этот облик пять тысячелетий. Он не знал себе равных ни в труде, ни в созидании памятников, ни в знаниях, ни в морали, ни в отваге, уживавшейся рядом с изумительной для его времени кротостью. Он был наставником всего древнего мира: это на основах его культуры, его религии выросли Ассирия, Финикия, Иудея, Греция — и христианство. За четыре тысячелетия до Греции он создал беспримерное по силе резца ваяние, создал беспримерную по тонкости, чистоте, яркости и простоте

живопись; создал поэзию гимнов, беспримерную по вдохновению; создал религию — беспримерную уже по одному тому, что она одна не потребовала человеческих жертвоприношений!

Он никогда не знал судр и париев. Никогда не знал рабства женщин. Он всегда был человечен, опрятен, мягок в обращении, благоговейно чтил жизнь во всех ее проявлениях; об этом свидетельствует прежде всего обоготворение животных — обоготворение земных проявлений божественной творческой силы. Он не раз властвовал над всем Востоком, но даже и в эти дни никогда не уподоблялся в свирепости другим народам, обивавшим городские стены кожей пленных.

«Добро ярче изумруда в черной руке невольника»,— начертал он на папирусе,— и добро стало краеугольным камнем и веры его, и всех житейских установлений.

Вера была величественна и грандиозна, как величественны и грандиозны все труды и все искусство Египта. Первобытная, космическая широта мысли сочеталась в Египте с величайшей изощренностью и тонкостью. Вера Египта в основе своей, в первоисточниках признала единого бога и множество светозарных форм его. Она была, по чудесному выражению Шамполиона, пантеистическим единобожием. «Я — все, что было, что есть и будет. Солнце — рождение мое, и никто из смертных не поднимет покрывала моего». Так сказала праматерь вселенной, Ну,— неведомая, незримая, вечно и всюду чувствуемая, но непознаваемая, всесовершенная и всепроникающая, сама в себе и сама собой зародившаяся, Альфа и Омега космоса. Она сказала: все солнечные боги — чада мои, благие и светлые посредники меж вселенной и Ну, победители тьмы и зла, образы заката и восхода, смены форм и бессмертия основ. Все в творце и во всем — творец. Свет его всепроникающего и бессмертного духа незакатно светит во тьме зла и смерти. Озирис — один из его солнечных ликов — как Христос, погиб в борьбе со злом и воскрес в образе Гора. И, как возрождается семя, брошенное в землю, так возрождается и дух всего сущего вслед за видимой смертью. Оставив тело человека, дух восходит на суд Озириса — и дивными словами Книги Мертвых свидетельствует чистоту и добро своего земного существова-

ния. И, очищенный судом и покаянием, окропленный «Водою Жизни», вновь возвращается к телу, к более совершенной жизни: потому-то и должна быть священна и сохранна мумия. А свершив круг смертей и воскресений, дух уже навеки соединяется с отцом и судией в «Полях Солнца». Радость бытия, где смерть лишь ступень к совершенству, радость сыновней близости к отцу и братской близости ко всему живому, участие в красоте и гармонии светозарного космоса — вот что было основой египетского пантеизма, столь близкого к пантеизму христианства. Но, придя в Мемфис и воздвигнув пирамиды, Египет точно схоронил под ними свою веру. Замкнутый, мистически строгий, он становился все мрачнее и мрачнее. Он уже вступил в те великие битвы народов, что затянулись на тысячелетия и, затопив землю кровью, породили грозные и страшные глаголы еврейских пророков. «И предал его господь в руки властелина жестокого. И стали сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством. И оскудели реки и каналы египетские. И дух Египта изнемог в нем... И прибег он к идолам и чародеям и к вызывающим мертвых...»

(Полное собр. соч., т. 4.)

ПРИМЕЧАНИЯ

В этом томе помещены произведения Бунина, которые он написал в 1907—1911 годах, в пору своей творческой зрелости.

Сложный период в истории России — переход от эпохи реакции к новому революционному подъему накануне первой мировой войны своеобразно и противоречиво отразился в произведениях Бунина. Большевистская газета «Правда», говоря о «возрождении реализма в русской литературе» в начале 10-х годов, среди имен тех виднейших писателей, которые содействовали этому процессу, рядом с именами Горького и Алексея Толстого назвала и имя Бунина[1]. Бунин сам чувствовал, что в его творчестве наступил новый этап. Он резко говорил о критиках, которые не замечали этого. «Критики уже много раз укладывали меня на определенную полочку,— иронизировал Бунин в 1913 году,— и все приходилось им перекладывать меня»[2]. «Лирика увядания...» «Грусть запустения...» — Все тот же «Листопад»,— с раздражением говорил Бунин,— старое определение, которым, конечно, легче пользоваться, чем отыскивать новые»[3].

Десятые годы в творчестве Бунина — это период наибольшей близости его к Горькому. Бунин часто бывает у Горького на Капри. Они вступают в оживленную переписку. Между ними возникают творческие контакты. Горький советует Бунину

---

[1] «Путь правды», М. 1914, № 5, 26 января.

[2] Письмо опубликовано в статье И. С. Газер в сб. «Проблемы реализма и художественной правды», вып. 1, изд. Львовского университета, 1961, стр. 173.

[3] «Одесский листок», 1910, № 58, 12 марта.

писать о деревне. В свою очередь, Бунин, выслушав устный рассказ Горького, наталкивает его на мысль написать «Рождение человека».

Чтобы почувствовать ту духовную атмосферу, в которую попадает Бунин в эти годы, следует помнить, что Горький в 1907 году — участник V Съезда партии, он встречается с Лениным, часто пишет ему и получает ответные письма, советуется и спорит с ним по важнейшим философским и творческим вопросам, сотрудничает в большевистских изданиях. Именно в это время Горький публикует новые художественные произведения: вторую редакцию повести «Мать», пьесы «Последние», «Чудаки», «Васса Железнова», повести «Жизнь ненужного человека», «Исповедь», «Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», циклы новелл «Сказки об Италии», «Русские сказки», «По Руси». Горький выступает и как публицист: выходят в свет его работы «Разрушение личности», «О писателях-самоучках», «О цинизме», «Издалека». Писатель читает лекции по истории русской литературы слушателям Каприйской школы. В ряде вопросов Горький ошибается, делая уступки русским махистам. Ленин дружески помогает ему преодолевать заблуждения.

Встречаясь с Горьким и его друзьями, Бунин попадает в атмосферу больших идейных споров о путях дальнейшего развития России, о роли народа и интеллигенции в освободительном движении, о судьбах искусства.

Широко известны слова признательности, с которыми в те годы Бунин обратился к Горькому: «Если напишу я после «Деревни» еще что-нибудь путное, то буду я обязан этим Вам, Алексей Максимович. Вы и представить себе не можете, до чего ценны для меня Ваши слова, какой живой водой брызнули Вы на меня!» [1]

Горький очень высоко ценит творчество Бунина этого периода. «Знаете,— пишет он Качалову в 1912 году,— он так стал писать прозу, что если скажут о нем: это лучший стилист современности — здесь не будет преувеличения» [2].

Эти факты могут создать иллюзию об идиллических отношениях между Горьким и Буниным в 10-х годах нашего века. Однако такой вывод упрощал бы сложность этих отношений.

---

[1] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 56.

[2] А. М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 29, М. 1955, стр. 228.

Восторженный отзыв Горького был вызван прежде всего тем, что в тот сложный период, когда декаданс в литературе захватил очень многих писателей, Бунин-реалист оставался верен себе и весьма иронически относился к модернистским опытам. Горький всегда старался поддержать в Бунине веру в возможность дальнейшего развития реализма. Хотя следует заметить, что восторженное отношение Горького к Бунину диктовалось в известной мере и тем обстоятельством, что в те годы Горький сам ошибался в решении некоторых важнейших философских и политических проблем, в частности в оценке русского крестьянства. И потому, быть может, Горькому импонировала известная односторонность Бунина в изображении деревни, односторонность, которую сразу по выходе в свет «Деревни» отметил Воровский в своей известной статье о Бунине [1].

Но при всем том Горькому, крупнейшему пролетарскому писателю, основоположнику социалистического реализма, не могли не бросаться в глаза некоторые дворянские пристрастия Бунина, сужающие его социальный кругозор. Горький не только хвалил Бунина, но видел и отмечал недостатки его творчества. Как бы далеко ни разошлись позже пути Горького и Бунина, рассказы и повести Бунина, особенно те, которые помещены в этом томе, Горький всегда высоко ценил и ставил в один ряд с классическими произведениями мировой литературы. Во всех случаях, когда вставал вопрос об издании дореволюционной литературы, Горький неизменно советовал переиздавать произведения Бунина о деревне, подчеркивая их познавательное, воспитательное и эстетическое значение. «Нужно бы издать «Деревню» Бунина,— писал, например, Горький Халатову в 1931 году,— ничего, что он — барин, белогвардеец, дореволюционную деревню он изобразил жестоко правильно» [2].

Широко известно высказывание Горького и о том, что до Бунина никто так *исторически* деревню не изображал, что повесть его заставляет думать о России как о целом, мыслить обо всей стране, мыслить исторически. Эта мысль Горького полностью совпадает с мироощущением Бунина в период его работы над «Деревней». Сообщая Горькому о том, что он по

---

[1] См. журнал «Мысль», М. 1911, № 4, март.
[2] «М. Горький и советская печать», кн. 1, М. 1964, стр. 237.

его совету вернулся к повести о деревне, Бунин восклицал: «Ах, эта самая Русь и ее история!»[1].

Пафос историзма пронизывает не только повесть о деревне, но и другие произведения Бунина, определяя их художественную структуру, например путевые поэмы, которые объединены общим названием «Тень птицы». В этих произведениях Бунин рассказывает о своем путешествии в Турцию, Грецию, Палестину, Египет и другие страны. Но это не просто странствие по разным землям. Это — путешествие в глубь веков. Путешествие не только в пространстве, но и во времени. «Всякий дальний путь,— пишет Бунин,— таинство: он приобщает душу бесконечности времени и пространства». Здесь два измерения: география соединяется с историей. Картины современной жизни той или иной страны соединяются в сознании Бунина с картинами давно прошедших дней, поэтому Бунин все время не только рисует то, что он видит, но и то, что было, что запечатлено в мифологии, в преданиях, на страницах истории. Писатель постоянно чувствует живую связь времен. «И вот,— восклицает Бунин,— я опять ее чувствую, эту связь со всем миром, с богами всех стран и с людьми, стократ истлевшими». Путешествуя по Египту, рассматривая памятники тысячелетней давности, он замечает: «Но исчезают века, тысячелетия,— и братски соединяется моя рука с сизой сухой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни». В одном из интервью 1913 года Бунин говорил о том, что он завидует легендарному Агасферу и не понимает, почему этого бессмертного странника люди считают несчастным. «Ведь он все видел, все знает и будет знать,— говорил Бунин.— ...Жаль, очень жаль, что нельзя с ним поменяться, я с огромным удовольствием бы сделал это». Бунин сетует на то, что человеку приходится умирать. «Я бы согласился жить бесконечное количество лет, и если бы нашелся человек, который гарантировал мне жизнь в течение десятков тысяч лет, я, не задумываясь, заключил бы с ним контракт на каких угодно условиях»[2]. Бунин хочет видеть и прошлое и будущее, хочет быть бессмертным, как бессмертно человечество.

Жгучий интерес к первородным проблемам человеческого бытия способствует тому, что в его рассказах и повестях 10-х

---

[1] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 44.

[2] «Беседа с И. А. Буниным».— Газ. «Вечерние известия», М. 1913, № 172, 4 мая.

годов с особой остротой ощущается движение времени. «Все переворотилось и только укладывается» — эта замечательно емкая мысль Л. Н. Толстого была использована В. И. Лениным для характеристики целой эпохи послереформенного развития России. Что́ переворотилось и ка́к укладывается — вот вопрос, который мучает и Бунина.

Этот процесс и отражен им в ряде произведений. Если в некоторых ранних его рассказах и повестях была разлита «хрустальная тишина», о чем так часто говорили критики, то произведения 10-х годов исполнены беспокойства, напряжения, ощущения неустроенности, скрытых и явных конфликтов. И прежде всего интересует писателя то, что происходит в деревне, в среде помещиков и крестьян, потому что для Бунина Россия — это прежде всего деревня. За каждой отдельной человеческой судьбой, поведанной Буниным, читатель улавливает общие приметы происходящих в русской действительности изменений.

В центре повести «Суходол» судьба Натальи. Фабула произведения очень проста: крепостная девчурка Наталья полюбила барина, украла у него зеркальце, была жестоко наказана за это — сослана на дальний хутор, через два года вернулась и стала безропотно служить господам. Но даже такой несложный сюжет получает почти эпический размах, ибо, будучи переплетен с историей господ Хрущевых, превращается в своего рода художественное исследование жизни столбовых дворян накануне так называемого освобождения крестьян и после реформы. «Суходол» Бунина,— писал Горький,— книга, не оцененная по достоинству. Это одна из самых жутких русских книг, есть в ней нечто от заупокойной литургии... В «Суходоле» Бунин, как молодой поп, с подорванной верою в бога, отслужил панихиду по умершему сословию своему» [1].

Хронологически события, описанные в «Суходоле», предшествуют тому, что рассказано в «Деревне», ибо в первой повести речь идет о дворянах и крестьянах, в основном, до реформы, во второй — о пореформенных деревенских богатеях и крестьянах.

В «Деревне» — опять история, но уже не дворян, а деревенских богатеев — братьев Красовых. С краткой истории их рода и начинается повествование. Прадеда Красовых затравил собаками помещик Дурново. Дед стал вором. Отец — мелким торгов-

---

[1] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 92.

цем. А уже Тихон Красов купил имение того, кто затравил собаками его прадеда.

Братья Красовы все время в разъездах. Это дает им возможность много видеть. В их представлении сопрягаются два времени — прошлое и настоящее, взаимоосвещая друг друга.

Где-то в отдалении происходят большие события: русско-японская война, революция 1905 года. Но вот большая история врывается в обыденную жизнь. Крестьяне говорят уже не только о семейных неурядицах, о достатках и недороде, а начинают рассуждать о сходках. Тихон с ужасом вспоминает картину крестьянского восстания. Кругозор Кузьмы гораздо шире кругозора Тихона. Он с болью переживает роспуск Государственной думы. Началась эпоха реакции: казни, расстрелы, военщина подняла голову, закрыли даже местную газету. Кузьма приходит в отчаяние: «события были столь жестоки, что человеческой восприимчивости не хватало». Тревога Кузьмы Красова была близка Бунину. «Мы с такой быстротой европеизируемся, демократизируемся, порождаем буржуазию, пролетариат, выходим на улицу, начинаем жить сложной пестрой жизнью»,— писал он о своей эпохе.

Бунин, как и всякий настоящий художник, не только рисует людей, предметы, события, но и дает им свою, бунинскую эстетическую оценку.

Читатель всегда получает от его произведений как бы двойную информацию — о том, *что* он рисует, и о том, *как* он относится к тому, что рисует. Голос повествователя отчетливо звучит в каждом рассказе, каждой повести писателя. Иногда Бунин передоверяет свои мысли какому-либо персонажу. «Господи боже, что за край! Чернозем на полтора аршина, да какой! А пяти лет не проходит без голода» — эти слова Тихона Красова, конечно, близки раздумьям автора. Голос Бунина слышится и в спорах Кузьмы с Балашкиным о судьбах русских писателей, о типах русского народа (см. вторую главу «Деревни»). Кто из них наиболее «признан»: Платон Каратаев или Лукашка? А почему не Разуваев с Колупаевым? Каждое имя звучит как емкий символ определенной типологии, определенной системы социального поведения. Однако, как правило, вездесущий автор находится рядом со своими героями (зорко подмечая, например в рассказе «Веселый двор», вопиющее несоответствие между красотой и обилием природы и бесприютностью голодной Анисьи).

В произведениях Бунина голос автора чаще всего сливается с голосом повествователя, но иногда голос повествователя как бы отделяется и выступает на первый план. Кто ведет повествование — автор или условный рассказчик (он может быть близок автору, но не идентичен ему), зависит у Бунина, в частности, от жанра произведения. Так, например, цикл «Тень птицы» Бунин назвал «путевыми поэмами». Этим жанровым определением писатель подчеркнул, что это не обычные заметки путешественника, а произведение искусства, что автор сознательно взял установку на определенную художественную форму. В этом цикле образ повествователя выявлен особенно ясно.

Рассказчик не стремится удивить читателя диковинными экзотическими картинами. Перед нами не просто равнодушный созерцатель неведомых стран. Это человек глубоко размышляющий, все время сравнивающий то, что он знает из истории и мифологии, с тем, что он видит. В одной из поэм Бунин писал: «Есть древние пергаменты, называемые палимпсестами,— хартии, письмена которых полустерты или покрыты чем-либо, чтобы на месте их можно начертать новые». Повествователь смотрит на мир, как на такой палимпсест: он хочет прорваться к правде древнего мира через все, что века наслоили на памятники культуры, к каким-то первоначальным ценностям, которые определяли бы устои человечества и помогли разобраться в кричащих противоречиях современной жизни. Поэтому Бунин так много уделяет внимания Египту и Иудейской земле, тем местам, которые издавна считались колыбелью человечества.

Это сопоставление прошлого и настоящего обычно рождает у автора чувство печали: величественное прошлое заслоняется суетливо-ничтожным настоящим. Бунин даже хотел первоначально назвать свою поэму «Поля Мертвых» — так называются погосты в Константинополе. Поэтому, в частности, он намеренно подчеркивает контрасты: с древним Акрополем его знакомит загорелый старичок в «кепи», молоденькая феллашка несет на голове не библейский кувшин, а большую жестянку из-под керосина, бедуины подсаживают на верблюда толстую европейскую женщину и т. д.

Весь рассказ ведется в несколько возвышенном, патетическом стиле, ибо, как уже было сказано, повествователь совершает путешествие не только в дальние страны, но и в глубь истории человечества, иногда как бы становясь современником

давно минувших событий. Поэтому, например, стихи Саади так органически входят в текст повествования. Бунин выделяет курсивом замечательные строки: «Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы оставить по себе чекан души своей и обозреть красоту мира!» С этими строками перекликаются слова автора, обращенные к «братьям дервишам» — мусульманским монахам: «Будем служить людям земли и богу вселенной,— богу, которого я называю Красотою, Разумом, Любовью, Жизнью и который проникает все сущее». Эти выделенные большими буквами слова говорят о гуманистическом направлении мыслей повествователя, о том отвлеченном гуманизме, который был характерен для многих писателей критического реализма и противостоял декадентским проклятиям в адрес Разума, мистическому воспеванию Смерти. Такая гуманистическая позиция позволила Бунину с сочувствием отнестись к порабощенным тогда народам Африки, сказать в их адрес слова, полные уважения,— так непохожие на то, что говорили в те годы европейские колонизаторы. И в то же время, несколько вызывающе желая подчеркнуть свою мнимую «независимость», повествователь называет себя гражданином вселенной, который якобы не понимает, что такое любовь к родине. И тут же пишет: «Если русская революция волнует меня все-таки более, чем персидская,— я могу только сожалеть об этом».

Именно русская революция, судьба России, все-таки больше всего волновала Ивана Бунина — о чем и свидетельствует большинство его произведений.

Каждый рассказ, каждая повесть — это мучительное раздумье. Никуда не мог уйти русский писатель Иван Бунин от волнующих весь народ вопросов. И вместе с Кузьмой, испуганный результатами своего художественного исследования жизни, повторяет писатель вещие слова Гоголя: «Русь, Русь! Куда мчишься ты?» Ответить на этот вопрос Бунин не смог. В повести «Деревня» слышатся пессимистические нотки. «Историю почитаешь — волосы дыбом станут: брат на брата, сват на свата, сын на отца, вероломство да убийство, убийство да вероломство...» — вновь в словах Кузьмы чувствуются мысли самого Бунина.

С годами в творчестве Бунина изменяется соотношение эпических и лирических начал, изменяется построение сюжета. В раннем творчестве Бунина сюжет движется преимущественно

не событиями, а авторским восприятием событий, события подчинены лирическому субъекту-повествователю, хотя каждое из них может иметь и самостоятельное значение. Повествователь как бы заполняет собой весь сюжет. В зрелом творчестве Бунина на первый план выдвигается эпическое начало. Оно не вытесняет до конца начала лирического, но подчиняет его себе.

Это иное соотношение эпического и лирического начал влияет на произведение в целом, начиная с авторского подхода к предмету изображения и кончая образами действующих лиц. Достаточно сопоставить, например, рассказ «Антоновские яблоки» (1900) — элегическую «поэму запустения» об уходящей дворянской жизни — с повестью «Суходол» (1911). Для молодых барчуков «Суходол», как недавно и для самого Бунина, это только поэтический памятник прошлого. Но это представление ложно. Оно рассеивается рассказами Натальи,— и все страшнее предстает перед читателем история Суходола, звучащая жестоким приговором дворянству.

В одном из интервью Бунин говорил: «Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры. Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще. ...После произведений Толстого и Тургенева существует пробел в художественной литературе о дворянах» [1]. Этот пробел и восполняет Бунин. Современные Бунину критики отмечали его новаторство в изображении дворянства. «Приходит писатель-дворянин...— писал Р. Григорьев,— и говорит, что усадьбы Лариных — мифы, что вместо ароматных лип и свежих роз был тяжелый, мрачный Суходол, такой страшный, безумный, с кровавыми преданиями, жестокостью и нелепостью» [2]. Таким образом, неправы были критики, утверждавшие, что Бунин в мрачных красках изображал жизнь только крестьян. Писатель не пощадил и свой класс. «По-новому жить предстояло... господам, а они и по-старому-то не умели» — вот вывод Бунина. Зато деревенские богатеи, сменившие дворян, живут по «новому» закону капиталистического века. Дурновка — в руках Тихона Красова. Когда-то Тихон торговал, затем стал хозяином постоялого двора и кабака, купил

---

[1] «У академика И. А. Бунина».— Газ. «Московская весть», 1911, № 3, 12 сентября.

[2] Р. Григорьев, И. А. Бунин. «Суходол» и другие рассказы.— Журн. «Современник», СПб. 1913, № 3, март.

барскую усадьбу. Счастлив ли он? Все его заботы — дать скотине корм и заставить работать людей. Грязь. Бескультурье. Тоска. Ощущение бессмысленно прожитых лет в обществе, где все люди — враги друг другу. И нет будущего, нет и детей, для которых было бы радостно работать.

Бунин показывает, как победно и нагло шествует по стране капитал. В рассказе «Сила» говорится о разбогатевшем через преступление мещанине Буравчике и могучем работнике Александре. И вот работник должен признать, что Буравчик, старенький, лысый человек ростом с мальчика, сильнее его, так как ворочает тысячами. В рассказе «Хорошая жизнь» поставлена горьковская проблема: *жить лучше* — не значит *быть лучше*. У героини рассказа Настасьи Семеновны, бывшей горничной, затем владелицы дома и кабака, своя модель «хорошей жизни». Хорошо жить — это значит быть богатым. И с бесстыдством человека, уверенного в том, что он знает цель жизни, она идет к этой цели, принося горе людям. Гибнет сын хозяина, гибнет ее собственный сын...

Целая галерея капиталистических хищников, обрисованных Буниным, встает перед читателем: Тихон Красов, Буравчик, Настасья Семеновна. Женские образы хищниц, созданные Буниным, продолжают в новых условиях разоблачать тип, созданный Чеховым в его Аксинье. Как известно, Горький любил рисовать образы «блудных детей» господствующих классов, старающихся выломиться из узких рамок своего сословия, стоящих «боком к своему классу». Бунин не создавал образы таких бунтарей, но и его привлекали необычные люди, которые приобретали социальную зоркость в результате отталкивания от своей среды. Таков Кузьма Красов из бунинской «Деревни». Он пытался пойти своим путем. Искал «правду». Пробовал учиться, писать, встречался с умными людьми. Однако он почувствовал, как жизнь его делала жестоким, как базар диктовал ему свои вкусы. Затем — пьянство, болезнь, безнадежное одиночество, равнодушие окружающих. «Запомни,— говорит он брату,— наша с тобой песня спета... Слышишь? — Мы — дурновцы». Отщепенец Кузьма видел больше, чем его брат, но он пришел к тем же безнадежным выводам. По свидетельству В. Н. Муромцевой-Буниной, Бунин предполагал написать продолжение «Деревни»: Тихон умирает, а Кузьма переезжает в Москву, где попадает в кружок самоучек, а затем в художественный кружок.

М. Горький высоко ценил этот образ. «Кузьма — впервые является в литературе нашей так резко очерченным и «с подлинным верно»,— писал Горький,— до того верно, что я уверен, умный историк литературы будет опираться на Кузьму, как на *тип*, впервые данный столь определенно»[1]. Так и случилось. Уже в 1910 году критик Геккер писал, что Кузьма — заурядный выходец из народа — борется за право по-своему смотреть на мир. «Кузьма — это философ, самородок и самоучка, каких много на Руси, но имеющий ту особую ценность, что в нем отразились все движения нашей эпохи... через его голову мы также можем посмотреть и увидеть, что делается в массах, какие перемены в них происходят»[2].

Вопрос об отношении Бунина к народу очень сложен. В своей автобиографической заметке писатель рассказывает, что в детстве его жизнь была связана с полем, с мужицкими избами, что он часто бывал у бывших крепостных и однодворцев, вместе с крестьянскими детишками пас в поле скотину. Позднее, отвечая критикам, обвинявшим его в клевете на «русского мужика», Бунин гневно писал, что знает деревню и русского крестьянина не из книг, а из самой жизни.

Бунин знал Россию, но не всегда правильно разбирался в особенностях исторического процесса. Он скептичен и недоверчив. Порой он барски снисходителен. Подчас ему искренне кажется, что он — объективный, бесстрастный наблюдатель, стоящий над событиями.

Бунин сочинил наивную историческую концепцию. Между барином и мужиком нет существенных различий. Были богатые мужики, они когда-то стали дворянами. Были бедные — стали крестьянами. Кровь господ и мужиков давно перемешалась в дворянских усадьбах и деревнях. Эта концепция особенно ярко развернута в «Суходоле». Дворяне, по Бунину, не должны противопоставлять себя мужикам, как высшие существа низшим. Однако эта надуманная историческая схема изнутри взрывается самими бунинскими произведениями. Честный художник-реалист показывает, как ненавидели и ненавидят большинство мужиков господ помещиков. Какое уж там единение!

Уже в глубокой старости Бунин признавался, сколь большое место в его творчестве занимала тема русской деревни,

---

[1] «Горьковские чтения», М. 1961, стр. 50.
[2] Газ. «Одесские новости», 1910, № 8238, 13 октября.

проблема русского «мужика». «Популярность моя началась с того времени, когда я напечатал свою «Деревню». Это было начало целого ряда моих произведений, резко рисовавших русскую душу, ее *светлые и темные, часто трагические* основы»[1] (подчеркнуто мной.— *А. М.*). Когда читаешь некоторые произведения Бунина 10-х годов, то создается впечатление, что в трактовке отдельных образов писатель идет по стопам Достоевского, который склонен был рассматривать исторический процесс, как извечную борьбу добра со злом, как единство и непримиримую противоположность идеала Мадонны и идеала Содомского. И в произведениях Бунина даны образы смиренницы Натальи и убийцы Герваськи (чем-то напоминающего Смердякова), жалкой и поэтической Анисьи и ее бесшабашного сына Егора и др. Подытоживая свои наблюдения над «господами» и «мужиками», Бунин совсем в духе Достоевского писал: «У господ было в характере то же, что у холопов: или властвовать, или бояться».

Настоящих передовых людей дореволюционной деревни Бунин, к сожалению, не знал. В недавнем прошлом некоторые критики пытались доказать, что в образе Дениски писатель будто бы обобщил свое понимание типа крестьянского революционера, создав на него злую карикатуру. Но это явная неточность. Дениска не занимает в структуре произведения такого заметного места, как думали эти критики. Для Бунина это всего-навсего избалованный и наглый отщепенец, к которому он относится с открытым презрением.

Но как бы ни ошибался Бунин в трактовке важнейших вопросов истории, он не обнаружил положительных героев ни среди дворян, ни среди новых богатеев. Привлекательных людей он находил только среди крестьян. Трогательна и трагична Молодая из повести «Деревня». Уже современная Бунину критика высоко оценила этот образ: «Когда вы читаете описание свадьбы Молодой, бывшей любовницы Тихона, которую он снабдил приданым и выдает замуж за Дениску, вы неожиданно открываете за черным *светлое* в этой книге. Эта измученная, опозоренная женщина, целомудренная и бесстыдная, жаждущая любить и отравившая мужа, встает перед вами в день свадьбы в какой-то древнерусской красоте. Только на миг приоткры-

---

[1] Ив. Бунин, Весной, в Иудее. Роза Иерихона, Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1953, стр. 8.

вается ожесточенная душа, и вы видите необыкновенную глубину переживаний»[1].

Крестьянке Наталье, чье смирение и кротость он поэтизирует, поручает автор рассказать подлинную историю Суходола, только ей доверяет он: она не солжет! А какой сильный характер вылеплен Буниным в рассказе «Сверчок». В туманную морозную ночь слабый и немолодой Сверчок несет на себе замерзшего приемного сына, ожидая, что юноша, может быть, очнется от своего непробудного сна. С каким сочувствием к матери и ее горю рассказывает Бунин историю Анисьи из рассказа «Веселый двор». Голодная женщина идет к сыну через цветущие поля. Ее сознание мутится от голода и усталости. Бунин дает великолепный психологический анализ ее состояния, приближаясь к тому методу изображения духовной жизни героя, который назван «потоком сознания». И в каждой бунинской строке — осуждение тех дворян и богатеев, которые презрительно относятся к народу, не понимают его.

Бунин не мог не заметить, какие изменения происходят в народе в эпоху первой русской революции. Сам он осуждал революцию, но как правдивый реалист не мог не запечатлеть некоторых ее существенных черт. Другими становились крестьяне. Не читая газет, они знали о всех важнейших событиях, происходящих в стране. В городе, замечает Кузьма, раньше по лавкам и трактирам зевали, а теперь толкуют о Думе, о бунтах, о спорах между министрами. «Народ переживает что-то новое,— обобщает свои впечатления Кузьма,— что-то празднует, но верит ли в свой праздник?»

Вздыбленная, взвихренная Русь встает со страниц произведений Бунина. Рядом с главными героями появляются эпизодические образы мужиков, мещан, учителя, скопца, нищего и многих других. Они произносят всего две-три реплики и навсегда исчезают из произведения. В ряде сцен повести «Деревня» создается то многоголосие, которое так любил Горький. Повествование о революционной России приобретает эпические черты.

В критике не раз поднимался вопрос о соотношении темных и светлых черт в характерах героев Бунина. Да, Бунин беспощаден к тому, что Маркс так удачно назвал «идиотизмом

---

[1] В. Львов-Рогачевский, Снова накануне, М. 1913, стр. 25.

деревенской жизни». В его произведениях много мрачных картин. Немая кухарка Тихона «заспала» ребенка. Девочка играет в любимую игру — похороны куклы. Один из крестьян городит забор из костей погибшего жеребенка. Аким уступил какому-то подлецу на ночь свою жену за пятнадцать копеек. Заболевшему старику купили гроб. Он неожиданно поправился, и его до самой смерти упрекали за то, что ввел семью в расходы. Стряпуха берегла платок, носила его наизнанку, пока он не пришел в ветхость. Красавица Молодая вынуждена выйти замуж за негодяя Дениску. Крестьяне во время восстания содрали шкуру с живого барского быка и пустили его на барский двор. Барские зеркала побросали в пруд. Фортепьяно затащили в рожь и хлопали дубиной по клавишам. Число подобных примеров можно было бы еще увеличить.

Некоторые критики, напоминая о подобных сценах из произведений Бунина, делали вывод: мировоззрение писателя глубоко консервативно, он по-барски ненавидит народ. В последнее десятилетие в оценке творчества Бунина появилась прямо противоположная тенденция. Все, что писал Бунин дурного о народе, замалчивалось. Бунин оказывался убежденным демократом.

Оба взгляда упрощали сложный характер бунинского творчества. Многого Бунин не понимал, подлинно революционная деревня осталась вне его творческого внимания, об этом справедливо писал Воровский. Однако в изображении деревни он не шел по стопам народников, идеализирующих устои крестьянского быта. Для Бунина, в отличие от позднего Толстого, жизнь патриархальной деревни не была той нормой идеальных человеческих отношений, с которой каждый человек должен был соотносить свои чувства, мысли, поведение. Бунин пошел и дальше Чехова — в изображении идиотизма жизни мелких и крупных собственников. Он более суров и непримирим к ним.

Еще дореволюционная критика высоко оценивала талант Бунина, считая его выдающимся мастером художественной прозы.

Понятие мастерства писателя нельзя сводить к перечислению художественных приемов, как это часто делают формалисты. Мастерство,— справедливо говорил К. А. Федин,— это прежде всего умение говорить правду. Бунину удалось в зрелых произведениях раскрыть такие стороны жизни своих совре-

менников, которые не были показаны ни одним из писателей той поры. Он сделал художественные открытия, он обладал ярко выраженным индивидуальным голосом.

Следуя лучшим традициям классического реализма, Бунин сумел создать великолепные пластические картины жизни. Этой осязаемой реальности своих изображений он добивался различными способами. Если, например, внимательно вчитаться в «путевые поэмы» — «Тень птицы», то легко заметить одну особенность. Поскольку автор-повествователь все время находится в движении (плывет на пароходе, едет на поезде и пр.), то таким образом, условно говоря, точка его наблюдений постоянно меняет свое место. Но не только в смысле «пространственном». Рассказчик как бы наслаивает одно представление на другое, сравнивает их, сопоставляет то, что он видит, с тем, что он уже знал раньше об этом. Происходит соотнесение образа, возникающего в сознании, с образом, реально существующим. Так создается многомерный, сложный, многогранный образ, требующий от читателя встречной работы воображения и мысли. В повести «Суходол» многомерный образ создается иначе: нередко возникает как бы трехслойный образ. Сначала о событиях рассказывает сам автор, затем — более развернуто — об этом же повествует Наталья, и, наконец, это же самое мы видим через восприятие молодого барчука.

Бунин большой мастер портретной характеристики. Писатель избегает статичной характеристики своих персонажей, простого перечисления портретных примет. Герои Бунина почти всегда даны в действиях, в движениях. Вот, например, как в ранней редакции очерка «Свет Зодиака» показаны бедуины: «Но вот по людным широким тротуарам, никого и ничего не замечая, идут бедуины — худые, огнеглазые, высокие,— и на их чугунных лицах — алый отблеск жаркого заката... Их тонкие, сухие, почти черные ноги голы от колен до больших жестких башмаков. Лица грозны, головы женственны... И царственно-гордо выгнуты тонкие шеи, обмотанные шелковыми платками, и небрежно опирается левая рука с серебряным перстнем на мизинце на рукоятку огромного ятагана или тяжелого кремневого пистолета, засунутого за пояс». По этому же принципу построен совершенно иной портрет разбогатевшего русского мещанина Буравчика из рассказа «Сила».

Иногда писатель выбирает какую-то одну черту внешнего облика героя и акцентирует на ней свое внимание. Так, напри-

мер, читатель не забудет стыдливо опущенных ресниц Молодой, столь взволновавших Тихона Красова...

Бунин умеет проникнуть и в психологию человека. В повести «Деревня», например, внимательно исследуется духовная драма Кузьмы Красова. В рассказе «Веселый двор» Бунин рисует и поэтизирует сложные переживания Анисьи, несчастной и голодной женщины, идущей к сыну. Мечты о встрече с сыном, поэтические картины природы, раздумья о своей жизни переплетаются в душе Анисьи с ощущением отчаяния и даже бредовыми явлениями. Однако, запечатлевая «поток сознания» героини, Бунин, писатель-реалист, никогда не стремится растворить реальную действительность в хаосе субъективных ощущений, мешающих видеть реальные контуры реальных предметов.

В этом же рассказе Бунин очень хорошо показывает, как человек надевает на себя психологическую маску, то есть ведет себя, как дóлжно по традиционной модели поведения, а не согласно своим внутренним чувствам и мыслям. «Егор, глядя в гроб, крестился размашисто и часто. Он играл ту роль, что полагалась ему у гроба матери. Он моргал, будто готовый заплакать, кланялся низко, наклоняя капающую свечку, крепко зажатую в его култышке. Но далеко были его мысли, и, как всегда, в два ряда шли они». Бунин умеет показать, почему и как возникает такое противоречие между поведением человека и внутренним состоянием его.

О том, что Бунин необыкновенный мастер пейзажа, писали все критики. «Сколько звуков, запахов и красок!» — эти слова из «Тени птицы» можно отнести к любому бунинскому пейзажу. Художник умеет слушать звуки жизни, тонко ощущать ее запахи, замечать многообразие красок. Вот начало поэмы «Тень птицы». Пароход, на котором путешествует Бунин, второй день в Черном море. «Стая краснолапых чаек долго провожала нас вчера, долго плыла на тугих острых крыльях, скосив глаза на длинный малахитовый след за кормою». Нужно быть очень наблюдательным художником, чтобы заметить эти подогнутые красные лапки чаек и их скошенные глаза, не только хорошо видеть, но уметь в точных словах запечатлеть увиденное. О море у берегов Греции в солнечный день Бунин говорит: «Это было густое сине-лиловое масло». Об Эвбее на следующей странице читаем: «И все утро выгибалась мимо нас эта каменистая страна, вся в складках, как кожа бегемота». Почти из всех произведений Бунина можно выписывать фразы и целые

абзацы, которые с поразительной точностью и незабываемой образной силой рисуют формы, краски, запахи, звуки неисчерпаемо многообразного мира.

Бунин не только мастер художественной детали. Он создает широко обобщенные образы, перерастающие в художественные символы. В начале «Суходола» — повести о вырождении дворянской семьи Хрущевых — Бунин рассказывает о том, что в лакейской их дома висел почерневший от времени образ Меркурия Смоленского. Меркурий, как свидетельствует предание, в давние времена разбил татар, уснул, был обезглавлен врагами, взял свою голову и пришел к воротам города, чтобы рассказать о том, что произошло. «И жутко было глядеть на суздальское изображение безглавого человека, державшего в одной руке мертвенно-синеватую голову в шлеме, а в другой икону». На оборотной стороне этого образа была написана родословная рода Хрущевых. Безголовый святой как бы аллегорически изображает вырождающийся дворянский род. Недаром этот образ часто вспоминается повествователю, вновь и вновь слушающему рассказы Натальи об истории хрущевского рода.

Бунин нередко пользуется тем приемом, который в киноискусстве называется приемом монтажа. Он чередует картины крупного плана с изображением отдельных деталей этих картин. Особенно часто он пользуется этим приемом в путевых поэмах. Так, например, изображен храм Софии, Константинополь как центр страны и даже мира в поэме «Тень птицы», Египет и пирамиды в поэме «Свет Зодиака», вид на Иудею от мечети Омара и многое другое.

Язык Бунина не раз восхищал самых требовательных критиков. В те годы, когда писал Бунин, были в моде модернистские опусы в области языка. Бунину они были чужды. «Хороший колоритный язык народа средней полосы России,— говорил Бунин,— я нахожу только у Гл. Успенского и Л. Толстого. Что касается ухищрений и стилизации под народную речь модернистов — то это я считаю отвратительным варварством» [1]. Имя Бунина Горький постоянно называл в одном ряду с самыми большими мастерами пластического описательного языка. Это справедливо. Диалог не занимает в творчестве Бунина такого места, как у других современных писателей, например у Хемингуэя.

---

[1] «У академика И. А. Бунина».— Газ. «Московская весть», 1911, № 3, 12 сентября.

Бунин даже не всегда достаточно ярко индивидуализирует язык некоторых своих героев. Достаточно, например, сопоставить язык Тихона, Кузьмы, Балашкина в повести «Деревня», чтобы убедиться в этом. Однако монолог Натальи в повести «Суходол»,— вернее, даже не монолог, а рассказ,— имеет ярко выраженную индивидуальную стилистическую окраску и по ритму речи, и по лексике, и по построению фразы отличается от языка других героев. В рассказе «Ночной разговор» преобладает бойкая и индивидуализированная речь крестьян. «Хорошая жизнь» — это, по существу, сказ, который ведет героиня произведения — Настасья Семеновна. Бунин дорожил каждым своим словом, точно выверенным и художественно осмысленным. «Убедительнейшая просьба,— обращался он однажды к корректору,— йота в йоту сверить с оригиналом. В нем много умышленных ошибок — так их и оставить» [1].

Индивидуализируя речь своих персонажей, Бунин иной раз вводил в нее излишне много местных речений и слов народной этимологии. Горький был прав, упрекая Бунина в этнографизме. Но едва ли справедливо недооценивать умение Бунина индивидуализировать характеры при помощи так называемого речевого языка.

Представители разных школ модернизма — во времена Бунина и в наши дни — громко кричат об устарелости реализма. Произведения Бунина, помещенные в этом томе, свидетельствуют о том, какими неисчерпаемыми возможностями обладает реализм, о том, что художник-реалист Бунин — ярко выраженная, неповторимая творческая индивидуальность — создал такие произведения, которые прочно вошли в золотой фонд нашей литературы.

А. Мясников

---

[1] Бюллетени рукописного отдела Пушкинского дома, вып. 8, Л. 1959, стр. 117.

Повести и рассказы 1909—1911 годов, а также цикл очерков 1907—1911 годов «Тень птицы» сам Бунин рассматривал как начало своего зрелого творчества. Недаром Собрание сочинений в издательстве «Петрополис», в котором, как он писал, «окончательно установлен текст всего его содержания (и я очень прошу читателей, критиков и переводчиков пользоваться только этим текстом)», Бунин открывает путевыми очерками «Тень птицы» и «Деревней», видимо считая всю свою раннюю прозу, даже такой шедевр, как «Антоновские яблоки», данью ученичеству. Он понимал, какую огромную, поворотную роль сыграло в его писательской судьбе появление «Деревни». Толчок, данный этой повестью, растет и ширится и в последующих произведениях о крестьянстве — рассказах «Древний человек», «Сверчок», «Ночной разговор», «Веселый двор» и т. д. Сам Бунин, характеризуя свои произведения этой поры и то, как восприняло их русское общество, писал: «В русской критике и в среде русской интеллигенции, где, в силу многих своеобразных условий, а за последнее время и просто в силу незнания народа... народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения вызвали очень страстные отклики и в конечном итоге принесли мне то, что называется успехом, который еще более укрепили мои последующие работы. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнет моя рука, как горячо и уверенно требуют исхода накопившиеся во мне силы» («Автобиографические заметки»). Бунинское творчество этих лет занимает совершенно исключительное место в его литературном наследии. Оно все — песнь о России, крестьянской, мужицкой Руси. Собственно, и «Суходол» — это история той же деревни, только, по выражению критика Л. Войтоловского,

«взятой с дворянского конца» (газ. «Киевская мысль», 1912, № 300, 29 октября). «Деревня» выдвинула Бунина в первые ряды русских писателей XX века. Но лишь наиболее зоркие современники сумели оценить по достоинству талант Бунина. «Выньте Бунина из русской литературы,— говорил в 1911 году Горький писателю А. А. Золотареву,— и она потускнеет, лишится живого радужного блеска и звездного сияния его одинокой страннической души» («Наш современник», М. 1965, № 7, стр. 103—104). В письме к неизвестному он утверждал: «Я считаю И. А. Бунина именно писателем не менее талантливым, чем А. П. Чехов» (М. Горький. Материалы и исследования, т. I, Л. 1934, стр. 329).

Повести, рассказы и очерки данного тома входили в следующие основные сборники: «Деревня» вышла отдельным изданием в «Московском книгоиздательстве» (1910); «Суходол» вошел в одноименный сборник 1912 года (М.); в этом же сборнике, а также в книге «Иоанн Рыдалец» (М. 1913) публиковались остальные рассказы этого периода; путевые очерки, помещавшиеся в различных сборниках, были объединены в Полном собрании сочинений Бунина, а также в сборнике «Храм Солнца» (П. 1917).

Все произведения третьего тома настоящего собрания сочинений печатаются по текстам Собрания сочинений с рукописной правкой Бунина (ГБЛ) (т. 1, 1936 — «Тень птицы»; т. 2, 1934 — «Подторжье», «Деревня», «Суходол»; т. 3, 1934 — «Смерть пророка», «Снежный бык», «Древний человек», «Сила», «Хорошая жизнь», «Сверчок», «Ночной разговор», «Веселый двор»). Исключением является рассказ «Крик», текст которого печатается по сборнику «Петлистые уши и другие рассказы», изд-во имени Чехова, Нью-Йорк, 1954.

Список условных сокращений

ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

«Горьковские чтения» — «Горьковские чтения», 1958—1959, АН СССР, М. 1961.

«Жизнь Бунина» — В. Н. Муромцева-Бунина, Жизнь Бунина, Париж, 1958.

ИМЛИ — Институт мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР.

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы («Пушкинский дом») АН СССР.

Полное собрание сочинений — И. А. Бунин, Полное собрание сочинений, т. 1—6, изд. т-ва А. Ф. Маркс, П. 1915 (Приложение к журналу «Нива»).

Собрание сочинений — И. А. Бунин, Собрание сочинений, тт. I—XI, изд. «Петрополис», Берлин, 1934—1936.

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства СССР.

Подторжье (стр. 7).— Журн. «Звено», Париж, 1925, № 106, 9 февраля, с примечанием: «Неиспользованный отрывок из «Деревни».

Впечатления для рассказа дали ярмарки в селе Глотово Орловской губернии, где Бунин проводил почти каждое лето у двоюродной сестры, в имении Васильевском. В. Н. Муромцева-Бунина вспоминала свою первую поездку в Васильевское в июле 1907 года: «На выгоне перед церковью... быстро выстроились палатки, воздвигались карусели, а по дороге тянулись телеги со всевозможными товарами... В церковной ограде стояли два ряда нищих... Ян, пока слепые пели, внимательно всматривался в каждого, обращал мое внимание то на того, то на другого, и я видела, как вдруг начинали блестеть его глаза при виде особенного, отталкивающего уродства». Он, по словам В. Н. Муромцевой-Буниной, «все время обращал мое внимание на лица, сравнивая стариков с молодыми мужиками, завязывал разговоры с благообразными хозяевами, расспрашивал мещан о Ельце, о Ливнах, восхищался умом, энергией этого кочевого сословия, останавливался над самодельной тележкой с калекой и, кинув ему медяк, заставил его рассказывать свою биографию, иногда шутил с бабами, девками, давал пятаки мальчишкам, чтобы они погарцевали на деревянных конях» (ЦГАЛИ).

Примечания к «Деревне» и «Суходолу» написаны О. Михайловым, к остальным произведениям — О. Михайловым и А. Бабореко, комментарии к событиям и именам из мифологии и древней истории к циклу очерков «Тень птицы» написаны В. Смириным.

Жизнь провинции, русского захолустья, с его ярмарками и базарами, Бунин знал превосходно, много и жадно путешествуя в молодости по средней и южной России. «Я, брат, опять почти ничего не пишу,— сообщал он, например, поэту И. А. Белоусову, очевидно, в 1899 году.— Все учусь,— по книгам и по жизни: шатаюсь по деревням, по ярмаркам,— уже на трех был,— завел знакомства с слепыми, дурачками и нищими, слушаю их песнопения и т. д.» (И. А. Бунин, Собр. соч., т. 2, М. 1956, стр. 403).

Стр. 7. *Подторжье* — канун ярмарки, базар.

Деревня (стр. 12).— Журн. «Современный мир», СПб. 1910, №№ 3 (март), 10—11 (октябрь — ноябрь), с подзаголовком: «Повесть». Ранее в газете «Утро России» (М. 1909, № 34—1, 15 ноября) появился отрывок под названием «Утро».

Первую часть повести Бунин завершил в сентябре 1909 года, в Москве, работая с большим напряжением. Он сообщал 22 сентября Горькому, что готово «около трех журнальных листов (всего, верно, будет семь), и так устал, что не спал почти всю ночь и руки трясутся» («Горьковские чтения», стр. 44). Работа продвигалась быстро. По словам В. Н. Муромцевой-Буниной, «в три дня Ян написал начерно первую часть «Деревни». Иногда прибегал к маме, говорил: «Жуть, жуть»,— и опять возвращался к себе и писал» (В. Н. Муромцева-Бунина, Беседы с памятью.— «Новый журнал», кн. 65, Нью-Йорк, 1961, стр. 236). Готовые главы Бунин читал в литературном кружке, в Москве. В газетных откликах сообщалось, что новое произведение «выразительно окрашено с идейной стороны и, вероятно, вызовет разговоры и полемику справа и слева» (газ. «Биржевые ведомости», веч. выпуск, СПб. 1909, № 11348, 6 октября). 10 февраля 1910 года Бунин отослал первую часть в «Современный мир» для мартовской книги, рассчитывая дать вторую на апрель и май. Но продолжения повести в этих номерах не появилось: в конце апреля Бунин выехал за границу, в Северную Африку и Италию на Капри. В четвертом номере «Современного мира» редакция извещала читателей: «По желанию автора печатание повести И. А. Бунина «Деревня» переносится на осень». Вернувшись из поездки, писатель заявил в беседе с корреспондентом газеты «Одесские новости» (1910, № 8117, 16 мая): «Сейчас я всецело занят мыслью об окончании повести «Деревня», начало

которой напечатано в «Современном мире». Отсюда еду на два дня в Москву, а оттуда — в Орловскую губернию — в деревню. Там я и займусь энергично окончанием «Деревни». Болезнь, а затем смерть матери прервали работу Бунина над повестью, он продолжал писать уже в Москве, стремясь забыться в работе. 20 августа 1910 года он сообщил Горькому: «В Москве я писал часов по пятнадцати в сутки, боясь оторваться даже на минуту, боясь, что вдруг потухнет во мне электрическая лампочка и сразу возьмет надо мной полную силу тоска, которой я не давал ходу только работой. А потом это напряжение привело меня к смертельной усталости и сердечным припадкам до ледяного пота, почти до потери сознания... Повесть я кончил (считаю, что погубил, ибо сначала взял слишком тесные рамки, а последнее время было чересчур тяжко работать)» («Горьковские чтения», стр. 48). Лишь 2 сентября 1910 года рукопись была, наконец, отправлена в «Современный мир», для 10 и 11 номеров. В Москве, в литературном кружке «Среда», Бунин читал вторую часть «Деревни», которая, как сообщал «Наш журнал» 19 сентября 1910 года, «произвела на слушателей сильное впечатление».

В повести «Деревня» широко запечатлена жизнь старой русской деревни в пору революции 1905—1907 годов. Можно даже сказать, что именно «рука революции» вписала в биографию Бунина эти значительные страницы. Многочисленные факты показывают, что писатель оказался в гуще развивавшихся событий, внимательно наблюдал за происходящим. О всеобщей забастовке 18 октября 1905 года Бунин узнал, находясь в Ялте, где он гостил в семье Чехова, и почти тотчас же уехал в Одессу. Бунинский дневник этой поры недвусмысленно характеризует демократические симпатии его автора: «По Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, «ура», затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки — и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат — и тоже мимо, улыбаясь... Поезда все еще не ходят. Уеду с первым отходящим. Сумерки. Была сестра милосердия, рассказывала, что на слободке Романовке детей убивали головами об стену; солдаты и казаки бездействовали, только изредка стреляли в воздух. В городе говорят, что градоначальник запретил принимать депешу думы в Петербург о том, что происходит. Это подтверждает и Андреевский (городской голова). Уточкин — знаменитый спортсмен —

при смерти; увидал на Николаевском бульваре, как босяки били какого-то старика-еврея, кинулся вырывать его у них из рук... «Вдруг точно ветерком пахнуло в живот». Это его собственное выражение. Подкололи его «под самое сердце...» («Жизнь Бунина», стр. 165—166). Волнение и гнев гражданина пронизывают страницы одесского дневника. Все это чрезвычайно не похоже на того отшельника-эстета, равнодушного к судьбам собственного народа, каким представляли тогда Бунина многие. Возможно, что именно одесские впечатления дали материал для некоторых публицистических страниц «Деревни», исключенных из текста в эмигрантском издании. «Устраивались новые сказочно-свирепые избиения евреев, изо дня в день шли казни, расстрелы, но город даже интересоваться перестал ими»; «Ярость душила прежде при чтении газет,— ярость бесплодная, потому что не хватало человеческой восприимчивости на то, что читалось» (ср. в дневнике: «Отвратительный номер «Ведомостей одесского градоначальства»...») и т. д. Бесспорно, что погромы черной сотни в Одессе, а затем декабрьские события в Москве не могли пройти бесследно для Бунина. По воспоминаниям В. Н. Муромцевой, писатель был свидетелем вооруженного восстания рабочих, навещал в эти дни Горького. Затем он отправляется из Москвы в Орловскую губернию, к родным, спрятав в шапку револьвер (от жандармов). Но злободневные события, какими жила страна, настигают его и там. Снова обилие острых впечатлений. У брата Евгения, как сообщает В. Н. Муромцева-Бунина, «в... округе летом было приблизительно то, что воссоздано в «Деревне» Бунина (в Дурновке)» («Жизнь Бунина», стр. 166). 7 июня Бунин сообщал М. П. Чеховой, что крестьяне подожгли в Огневке скотный двор и, «вероятно, запалят его еще разок, ибо волнуются у нас мужики и серьезно, в один голос говорят, что ни единому человеку из помещиков не дадут убрать ни клока хлеба» (сб. «Время», Смоленск, 1962, стр. 102). О «красном петухе», гулявшем в Огневке, сообщал и Ю. А. Бунин 14 июня 1906 года неустановленному лицу. По его словам, «крестьяне нашей деревни составили приговор и объявили его брату» (Евгению Александровичу.— *Ред.*). В приговоре они изложили свои требования к владельцу имения относительно оплаты труда и проч. «Заявить обо всем этом,— продолжает Ю. А. Бунин,— приходили целым сходом и вели себя хотя и сдержанно, но очень вызывающе» (т а м ж е, стр. 101, 102). Таким образом,

и в Москве, и в Одессе, и в деревне Бунин оказался в самой гуще революционных событий.

Если перед нами действительно крупный художник, то, перефразируя слова Ленина о Льве Толстом, какие-то существенные стороны революции он должен отразить. Ограниченность Бунина, его социальные предрассудки помешали воссоздать во всей полноте картину жизни русской деревни. «Художник может воспроизвести только то, что в состоянии воспринять его творческая психика, к восприятию чего она подготовлена...— писал, откликаясь на появление бунинской повести, В. В. Воровский.— Новая деревня,— то есть, собственно говоря, та переходная форма деревенского быта, которая существует сейчас, нечто промежуточное между разрушающейся старой крепостнической деревней и складывающейся будущей, буржуазной,— совершенно не прельщает людей с родственной Бунину психикой. Она чужда им, неприятна, антипатична. Они видят в ней *только* упадок и вырождение, не замечая элементов *новой* жизни» (В. В. Воровский, Литературно-критические статьи, М. 1956, стр. 332). Однако объективное значение бунинской «Деревни» не в пример шире. «Идиотизм деревенской жизни»,— продолжал В. В. Воровский,— объясняет многое и многое. Он дает ключ к пониманию самых ярких неудач пресловутого «бурного года»: о него разбились многие надежды, он свел на нет не один выигрышный момент в борьбе. Поэтому и повесть Бунина, помимо чисто художественного интереса, является важным «человеческим документом», своего рода исследованием о причинах памятных неудач» (там же, стр. 333—334). Иными словами, критик-марксист утверждал, что, изображая косную крестьянскую среду, Бунин объективно раскрывал причины, способствовавшие поражению первой русской революции, и даже создал своего рода «исследование» на эту тему. Немалую роль в успешной работе над повестью сыграли и его близкие, дружеские отношения с Горьким. Именно в эти годы у Бунина («Деревня») и Горького («Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина») появляются произведения, позволяющие говорить о творческой перекличке, соревновании и полемике двух писателей. Это уже отмечала современная Бунину критика. В частности, Л. Войтоловский сравнивал Тиунова из повести «Городок Окуров» и Кузьму Красова. «Городок Окуров» появился в 28 и 29 книгах товарищества «Знание» (конец 1909 и начало 1910 г.). Однако, судя по письму Бунина Горькому от

22 сентября 1909 года, содержание «окуровской хроники» и ее продолжения — «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910—1911) — стало известно ему раньше. «Вернулся к тому, к чему Вы советовали вернуться,— к повести о деревне...— сообщал Бунин в этом письме.— И теперь старичок Ваш особенно задевает меня. Ах, эта самая Русь и ее история! Как это не поговорили мы с Вами вплотную обо всем этом!» («Горьковские чтения», стр. 44). Очевидно, Горький познакомил Бунина со своим замыслом — дать широкое, с размышлением о судьбах страны, историческое полотно уездной России. Говоря о «задевшем» его старичке, Бунин мог иметь в виду и Тиунова, пытливого мещанина-философа, исходившего Русь, и окуровского летописца, застенчивого и самоуглубленного «канатчика» Матвея Кожемякина. В бунинской повести главное — Дурновка, деревня, ее дикий и темный быт. Есть в ней и уездный город, Черная слобода (наподобие Заречья у Горького), изображенная, не в пример деревне, бегло. Однако подчас в этих беглых картинках можно усмотреть отдельные островки полемики с горьковским «Городком Окуровом». Линией спора для Бунина тут служит немаловажный вопрос — какое государство Россия и какое сословие исторически определяет ее лик. В «Окурове» кривой Яков Захаров Тиунов, «первая голова Заречья», учит слободских: «Что ж — Россия? Государство она, бессомненно, уездное. Губернских-то городов — считай — десятка четыре, а уездных — тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия» (М. Горький, Собрание сочинений в 30 томах, т. 9, М. 1950, стр. 17). «*Да она вся — деревня, на носу заруби себе это!* — спорит с ним базарный вольнодумец Балашкин у Бунина.— Глянь кругом-то: город это, по-твоему? Стадо кажный вечер по улицам прет — от пыли соседа не видать... А ты — «город»!» Бунин усиливает нажим, выделяя слова курсивом. Он даже не обращает внимания на то, что в тексте «Деревни» собеседник Балашкина Кузьма Красов и не думает возражать ему и вовсе не упоминает про «город». Словно и впрямь этот старик, гармонист и книжник, отвечает через голову Кузьмы кому-то другому.

Разделяя мнение свирепо-добродушного «фарисея» Балашкина о том, что не город, а деревня — помещичье-крестьянский мир — составлял и составляет основу страны, предопределяет своеобразие ее развития, Бунин оставался во власти безысходного пессимизма. Недаром немедленно после появления бунинской «Деревни» «слева» и «справа» раздались голоса, что кре-

стьянство расписано в ней одной краской — черной. «Что-то щемящее, почти безнадежное исходит от этого мрачного полотна. Что-то глубоко пессимистическое, почти отрицательное сквозит в каждом густом мазке...» — замечал рецензент «Одесских новостей» (газ. «Одесские новости», 1910, № 8238, 13 октября; подпись: Н. Г.). «О вырождении деревни вопиет каждая страница этой повести еще более, чем о злобе и подлости мужиков... Но бунинская деревня совершенно не знает Липы, не знает Хрыминых и Костюковых, призывавших обитателей чеховского «Оврага» «под светлые знамена труда и справедливости на земле». В противовес деревне Решетникова, Тургенева и Успенского, она рисует все сплошь в безотрадных и отвратительных красках»,— вторил ему в «Киевской мысли» Л. Войтоловский (газ. «Киевская мысль», 1910, № 328, 27 ноября). «В каком бы месте мы ни раскрыли «Деревню» Бунина, везде будут подобные разговоры, одни и те же картины уродливого деревенского житья. Рисунок у Бунина однотонен, однообразен, пожалуй, несколько тенденциозен»,— писала Е. А. Колтоновская (Е. А. Колтоновская, Критические этюды, СПб. 1912, стр. 279). В целом современная Бунину критика не сумела оценить по достоинству этой повести. Недаром сам писатель сообщал Горькому 20 апреля 1911 года: «Прочитали кое-что из того, что писалось о «Деревне»... И хвалы и хулы показались так бездарны и плоски, что хоть плачь» («Горьковские чтения», стр. 60). Тем ценнее для Бунина были глубокие оценки «Деревни», сделанные Горьким. Прочитав конец «Деревни», он писал Бунину в декабре 1910 года: «...Я знаю, что когда пройдет ошеломленность и растерянность, когда мы излечимся от хамской распущенности... тогда серьезные люди скажут: «Помимо первостепенной художественной ценности своей, «Деревня» Бунина была толчком, который заставил разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России? Мы еще не думали о России,— как о целом,— это произведение указало нам необходимость мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически» («Горьковские чтения», стр. 53). Если соотнести это высказывание с мнением В. В. Воровского, окажется, что в словах Горького нет того преувеличения, какое поначалу находишь.

В чисто художественном отношении, по отделке своей, завершенности и стройности «Деревня» уступала более поздним

произведениям. Сам Бунин чувствовал это, говоря, что «взял слишком тесные рамки», это же имел в виду и Горький, сообщая в письме к Бунину 27 октября (9 ноября) 1910 года с Капри: «Если надобно говорить о недостатке повести — о недостатке, ибо я вижу лишь один,— недостаток этот — густо! Не краски густы, нет,— материала много. В каждой фразе стиснуто три, четыре предмета, каждая страница — музей!» («Горьковские чтения», стр. 50). Переработка Буниным повести для Полного собрания сочинений и заключалась в «разгрузке» ее от подробных описаний, излишней детализации (см. исключенные отрывки на стр. 415—424 наст. т.). Дальнейшие исправления — для второго тома Собрания сочинений в издательстве «Петрополис» и, наконец, по тексту этого тома — в 1953 году,— преследовали все ту же цель — достижения большей художественной лапидарности. Примечательно воспоминание писателя Б. К. Зайцева, гостившего в начале 30-х годов у Бунина в Приморских Альпах: «Уже после премии Нобелевской, когда выходило здесь собрание его сочинений, он держал корректуру в этом самом Грассе... вдруг внизу... хлопает дверь, и на весь дом крик:

— Писатель с мировым именем и вдруг написал такое... (скажем элегантно: «удобрение»).

Это значит, читает в корректуре «Деревню» и не одобряет. «Ты им доволен ли, взыскательный художник...» — да, взыскательным художником он был, конечно...» (Борис Зайцев, Далекое, Вашингтон, 1965, стр. 138). Однако не одна «чистая эстетика» водила в эту пору бунинским пером. Улучшая произведение, совершенствуя его стилистически, он одновременно, «другой рукой», ослаблял его гражданское звучание. Ясно, что изъятие некоторых публицистических отрывков (см. стр. 421—422 наст. т.) диктовалось идейными пристрастиями писателя.

Стр. 12. *Шибай* — мелкий торговец, скупщик.

Стр. 17. *Опоек* — сапожный товар из телячьей кожи.

Стр. 20. *Подрукавный хлеб* — хлеб из второсортной муки, идущей на мельнице из-под рукава.

Стр. 46. *«Отец наш, воин смелый, Сулейман-пашу разбил».*— Генерал Гурко Осип Владимирович (1828—1901) в 1878 году разгромил под Филиппополем турецкого генерала Сулейман-пашу.

Стр. 52. *Жан Поль* — псевдоним немецкого писателя Иоганна Пауля Фридриха Рихтера (1763—1825).

Стр. 74. *Муромцев* Сергей Андреевич (1850—1910) — один из лидеров кадетов, деятельный участник либерально-оппозиционного движения, председатель Первой государственной думы. Дядя В. Н. Муромцевой-Буниной.

Стр. 76. *Дурново* Петр Николаевич (1844—1915) — политический деятель, с октября 1905 года — министр внутренних дел, жестоко расправлявшийся с участниками революции 1905—1907 годов.

Стр. 76. *Витте* Сергей Юльевич (1849—1915) — русский политический деятель, возглавлявший в 1905 году правительство и организовавший подавление в России революции 1905—1907 гг.

Стр. 79. *Макаров* Степан Осипович (1848—1904) — флотоводец, командующий Тихоокеанским флотом, погиб, находясь на борту броненосца «Петропавловск», подорвавшегося на японской мине.

Стр. 99. *Падрина* — подстилка под стог или скирд.

Стр. 106. *Кузьма называл себя Дрейфусом на Чертовом острове.* — Имеется в виду дело офицера французского генерального штаба А. Дрейфуса, осужденного в 1894 году на пожизненную каторгу по ложному обвинению в шпионаже на Чертов остров близ Гвианы.

Суходол (стр. 133). — Журн. «Вестник Европы», СПб. 1912, № 4, апрель.

Работу над повестью Бунин начал летом 1911 года и писал первую часть (о чем свидетельствуют его заметки для автобиографии, хранящиеся в Государственном музее И. С. Тургенева, Орел) в имении Васильевском Орловской губернии. В сентябре он сообщил корреспонденту газеты «Московская весть»: «Мною написана первая часть большой повести-романа под заглавием «Суходол» (газ. «Московская весть», 1911, № 3, 12 сентября). Повесть была завершена в декабре 1911 года, во время пребывания Бунина в Италии, на Капри. 8 (21) февраля 1912 года Бунин прочитал ее у Горького. По воспоминаниям Н. А. Пушешникова, «при чтении присутствовал Коцюбинский. Повесть очень понравилась и Горькому и Коцюбинскому, сравнившему ее со «старинным гобеленом» (сб. «В большой семье», Смоленск, 1960, стр. 242).

Повесть «Суходол», завершающая «дворянские элегии» начала века, по-новому распределяет свет и тени в эпизодах отошедшего барского бытия. Жизнь предков сохраняет былое оча-

рование и влечет к себе Бунина, но иные, жесткие черты проступают на лицах фамильных портретов, до тех пор «кротко» («Антоновские яблоки») глядевших на него со стены. Сословная спесь и какой-то патриархальный демократизм, свирепое самодурство и поэзия,— грубым, контрастным узором переплелись в обычаях и психологии хозяев Суходола. Жуткая судьба древнего, ставшего выморочным «рыцарского» сословия, которое «за полвека почти исчезло с лица земли», кровно, родственно близка Бунину. Вот почему так легко угадываются в повести эпизоды семейной хроники рода Буниных, так очевидны прототипы многих героев. В частности, многими своими чертами суходольская усадьба обязана Каменке, родовому имению Буниных в Орловской губернии, принадлежавшему дяде писателя Николаю Николаевичу. С Каменкой связано немало детских впечатлений Бунина, приезжавшего туда с сестрой Машей. Как сообщает В. Н. Муромцева-Бунина, «там Ваня с Машей впервые увидели свою родную тетку, Варвару Николаевну Бунину, жившую рядом с барским домом во флигеле, вернее в просторной избе. Тетя Варя была не совсем нормальна: заболела после того, как отказала товарищу брата Николая, жениху-офицеру, которому все играла полонез Огинского. А отказав, после его отъезда, заболела нервно. Она прототип тети Тони в «Суходоле» («Жизнь Бунина», стр. 22). А прототипом Петра Кирилловича послужил дед Бунина Николай Дмитриевич. Как рассказывал о своих родителях отец писателя, «мать его (рожденная Уварова) была красавицей: «Она рано умерла, и отец так тосковал, что даже тронулся, впрочем, говорят, что во время Севастопольской кампании, когда мы были на войне, он как-то лег спать после обеда под яблоней, поднялся вихрь, и крупные яблоки посыпались на его голову... После чего он и стал не вполне нормальным» (там же, стр. 34). В характере отца Хрущевых отразились некоторые черты личности Алексея Николаевича Бунина, отца писателя, усадебного дворянина с головы до пят — бешено-вспыльчивого и отходчивого, азартного и беззаботного, обожавшего охоту и пение под гитару старинных романсов. О близости ему отца Хрущевых особенно ярко говорит отрывок из второй главы, исключенный автором при переиздании повести (см. стр. 425—426 наст. т.).

Повестью «Суходол» Бунин закрепил успех, достигнутый «Деревней», и вызвал новую волну критических откликов. По словам рецензента «Современного мира», в «Суходоле» Бунин

«обобщил... прошлое и воздвиг ему великолепный, с поразительным мастерством выполненный памятник» (Вл. Краних-фельд, Литературные отклики, И. А. Бунин.— Журн. «Современный мир», СПб. 1912, № 11, ноябрь, стр. 348). Некоторые критики указывали на безотрадность картины, нарисованной писателем: «Таким мрачным рисуется писателю прошлое помещичьей усадьбы, она несла в себе зародыш смерти, и внешние события лишь ускорили ее разложение. Но, разлагаясь, она отравила и окружающую жизнь... Отечественная война, освобождение крестьян, революция,— все это прошло без следа в жизни крестьянина... Грязная, голодная, проеденная до костей болезнями, заеденная вшами,— вот она, та Русь, которую, выходя из села, выглядел певец Суходола» (Л. Козловский, Певец «Суходола».— Газ. «Русские ведомости», СПб. 1912, № 248, 27 октября). Как видно, в критических откликах (безотносительно к тому, под каким углом зрения рассматривалась повесть) она толковалась расширительно, вкупе с другими рассказами, как обобщающее произведение о России, о деревне. Рецензируя только что вышедший сборник Бунина «Суходол», С. Адрианов на страницах «Вестника Европы» подчеркивал «окончательное отречение автора от всяческого «обольщения стариною» дворянского крепостного быта... В грозном, всесокрушающем вырождении готов Бунин видеть ключ к пониманию всей современной русской действительности, и деревенской, и интеллигентской. Такова безутешная картина, которую рисует в последних своих произведениях Бунин, достигая именно в них наибольшего художественного мастерства. Какой поразительный контраст с той идеализацией русского мужика, которую находим в «Записках охотника» Тургенева! Быть может, историческая закономерность сказалась на этих двух полюсах: реалистическая реакция против идеализации доброго старого времени должна была дойти до своего завершения, увлечение светлыми тонами должно было быть искупленным не меньшим увлечением черными пятнами. Если это так, то Бунин довел этот процесс до предела» (С. Адрианов, Критические наброски.— Журн. «Вестник Европы», СПб. 1912, т. VI, № 11, ноябрь, стр. 348—349). О проблематике этой повести сам Бунин сказал: «Это произведение находится в прямой связи с моею предыдущей повестью «Деревня»... Я не стремлюсь описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности. Меня занимает главным образом душа русского человека в глубоком смысле, изображе-

ние черт психики славянина» (газ. «Московская весть», 1911, № 3, 12 сентября).

Готовя «Суходол» для Полного собрания сочинений, Бунин подверг текст стилистической правке. В 1921 году повесть была издана в Париже, вместе с «Деревней», с подзаголовком «поэма». Новая работа над текстом была произведена при подготовке повести к изданию в Собрании сочинений, вышедшему в Берлине, и затем по тексту этого издания в 1953 году.

Стр. 136. *Шестая книга* — родословная книга, в которую вносились потомственные, «столбовые» дворяне. В шестую книгу были записаны Бунины, чей род «происходит от выехавшего к великому князю Василию Васильевичу из Польши мужа знатного Симеона Бунковского» (Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, часть 7, I отдел, стр. 16).

Стр. 159. *«Людмила»* — баллада В. А. Жуковского (1783—1852) на сюжет баллады немецкого поэта Бюргера «Ленора». *«Ты мертвецу святыней слова обручена»* — неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Любовь мертвеца» (1841).

Крик (стр. 188).— Газ. «Русское слово», М. 1911, № 225, 1 октября. Печатается по книге «Петлистые уши и другие рассказы», Нью-Йорк, 1954. Датируется по Собранию сочинений, т. 3, Берлин, 1934.

В автографе рассказ озаглавлен «Атанас», а дата указывает на начало и конец работы над произведением: «26—28 июня 1911 г.» (ЦГАЛИ). В основе сюжета рассказа, как видно из черновой записи, сделанной Буниным, лежит действительный факт: во время морского путешествия матросы напоили для забавы пассажира-грека (И. А. Бунин, Собр. соч., т. 2, М. 1956, стр. 406).

Смерть пророка (стр. 193).— Газ. «Русское слово», М. 1911, № 298, 28 декабря, под заглавием «Смерть Моисея».

Рассказ о «житии» пророка, написанный на традиционный религиозный сюжет, содержит излюбленную идею Бунина о «фазах», «путях» жизни. «Древняя индусская мудрость говорит, что человек должен пройти два пути в жизни: Путь Выступления и Путь Возврата. На Пути Выступления человек чувствует себя сперва только своей «формой», своим временным телесным бытием... На Пути же Возврата теряются границы его личного и общественного Я, кончается жажда брать — и все более и более

растет жажда «отдавать» (взятое у природы, у людей, у мира): так сливается сознание, жизнь человека с Единой Жизнью, с Единым Я — начинается его духовное существование» (Иван Бунин, Освобождение Толстого, Париж, 1937, стр. 24).

Стр. 196. *Искандер Двурогий* — так называли мусульмане Александра Македонского (356—323 гг. до н. э.), царя Македонии, покорившего Малую Азию, Палестину, Египет, Персию и часть Индии, то есть запад и восток — два рога вселенной. *Вода вечной жизни.*— См. стр. 440 наст. т. *Атабек-Абубекр* (или Абу-Бакр) — правитель Фарса (в 1226—1258 гг.), области на юге Ирана, которая была самостоятельной и подчиняла себе значительную часть Ирана. Откупившись золотом, Атабек Абубекр спас Фарс от разорения монголами. *Древо Заккум* — древо, которое, согласно представлениям мусульман, должно причинять страшные мучения отверженным, низвергнутым в ад.

Стр. 199. *Сура о Великой Вести* — 78-я. К ней по сюжету примыкает 81-я, отрывок из которой пересказывает Бунин. *Сура Отходная* — 36-я, очень популярная у мусульман, ей придается таинственный и аллегорический смысл, играет роль панихидной.

Стр. 200. *Книга вечная* — *Гилльюн* — по Корану, книга, находящаяся на небе, в которую записаны деяния всех людей. Рассказ Саади о человеке, опьяненном запахом роз,— из вступления к «Гулистану».

Снежный бык (стр. 201).— Журн. «Путь», М. 1911, № 1, ноябрь, под названием «Из рассказов без заглавия». В черновом автографе (собрание рукописей К. П. Пушешниковой) рассказ озаглавлен «Бессонница», а рукопись имеет датировку: «29 июня — 2 июля 1911 г.». В сборнике «Иоанн Рыдалец» (М. 1913) и в Полном собрании сочинений рассказ помещен под названием «Без заглавия». Однако в дальнейшем Бунин искал новые заглавия: «Снегур» (газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 534, 18 ноября; сб. «Последнее свидание», Париж, 1927) и наконец,— «Снежный бык» (Собрание сочинений).

Рассказ подвергался стилистической правке при подготовке текста к зарубежным изданиям. В частности, устранены некоторые рассуждения Хрущева, прямолинейно выражавшие основную мысль рассказа (разбив пугавшего детей «снегура», он размышлял: «Хороша жизнь, к черту все, что мешает ее радостям!»; восхищенный картиной природы, он думал: «Вот бы

вернуться в кабинет и просто, просто записать все, что только что чувствовал и видел» (Полное собрание сочинений, т. 6).

Древний человек (стр. 204).— Газ. «Русское слово», М. 1911, № 187, 14 августа, под заглавием «Сто восемь». Новое название рассказ получил при публикации в газете «Последние новости» (Париж, 1930, № 3441, 24 августа), с двойной датой: «1911—1930».

В автографе рассказ датирован: «3—8 июля 1911 г., Глотово» (ЦГАЛИ). В этой рукописи есть подробности, характеризующие учителя Иваницкого, его поверхностный, «городской» взгляд на деревню: Иваницкий «на днях бросает школу, уезжает в университет и теперь добирает с деревни то, что еще не добрал для своих будущих статей»; ему «надо все видеть, на все взглянуть «новыми глазами».— Да-с, надо, надо! — твердо думает он на ходу и зло глядит на усадьбу, докуривая крепкую папиросу.— Дело, очевидно, не в экономике (экономика изрядно осточертела)... Дело в примитивности, в первобытности (коей не прейдеши... в исконных чертах россиянина — атавистических)»; «Все едино — смерд он или господин, Крез или нищий... Важны прежде всего черты сии: они суть атавистические» (ЦГАЛИ; в скобках приведены слова, зачеркнутые Буниным в черновике). Очевидно, «лобовая» ирония по отношению к герою не удовлетворила Бунина.

Сила (стр. 213).— Газ. «Русское слово», М. 1911, № 214, 18 сентября.

Хорошая жизнь (стр. 224).— Журн. «Современный мир», СПб. 1912, № 1, январь. Датируется по Собранию сочинений ноябрем 1911 года. 8 (21) декабря 1911 года Бунин писал Н. Д. Телешову о своих встречах с Горьким на Капри: «Бываем у него через день, через два, по вечерам. Сидим, поругиваем современную литературу и нравы писательские. По целым дням пишу. Написал два рассказа, отослал в «Современный мир» и «Всеобщий ежемесячник» (И. А. Бунин, Собр. соч., т. 2, М. 1956, стр. 406).

Сверчок (стр. 247).— Журн. «Всеобщий ежемесячник», СПб. 1911, № 12, декабрь.

Бунин писал с Капри Ю. А. Бунину 6 (18) января 1912 года о чтении рассказов русским литераторам: «Написал три вещич-

ки, но совсем маленькие — по три четверти листа. Одну отослал в «Современник». Две свободны — говорят, очень хороши. Горький — *буквально* обливался слезами» (Государственный музей И. С. Тургенева в Орле).

Ночной разговор (стр. 257).— «Сборник первый», Издательское товарищество писателей, СПб. 1912.

Написан на Капри в пять дней (19—23 декабря 1911 г.). «Рассказ для вас готов,— сообщал Бунин Н. С. Клестову 24 декабря.— Он о мужиках, называется «Ночной разговор». Позавчера я читал его у Горького (был Коцюбинский и еще кое-кто) и теперь спокоен — рассказ имел большой успех,— хоть знаю, что вызову большое озлобление (и опять дурацкое) — у господ критиков» (И. А. Бунин, Собр. соч., т. 2, М. 1956, стр. 407). Об успехе своего произведения в кругу литераторов, собиравшихся у Горького, он говорит в письме к Ю. А. Бунину 28 декабря 1911 года: «Клестову даю рассказ «Ночной разговор»... Читал его у Горького — и снова с огромным успехом» (там же, стр. 407).

Публикуя рассказ, Бунин сделал некоторые сокращения, в частности убрал упоминание о том, что представление о народе гимназист составил по книгам писателей-народников и был поражен тем, что мужики совершенно не похожи на мужиков «Наумовских и Нефедовских» (ИРЛИ).

Вокруг «Ночного разговора» снова скрестились разноречивые суждения критики. «Большое озлобление», говоря словами самого Бунина, рассказ вызвал в правой печати. Так, В. Буренин писал в «Новом времени»: «Новый рассказ Бунина «Ночной разговор»... ясно говорит, что под мундиром лауреата не осталось ничего, кроме дурного вкуса и коротких мыслей. Мало того, что тоже действует свинушник, но и опять, как в «Деревне», *опачкивание народа* и опять соответствующее выполнение: поэзия дурных запахов, загаженные проходы, миллионы блох и вшей, портянки и портянки» (газ. «Новое время», СПб. 1912, № 12928, 9 марта). Непонимание рассказа, обвинение в безмерном сгущении красок прозвучало и в других откликах (на страницах газет «Столичная молва», «Запросы жизни», «Русские ведомости» и т. д.). «Те, кто вдумается в изображаемые картины,— замечал на страницах журнала «Путь» Ю. Соболев,— поймут, что тут звучит скорбь, не осуждение — а сожаление, не злоба — а любовь» (журн. «Путь», М. 1914, № 1, январь).

Стр. 259. *Левингстон* Давид (1813—1873) — английский путешественник. *Беккер* Самуэль Вайт (1821—1893) — английский путешественник и исследователь, открывший один из истоков Нила.

Веселый двор (стр. 278).— Журн. «Заветы», СПб. 1912, № 1, апрель, с подзаголовком: «Повесть».

Бунин начал писать повесть не позднее июля 1911 года в Глотове: этим временем датирована черновая рукопись, первоначальное заглавие которой — «Мать и сын» (ЦГАЛИ). Работа над произведением была завершена в конце 1911 года. В письме к брату Юлию Алексеевичу Бунин сообщал 28 декабря 1911 года: «Про печника и старуху рассказ еще никуда не давал: хотел было Овсянику (то есть Д. Н. Овсянико-Куликовскому.— *Ред.*) в «Вестник Европы»... да приехал Миролюбов и Чернов — сотрудники какого-то нового, имеющего выйти в январе в Петербурге журнала — и просили этот рассказ дать им. Почти согласился» (И. А. Бунин, Собр. соч., т. 2, М. 1956, стр. 407). На Капри Бунин читал свой рассказ у Горького, который сообщал Е. П. Пешковой: «С восьми часов Бунин читал превосходно написанный рассказ о матери и сыне: мать умирает с голода, а сын ее, лентяй и бездельник, пьет, пьяный пляшет на ее могиле, а потом ложится под поезд, и ему отрезает ноги. Все это в высшей степени красиво сделано, но — производит угнетающее впечатление. Слушали: Коцюбинский, у которого больное сердце, Черемнов — туберкулезный, Золотарев — человек, который не может найти себя, и я,— у меня болит мозг и в голове, и во всех костях. Потом долго спорили о русском народе и судьбах его и, конечно:

Где хоть три есть человека,
там есть три взгляда на предмет!»

Весной 1912 года Бунин читал не опубликованный тогда еще рассказ на собрании телешовской «Среды». Рассказ произвел сильное впечатление, но вызвал упреки в пессимистическом отношении автора к деревне. Бунин «взволнованно отвечал критикам,— вспоминает П. Мурашев,— указав на то, что он полжизни прожил в деревне; в детстве товарищами его были крестьянские дети; позднее он не порывал с ними связи и до последнего времени ежегодно и подолгу живет в деревне, погружаясь в самую гущу деревенской жизни, живя ее интере-

сами, радостями и горем» (Государственный музей И. С. Тургенева в Орле).

В критике указывалось на подспудную, глубоко скрытую, но ощутимую во всем контексте произведения любовь и сострадание писателя к деревенскому человеку, к его тяжелой и сумрачной доле. Пересказав содержание рассказа, Ю. Айхенвальд продолжал: «И вот, когда про все это читаешь у Бунина, то не только беспредельную жалость чувствуешь и болит сердце, болит совесть, но и бесспорным становится, что пусть сколько угодно свидетельствует о себе автор: «Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, тысячелетней рабской нищеты»,— он все-таки не может не любить Анисьи, он не может не испытывать к ней самой жалостливой нежности, и невольно в свою как будто бесстрастную манеру, в свое эпически невозмутимое повествование, в эти безжалостные подробности объективного рассказа он вплетает нити-нервы своего острого сочувствия, быть может даже — заглушенное отчаяние» (газ. «Речь», СПб. 1912, № 305, 6 ноября).

Правя повесть, Бунин впоследствии снял заключительный эпизод (см. стр. 427—428 наст. т.).

ТЕНЬ ПТИЦЫ

Путевые очерки занимают в творчестве Бунина совершенно особое место. Страсть «неустанных скитаний и ненасытного восприятия» (предисловие Бунина к сборнику «Крик», Париж, 1921), владевшая им, была не просто его личным свойством, а являлась продолжением его художнической, философской устремленности «познать тоску всех стран и всех времен». «Некоторый род людей обладает способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и ближнего своего, то есть, как принято говорить, «способностью перевоплощаться», и особенно живой и особенно образной (чувственной) памятью...» — в этом отрывке из «Освобождения Толстого» немало автобиографического. Бунин необычайно остро чувствует свою сопричастность к жизни всего исторического человечества как целого, недаром так тревожат его и влекут к себе «все некрополи, кладбища мира».

Не случайно и книгу о своих путешествиях он первоначально хотел назвать «Поля Мертвых». «Разве не Поля Мертвых — Баальбек и Пальмира, Вавилон и Ассирия, Иудея и Египет? — писал он в отрывке, исключенном позднее из очерка «Тень птицы».— Разве не сплошное Поле Мертвых и Константинополь? Его погосты — величайшие в мире — так и называются: Поля Мертвых. И сколько их, этих погостов! Сто тысяч древних кипарисов с голыми стволами чернеют на Великом кладбище в Скутари, и более миллиона памятников, подобно костям, белеет под ними. В Галате, в Пере стоят целые полчища этих мрачных гробовых деревьев. Стамбул окружен Полями Мертвых. Но мало того: нет ни одной, самой людной улицы, где бы не было развалин стены, кипариса и могильного мраморного столбика. Но Восток — царство солнца. Востоку принадлежит будущее. Недаром все славные капища Востока были посвящены Солнцу» (И. А. Бунин, Полное собрание сочинений т. 4, стр. 126—127). Загадки человеческого прошлого мучают его так же сильно, как и загадки бытия. Отсюда — мысленная реставрация таинственного Баальбека («Храм Солнца») или «прародины» людей древнего Цейлона («Город царя царей»). Он всем своим существом стремится познать и почувствовать древность, чужую культуру, психологию, чужую природу.

Эту способность Бунина к своеобразному «универсализму» в прочтении книги природы, при всей его глубокой приверженности именно к национальному, русскому, отмечала критика. «...Он до тонкости изощрил присущее ему чувство природы и, отдавшись литературе, развернул в пейзажной живописи такое неподражаемое мастерство, что в этой области среди наших современных писателей-художников у него нет соперников,— говорил Вл. Кранихфельд.— ...Бунина, как пейзажиста по преимуществу, часто и справедливо сближают с Тургеневым. Нетрудно заметить, однако, что отношение этих двух писателей к природе различно. Оторванный от России Тургенев в своем пристрастии к пейзажу, и именно к *русскому* пейзажу, выражал глубоко заложенное в его душе «чувство родины», покинутой родины... Бунин точно так же обнаруживает в своих произведениях особенную чуткость к непритязательной красоте родного пейзажа,— природа севера наиболее соответствует его целомудренно-сдержанной кисти. И все-таки он охотно останавливает свой взор на «необыкновенной» природе экзотического юга, он даже ищет «необыкновенного» в своих постоянных скитаниях,

потому что природа Египта, Индии, Архипелага говорит его чувству то же самое и тем же понятным ему языком, что и природа Орловской или Воронежской губернии» (Вл. Краних-фельд, Литературные отклики, И. А. Бунин.— Журн. «Современный мир», СПб. 1912, № 11, ноябрь, стр. 349, 350—351).

Если подлинным, «внутренним сюжетом» путевых очерков явились религиозно-философские искания Бунина, его раздумья о жизни человечества, о последовательной смене цивилизаций и т. д.,— то внешний, так сказать, служебный сюжет представляют сами путешествия, то есть передвижение из одного географического пункта в другой. Так, о первом из своих очерков — «Тень птицы» — сам Бунин писал: «Это рассказ о моем первом посещении Турции (в 1903 году), ничем не связанный с рассказами последующими о путешествии во святую землю (в 1907 году), кроме общего заглавия («Тень птицы»)» («Вопросы литературы», М. 1958, № 2, стр. 215). Много впечатлений оставило у Бунина путешествие, совершенное в 1907 году на Ближний Восток вместе с В. Н. Муромцевой-Буниной. Отправились они пароходом из Одессы и 15 апреля 1907 года прибыли в Константинополь. Далее путь лежал через Дарданеллы и Афины — в Африку, в Египет. 20 апреля посетили Александрию. На третий день через Порт-Саид они уехали морем в Яффу, древнюю Иудею и по Саронской долине прибыли в Иерусалим. Отсюда Бунины совершили поездку в Хеврон и Вифлеем; 26 апреля побывали в Иерихоне, у Мертвого моря. По возвращении в Иерусалим отправились морем через порт Яффу на север: в Ливан и Сирию — в города Бейрут, Баальбек, Дамаск, где были 7 мая, потом — в Геннисарет, Тивериаду и Табху. Путешествовали они обычно в вагоне третьего класса, вместе с простым людом. В письме неизвестному лицу 6(19) мая 1907 года Бунин сообщал, что из Тивериады они поедут в порт Кайфу «возле Яффы, а из Кайфы в Египет, к пирамидам. От пирамид через Афины — домой» (сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 234—235). 20 мая они сошли с парохода в Одессе.

Вскоре после того, как были написаны первые очерки, Бунин задумал составить книгу путешествий. Жанровые особенности очерков вырабатывались постепенно, в результате неоднократных переделок и сокращений, которые Бунин производил от издания к изданию, исключая многословные подробности в описаниях, конкретные наблюдения, зарисовки и т. д.— все более приближаясь к созданию «путевых поэм» (как назвал

он этот цикл произведений в Полном собрании сочинений). Сборник 1917 года «Храм Солнца», объединивший очерки 1907—1911 годов и стихи на темы Востока, ярко обнаружил их эстетическое и философское единство. Стихи даже подчас носят более прикладной, чем «путевые поэмы», характер. Они иногда появляются у Бунина на раннем, первичном этапе эстетического преображения действительности. Путешествие в Малую Азию, впечатления от знаменитого Баальбекского храма рождают почти мгновенный отклик:

Шесть золотистых мраморных колонн,
Безбрежная зеленая долина...

Под стихотворением «Храм Солнца» точная дата поездки — «6.5.07. Баальбек». И лишь два года спустя появляется очерк: «Шесть колоссов, стоящих почти на самом конце его, на остатках фундамента, глядели на юг и сливались в один, занимая полнеба». В очерке развивается и углубляется философская проблематика, намеченная в стихах; путешествие «в пространстве» окончательно становится путешествием во времени.

Со значительными сокращениями и стилистической правкой отдельные очерки печатались в газетах «Возрождение» и «Последние новости» (Париж). Отдельной книгой они были изданы под заглавием «Тень птицы» в Париже, в 1931 году. В первом томе Собрания сочинений (Берлин, 1936) писатель восстановил прежнее название цикла — «Храм Солнца», но в июле 1953 года, исправляя текст для нового издания, он зачеркнул его и написал: «Тень птицы».

Тень птицы (стр. 313).— Альманах «Земля», сб. 1-й, М. 1908.

В. Н. Муромцева-Бунина приводит письмо Бунина к брату Юлию Алексеевичу от 12—13 апреля 1903 года с описанием путевых впечатлений: «Вход в Босфор показался мне диковатым, но красивым. Гористые пустынные берега, зеленоватые, сухого тона, довольно резких очертаний. Во всем что-то новое глазу. Кое-где, почти у воды, маленькие крепости, с минаретами. Затем пошли селения, дачи... Босфор поразил меня красотой, К[онстантинополь]. Часов в 10 мы стали на якорь, и я отправился с монахом и греком Герасимом в Андреевское Подворье. В таможне два турка долго вертели в руках мои книги, не хо-

тели пропустить. Дал 20 к.— пропустили. В подворье занял большую комнату. Полежав, отправился на Галатскую башню» («Жизнь Бунина», стр. 145). А вот бунинская запись тех лет: «Незабвенная весна (апр. 1903 г.), первый раз в Константинополе... Золоченый каик на Босфоре. Гребец в короткой расшитой безрукавке, в феске, толстомордая негритянка-служанка и женщина в белой легкой чадре и в черном, атласном, широком бурнусе, ее молодая маленькая нога в черной лаковой туфельке. Пятно табачного цвета на глазных яблоках. Оч[ень] смуглый, рябой, черный длинный халат, феска обмотана пестро-золотистым платком» (там же, стр. 145). Вместе с проводником Герасимом Бунин, по рассказу В. Н. Муромцевой-Буниной, посетил «много всяких таверн, харчевен, ели кебаб прямо на улице, стоя, из кипящего жиром огромного котла... Заходили и в кофейни, где злоупотребляли турецким кофием, сладким, душистым и крепким, смотрели на турок, куривших кальян, молча сидевших по целым часам, скинув одну туфлю и поставив ногу на узенький диван. Много раз проходили по знаменитому базару, где продавцы хватали за рукав и тащили в свои лавки, чтоб показать товар, отлично зная, что покупать они у них не будут, но им нравилось показывать, вызывать восхищение у смотрящего. Там Иван Алексеевич насмотрелся на бесценные ковры, шали, вышивки золотом и серебром, медные кувшины с тонкими узорами, столики из черного дерева с инкрустациями — словом, на все, что продается на Востоке. Все было изящно и красиво. Там на память о этих днях он купил себе чудесную феску, которая ему очень шла,— он становился похож на красивого турка. Неизгладимое впечатление произвели на него дервиши» (там же, стр. 147).

По словам В. Н. Муромцевой-Буниной, «Тень птицы» написана «после нашего первого путешествия на Ближний Восток в 1907 году, но там все из впечатлений его пребывания в Константинополе в 1903 году, в ту «незабвенную весну» (там же, стр. 148).

Стр. 313. «Quocumque adspicas nihil est nisi pontus et aër». («Всюду, куда ни взгляни,— ничего, кроме моря и воздуха» — *лат.*) — Овидий. Скорби, кн. 1, элегия 2, стих 23.

Стр. 315. *Шевваль* — десятый месяц мусульманского календаря.

Стр. 316. *Святая София* (Айя-София) — храм св. Софии,

самое прославленное сооружение Константинополя (Стамбула). Построен в 532—537 годах. Знаменит великолепным интерьером и огромным (30 м в поперечнике) куполом, как бы парящим над стенами. Снаружи здание искажено поздними пристройками. Превращенная в XV веке (когда турки, овладев Константинополем, обосновались на территории рухнувшей Византийской империи) в мечеть, Айя-София оказала влияние на архитектуру мечетей. *Баальбек* — древний город в Сирии, знаменитый развалинами храма (II—III вв.).

Стр. 317. *«Возвести народам о путешествии к дому святому...»* и т. д.— цитата из Корана (XXII, 28). «Святой дом» — Кааба, главное святилище мусульман в Мекке. Паломничество в Мекку — обязанность каждого верующего мусульманина, способного совершить это путешествие. *Абд-эль-Кадер* (Абд-эль-Кадир) — полководец, оратор, поэт. В 1832—1847 годах возглавлял восстание алжирского народа против французских колонизаторов. В 1847 году был взят в плен, до 1852 года содержался во Франции, а затем жил в Дамаске, занимаясь богословием (умер в 1883 г.). *Румели-Гисар* и *Анатоли-Гисар* — турецкие крепости (XV в.) на европейском и азиатском берегах Босфора, господствовавшие над проливом. В этом месте войско персидского царя Дария I (522—486 до н. э.), шедшего походом на скифов (ок. 514 до н. э.), переправилось через Босфор по специально сооруженному понтонному мосту.

Стр. 318. *Каики* — длинные турецкие лодки. *Скутари* (Ускюдар) — азиатская часть Стамбула. *Галата* — торговый район (бывшее предместье) Стамбула в новом городе (к северу от залива Золотой Рог). *Башня Христа* (Галата-Кулеси) — самая высокая (ок. 40 м) башня крепостной стены Галаты (VI в.), в XIV веке надстроена генуэзцами. Мост *Султан-Валидэ* (султанши Валидэ), или Новый Мост — один из двух мостов через залив Золотой Рог, соединяющих старый город с новым. *Великое кладбище* — огромное, растянувшееся на два километра кладбище в Скутари. Здесь, на азиатской земле, предпочитают быть похороненными благочестивые мусульмане.

Стр. 319. *Изан* (эзан) — призыв к молитве, возглашаемый муэдзином с минарета мечети. *Афонские монахи* — Афон (Агион-Орос; *греч.*— «Святая гора») — восточный выступ полуострова Халкидики в Эгейском море (сейчас принадлежит Греции, до 1913 г.— Турции), находится во владении православного мона-

шеского объединения мужских монастырей, в том числе и русских (первый русский монастырь существовал здесь уже в XI в.). В Константинополе русские монастыри Афона владели тремя подворьями в Галате, где останавливались по пути русские паломники на «Святую гору».

Стр. 320. *Хан (перс.)* — здесь: постоялый двор. *Иудино дерево* (багряник) — небольшое декоративное деревце или кустарник из семейства бобовых. Название — неправильный перевод с французского («дерево Иудеи»). *Нергиле* (наргиле) — род кальяна.

Стр. 321. *Вавилон* — в Апокалипсисе Иоанна, олицетворение разврата, как в Ветхом завете — город *Содом*.

Стр. 324. *«Лица их похожи на яйца страуса, сохраненные в песке».* — В таких выражениях описывает Коран (XXXVII, 47) красоту гурий. *Башня Леандра* (или «Девичья башня») сооружена турками в XV веке на скутарийском берегу напротив серальского мыса на месте византийской башни.

Стр. 326. *Сераль* — комплекс дворцовых сооружений и садов в Стамбуле на месте дворца византийских императоров. Покинутый в начале XIX века султанами и предоставленный «женщинам двора», пострадавший от пожара в 1865 году, он во времена поездки Бунина был отмечен печатью заброшенности. Из достопримечательностей Сераля Бунин упоминает *Старый Музей* — музей древностей в так называемом «Изразцовом киоске», XV в.; так называемый *Двор Янычар* и музей оружия в здании византийской *церкви св. Ирины* (основана в IV в. и вновь отстроена в VIII в.); *Платан Янычар* — дерево, у которого происходили сходки янычар во время дворцовых переворотов и бунтов.

Стр. 328. *«Во имя бога, милосердого и милостивого...»* и т. д. — начало первой суры (главы) Корана. *Святой город* — Мекка, где находится Кааба с ее черным *камнем* (см. прим. к стр. 317). *Агарь* — по Библии и арабским преданиям, наложница Авраама, мать *Измаила*, родоначальника арабов. Изгнанная с сыном, она заблудилась в пустыне, но была спасена богом. Два холма, между которыми, согласно легенде, Агарь семь раз пробежала в поисках воды для сына, находятся рядом с Каабой и посещаются паломниками.

Стр. 329. *Малоазийский Олимп* (Мизийский, или Вифинский Олимп, ныне Улудаг) — горный массив на северо-западе Турции, высотой около 2500 м. *Атмейдан* — площадь в Стамбуле, быв-

ший византийский ипподром. Богато украшенная *мечеть Ахмедиэ* (или «Голубая мечеть») с пятью куполами и шестью минаретами построена в 1609—1614 годах. *Обелиск розового гранита* — монолит высотой около 25 м, привезенный из Египта (где был воздвигнут в XVIII в. до н. э. фараоном Тутмосом III), в конце IV века был водружен на пьедестал с рельефами и надписями в честь императора Феодосия I. *Колонна Константина Багрянородного* — четырехгранный обелиск, около 32 м высотой, сложенный из песчаника. Был облицован бронзовыми позолоченными плитами с барельефами, но в XIII веке ободран крестоносцами, польстившимися на «золото».

Стр. 330. *Змеиная колонна* служила некогда подставкой для золотого треножника, пожертвованного в дельфийский храм Аполлона греческими городами после победы над персами при Платеях (479 г. до н. э.). Привезена Константином в IV веке. *Надгробный павильон султана Махмута* — тюрбэ (усыпальница) Махмуда II (ум. в 1839 г.) на Большой улице. В отличие от других сооружений такого рода тюрбэ Махмуда стоит не близ мечети, а прямо на улице. По преданию, на этом месте ветер сдул с султана чалму, и он сказал: «Видно, мне здесь быть погребенным». Тюрбэ Махмуда — восьмиугольное здание из белого мрамора. *Мечеть Баязета* — построена на рубеже XVI века, отличается простотой и гармоничностью архитектуры, великолепием интерьера. В народе зовется *«Голубиной»*. По легенде, «султан, основатель мечети, купил пару голубей у бедной вдовы и от них голуби развелись». *Большой базар (Чарши)* — огромный крытый рынок, частью сохранившийся еще от византийских времен: в нем несколько десятков улиц и несколько тысяч лавок. *Пера* (Бейоглу) — район в европейской части Стамбула, «деловой» центр нового города.

Стр. 331. *Мистерии Кружащихся Дервишей,* описанные Буниным, совершались по пятницам в их монастыре (текке) в Галате и привлекали множество европейских туристов. «Вход сюда свободный,— сказано в старом путеводителе,— но, по обычаю, посетители приносят милостыню, от 5 до 10 пиастров каждый... Желающие могут не снимать обуви, но должны быть с непокрытой головой».

Стр. 332. *«Франки»* — название европейцев у мусульман.

Стр. 333. *Суфийство* (суфизм) — мистико-аскетическое направление в исламе. Возникло в VIII веке как своеобразный протест против официального ислама с его сложной обрядно-

стью; сформировалось как учение в XI—XII веках. Распространилось в Иране, Индии, странах Средней Азии и Закавказья. Оказало большое влияние на культуру этих стран.

Море богов. (Стр. 334).— Журн. «Северное сияние», СПб. 1908, № 1, ноябрь.

Стр. 336. *Троя* (Илион) — древний город на северо-западе Малой Азии (невдалеке от берега Дарданелльского пролива). В XII веке до н. э. была взята и разрушена древними греками. Троянская война знаменита по поэмам Гомера. Холм, на котором стояла Троя, возвышался над долиной реки *Скамандра* (ныне Малый Мендерес). *Ахиллес* — греческий герой, погибший под Троей и похороненный, по преданию, там. *Эвбея* — остров в Эгейском море, вблизи восточного побережья Греции. *Гимет* — горная цепь близ Афин, славился своим мрамором и медом. *Элизиум* — в греческой мифологии — «Поля блаженных», где обитают герои, получившие от богов бессмертие. Здесь нет ни непогоды, ни болезней, ни труда, ни страданий. *Акрополь* — возвышенная и укрепленная (подобно русскому кремлю) часть древнегреческого города. Архитектурный ансамбль афинского Акрополя — одно из высших достижений греческого зодчества. Из отдельных сооружений Бунин упоминает (стр. 337—338) *Пропилеи* — вход на Акрополь, храм «Бескрылой *Победы*» и наиболее прославленный из памятников Акрополя — *Парфенон*, храм Афины (все сооружения — V в. до н. э.). *Пелазги* — народ, населявший до греков южную часть Балканского полуострова, побережье Малой Азии и острова Эгейского моря. В XII—XI веках до н. э. часть пелазгов под натиском греков переселилась на Крит и даже в Палестину (их сближают иногда с филистимлянами), где вскоре слились с местным населением.

Стр. 338. *Саламин* и *Эгина* — острова в Сароническом заливе Эгейского моря. *Амфион* — по греческим мифам, сын Зевса и смертной женщины. Игрой на кифаре заставлял складываться в стены камни при постройке укреплений вокруг Фив, города, которым он управлял вместе с братом Зетом. *...Умертвил Сократа.*— Философ Сократ, обвиненный в «развращении юношества» и «введении новых богов», был казнен по приговору афинского суда (399 г. до н. э.).

Стр. 339. *Фавор* — невысокая (ок. 400 м над уровнем моря) гора в Палестине в 9 км от г. Назарета. Христианское предание связывает ее с евангельским рассказом о преображении.

Дельта (стр. 342).— Газ. «Последние новости», Париж, 1932, № 4085, 29 мая. В Полном собрании сочинений этот очерк частично входил в текст очерка «Зодиакальный свет».

Стр. 343. *Башня, преемница... знаменитого маяка* — форт Каид-Бей, построенный в XV веке у входа в Восточную гавань Александрии, на месте, где некогда стояла стотридцатиметровая башня маяка (была сооружена в III в. до н. э.), прославленного как одно из чудес света. *Александрийская мудрость.*— Александрия — главный город Египта в греко-римское время (332 г. до н. э.— 640 г. н. э.) — была центром античной образованности. При так называемом «Мусее» состояло около сотни ученых, в распоряжении которых была библиотека, насчитывавшая сотни тысяч свитков. *«Город полубога»* — то есть Александра Македонского, в честь которого был назван город. *Столпы Геркулеса* (Гибралтар) — по представлениям древних, западная оконечность мира.

Стр. 345. *Кидара* — головной убор. *Птоломеи* — распространенное ошибочное написание вместо правильного Птолемеи — династия, родоначальником которой был македонянин Птолемей Лаг, один из соратников Александра. Птолемеи правили Египтом три века (до 31 г. до н. э.). *Серапеум* в Александрии — храм бога Сераписа, чей культ был введен Птолемеем I. Серапеум был разрушен в конце IV века до н. э. римским императором Феодосием I, ревностным приверженцем ортодоксального христианства. Так называемая *«колонна Помпея»* — высокий (с пьедесталом ок. 30 м) обелиск красного гранита. Согласно сохранившейся на пьедестале надписи, колонна воздвигнута римским наместником Египта в честь императора Диоклетиана, победившего (в 296 г. н. э.) узурпатора Ахиллеса, утвердившегося было в Египте. Традиционное название памятника безосновательно (в средние века здесь искали могилу Помпея, римского полководца, убитого в Египте в 48 г. до н. э.).

Стр. 346. *Мареотис* (Мареотида, совр. Марьют) — лагунное озеро к западу от Дельты. От Средиземного моря отделено узкой косой, на которой и стоит Александрия.

Стр. 347. *Копты* — египетские христиане, сохранившие свое вероисповедание с доисламских времен. В годы, когда Бунин побывал в Египте, копты жили, главным образом, в городах, занимаясь ремеслом или канцелярской работой. *Феллахи* — египетские крестьяне-земледельцы.

Свет Зодиака (стр. 348).— Газ. «Последние новости», Париж, 1929, № 3000, 9 июня. В Полном собрании сочинений очерк частично входил в текст очерка «Зодиакальный свет».

Стр. 349. Предшественником Каира был *Фостат,* основанный в 640 году Амром, полководцем халифа Омара. Раньше здесь был древнеегипетский городок, который греки называли *«Вавилоном»* (по созвучию этого имени с египетским названием расположенного по соседству острова Рода). В 969 году рядом с Фостатом была основана новая арабская столица Египта — эль-Каира («победоносная»). *Али, зять пророка* — один из ближайших соратников Магомета. В 656—661 годах был халифом. Потерпел поражение в борьбе с наместником Сирии, поддержанным арабской аристократией, и вскоре был убит. «Партия» («шиа») Али дала начало особому направлению ислама — шиизму. Нынешнее здание *мечети Амру* не сохранило ничего от первоначальной (древнейшей в Каире) постройки.

Стр. 350. *Гелиополь* («Город Солнца») — греческое название *Она* (Ону), одного из древнейших городов Египта, знаменитого влиятельным храмом солнечного бога и образованностью его жрецов. Сейчас от этого храма остался лишь один четырехгранный обелиск из розового сиенита (более 20 м высоты) с надписью фараона Сенусерта I (XX в. до н. э.). Верхушка обелиска была покрыта блестящей медью. *Цитадель Каира* (Эль-Кала), господствующая над городом, построена в 1176 году по приказу султана Саладина (основатель династии Айюбидов, правивших Египтом в XII—XIII вв.). На ее постройку были употреблены камни малых пирамид. *Колодец халифа Юсуфа* (Саладина) — глубокий (88 м) четырехгранный колодец, выстроенный при Саладине для снабжения цитадели водой. Воду поднимали вверх с помощью специального устройства. *Гизе* (Гиза) — городок (пригород Каира), знаменитый своими пирамидами (III тысячелетие до н. э.). Наиболее грандиозная — пирамида фараона Хеопса (Хуфу) — 146,6 м высоты. Она сложена из 2300 тыс. плотно пригнанных известняковых блоков, весом около 2,5 т. каждый. Лишь на 3 метра ниже ее пирамида Хефрена *(Хафри).* Значительно ниже обеих пирамида Микерина *(Менкери)* (62 м). *Ступенчатая пирамида* в Саккара (селение к югу от Каира) видна с очень далекого расстояния. Она насчитывает шесть ступеней общей высотой около 60 м. Это, действительно, одна из древнейших пирамид, но от пирамиды

Хеопса ее отделяет не «тысяча», а около сотни лет. Сложена она из грубого местного известняка, и захоронены в ней не *Аписы* (священные быки), а фараон Джосер (начало III тыс. до н. э.). Аписов же хоронили неподалеку, в так называемом *Серапеуме* — катакомбах, высеченных в материковой скале. Мечети *Эль-Азхар* (основана в X в., не раз перестраивалась), *Гассан* (XIV в.) принадлежат к самым значительным памятникам арабской архитектуры в Каире.

Стр. 351. Мечеть-*усыпальница Каид-Бея* (султана, правившего в XV в.) выделяется среди прочих гробниц халифов и султанов богатством убранства. *Осия* — библейский пророк. *Мемфис* — один из старейших и значительнейших городов древнего Египта (южнее нынешнего Каира), во времена Древнего Царства (III тыс. до н. э.) — столица страны. Бог *Гор*, считавшийся, по одним сказаниям, сыном Осириса и Исиды, по другим — сыном Ра, почитался и как солнечный бог (его культ сливался с культом Ра в общем культе Ра-Горахте). *Усиртесен* — устаревшее чтение имени фараона Сенусерта (см. прим. к стр. 350). *Солон* — афинский законодатель VI века до н. э.; *Геродот* — греческий историк V века до н. э.; *Пифагор* (VI в. до н. э.) и *Платон* (V—IV вв. до н. э.) — греческие философы. Все они, по рассказам античных писателей, посещали Гелиополь или учились у тамошних жрецов. Впрочем, в деталях (таких, как, например, длительность пребывания Платона в Гелиополе) источники расходятся.

Стр. 352. *Священная река* — Нил. *Саис* — древний город примерно на полпути между Каиром и Александрией, центр культа богини Нейт, резиденция царей Египта в VII—VI веках до н. э. *«Цари-пастухи»* — гиксосы, кочевые племена, завоевавшие Египет около 1700 года до н. э. *Камбиз* — персидский царь, завоевавший Египет в 525 году до н. э.

Стр. 354. *Амон-Ра-Гормахис* — имена египетских солнечных богов, слившихся в едином культе.

Стр. 355. *Изида* (Исида) — в египетской мифологии, супруга (и сестра) бога царства мертвых — Осириса. Пирамиды к культу Исиды отношения не имели.

Стр. 356. *Фи (древнеегипетск.)* — рогатая гадюка (cerastes cornutus). По свидетельству древнегреческого историка Геродота, считалась у египтян священной. Ее изображение служило иероглифическим знаком для «ф». *Сфинкс* (Большой сфинкс в Гизе) — высеченный из скалы колосс с туловищем льва и портретной головой царя (Хефрена). Сами египтяне позднее счи-

тали сфинкса изображением бога Гора (у Бунина — намек на миф о борьбе Гора и Сета).

Стр. 357. *Хампсы* — согласно Геродоту, египетское название крокодилов.

Стр. 358. *Уреус* (урей) — греческая передача древнеегипетского слова *«ара»* — «кобра». Изображение кобры помещалось на коронах египетских царей и считалось магической защитой. В образе кобры почиталась богиня города Буто.

Иудея (стр. 359).— Сб. «Друкарь», М. 1910. Эта публикация включает также тексты, позднее выделенные в самостоятельные очерки «Камень» и «Шеол».

Предлагая Н. Д. Телешову свой рассказ, Бунин писал ему 1 августа 1909 года: «Это последний мой рассказ о поездке, и придаю я ему довольно большое значение, пишу его давно, отношусь к нему так серьезно, что не печатаю его уже года полтора» (ИМЛИ).

Бунин писал рассказ в Васильевском, Орловской губ. весной и летом 1908 года. В. Н. Муромцева-Бунина, вспоминая о пребывании Бунина в это время в Васильевском, говорит: «Он писал «Иудею», просматривал «Море богов», «Зодиакальный свет» (В. Н. Муромцева-Бунина, Беседы с памятью.— «Новый журнал», Нью-Йорк, 1961, кн. 63, стр. 191).

Стр. 359. Эпиграф из Библии (Книга пророка Иезекииля, 37, 1).

Стр. 360. *Ханапеи* — нееврейские семитические племена, жившие в древности на территории Финикии и Палестины. В Библии упоминаются купцы-хананеяне. *Пиастр* и *бешлык* («пятерка», то есть пять пиастров) — турецкие монеты, *лепта* — мелкая греческая монета.

Стр. 361. *Пелазгические.*— См. прим. к стр. 336.

Стр. 362. *Цитадель Давида* (или «Замок Давида») — ошибочное, но закрепившееся в традиции средневековое название укрепления (XIV—XVI вв.) близ Яффских (западных) ворот Иерусалима.

Стр. 363. *«Водоем пророка Иезекии»* — традиционное название сооруженного в средние века четырехугольного водоема у начала дороги, ведущей из Иерусалима на Масличную (Елеонскую) гору. *«Иерусалим, устроенный, как одно здание»* — цитата из псалма 121 («Песнь восхождения Давида»).

Стр. 364. Так называемая *«Мечеть Омара»* (правильно Куббат-ас-Сахра — «купол скалы») — раннесредневековое сооружение на месте храма Соломона. Это — приземистое восьмиугольное здание с ротондой, увенчанной высоким куполом. В центре здания под куполом — скала Мориа (см. прим. к стр. 374). *Омар* — арабский халиф, завоевавший Иерусалим в 638 году. *Храмы над Гробом и Голгофой* образуют сложный ансамбль. Основаны в IV веке и неоднократно перестраивались (вплоть до XIX в.).

Стр. 365. *«Цветы показались на земле...»* и т. д.— цитаты из «Песни песней Соломона» (2, 12 и 7, 12—13). Этот замечательный памятник древнееврейской любовной лирики иудейские и христианские богословы толковали иносказательно, ища в нем религиозно-мифическую аллегорию.

Стр. 366. *Руфь* — героиня библейской книги Руфь, моавитянка, вышедшая замуж за еврея. Внуком ее был царь Давид. *Водоемы Соломона* — вошедшее в традицию произвольное название трех больших водоемов (водой из которых будто бы орошались сады царя Соломона) к юго-западу от Вифлеема (по дороге в Хеврон). Служили резервуаром для водопровода, снабжавшего водой Иерусалим. *Руины... крепости* — так называемый «Замок при прудах», сооружен в XVII веке для защиты от бедуинов. *Потомок Измаила и Агари.*— См. прим. к стр. 328. *«Пещера Иеремии»* — пещерное сооружение близ Иерусалима (к северу от города). С XV века его выдавали за место погребения библейского пророка Иеремии, который будто бы здесь и слагал свои плачи.

Стр. 367. *Авраам* — библейский патриарх, почитаемый и мусульманами как пророк. *Сарра* — жена Авраама. *Навуходоносор II* — вавилонский царь, завоевавший Иудею в начале VI века до н. э.; *Тит* — римский полководец, позднее император, подавивший восстание иудеев в 66—70 годах (так называемая Иудейская война) и разрушивший Иерусалим; *Адриан* — римский император, при котором в Иудее было подавлено восстание Бар-Кохбы (132—135 гг.).

Камень (стр. 369).— Газ. «Последние новости», Париж, 1929, № 2930, 31 марта. В Полном собрании сочинений, 1915, очерк «Камень» соответствует главам 4-й и 5-й очерка «Иудея» (см. также примечания к очерку «Иудея»).

К словам Талмуда: «Камень Мориа, скала» — Бунин сде-

лал пояснение, приписав от руки на полях первого тома изд. «Петрополиса»: «Имя Скалы — Эвен-гашетия, то есть в переводе: Камень Основы».

Стр. 370. *Стена Плача* — сохранившаяся часть наружной ограды Иерусалимского храма, разрушенного Титом. Место религиозного паломничества иудеев.

Стр. 371. *Хозрой* (Хосров) II — шах Ирана, завоевавший в 614 году Иерусалим, принадлежавший византийцам. *Готфрид* Бульонский — первый правитель (1099—1100) основанного завоевателями-крестоносцами Иерусалимского королевства. *Камень Помазания* — мраморная плита, вделанная в пол храма Гроба господня (в особом притворе). По преданию, на этом месте было положено по снятии с креста тело Иисуса для помазания миром. *Ротонда* (ок. 20 м в поперечнике) над часовней Гроба господня, увенчанная куполом,— одно из самых известных сооружений Иерусалима. Почти в центре ее, как здание в здании, стоит мраморная часовня Гроба (кувуклия); в одном из ее приделов, где едва помещаются четыре человека, находится самая реликвия.

Стр. 373. *Долина Иосафата* (отождествляется с долиной Кедрон к северо-востоку от Иерусалима) — по Библии, место будущего Страшного суда. *Иесей*, по Библии, отец царя Давида. «Отраслью корня Иесеева», «ветвью от корня его» называли ветхозаветные пророки ожидавшегося ими мессию. *...Когда вошел отрок в Назаретскую синагогу...* и т. д.— рассказ из Евангелия от Луки (4, 16—18).

Стр. 374. *Содом и Гоморра* — по Библии, города на юге Палестины, уничтоженные небесным огнем за беззаконие и разврат. *Иерихон* — древний город к северо-востоку от Иерусалима и к северу от Мертвого моря, упоминающийся в Библии. Уже в древности пришел в упадок. *Кебла* (кибла, кыбла) — место, к которому мусульмане обращаются лицом во время молитвы. Магомет назначил киблой сначала Иерусалим (так как он одно время искал поддержки у иудеев) и лишь позднее Мекку. *Камень Мориа* — скала, над которой ныне стоит мечеть Омара, а в древности был построен храм Соломона. С этой скалой связано множество библейских, талмудических и мусульманских преданий.

Стр. 376. *Верблюдица Молния.*— «Молнией» (Аль-борак) назван сказочный конь, на котором Магомет, по мусульманскому

преданию, совершил свое путешествие из Мекки через Иерусалим на небо. Конь этот имел лицо человека, орлиные крылья, глаза, как звезды, хвост, как комету, и т. п.

Стр. 377. *Ковчег Завета* — ящик, где хранились Моисеевы скрижали. Стоял в храме Соломона в святая святых.

Шеол (стр. 378).— Ив. Бунин, Тень птицы, Париж, 1931. В Полном собрании сочинений, 1915, очерк соответствует главе шестой очерка «Иудея» (см. также прим. к очерку «Иудея»).

Стр. 378. *Шеол (древнеевр.)* — преисподняя. *Астарта* — финикийская богиня плодородия и луны.

Стр. 379. *Кесария* — город в Палестине (на средиземноморском побережье), основанный Иродом (царь Иудеи 40—4 гг. до н. э.) и названный так в честь Цезаря (Кесаря) Августа. После XIII века пришла в упадок и была заброшена. *Тир* (совр. Сур) и *Сидон* (совр. Сайда) — крупные торговые города-государства древних финикиян на восточном побережье Средиземного моря. *Эзмунацар* (Эшмуназар) II — царь Сидона. Его надпись-заклятие (ок. 290 г. до н. э.) призывает всевозможные кары на тех, кто откроет его гробницу. *Илия* — по Библии, пророк, боровшийся с культом Ваала, который насаждала жена израильского царя Ахава, финикиянка Иезавель.

Стр. 380. *Лемех* (Ламех) — один из библейских патриархов. Представление о Ламехе, как убийце Каина, могло быть основано на толковании (произвольном) так называемой «Песни Ламеха» в Книге Бытия. *«Блудилищные гроты Астарты».*— Культ Астарты был связан с так называемой «храмовой (или священной) проституцией». *Спэос (греч.)* — пещера.

Пустыня дьявола (стр. 382).— Газ. «Русское слово», М. 1909, № 296, 25 декабря.

Стр. 382. *Козел Отпущения* — по библейским установлениям, козел, на которого специальным обрядом слагали все грехи народа, после чего отсылали в пустыню и там отпускали («чтоб он понес на себе их беззакония в землю непроходимую»). *Предтеча* — Иоанн Креститель.

Стр. 383. *Погребальная пещера богоматери* — пещерная (наземная ее часть служит преддверьем) церковь, сооруженная в XII веке на месте, где, по легенде, была погребена богоматерь. В подземной части стоит так называемый гроб Марии.

Стр. 384. *Гефсиманский сад* — масличная роща, где, по Евангелию, молился Христос перед взятием под стражу. Наименования так называемых *гробницы Авесалома* (сына царя Давида) и погребальной пещеры *Иосафата* (иудейский царь IX в. до н. э.) — позднего происхождения. *Элеон* (Елеонская гора, Масличная гора) — горная гряда под Иерусалимом (к востоку от города).

Стр. 387. *Иосиф Флавий* (37—102 гг. н. э.) — автор нескольких сочинений по истории Иудеи. Выходец из знатной иудейской семьи, он принимал активное участие в борьбе с римлянами во время Иудейской войны 66—70 годов, затем перешел на сторону противника и долго жил в Риме. Писал по-гречески.

Стр. 388. *Благой Самаритянин.*— По евангельской притче, подобрал человека, ограбленного и израненного разбойниками на дороге из Иерусалима в Иерихон, оказал ему помощь, привез в гостиницу и, уплатив хозяину, оставил там. *Прародитель* — Адам.

Стр. 389. *Ущелье Кельта* (Вади-эль-Кельт) — узкая долина на пути от Иерихона к реке Иордану, в ней расположен пещерный монастырь. *Гора Сорокадневная.*— Легенда связывает ее с евангельским рассказом о сорокадневном посте Христа и об искушении его дьяволом. На вершине горы — пещерный монастырь.

Стр. 390. *Край... могилы Моисея.*— По Библии, Моисей умер в Моавитской земле и могила его неизвестна.

Стр. 391. *Моав* — гористая страна на восточном берегу Мертвого моря. Население ее, по библейской легенде, происходит от Моава, сына старшей дочери Лота.

Страна содомская (стр. 392).— Газ. «Русское слово», М. 1911, № 158, 10 июля, под заглавием «Мертвое море».

Стр. 393. *Иерихон ханаанский* — Иерихон был основан ханаанеями. *«...Город садов» Ирода* — Иерихон в конце I века до н. э. служил зимней резиденцией царя Ирода.

Стр. 394. *Пятиградие* — пять упоминаемых в Библии городов Юго-Восточной Палестины: Содом, Гоморра, Адма, Севоим и Сигор. Содом, Гоморра «и вся окрестность их», по библейской легенде, были уничтожены небесным огнем за разврат их жителей. Спасся лишь единственный праведник Содома *Лот. С которой показал господь Моисею...* и т. д.— По Библии, Моисей

привел израильтян к земле обетованной, но самому ему не суждено было туда войти.

Стр. 395. Иисус *Навин* — по Библии, преемник Моисея, вступивший в землю обетованную, взявший и разрушивший Иерихон.

Стр. 396. *Иерихонские бальзамы Клеопатры.*— В конце 1 века до н. э. египетская царица Клеопатра получила Иерихон в подарок от римского полководца Антония. Она-то и продала город Ироду. *Геджас* (Хиджаз) — пустынная область на северо-западе Аравии. Отсюда началось распространение ислама.

Храм Солнца (стр. 397).— Журн. «Современный мир», СПб. 1909, № 12, декабрь.

Стр. 398. *Келесирия* (букв. «Полая Сирия») — греческое название большой долины между горными хребтами Ливаном и Антиливаном.

Стр. 399. *Талес* — белое покрывало с черными или голубыми полосами — молитвенное облачение у евреев. *Бека* (эль-Бика, букв. «низменность») — арабское название долины между Ливаном и Антиливаном. Происхождение слова *«Сирия»* объясняли по-разному. Попытка вывести его из санскритского языка (*санскритск.* «сурья» — солнце), видимо, ошибочна.

Стр. 400. *Керак* (Керак-Нух) — местечко, где показывают «гроб Ноя» (30 м 40 см длиной!). Библейский патриарх Ной почитается и мусульманами как пророк. *Сиф* — по библейской легенде, третий сын Адама, родившийся после того, как Каин убил Авеля, и проживший 912 лет. *...Там Кедры.*— Ливанский кедр, считавшийся в древности благороднейшим деревом мира, сейчас редок. Группа кедров примерно на полпути между Баальбеком и Триполи принадлежит к посещаемым туристами достопримечательностям страны. В нескольких часах пути от Кедров действительно есть деревушка *Эдем.*

Стр. 401. *...двух всемирно-славных баальбекских храмов: Великого и Малого.*— На возвышающемся над современным городком акрополе (род кремля) древнего города Баальбека (*греч.* Гелиополя) сохранились поражающие монументальностью развалины двух храмов, построенных во II—III веках н. э. (причислялись к чудесам света). Большой храм был при основании посвящен «всем богам Гелиополя», позднее считался храмом Юпитера. Малый был собственно храмом Солнца.

Стр. 405. *Зиккураты* — ступенчатые храмы-башни древнего Двуречья.

Геннисарет (стр. 407).— Газ. «Русское слово», М. 1912, № 297, 25 декабря. В Полном собрании сочинений, 1915, указано, что очерк написан 9 декабря 1911 года на Капри. В газете «Возрождение» (Париж, 1927, № 691, 24 апреля), где текст напечатан со стилистическими изменениями и сокращениями, начало и окончание работы над очерком отмечено двойной датой: «1907—1927».

Стр. 407. *Вифлеем* — городок в 8 км к югу от Иерусалима. Считается родиной царя Давида и Иисуса Христа. *Храм Рождества* (церковь Марии) — основанный, видимо, еще в IV веке (позднее его перестраивали и украшали византийцы и крестоносцы), поставлен над пещерой, где, по преданию, родился Иисус. *Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est.*— Здесь родился от девы Марии Иисус Христос *(лат.)*. *...Царям, путеводимым звездою...*— По евангельскому преданию, волхвы (мудрецы), приведенные звездою «родившегося царя иудейского», пришли поклониться младенцу Христу. В поздних сказаниях эти волхвы изображаются царями, представителями трех рас человечества.

Стр. 408. *Назарет* — городок в Галилее (область в Северной Палестине), где, по преданию, прошло детство Христа. *Страна Геннисаретская* — часть Галилеи, прилегающая к берегам Геннисаретского озера («Галилейского моря»), через которое протекает река Иордан. *Гермон* (Джебель эль-Шейх) — одна из вершин Антиливана (горный массив в Сирии), к северу от Геннисаретского озера.

Стр. 409. *Тивериада* — главный город Галилеи. Расположена на берегу Геннисаретского озера. Основана в начале н. э. и названа так в честь римского императора Тиберия.

Стр. 410. *«Проходя же близ моря Галилейского...»* и т. д.— рассказ Евангелия (Матф., 4, 18) о призвании апостолов Петра и Андрея.

А. Бабореко, О. Михайлов,
В. Смирин

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
1909—1911

Подторжье 7
Деревня 12
Суходол 133
Крик 188
Смерть пророка 193
Снежный бык 201
Древний человек 204
Сила 213
Хорошая жизнь 224
Сверчок 247
Ночной разговор 257
Веселый двор 278

ТЕНЬ ПТИЦЫ
1907—1911

Тень птицы 313
Море богов 334
Дельта 342
Свет Зодиака 348

Иудея 359
Камень 369
Шеол 378
Пустыня дьявола 382
Страна содомская 392
Храм Солнца 397
Геннисарет 407

Из ранних редакций 415

Примечания 447

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
БУНИН

Собрание сочинений, т. 3

Редактор Г. Бажанова
Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Г. Каунина

Корректоры

Р. Пунга, А. Юрьева

Сдано в набор 25/VI 1965 г. Подписано к печати 5/X 1965 г. Бумага 84×108 1/32 = 15,75 печ. л. 26,46 усл. печ. л. 24,59 уч.-изд. л. + 1 вклейка = 24,64 Тираж 210000 экз. (1—100000).
Заказ № 2728. Цена 90 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66
Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по печати
Москва, Ж-54, Валовая, 28